



Голда Меир

ЖЕНЩИНА - МИФ

# МОЯ ЖИЗНЬ



Голга Меур

**МОЯ**

**ЖИЗНЬ**





*Голда Меир*

Голда Меир



ЖЕНЩИНА - МИФ

МОЯ  
ЖИЗНЬ

Чимкент, «Аурика»  
1997

ББК 66.3(08)

М45

УДК 32(569.4) (092) + 929 Меир

*Серия основана в 1995 году*  
Перевод с иврита *Р. Зерновой*  
Предисловие и общая редакция *Я. Цура*

Публикуется с разрешения автора и его литературного агента. Любые другие публикации настоящего произведения являются противоправными и преследуются по закону.

### **Меир Голда**

**М45** *Моя жизнь* / Пер. с иврита Р. Зерновой. — Чимкент: МП «Аурика», 1997. — 560 с; ил. — («Женщина — миф»).

ISBN 5-86020-183-4

Она была дочерью плотника из Киева — и премьер-министром. Она была непримиримой, даже фанатичной и — при этом — очень человеческой, по-старомодному доброй и внимательной. Она закупала оружие и хорошо разбиралась в нем — и сажала деревья в пустыне. Создавая и защищая маленькое государство для своего народа, она многое изменила к лучшему во всем мире. Она стала легендой нашего века, а может, и не только нашего. Ее звали Голда Меир. Голда — в переводе — золотая, Меир — озаряющая.

**М 8200000000**

**ISBN 5-86020-183-4**

© «Библиотека-Алия», 1985

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта книга, опубликованная в последние годы жизни Голды Меир (1898 — 1978), не только верно отражает ее личность, но и точно передает ее индивидуальный стиль. Голда не писала книгу, а диктовала ее, причем, как обычно в разговоре, перескакивая с одной темы на другую, то пускаясь в воспоминания, то набрасывая образы запомнившихся ей людей, — и все это вплеталось в канву очередной главы. Все, кто работал с Голдой и близко знал ее, помнят, что она крайне редко собственноручно писала письма и никогда (за исключением официальных речей на Генеральной Ассамблеи ООН или в Совете Безопасности) не читала речей «по бумажке». Когда Голда обращалась с трибуны к аудитории, перед ее глазами не было ни клочка бумаги. И несмотря на это — а, может быть, благодаря этому — она была одним из самых замечательных ораторов своего времени.

Голда Меир являлась одной из первых в мире женщин, достигших положения главы правительства. До нее лишь на Цейлоне и в Индии правительства возглавляли женщины — Сиримава Бандаранаике и Индира Ганди. Но между ними и Голдой Меир было принципиальное различие. Сиримава Бандаранаике и Индира Ганди, став лидерами своих стран, изо всех сил, доходя порой до жестокости, стремились удержать единоличную власть. Голда же считала себя представительницей своей партии — сионистской рабочей партии Израиля, к которой



принадлежала с юности. Она никогда не требовала от народа верности себе лично, призывая лишь сохранять верность идеям, в которые верила сама. И тут Голда не признавала никаких компромиссов. Мир для нее делился на черное и белое; любой, кто не принимал ее мировоззрения, был противником, идеологическим и личным.

В этой уверенности коренилась непримиримость Голды, характеризовавшая весь ее политический путь. Голда никогда не боролась за посты и почетные звания. Но раз взяв на себя ответственность за жизнь народа и страны, она фанатично оберегала свои прерогативы.

Голда не принадлежала к феминисткам. Она достигла своего высокого положения не потому, что была женщиной. На страницах этой книги Голда вспоминает поговорку, бытовавшую в ее времена: «Голда — единственный мужчина в правительстве», — говорили тогда. С характерным для нее сарказмом Голда замечает по этому поводу: «А если бы про одного из членов правительства сказали, что он — единственная женщина в его составе, — как бы вы посмотрели на это?»

И вместе с тем Голда была женщиной в полном смысле этого слова. Она никогда не скрывала свою женственность, а напротив, гордилась ею. Она была преданной, любящей матерью и бабушкой. Нередко даже в разгар тяжелейших политических передраг Голда срывалась на день или полдня в киббуц Ревивим в южном Негеве, где жили ее дочь и внуки. Она любила готовить и не упускала случая заняться стряпней. Политическая «кухня Голды», которую столь часто склоняли ее политические противники, имея в виду место, где в узком кругу решаются важные политические дела, представляла собой самую доподлинную кухню, где Голда обыкновенно пила кофе,

курила одну сигарету за другой, беседовала и советовалась с друзьями.

И по отношению к людям Голда зачастую вела себя типично по-женски. Ее оценка людей нередко основывалась на иррациональных ощущениях, на природной интуиции — и опять-таки, раз вынесши суждение о том или ином человеке, она меняла его с колоссальным трудом. Голда умела завоевывать сердца. Общавшиеся с нею люди быстро попадали под обаяние ее естественности и простоты, ее таланта ясно и понятно излагать свои позиции. Журналисты любили встречаться с нею. Она никогда не пряталась за спасительную формулировку — «на этот вопрос ответа не последует». Если же Голда не хотела или не могла ответить на определенный вопрос, она всегда находила способ изменить направление беседы или рассказывала анекдот, обрывавший нежелательный для нее разговор.

Мне вспоминаются два случая, когда Голде, исполнявшей тогда обязанности министра иностранных дел, удалось привлечь на свою сторону политических деятелей, отнюдь не являвшихся сторонниками сионизма и государства Израиль.

В шестидесятые годы, в продолжение одной из ее поездок в Рим, Голде нанес визит ветеран итальянского социалистического движения Пьетро Ненни. Он в тот период сблизился с коммунистической партией и относился к сионизму весьма прохладно. Я служил переводчиком во время их беседы — Пьетро Ненни говорил по-французски, а Голда не знала других иностранных языков, кроме английского. В начале беседы Ненни держался холодно и сдержанно. А по прошествии двух часов, выходя из отеля, где остановилась Голда, Ненни уже был убежденным другом Израиля — таким он и остался до конца своих дней.

Другой аналогичный случай произошел с французским министром иностранных дел при президенте де Голле — Кувом де Мюрвилем. Голда в своей книге определяет его как самого истого «англичанина» из всех политических деятелей Франции. Это был холодный, умный и закрытый человек, сделавший карьеру главным образом в арабских странах, особенно в Египте. Как Голде удалось «разморозить» его, я никогда не мог понять. Но факт остается фактом — встречаясь с Голдой, он раз от разу проявлял все большее понимание ее позиций и, в конце концов, между ними установились почти дружеские отношения.



В душе Голды жили воспоминания о погромах, виденных ею в детстве на юге России, о нищенском существовании, которое влачила ее семья после эмиграции в Америку в Милуоки. Отправляясь на встречу с папой римским, Голда испытывала гордость от того, что она, дочь простого еврейского плотника, представляет еврейский народ перед главой могущественной католической церкви. Голда всегда гордилась своей принадлежностью к еврейству, и чувство еврейской гордости оказало заметное влияние на ее политический курс, когда она возглавляла правительство Израиля. Ни за что на свете не соглашалась она на какие бы то ни было компромиссы, способные нанести урон чести государства. Пожалуй, именно этим можно объяснить ее недостаточную гибкость, недоверие, проявленное ею по отношению к намекам на возможность мирного решения египетско-израильского конфликта, которые щедро разбрасывал Анвар Садат в первые годы своего правления после смерти откровенно враждебного Израилю честолюбивого и популярного в народе Гамалья Аб-

дель Насера. Теми же мотивами было продиктовано и отношение Голды к специальному представителю Организации Объединенных Наций на Ближнем Востоке послу Яррингу, который считал для себя позволительным пренебрегать честью Израиля ради того, чтобы завоевать расположение египтян. Все подобные попытки Голда решительно пресекала. По этой же причине Голда стала резкой противницей австрийского канцлера Бруно Крайского, являвшегося ее коллегой по Социалистическому интернационалу. Крайский унаследовал антиссионистские взгляды от своих предшественников по руководству социал-демократической партией Австрии, подавляющее большинство которых также были евреями, отрицавшими сионизм и еврейский национализм.

Чрезвычайно характерно для Голды ее отношение к африканцам. Произошедшее при Голде сближение Израиля с черной Африкой не было только политическим шагом. Голда симпатизировала африканским неграм, считая, что они, как жертвы империалистической эксплуатации и расовой дискриминации, являются для евреев братьями по несчастью: ведь евреи — единственный белый народ, подвергшийся расовой дискриминации. В 1957 году, будучи израильским послом в Париже, я сопровождал министра иностранных дел государства Израиль Голду Меир в ее первой поездке по французской Западной Африке. Некоторые из тогдашних африканских лидеров, в особенности Уфуэ-Буаньи из Берега Слоновой Кости, остались в тесных дружественных отношениях с Голдой до конца ее жизни. Правда, частые государственные перевороты в молодых африканских государствах причинили Голде немало разочарований.

В тот период имя Голды стало легендарным на африканском континенте. Мне привелось однажды ехать в сопровождении одного лишь шофера-афри-



канца от столицы Мали Бамако до столицы Гвинеи Конакри. По дороге мы несколько раз оказывались на примитивных паромных переправах через реку Нигер. Африканцы, встречавшиеся нам на этих переправах, спрашивали моего шофера, кто я такой и откуда. Я не понимал разговора, который велся на местном наречии, но стоило моему спутнику сказать, что я из Израиля, как тут же раздавались восклицания: «А, Голда Меир!». Устный африканский телеграф быстро передавал сообщения.

В бытность свою министром иностранных дел Голда успела создать мощную систему помощи африканским странам, в первую очередь, в деле образования и земледелия. Частично эта система функционирует и по сей день, несмотря на разрыв дипломатических отношений, но прежде она действовала с большим размахом. Африканцы видели в израильтянах не высокомерных белых специалистов, а друзей, приехавших помогать им. Иерусалимские старожилы помнят вечера песни и танца, которые устраивала у себя дома Голда, когда приезжали делегации из стран черной Африки; там африканцы и израильтяне плясали вместе, да и сама Голда вступала в хоровод.

В отношении Голды к жителям черной Африки было немало наивности. В примитивном образе жизни африканцев Голда винила лишь колониальные державы, забывая о силе местных предрассудков, которые предстали во всем безобразии после того, как большинство народов Африки добились независимости. Голда ждала от африканских лидеров самоотверженности, предельной самоотдачи, преданности своему делу, а качества эти были большой редкостью в узком кругу образованных африканцев, в руки которых попала власть в молодых государствах. Трудно было убедить Голду в том, что там иные условия и иные люди, что африканцы не скоро ста-

нут походить на пионеров-халудим, пожертвовавших личной жизнью ради строительства Эреца.

Во время первой встречи Голды с президентом Берега Слоновой Кости Уфуэ-Буаньи африканский государственный деятель сказал ей: «Я принадлежу к племени, которым по традиции управляют женщины. Этот тип общества вы, белые, называете матриархатом. Все мое имущество записано на имя моих теток. Даже когда я был министром французского правительства, я время от времени приезжал в свою деревню, чтобы отчитаться перед двумя старейшими женщинами племени. Поэтому я счастлив, что удостоился чести принимать в моей стране женщину, занимающую столь высокий политический пост».



Последние годы Голды Меир, когда она достигла вершины своей карьеры и стала главой правительства, были самыми трудными годами ее жизни. Дело тут не только в ее возрасте — ей было уже за семьдесят — и не в состоянии ее здоровья. Наоборот, казалось подчас, — что колоссальная ответственность работы излечила ее. Но — и страницы этой книги свидетельство тому — Голда тяжело переживала трещину, пролегшую между ней и Бен-Гурионом. Всю жизнь она преклонялась перед ним, считала его великим вождем еврейского народа. Даже если она не соглашалась с ним, довольно было одной откровенной беседы, чтобы положить конец всем разногласиям. Но когда Бен-Гурион вследствие «дела Лавона», пошел на раскол партии Авода, Голда резко выступила против него и на долгие годы между ними прервалась всякая связь. Только в глубокой старости они помирились, и престарелый Бен-Гурион приехал в киббуц Ревивим на празднование пятидесятилетия приезда Голды в Эрец.

Другой трагедией, омрачившей последние годы Голды, была Война Судного дня. Как известно, война началась с провала израильской военной разведки, не сумевшей распознать признаков готовившегося египетско-сирийского наступления. Война завершилась блестящей военной победой Израиля; к концу войны Армия Обороны Израиля находилась на расстоянии 35 км от Дамаска и 101 км от Каира. Но война эта стоила больших человеческих жертв, и Голда — как политический деятель, как мать и женщина — не могла простить себе крови павших на поле боя.

Голда являлась главой правительства; министром обороны, отвечавшим за армию, был Моше Даян. В правительство Голды входили, как она любила повторять, два бывших начальника генштаба, но она винила себя за то, что не настояла на своем, не подготовилась к войне. Во время войны Голда проявила твердость, взяв на себя ответственность за ход военных действий и поддерживая на исключительно высоком уровне боевой дух народа. Но едва война миновала, она снова начала терзать себя — как она могла не знать, не почувствовать того, что должно было свершиться? Когда Даян подал ей заявление об отставке, Голда отказалась принять, утверждая, что ответственность за все лежит на ней, так как она являлась главой правительства. В конце концов, Голда сама ушла в отставку и снова зажила обычной жизнью — старая больная женщина. Но, по единодушному мнению товарищей и противников, — одна из самых крупных личностей, которые выдвинула история независимого еврейского государства.

*Яков Цур*



МОЯ ЖИЗНЬ



*Моим сестрам Шейне и Кларе,  
нашим детям и детям  
наших детей*

## ДЕТСТВО

**В**ероятно, то небольшое, что я помню о своем детстве в России — первые восемь лет, — и есть мое начало, то, что теперь называют «формирующими годами». Но если это так, то жаль, что радостных или хотя бы приятных воспоминаний об этом времени у меня очень мало. Эпизоды, которые я помнила все последующие семьдесят лет, связаны большей частью с мучительной нуждой, в которой жила наша семья; я помню бедность, голод, холод и страх. Со страхом связано одно из самых отчетливых моих воспоминаний. Вероятно, мне было тогда года три с половиной-четыре. Мы жили тогда в Киеве, в маленьком доме, на первом этаже. Ясно помню разговор о погроме, который вот-вот должен обрушиться на нас. Конечно, я тогда не знала, что такое погром, но мне уже было известно, что это как-то связано с тем, что мы евреи, и с тем, что толпа подонков с ножами и палками ходит по городу и кричит: «Христа распяли!». Они ищут евреев и сделают что-то ужасное со мной и с моей семьей.

Потом я стою на лестнице, ведущей на второй этаж, где живет другая еврейская семья; мы с их дочкой держимся за руки и смотрим, как наши папы стараются забаррикадировать досками входную дверь. Погрома не произошло, но я до сих пор помню, как сильно я была напугана и как сердилась, что отец для того, чтобы меня защитить, может только сколотить несколько досок, и что мы все должны

покорно ожидать прихода хулиганов. Но лучше всего помню, что все это происходит со мной потому, что я еврейка и оттого не такая, как другие дети во дворе. Много раз в жизни мне пришлось испытать те ощущения: страх, чувство, что все рухнет, что я не такая, как другие. И — инстинктивная глубокая уверенность: если хочешь выжить, ты должен что-то предпринять сам.

И еще я помню, слишком даже хорошо, до чего мы были бедны. Никогда у нас ничего не было вволю — ни еды, ни теплой одежды, ни дров. Я всегда немножко мерзла и всегда у меня в животе было пустовато. В моей памяти ничуть не потускнела одна картина: я сижу на кухне и плачу, глядя, как мама скармливает моей сестре Ципке несколько ложек каши — моей каши, принадлежащей мне по праву! Каша была для нас настоящей роскошью в те дни, и мне обидно было делиться ею даже с младенцем. Спустя годы я узнала, что это значит, когда голодают собственные дети, и каково матери решать, который из детей должен получить больше; но тогда, на кухне в Киеве, я знала только, что жизнь тяжела и что справедливости на свете не существует. Теперь я рада, что никто не рассказал мне, как часто моя старшая сестра Шейна падала в обморок от голода в своей школе.

Мои родители были в Киеве приезжими. Они встретились и обвенчались в Пинске, где жила семья моей матери, и в Пинск мы все через несколько лет вернулись — это было в 1903 году, когда мне было пять лет. Мама очень гордилась своим романом с нашим отцом, часто нам о нем рассказывала, и мне никогда не надоедало слушать, хотя я его знала наизусть. Мои родители поженились не по обычаю, а без всякой выгоды для «шадхена» — традиционного свата.

Не знаю, как получилось, что мой отец, родив-

шийся на Украине, должен был проходить призыв в Пинске, но именно там мама однажды увидела его на улице. Он был высоким и красивым молодым человеком; она влюбилась в него сразу же и даже отважилась рассказать о нем родителям. Послали за сватом — но роль его, как мы сказали бы теперь, была чисто техническая. Для нее — и для нас тоже — было гораздо важнее, что ей удалось убедить родителей, что достаточно любви с первого взгляда; между тем у жениха не было отца, не было денег, да и семья его не принадлежала к числу особо уважаемых. Одно говорило в его пользу: он не был невеждой. Некоторое время, когда ему было лет тринадцать-четырнадцать, он учился в иешиве и знал Тору. Мой дед учел это обстоятельство; но, полагаю, он, вероятно, учел и то, что моя мать, как уже тогда было известно, никогда не меняла своих решений и по мало-мальски важным вопросам.

Мои родители были очень непохожи друг на друга. Отец, Моше Ицхак Мабович, стройный, с тонкими чертами лица, был по природе оптимистом и во что бы то ни стало хотел верить людям — пока не будет доказано, что этого делать нельзя. Вот почему в житейском смысле его можно было считать неудачником. В общем, он был скорее простодушным человеком, из тех, кто мог бы добиться большего, если бы обстоятельства хоть когда-нибудь сложились чуть более благоприятно. Блюма, моя медноволосая мать, была хорошенькая, энергичная, умная, далеко не такая простодушная и куда более предприимчивая, чем мой отец; но, как и он, она была природная оптимистка, к тому же весьма общительная. Несмотря ни на что, по вечерам в пятницу у нас дома было полно народу, как правило родственников: двоюродных и троюродных братьев и сестер, теток, дядей. Никто из них не остался в живых после Катастрофы, но они живы в моей памяти, и я вижу,



как они все сидят вокруг кухонного стола, пьют чай из стаканов, и, если это суббота или праздник, — поют, целыми часами поют, и нежные голоса моих родителей выделяются на общем фоне.

Наша семья не отличалась особой религиозностью. Конечно, родители соблюдали еврейский образ жизни: и кошер, и все еврейские праздники. Но религия сама по себе — в той мере, в которой она отделяется от традиции, — играла в нашей жизни очень небольшую роль. Не помню, чтобы я ребенком много думала о Боге или молилась личному божеству, хотя, когда я стала старше — уже в Америке, — я иногда спорила с мамой о религии. Помню, однажды она захотела доказать мне, что Бог существует. Она сказала: «Почему, например, идет дождь или снег?» Я ответила ей то, чему меня научили в школе, и она сказала: «Ну, Голделе, раз ты такая умная, сделай, чтобы пошел дождь». Поскольку никто в те дни не слыхивал о возможности сеять тучи, я не нашла, что ответить. А с положением, что евреи — избранный народ, я никогда полностью не соглашалась. Мне казалось, да и сейчас кажется, правильнее считать, что не Бог избрал евреев, но евреи были первым народом, избравшим Бога, первым народом в истории, совершившим нечто воистину революционное, и этот выбор и сделал еврейский народ единственным в своем роде.

Как бы то ни было, в этом — как и во всем другом — мы жили как все евреи городов и местечек Восточной Европы. По воскресеньям и в дни поста ходили в «шул» (синагогу), благословляли субботу и держали два календаря: один русский, другой — относящийся к далекой стране, из которой мы были изгнаны 2000 лет назад и чьи смены времен года и древние обычаи мы все еще отмечали в Киеве и в Пинске.

Родители переехали в Киев, когда Шейна была

еще совсем маленькая — а она старше меня на девять лет. Отец хотел улучшить свое материальное положение, и хотя Киев не входил в черту оседлости, а за ее пределами евреям, как правило, жить воспрещалось, он все же был ремесленником, и если бы ему удалось на проверке доказать, что он квалифицированный плотник, он получил бы драгоценное разрешение — перебраться в Киев. Он сделал прекрасный шахматный столик, прошел испытание, и мы набили наши мешки и покинули Пинск, полные надежд. В Киеве отец нашел казенную работу — он делал мебель для школьных библиотек — и даже получил аванс. На эти деньги, и еще на те, которые они с мамой взяли в долг, он построил маленькую столярную мастерскую. Казалось, все пойдет хорошо. Но потом работы не стало. Может, это было потому, как он говорил, что он был еврей, а Киев славился антисемитизмом. Как бы то ни было, скоро не стало ни работы, ни денег, а были только долги, которые каким-то образом надо было заплатить. И эта ситуация повторялась снова и снова на всем протяжении моих детских лет.

Отец стал искать хоть какую-нибудь работу; он пропадал целыми днями и вечерами, а когда возвращался домой после хождения по темным, ледяным зимним улицам, в доме редко бывали продукты, чтобы сварить ему горячую еду. Надо было обходиться хлебом с селедкой.

Но у мамы были другие горести. Заболели дети: четыре мальчика и одна девочка. Двое умерли, не достигнув года; а вскоре — еще двое. Мама рыдала над каждым, но, как большинство еврейских матерей ее поколения, она смирялась перед Божьей волей, и маленькие могилы не толкали ее на размышления о том, как надо растить детей. Но после смерти четвертого богатая семья, жившая поблизости, предложила ей пойти в кормилицы к их новорожденно-

му. Они поставили только одно условие: чтобы мои родители с Шейной переехали из своей жалкой и сырой каморки в более просторную и светлую комнату; опытной няньке велено было научить мою молоденькую маму основам ухода за ребенком. Благодаря этому «молочному брату» жизнь Шейны улучшилась, и я родилась в более чистой и здоровой обстановке. Наши благодетели следили за тем, чтобы маме хватало еды, и скоро у моих родителей было трое детей — Шейна, Ципке и я.

В 1903 году — мне было лет пять — мы вернулись в Пинск. У отца, который никогда не унывал, появилась новая мечта. Ничего, что ему не повезло в Киеве, — он поедет в Америку. «А голдене медине» — «золотая страна» — называли ее евреи. Там он разбогатеет. Мама, Шейна, Ципке и я будем ждать его в Пинске. И он снова собрал свое убогое имущество и отправился в неведомую часть света, а мы переехали в дом бабушки и дедушки.

Не знаю, имел ли кто из них на меня влияние, хотя в Пинске я долго прожила у маминых родителей. Конечно, мне трудно поверить, что отец отца сыграл хоть какую-то роль в моей жизни, поскольку он умер прежде, чем мои родители встретились. Но все-таки он стал одним из персонажей, населивших мое детство, и теперь, обращаясь к прошлому, я чувствую, что он имеет право на место в этой истории.

Он был среди тех тысяч еврейских мальчиков в России, которых «похитили» у их семей и заставили 25 лет служить в царской армии. Плохо одетые, плохо накормленные, запуганные, эти мальчики страдали еще и от того, что их вынуждали креститься. Моего деда Мабовича угнали в армию, когда ему было тринадцать лет, — а он принадлежал к очень религиозной семье и приучен был соблюдать все тонкости еврейских обрядов. Он прослужил в рус-

ской армии тринадцать лет и ни разу, несмотря на угрозы, насмешки, а зачастую и наказания, не прикоснулся к трэфному. Все годы он питался лишь хлебом и сырыми овощами. Его хотели заставить креститься; за неповиновение его наказывали — целыми часами он простаивал на коленях на каменном полу, — но он не покорился. И все-таки когда он вернулся домой, его мучил страх, что по незнанию он мог нарушить Закон. Искушая возможный грех, он годами спал на скамейке в неотопливаемой синагоге, и подушкой служил ему камень. Не удивительно, что он умер молодым.

Дед Мабович был не единственным моим родственником, отличавшимся упорством, или, чтобы воспользоваться более ходовым словом, которым меня обычно характеризуют те, кому я не слишком нравлюсь, — нетерпимостью. Была еще прабабка с материнской стороны, которой я не знала и чье имя ношу. Она была известна железной волей и любовью командовать. Нам говорили, что никто в семье не смел ничего предпринять, не посоветовавшись с ней. В действительности, именно бабка Голда несет ответственность за то, что моим родителям разрешили пожениться. Когда мой отец пришел к моему деду Найдичу просить руки моей матери, дед только скорбно качал головой и вздыхал при мысли, что его милая Блюма выйдет замуж за простого плотника, будь он хоть краснодеревщик. Но тут на помощь явилась бабка. «Самое главное, — сказала она, — чтобы это был Человек («а менч»)! Если он Человек, то сегодня он плотник, а завтра может стать коммерсантом...» Мой отец остался плотником до конца своих дней, но бабка Голда постановила — и дед дал свое благословение. Бабка Голда дожила до девяноста четырех лет, и особенно меня поразил рассказ, что она клала в чай соль вместо сахара, ибо, говори-

ла она, «хочу взять с собой на тот свет вкус галута (диаспоры)». И вот что интересно: по словам моих родителей, я поразительно на нее похожа.

Конечно, теперь все они умерли: и они, и их дети, и дети их детей, и их образ жизни. Нет и восточно-европейских местечек, погибших в огне пожарищ; память о них сохраняется лишь в еврейской литературе, которую они породили и через которую себя выразили. Это местечко, возрожденное в романах и фильмах, известное теперь в краях, о которых и не слыхивали мои деды, веселое, добродушное, очаровательное местечко, на чьих крышах скрипачи вечно играют сентиментальную музыку, не имеет ничего общего с тем, что помню я: с нищими, несчастными маленькими общинами, где евреи еле-еле перебивались, поддерживая себя надеждами на то, что когда-нибудь станет лучше, и веруя, что в их нищете есть какой-то смысл. В большинстве своем это были богобоязненные, хорошие люди, но жизнь их была, в сущности, трагична, как и жизнь моего деда Мабовича. Я лично никогда не чувствовала никакой тоски по прошлому, несмотря на то, что оно окрасило всю мою жизнь и наложило глубокий отпечаток на мои убеждения. Именно оттуда пошло мое убеждение, что мужчины, женщины и дети, кто бы они ни были и где бы ни жили, а в частности и в особенности — евреи, должны жить производительно и свободно, а не униженно. Я нередко рассказывала своим детям, а потом и внукам о жизни в местечке, какой я ее смутно помню, и нет для меня большего счастья, чем сознавать, что для них это только урок истории. Очень важный урок, ибо речь идет об очень важной части их наследия, но ни с чем там они не могут себя отождествить, ибо с самого начала их жизнь была совершенно иной.

В общем, отец провел в Америке три одиноких и трудных года. С великим трудом он наскреб денег

на поездку туда; как многие тысячи русских евреев, хлынувших в «золотую страну» на рубеже столетия, он верил, что Америка — единственное место, где он сможет разбогатеть, все произошло не так — и с ним, и с другими, — но мысль, что он к нам вернется; помогла нам прожить эти три года.

Киев, где я родилась, скрылся от меня в тумане времени, но образ Пинска я сохранила — возможно, потому что я столько слышала и читала о нем. Многие из тех, кого я встретила в последующей жизни, были родом из Пинска и близлежащих городков, в том числе семьи Хаима Вейцмана и Моше Шарета.

Много лет спустя я два раза чуть не попала в Пинск. В 1939 году, когда я находилась в Польше с поручением от рабочего движения, я заболела в тот самый день, когда должна была туда поехать, и поездка была отменена. Летом 1948 года, когда я была назначена послом Израиля в Советском Союзе, меня охватило внезапное желание поехать в Пинск и увидеть своими глазами, не остался ли в живых кто-нибудь из моих родственников после нацистов, но советское правительство не дало мне разрешение. Я надеялась, что со временем мне его все-таки дадут, но в начале 1949 года мне пришлось вернуться в Израиль, и поездка в Пинск была отложена на неопределенное время. Может, оно было и к лучшему; впоследствии я узнала, что из всей нашей огромной семьи в живых остался только один дальний родственник.

Пинск, который я помню, был полон евреев. Это был один из самых прославленных центров русско-еврейской жизни, и в какое-то время евреи даже составляли там большинство. Он стоял на двух больших реках — Пина и Припять (притоки Днепра) — и эти-то реки и давали большинству пинских евреев средства к существованию. Они ловили рыбу, загру-

жали грузовые суда, работали носильщиками, а зимой кололи лед на огромные ледяные торосы и таскали этот лед в погреба богачей, приберегавших его на лето. Было время, когда мой дед, который по сравнению с моими родителями был зажиточным человеком, имел такой погреб; в жару соседи ставили туда свои субботние и праздничные блюда, и оттуда же брали лед для больных. Богатые евреи вели торговлю лесом и солью; в Пинске было даже несколько фабрик — гвоздильная, фанерная и спичечная, — которыми владели евреи, дававшие, разумеется, работу десяткам еврейских рабочих.

Но больше всего я помню «пинскер блотте», как мы их называли, — болота, казавшиеся мне тогда океанами грязи, которых нас научили бояться как чумы. Для меня они навеки связаны с моим всегдашним ужасом перед казаками. Как-то зимним вечером я играла с детьми на краю запретного болота, как вдруг, откуда ни возьмись — а может, и прямо из самого болота — выскочили казаки верхом и понеслись дальше, перескакивая через наши скорчившиеся дрожащие тела. «Ну, — сказала мама, которая сама дрожала и плакала, слушая меня, — ну, что я тебе говорила?»

Но Пинск был для меня страшен не только казаками и черными бездонными болотами. Помню ряд высоких зданий на улице, ведущей к реке, а напротив них, на холме, — монастырь. Целыми днями перед монастырем сидели и лежали толпы калек, с всклокоченными волосами, с вытаращенными глазами; они громко молились и просили подаяния. Я старалась там не ходить, но если случалось мне проходить мимо, я бежала бегом, зажмурив глаза. Когда мама хотела меня по-настоящему припугнуть, достаточно было заикнуться о тех нищих, и я тут же переставала капризничать.

Но не все же было так страшно! Я была ребен-

ком и, как все дети, и играла, и пела, и сказки придумывала для маленькой сестры. С помощью Шейны я научилась читать и писать и даже немного арифметике, хотя мне и не пришлось пойти в пинскую школу. «Про тебя все говорили — золотое дитя! — вспоминала мама. — Вечно чем-нибудь занята». Думаю, моим главным занятием в Пинске было знакомство с жизнью, опять-таки главным образом через Шейну.

Шейна, которой исполнилось четырнадцать лет, когда отец уехал в Америку, была замечательная девушка, умная и глубоко чувствующая. Ее влияние на меня было и всегда оставалось очень сильным — может быть, самым сильным, если не считать моего будущего мужа. Она и вообще-то была необычной личностью; для меня же всегда и везде она была образцом, другом и наставником. И позже, когда мы стали взрослыми, а потом старыми женщинами, бабушками, ее одобрение, ее похвала — нечасто удавалось мне это заслужить — имели для меня первостепенное значение. В сущности, Шейна — это часть моей истории. Она умерла в 1972 году, но я думаю о ней постоянно, и ее дети и внуки мне так же дороги, как мои собственные.

Несмотря на то, что мы в Пинске были ужасно бедны и маме, с помощью деда, еле удавалось нас кое-как тащить, Шейна отказалась пойти работать. Возвращаться в Пинск ей было очень тяжело. В Киеве она посещала прекрасную школу; теперь ей хотелось учиться, приобретать знания, образование, и не только ради того, чтобы ее собственная жизнь стала лучше и полнее, но и для того, чтобы она могла изменить и улучшить мир. В четырнадцать лет это была революционерка, серьезная и преданная участница сионистского социалистического движения — то есть в глазах полиции вдвойне опасная и подлежащая наказанию. Она и ее друзья были не



только «заговорщиками», стремившимися свергнуть всемогущего царя, но они прямо объявляли, что их мечта — создать еврейское социалистическое государство в Палестине. В России начала XX века такие взгляды считались подрывной деятельностью и за них арестовывали даже четырнадцати-пятнадцатилетних школьников. До сих пор помню крики молодых людей — девушек и юношей, — которых избивали в полицейском участке, рядом с которым мы жили.

Моя мать тоже слышала эти крики и ежедневно умоляла Шейну не иметь ничего общего с этим движением: она ведь подвергала опасности не только себя и нас, но даже отца в Америке! Но Шейна была неумолима. Мало того, что она желала перемен, она еще хотела участвовать в их осуществлении. По ночам мать не спала — ждала, когда, наконец, Шейна вернется домой с какой-то таинственной «сходки»; я лежала молча, стараясь понять все это — преданность Шейны делу, в которое она так сильно верила; материнскую отчаянную тревогу; необъяснимое — для меня — отсутствие отца — и все это на фоне топота казацких коней, то и дело раздававшегося на улице.

По субботам, когда мама ходила в синагогу, Шейна устраивала сходки у нас дома. Даже когда мама об этом узнала и стала упрашивать Шейну не рисковать всеми нами, ей ничего не оставалось, кроме как ходить по нашей улице взад и вперед, когда она возвращалась из синагоги домой. По крайней мере, так она была на страже, и, если бы показался полицейский, могла предупредить молодых конспираторов. Но бедную маму больше всего пугало не то, что в любую минуту может налететь полиция и арестовать Шейну. Все эти месяцы ее сердце терзал страх (в те дни очень распространенный в России),

что кто-нибудь из друзей Шейны окажется провокатором.

Конечно, я была слишком мала, чтобы понимать, что означают все эти споры, слезы и хлопанья дверью. Но в эти субботние утренние часы я забивалась на печку, встроенную в стену, и сидела там часами, слушая Шейну и ее друзей, стараясь понять, что их так волнует и почему из-за этого плачет мама. Иногда, делая вид, что я с увлечением рисую или копирую странные буквы из сидура (еврейский молитвенник) — это была одна из немногих книг в нашем доме, — я вслушивалась, стараясь понять, что именно Шейна с таким жаром объясняет маме. Но я только и поняла, что она участвует в какой-то борьбе, которая касается не только русских, но и, в особенности, евреев.

Многое уже написано — и, конечно, еще больше будет написано — о сионистском движении. Теперь большинство людей имеет представление, что означает самое слово «сионизм», а также, что оно как-то связано с возвращением еврейского народа в страну их отцов — на землю Израиля, как она называется на иврите. Но, вероятно, и сегодня не все понимают, что это замечательное движение возникло спонтанно и почти одновременно в разных частях Европы в конце XIX века. Словно драма, поставленная на разных сценах, на разных языках, по-разному, но везде разрабатывавшая одну и ту же тему: так называемый «еврейский вопрос». «Еврейский вопрос» в действительности был, конечно, «христианским вопросом» и возник в результате того, что у евреев не было своего дома; он не будет и не может быть разрешен до тех пор, пока у евреев не будет собственной страны. Очевидно, этой страной мог быть только Сион, страна, откуда евреев изгнали две тысячи лет тому назад, но которая осталась

духовным центром еврейства на протяжении веков и которая в те дни, когда я жила в Пинске, и до конца Первой мировой войны, была запущенной и заброшенной провинцией Османской империи под названием «Палестина».

Первые евреи, осуществившие современное возвращение в Сион, прибыли туда уже в 1878 году. Они основали первое поселение еврейских земледельцев и назвали его Петах-Тиква (Врата Надежды). К 1882 году маленькие группы сионистов из России, называвшие себя «Ховевей Цион» (Возлюбленные Сиона), прибыли в страну с решением потребовать себе землю, чтобы возделывать ее и защищать. Но в 1882 году Теодор Герцль, будущий основатель Всемирной сионистской организации и отец государства Израиль, еще ничего не знал ни о том, что делают с евреями в Восточной Европе, ни о существовании Ховевей Цион. Только в 1894 году, освещая в прессе дело Дрейфуса, этот утонченный и удачливый корреспондент видной венской газеты «Нойе Фрайе Прессе» заинтересовался судьбой евреев. Потрясенный несправедливостью к офицеру-еврею и открытым антисемитизмом французской армии, Герцль тоже уверовал, что для еврейского вопроса существует только одно настоящее решение. Его дальнейшие достижения и ошибки — вся поразительная история о том, как он пытался создать еврейское государство, — изучается теперь всеми израильскими школьниками, и ее следовало бы изучить тем, кто хочет понять, что же такое сионизм.

Мама и Шейна знали о Герцле, но я впервые услышала его имя, когда моя тетка (жившая с Вейцманами в одном доме и часто приносившая оттуда важные новости, как и дурные, так и хорошие) однажды прибежала с глазами полными слез, и сказала мне, что произошло невообразимое: Герцль умер.

Никогда не забуду, какое молчание наступило вслед за ее сообщением. А Шейна — что типично для нее — решила в знак траура по Герцлю носить только черное; так она и носила траур до тех пор, пока мы не переехали в Милуоки, через долгих два года.

Тоска евреев по собственной стране не была результатом погромов (идея заселения Палестины евреями возникла у евреев и даже у некоторых неевреев задолго до того, как слово «погром» вошло в словарь европейского еврейства); однако русские погромы времен моего детства придали идее сионистов ускорение, особенно когда стало ясно, что русское правительство использует евреев как козлов отпущения в своей борьбе с революционерами.

Большинство еврейской революционной молодежи в Пинске, объединенной огромной тягой к образованию, в котором они видели орудие освобождения угнетенных масс, и решимостью покончить с царским режимом, по этому вопросу разделилось на две основные группы. С одной стороны, были члены Бунда (Союза еврейских рабочих), считавшие, что положение евреев в России и в других странах переменится, когда восторжествует социализм. Как только изменится экономическая и социальная структура еврейства, — говорили бундовцы, — исчезнет и антисемитизм. В этом лучшем, просветленном, социалистическом мире евреи смогут, если того пожелают, сохранять свою культуру: продолжать говорить на идиш, соблюдать традиции и обычаи, есть что захотят. И не будет причины цепляться за отжившую идею еврейской национальности.

Поалей Цион — сионисты-социалисты, к которым принадлежала Шейна, смотрели на это по-другому. Они верили, что так называемый «еврейский вопрос» имеет другие корни, и потому решать его надо шире и радикальнее, чем просто исправляя экономические и социальные несправедливости. Разде-

ляя социалистические убеждения, они сохраняли верность национальной идее, основанной на концепции единого еврейского народа и восстановлении его независимости. Оба эти направления были нелегальны и находились в подполье, но, по иронии судьбы, злейшими врагами сионистов были бундовцы, и большинство дебатов, гремевших над моей головой, когда Шейна устраивала сходку у нас дома, касалось конфликта между этими двумя группами.

Бывало, когда мы с Шейной ссорились и я выходила из себя, я грозилась, что расскажу про политические собрания нашему краснорожему полицейскому Максиму. Разумеется, я никогда бы этого не сделала, да и Шейна не сомневалась, что это только пустые угрозы, — но она все-таки беспокоилась. «Что ты расскажешь Максиму?» — спрашивала она. «Расскажу, что ты и твои приятели хотите покончить с царем!» — кричала я. «Знаешь, что тогда со мной сделают? Сошлют в Сибирь, и там я умру от холода и больше никогда не вернусь, — говорила она. — Так бывает с теми, кого отправляют в ссылку».

По правде говоря, я старалась не попадаться Максиму на глаза. Если я замечала, что его сапоги громяют по направлению ко мне, я пускалась наутек. Много лет спустя Шейна рассказала мне, что хоть Максим никогда никого не арестовал, она не сомневалась, что он систематически докладывал властям обо всех молодых людях, с которыми она была связана.

Пожалуй, там же, на печке, я получила еще один важный и памятный урок: ничто в жизни никогда не происходит само собой. Недостаточно верить во что-нибудь; надо еще иметь запас жизненной силы, чтобы преодолевать препятствия, чтобы бороться. Теорию, лежавшую в основе всего, что делала Шейна, я стала усваивать в возрасте шести-семи лет. Что бы ты ни делал, делай это правильно! Шейна в свои

пятнадцать лет уже была совершенной максималисткой: она сама жила сообразуясь с самыми высокими принципами, чего бы ей это ни стоило, и так же сурово и требовательно относилась к другим.

Мы уже много лет прожили в Палестине, а потом в Израиле, и она могла бы позволить себе какие-то приобретения, облегчающие жизнь; но она обходилась без них, находя, что жизненный уровень, которому они соответствуют, слишком высок для страны. В шестидесятые годы, старая и больная, она позволила себе единственную роскошь — холодильник. Она обходилась без духовки, всю жизнь готовила на газовой горелке, и считала, что не может позволить себе иметь в Израиле электрический миксер. Будь она менее непреклонной, менее требовательной к себе и другим, она, может быть, поняла бы, каким ужасом были для мамы те пинские сходки и, может быть, даже уступила бы ей. Но в том, что Шейна считала важным, она была неумолима — и политические сходки у нас дома продолжались, несмотря на бесконечные раздоры с мамой. Однажды Шейна ушла из дома и прожила некоторое время у тетки, но там люди оказались еще нетерпимее, так что она вынуждена была нехотя вернуться домой.

В это время Шейна встретила с Шамаем Корнгольдом, своим будущим мужем; это был сильный, умный, одаренный юноша, отказавшийся от великого счастья учиться — предметом его страстного интереса была математика, — чтобы примкнуть к революционному движению. Между ними расцвел почти безмолвный роман, и Шамай тоже стал навсегда частью моей жизни. Он был одним из лидеров молодых сионистов по кличке «Коперник». Шамай был единственным внуком известного знатока Торы; в его доме он жил с родителями и все они зависели от него материально. Шамай часто бывал у нас; помню, как он перешептывался с Шейной про

подъем революционного движения в городе и про казачий полк, который движется сюда и будет усмирять Пинск своими сверкающими саблями. По их разговорам я догадалась, что с кишиневскими евреями случилось что-то ужасное и что пинские евреи готовятся защищать себя оружием и самодельными бомбами.

Шейна и Шамай реагировали на ухудшение положения своеобразно: они не только продолжали устраивать и посещать тайные сходки — они вовлекали в движение других молодых людей и даже — о, ужас! — дочку нашего седовласого шойхета — ультраправоверного ритуального резника, у которого наша семья снимала комнату. Тут тревога мамы за Шейну, Ципке и за меня стала нестерпимой, и она стала писать отчаянные письма отцу. Она писала, что не может быть и речи о том, чтобы нам торчать в Пинске; мы должны ехать к нему в Америку.

Но, как и многое в жизни, это легче было сказать, чем сделать. Отец, который к этому времени переехал из Нью-Йорка в Милуоки, еле-еле сводил концы с концами. Он написал, что надеется получить работу на железной дороге и тогда у него будут деньги нам на билеты. Мы перебрались от шойхета к бубличнику. Бублики пекли ночью, так что в квартире всегда было тепло, и бубличник дал маме работу. А в конце 1905 года пришло письмо из Милуоки. У отца была работа, так что мы могли начинать сборы в дорогу.

Сборы были долгие и трудные. Непростое дело было в те времена женщине с тремя дочками — из них две совсем маленькие — проделать одним весь путь от Пинска до Милуоки. Для мамы это было не только облегчение, но и новые тревоги, а для Шейны расстаться с Россией — значило расстаться с Шамаем и с тем, ради чего они так трудились и так рисковали. Помню только суету этих последних не-

дель в Пинске, прощание с родственниками, поцелуи и слезы. В те времена уехать в Америку было почти то же самое, что отправиться на Луну. Может, мама и тетки плакали бы не так горько, если бы знали, что я вернусь в Россию как посланник еврейского государства, или что как премьер-министр Израиля я буду встречать поцелуями и слезами сотни и сотни русских евреев. Но предстоявшие годы несли нашим родственникам, оставшимся в Пинске, нечто пострашнее слез, и один Бог об этом знал. Может, и мы не так бы боялись, если бы знали, что по всей Европе тысячи семей, вроде нашей, пустились в дорогу, справедливо надеясь на лучшую жизнь в Новом Свете. Но мы знать не знали о множестве нееврейских женщин и детей из Ирландии, Италии и Польши, которые в таких же условиях, как мы, пробирались к своим мужьям и отцам в Америку, и мы были очень напуганы.

Немного я помню подробностей о нашем путешествии в Милуоки в 1906 году, и думаю, даже и то, что, как мне кажется, я помню, я знаю из рассказов мамы и Шейны. Помню только, что в Галиции мы должны были нелегально перейти границу, потому что три года назад наш отец помог своему знакомому добраться до Америки, вписав его жену и дочерей в свои собственные бумаги как своих. Так что, когда наступил наш черед уезжать, мы тоже шли под чужими именами. И хотя мы послушно запомнили и фальшивые имена, и фальшивые подробности — Шейна отлично выдрессировала нас всех, даже Ципке, — переход границы был осуществлен с помощью взятки, которую мама, каким-то образом скопившая необходимые деньги, дала полицейскому. В суматохе пропала — или была украдена — большая часть нашего «багажа». Как бы то ни было, я помню, что в холодное весеннее утро мы, наконец, вошли в Галицию, и помню будку, в которой мы ждали поез-



да в порт. Мы прожили в этой неотопливаемой будке два дня и спали на холодном полу, и Ципке, помню, все время плакала, пока ее не отвлек прибывший, наконец, поезд. И мы двинулись, с остановками, которых не помню, сначала в Вену, потом в Антверпен, где мы еще 48 часов просидели в эмиграционном центре, ожидая парохода, который отвезет нас в Америку к отцу.

Четырнадцать дней на пароходе — это была не увеселительная прогулка. Нас втиснули в темную, душную каюту еще с четырьмя людьми; ночью мы спали на голых койках, а днем большей частью стояли в очереди на раздачу еды. Мама, Шейна и Ципке мучились морской болезнью; я же чувствовала себя хорошо, часами смотрела на океан и старалась представить себе Милуоки. Пароход был набит русскими эмигрантами — бледными, измученными и перепуганными, как мы. Иногда я играла с детьми, которые тоже ехали четвертым классом, и мы рассказывали друг другу, какие невообразимые богатства ожидают нас в «золотой стране». Но мне кажется, что и они сознавали, что мы едем в места, о которых ровнешеньки ничего не знаем, в совершенно чужую для нас землю.



## ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОТРОЧЕСТВО

Отец встретил нас в Милуоки, и он показался нам очень изменившимся: без бороды, похож на американца, в общем — чужой. Он еще не нашел для нас квартиры, поэтому мы все вместе временно вселились в его единственную комнату, которую он снимал у недавно прибывших польских евреев. Город Милуоки — даже та малая его часть, которую я увидела в эти первые дни, — меня ошеломил. Новая еда, непостижимые звуки совершенно неизвестного языка, смущение перед отцом, которого я почти забыла. Все это создавало такое сильное чувство нереальности, что я до сих пор помню, как я стою посреди улицы и спрашиваю себя, кто я и где я.

Полагаю, что и отцу было нелегко воссоединение с семьей после такого долгого перерыва. Во всяком случае, он сделал удивительную вещь: не успели мы отдохнуть с дороги и привыкнуть к его новому виду, как он потащил нас всех в город за покупками. Он сказал, что наш вид приводит его в ужас. Мы были такие безвкусные, такие «старосветские», особенно Шейна в своем старческом черном платье. Он непременно хотел купить новые платья всем нам, словно-можно было вот так, в двадцать четыре часа превратить нас в американок. Первая его покупка была для Шейны — блузка в оборках и широкополая соломенная шляпа, украшенная маками, незабудками и подсолнухами.

«Теперь ты похожа на человека! — сказал он. Вот так мы тут в Америке одеваемся». Шейна залилась слезами ярости и стыда. «Может, вы в Америке так одеваетесь, — кричала она, — но я так одеваться не буду!» Она наотрез отказалась надеть блузку и шляпу; может быть, эта поездка за покупками и положила начало долгим годам их натянутых отношений.

Они были очень разные люди, да к тому же в течение трех лет отец получал письма, в которых мама жаловалась на Шейну и ее эгоистическое поведение. Может быть, в глубине души он винил Шейну в том, что из-за нее он не вернулся в Россию, а семье пришлось ехать в Штаты. Не то что ему было плохо в Милуоки. Напротив, когда мы приехали, он уже врос в эмигрантскую жизнь. Он был членом синагоги, вступил в профсоюз (время от времени его использовали на работе в железнодорожных мастерских), и у него уже было много приятелей. Ему казалось, что он становится настоящим американским евреем, и это ему нравилось. Но уж никак он не мечтал о сердитой и непослушной дочке, которая требовала себе права жить и одеваться в Милуоки как в Пинске; их первая ссора в универмаге Шустера вскоре переросла в серьезный конфликт. Я же была в восторге от красивой новой одежды, от шипучей газировки, от мороженого, от того, что нахожусь на небоскребе (это я впервые увидела пятиэтажное здание).

Вообще, город Милуоки показался мне великолепным. Все было такое яркое, свежее, словно только что сотворенное; я целыми часами стояла на улице, тараща глаза на людей и на невиданное уличное движение. Автомобиль, в котором отец привез нас с вокзала, был первым в моей жизни; как зачарованная, я смотрела на нескончаемую вереницу машин,

трамваев и сверкающих велосипедов, несшуюся по улице передо мной.

Мы пошли гулять. Не веря своим глазам, я заглядывала в аптеку, где рыбак из папье-маше рекламировал рыбий жир; в парикмахерскую с такими странными креслами; в табачную лавку с ее деревянным индейцем. С какой завистью я смотрела на девочку моего возраста, разряженную по-воскресному, с рукавами-буфами, в высоких ботинках на пуговках, которая гордо катила в коляске куклу, величественно покоившуюся на собственной подушечке! Как восхищалась женщинами в длинных белых юбках и мужчинами в белых рубашках и галстуках! До чего все это было непохоже на то, что я видела и знала раньше! Первые дни в Милуоки я была в каком-то трансe.

Очень скоро мы переехали в собственную квартиру на улицу Уолнат (Ореховая), в самый бедный еврейский квартал города. Теперь там живут черные, такие же бедные, как мы были тогда. Но в 1906 году эти дощатые домики, с их хорошенькими верандами и ступеньками, казались мне дворцами. Даже наша квартира, без ванной и электричества, казалась мне верхом великолепия. Там было две комнаты, крошечная кухня и — то, что особенно привлекло маму! — длинный коридор, ведущий в пустое помещение для магазина. Мама тут же решила, что откроет лавочку. Отец, без сомнения, обиженный, что мама как будто сомневается в его способности нас всех прокормить, да и не желавший бросать плотницкое ремесло, заявил, что мама вольна делать, что хочет, но он лавкой заниматься не будет. Эта лавка стала несчастьем моей жизни. Сперва это была молочная, потом — бакалейная, но она так и не стала процветающим заведением, зато отравила все мои милуокские годы.

Теперь, вспоминая все это, я только изумлялась маминой решительности. Прошли только две недели, как мы приехали в Милуоки; по-английски она не знала ни слова, представления не имела, какие продукты пойдут хорошо, — не говоря уже о том, что у нее никогда не было собственной лавки, она и не работала там никогда. И все-таки, может быть, испугавшись, что мы все так же отчаянно бедны, как и в России, она взвалила на себя эту огромную ответственность, не задумываясь о последствиях. Держать лавку — значило не только покупать товары в кредит (свободных денег у нас, разумеется, не было), но и вставать с рассветом, покупать все необходимое на базаре и тащить покупки домой. К счастью, соседки ее поддержали. Многие из них тоже были новые иммигрантки, и для них было естественно помогать вновь прибывшей. Они обучили ее нескольким английским фразам, рассказали, как вести себя за прилавком, как обращаться с кассой и весами, и кому можно безопасно отпускать в кредит.

Мамино поспешное решение, как и злополучный поход отца за покупками в день нашего приезда, конечно, были их реакцией на совершенно чужое окружение. К несчастью, эти необдуманные шаги имели серьезные последствия не только для Шейниной, но и для моей жизни, хотя в разной степени. Поскольку мама каждое утро уходила, кто-нибудь должен был сидеть в лавке. Шейна, как и мой отец, наотрез отказалась помогать. Она заявила, что ей этого не позволяют ее социалистические принципы. «Не за тем я приехала в Америку, чтобы превратиться в социального паразита, в лавочницу», — заявила она. Родители страшно рассердились, но она, что характерно, поступила согласно со своими принципами; нашла себе работу. Мы не успели оглянуться, как Шейна уже работала в портновской мастерской и обметывала петли вручную. Работа была

трудная, она ее делала плохо и от души ненавидела, хотя и могла теперь считать себя принадлежащей к пролетариату. Через три дня, за которые она заработала целых тридцать центов, отец заставил ее бросить портновскую мастерскую и помогать маме. И все-таки она постоянно старалась куда-нибудь сбежать из лавки, и мне каждое утро приходилось стоять за прилавком, пока мама не придет с рынка. Для восьми-девятилетней девочки это было нелегко.

Я ходила в школу — в огромное, похожее на крепость, здание на Четвертой улице, около знаменитого милуокского пивного завода Шлитца. Ходить в школу я любила. Не помню, за сколько времени я научилась говорить по-английски (дома мы, конечно, говорили на идиш — к счастью, на идиш говорили все на нашей улице), но поскольку я не помню никаких затруднений, то, вероятно, заговорила я довольно скоро. И подруги у меня появились тоже очень скоро. Две из моих подруг по первому и второму классу остались моими друзьями на всю жизнь, и обе теперь в Израиле. Одна — Регина Гамбургер (теперь Медзини) жила на нашей улице и уехала из Америки тогда же, когда и я; другая — Сарра Федер — стала одним из лидеров сионистов-социалистов в США. Но я опаздывала в школу ежедневно, и это было ужасно, и каждое утро, идя в школу, я плакала. Однажды в нашу лавку даже пришел полицейский — объяснить матери, как плохо прогуливать уроки. Она слушала внимательно, но вряд ли что-нибудь поняла, и я продолжала опаздывать, а иногда и пропускать школу, что было еще большим несчастьем. Маму, по-видимому, не слишком трогало то, что я ненавидела лавку. Правда, и выбора у нее не было. «Жить-то надо?» — говорила она. Если отец и Шейна — каждый по своим причинам — не помогают, это не значит, что я от этого освобождаюсь. «Ну, так станешь ребечи (ученой женщиной) немножко поз-

же!» — добавляла она. Конечно, я так никогда и не стала ученой женщиной, но я многому научилась в этой школе.

Прошло более пятидесяти лет. Когда мне исполнился *семьдесят один год*, и я была премьер-министром — я вернулась в школу на несколько часов. Школа не слишком изменилась за эти годы, только подавляющее большинство учеников были негры, а не евреи, как в 1906 году. Они встретили меня как королеву. Выстроившись на скрипучей старой сцене, которую я так хорошо помнила, начищенные и отмытые до блеска, они спели в мою честь множество идишских и ивритских песен, а когда они запели израильский национальный гимн «Ха-Тиква», их голоса так загремели, что у меня навернулись слезы. Все классы были разубраны рекламными афишами об Израиле и ивритским приветствием «шалом» (кто-то из учеников решил, что это моя фамилия); когда я вошла в школу, две маленькие девочки в платочках с Маген-Давидами (шестиугольными еврейскими звездами) торжественно преподнесли мне белую розу, сделанную из клинекса и ершика для трубки. Я проносила розу весь день, сберегла ее и привезла в Израиль.

В тот день 1971 года я получила от школы на Четвертой улице еще один подарок — табель за какой-то класс. Чтение — 95, правописание — 90, арифметика — 95, музыка — 85, еще какой-то ручной труд, о котором я и вовсе ничего не помню, — 90. Но когда дети попросили меня что-нибудь сказать, я решила говорить не о книжном ученье. На четвертой улице я научилась куда большему, чем дробь или правописание; об этой-то науке я и решила рассказать энергичным и внимательным детям, с рождения принадлежащим, как и я, к национальному меньшинству, и живущим, как и я жила, мягко выражаясь, не в роскоши. «Не то важно, чтобы точно

решить еще в детстве, кем вы станете, когда вырастаете, — сказала я им. — Гораздо важнее решить, как вы хотите прожить свою жизнь. Если вы будете честны с собой и своими друзьями, если вы будете участвовать в том, что хорошо не только для вас, но и для других, то этого, думаю, будет достаточно, а кем вы при этом станете — вероятно, вопрос случая». Мне показалось, что они меня поняли.

Но если оставить в стороне лавку, Шейну, страдающую от того, что вынуждена жить с родителями и разлучена с Шамаем, все еще остававшимся в России, по которому она отчаянно скучала, то я вспоминаю пять лет в Милуоки с большим удовольствием. Так много можно было увидеть, и сделать, и выучить, что Пинск почти совсем стерся из памяти. Почти — но не совсем. В сентябре, когда мы уже прожили в Америке три месяца, отец велел нам непременно пойти смотреть парад по случаю «Лэйбор дэй» (праздник труда), в котором он будет участвовать. Мама, Ципке и я, в новых платьях, на том углу, который он нам указал, с нетерпением ждали, когда начнется парад, не очень понимая, что это такое. Вдруг Ципке увидела двигавшихся во главе шествия конных полицейских. Она страшно испугалась. «Казаки! Это казаки!» — завопила она и так разрыдалась, что ее пришлось отвести домой и уложить в постель. Но для меня этот парад — толпы на улицах, медь оркестров, платформы на колесах, запах жареной кукурузы и сосисок — стал символом американской свободы. Конная полиция не разгоняла и не давила демонстрацию, как в России, а охраняла ее. Это был толчок: я почувствовала, насколько новая жизнь отличается от прежней. Тогда, да и долгое время потом, я об этом не задумывалась, но теперь мне кажется, что в Висконсине, и в частности, в Милуоки, была очень либеральная администрация. Милуоки был городом иммигрантов, в нем сильны



были социалистические традиции, мэром города много лет был социалист, первый в Америке социалист-конгрессмен — Виктор Бергер. Конечно, мы бы отреагировали так же на любой парад в любом американском городе. Впрочем, может быть, «Лэйбор дэй» в Милуоки и был какой-то особенный: ведь сюда съехалось такое множество немецких либералов и интеллектуалов после неудачной революции 1848 года; и, в конце концов, город славился своими сильными профсоюзами не меньше, чем своими пивными. В общем, когда я в этот сентябрьский день увидела отца, выступающего в праздничном шествии, мне показалось, что я вышла из темноты на свет.

Конечно, было бы лучше, если бы маме не надо было так тяжело работать, если бы Шейна ладила с родителями, если бы у нас было хоть немножко больше денег. Но даже и так, даже несмотря на мои тайные горести из-за ненавистной лавки, годы в Милуоки были для меня полными, хорошими годами. Для меня — но не для Шейны. Все у нее не ладилось, все было трудно: приспособиться, научиться английскому, найти друзей. Она была какая-то усталая, апатичная, а тут еще вечные конфликты с родителями и их неуклюжие попытки найти ей жениха, словно бы и не было на свете Шамайя. Ей было восемнадцать, а жизнь ее до того сузилась, что ее как бы и не стало.

Вдруг — о, чудо! — она услышала, что в Чикаго открывается большая фабрика мужской одежды, и ее приняли. Но почему-то и там дело не пошло; она устроилась швеей на маленькую фабрику женской одежды с настоящей потогонной системой. Через некоторое время она вернулась в Милуоки — у нее воспалился палец. Если бы она не была так подавлена, это бы прошло скорее, но тут ей пришлось просидеть дома несколько недель. Родители торжествовали. Я же очень ее жалела, и за эти недели, когда я

за ней ухаживала и помогала причесываться и одеваться, мы сблизились.

В один прекрасный день Шейна сказала мне, что получила письмо от тети из Пинска насчет Шама. Его арестовали, но он бежал из тюрьмы и теперь находится на пути в Нью-Йорк. Тетя предусмотрительно сообщила его адрес, и Шейна тотчас же ему написала. К этому времени воспаление на пальце прошло, она нашла другую работу и стала планировать приезд Шама в Милуоки.

Надо ли говорить, как я радовалась, что она воспряла духом. Может быть теперь, когда Шама придет, Шейна будет счастлива, и атмосфера дома переменится. Я не слишком его помнила, но ждала его почти так же нетерпеливо, как Шейна. Но родители, особенно мама, встретили эту новость по-другому. «Замуж за Шама? — говорила мама. — Но у него же никаких перспектив. Нищий, неопытный молодой человек без денег и без будущего!» Но — и не ищите логики! — он все-таки был для Шейны слишком хорош: он из богатой семьи, которая никогда не даст своего согласия! С какой стороны ни смотри, этот брак был бы несчастьем.

Шейна, как всегда, ринулась напролом и сделала то, что считала нужным. Она сняла для Шама комнату и вызвала его в Милуоки. Он приехал угнетенный, неуверенный в себе — но Шейна не сомневалась, что вместе они преодолению все преграды. Через некоторое время он получил работу на табачной фабрике, а по вечерам они стали вместе заниматься английским.

Но тут Шейна заболела, и на этот раз серьезно: у нее определили туберкулез. Ее надо было отправить в санаторий; неизвестно было, можно ли ей будет вообще когда-нибудь выйти замуж. Весь ее мир обрушился. Она ушла с работы, сдала свою комнату и опять нехотя вернулась домой. Родители скрывали

свою тревогу за нее под градом упреков и приди-рок; я по-детски не слишком успешно старалась развеселить Шейну и Шамай и заступалась за них перед родителями, когда напряжение доходило до предела.

Через несколько недель все переменялось: Шейна легла в еврейскую больницу для туберкулезных в Денвере, Шамай уехал в Чикаго со слабой надеждой найти там работу, а я на деньги для завтраков стала покупать почтовые марки, которые посылала Шейне, чтобы она могла мне отвечать. Пару раз я «одадживала» деньги на марки из маминой кассы, но так как родители с Шейной не переписывались, и я была единственным связующим звеном между нею и семьей, то я считала это преступление оправданным.

В письмах к Шейне, которые она, к моему удивлению, сохраняла много лет, я описывала свою жизнь дома. «Я очень хорошо учусь в школе», — писала я в 1908 году. «Сейчас я в третьем старшем, а в июне перейду в четвертый младший». И еще: «Могу тебе сказать, что папа все еще не работает, в лавке дела немного, и я рада, что ты встала с постели».

Дело в том, что такой работы, которую умел делать отец, в те дни в Милуоки было мало; а когда он получал работу, то платили ему двадцать-двадцать пять центов в час. Дела в лавке тоже шли очень плохо, и, ко всему, у мамы случился выкидыш, и доктор уложил ее на несколько недель в постель. Я готовила, скребла полы, развешивала белье и присматривала за лавочкой, глотая слезы ярости от того, что мне приходилось пропускать занятия. Но мне не хотелось волновать Шейну. Ей и так нелегко приходилось в Денвере, и я старалась, чтобы мои письма были кратки и сжаты, хотя сознательно я никогда не обманывала ее насчет положения дел у нас дома.

Я очень скучала по Шейне, но годы без нее про-

неслись быстро. Школа меня поглощала целиком, а в немногие минуты, свободные от лавки, от помощи по дому и от приготовления уроков с Ципке, которую мистер Финн, директор школы, переименовал в Клару, я читала и читала. Иногда мы с Региной Гамбургер доставали (вероятно, через школу) билеты на спектакль или в кино. Это всегда был огромный праздник. До сих пор помню, как я смотрела «Хижину дяди Тома» и мучительно страдала вместе с дядей Томом и Евой. От ненависти к Симону Легри я то и дело вскакивала с места. Вероятно, это была первая пьеса, которую мне довелось увидеть на сцене, и я без конца пересказывала ее маме и Кларе. Мы чувствовали в ней какую-то особенную реальность.

Важное для меня событие произошло, когда я училась в четвертом классе: впервые я занялась «общественной работой». Хотя школа в Милуоки была бесплатная, за учебники все же полагалось платить по номиналу, что для моих соучеников было недоступно. Кто-то, разумеется, должен был что-то сделать, чтобы разрешить эту проблему. Я решила, что надо собрать деньги. Это был мой первый, но далеко не последний опыт сбора денег для создания фонда.

Мы с Региной собрали наших школьных девочек и объяснили, для чего нужно будет собирать деньги. Мы написали плакаты, где сообщалось, что Американское Общество юных сестер (мы необычайно гордились названием, которое придумали для нашей несуществующей организации) проведет публичный митинг по вопросу об учебниках. Поскольку я сама себя назначила председателем общества, то я же и сняла зал и разослала приглашения по всему нашему району. Сегодня мне кажется невероятным, что кто-то согласился сдать зал одиннадцатилетней девочке, но митинг состоялся в назначенный субботний вечер и на него пришли десятки людей. Программа была очень простая: я поговори-

ла насчет того, что всем детям, есть у них деньги или нет, нужны учебники, а Клара, которой тогда было восемь лет, прочитала социалистические стихи на идиш. Как сейчас вижу: крошечная рыжая девочка стоит перед аудиторией Пэкн-холла и декламирует, сопровождая свою декламацию драматическими жестами. Результат был двойной: было собрано, по нашим понятиям, довольно много денег, и родители осыпали нас с Кларой похвалами, когда мы все вместе возвращались с митинга домой. Я жалела только, что нет Шейны. Но все-таки я смогла послать ей вырезку из газеты с моей фотографией. Там говорилось о митинге: «Группа детей отдает весь свой досуг и все свои центы делу благотворительности, — да и благотворительную организацию они создали по собственной инициативе... Заслуживает внимания то, что самая благотворительность и есть вопиющий комментарий к интересному факту: дети, посещающие школу, не обеспечены учебниками! Подумайте, что это значит...»

Письмо, которое я написала Шейне по поводу митинга, было почти так же драматично, как Кларины стихи. «Дорогая сестра, — писала я, — могу сказать себе, что наш успех превзошел все, что когда-либо видел Пэкн-холл. А прием был просто великолепный...»

Мама упрашивала меня предварительно написать свою речь, но мне казалось правильнее сразу высказать все, что я хочу, что у меня на сердце. Учитывая, что это было мое первое публичное выступление, я думаю, что я с ним справилась. Во всяком случае, и потом, не считая важных политических заявлений в Объединенных Нациях или в Кнессете, я никогда не читала своих речей по бумажке и все пятьдесят следующих лет свои речи говорила «прямо из головы», как я написала Шейне летом 1909 года.

В то же лето мы с Региной получили нашу первую настоящую работу: нас приняли самыми младшими продавщицами в универмаг в центре города. В основном наше дело было заворачивать пакеты и бегать по поручениям — но мы зарабатывали по несколько долларов в неделю, и я была освобождена от каждодневного стояния в лавке. Мое место там чрезвычайно неохотно занял отец. Я себя чувствовала совершенно независимой; каждый вечер гладила свою юбку и блузку, а на рассвете отправлялась пешком к месту работы. Идти было далеко, но сэкономленные мною деньги за транспорт пошли на мое зимнее пальто — это была первая вещь, которую я купила на собственные заработки.

В четырнадцать лет я кончила начальную школу. Отметки у меня были хорошие. Мне поручили сказать от имени нашего класса прощальную речь. Будущее рисовалось мне в самых светлых красках. Очевидно, я поступлю в среднюю школу и, может быть, даже стану учительницей, чего мне хотелось больше всего. Я думала, да и сейчас думаю, что профессия учителя — самая благородная и дает самое большое удовлетворение. Хороший учитель открывает перед детьми целый мир, учит их пользоваться своими умственными способностями и всячески готовит их к жизни. Я знала, что сумею преподавать, если получу достаточное образование, и я хотела взять на себя именно такую ответственность. Регина, Сарра и я бесконечно разговаривали о том, что мы будем делать, когда вырастем. Часами в те летние вечера мы сидели на ступеньках нашего дома и рассуждали о будущем. Как и все девочки-подростки во всех частях света, мы думали, что принимаем сейчас самое важное в жизни решение — кроме замужества, но до замужества всем нам было еще так далеко, что и говорить о нем не стоило.

Но родители — и я должна была это понять, но

не поняла! — имели на меня другие виды. Думаю, что отцу хотелось, чтобы я получила образование: на церемонии выдачи наших школьных аттестатов глаза у него были мокрые. Мне кажется, он понимал, как это для меня важно. Но ему самому жилось очень тяжело, и он был не в состоянии мне по-настоящему помочь. Маму же ужасные отношения с Шейной ничему не научили; она, как всегда, точно знала, что я должна делать. Теперь, когда я окончила начальную школу, хорошо и без акцента говорила по-английски и вообще стала, по словам соседей, «эр-ваксене шейне мейдл» — рослой красивой девушкой, — теперь я должна весь день работать в лавке и раньше или позже — но лучше раньше — подумать серьезно о замужестве, а замужество, напоминала она мне, женщинам-учительницам запрещено законом штата.

«Если уж тебе так хочется иметь профессию, — говорила она, — то можно пойти на курсы секретарш и изучить стенографию. По крайней мере, не останешься старой девой».

Отец кивал. «Не стоит быть слишком умной, — предупреждал он. — Мужчины не любят умных девушек». Как когда-то Шейна, я всячески старалась переубедить родителей. Заливаясь слезами, я объясняла, что теперь образование необходимо даже для замужней женщины, и что я, во всяком случае, и если собираюсь замуж, то очень нескоро. И вообще, рыдала я, лучше мне умереть, чем всю жизнь, или даже часть жизни, гнуться над машинкой в грязной конторе.

Но ни доводы, ни слезы не помогали. Мои родители были убеждены, что средняя школа, по крайней мере для меня, — непозволительная роскошь, к тому же нежелательная. Поддерживала меня Шейна (к тому времени она пошла на поправку и уже выписалась из санатория) из далекого Денвера да Ша-

май, который приехал к ней туда. Они писали мне часто, адресуя письма на адрес Регины, чтобы о нашей переписке не узнали родители; я знала, что Шамай сначала мыл посуду в санатории, а потом его взяли в маленькую химчистку, обслуживающую один из денверских отелей. В свое время он учился на бухгалтера. Но — самое главное — несмотря на предостережения лечившего Шейну врача, они собирались пожениться. «Лучше мы проживем меньше, — решил Шамай, — но вместе». Это оказался один из самых счастливых браков, которые мне довелось видеть и, несмотря на мрачные предсказания врача, он длился сорок три года и результатом его были трое детей.

Поначалу родители наши были очень огорчены, особенно мама. «Еще один сумасшедший с великими идеями и без копейки в кармане! — фыркнула она. — И это муж для Шейны? Это человек, который сможет ее поддерживать и обеспечивать?» Но Шамай не только любил Шейну — он понимал ее. Он никогда с ней не спорил. Если он был уверен в своей правоте, то поступал, как считал нужным, и Шейна всегда признавала свое поражение. Но когда ей что-нибудь было по-настоящему нужно и важно — Шамай никогда ей не препятствовал. Узнав о том, что они собираются пожениться, я поняла, что Шейна получила то, чего она больше всего хотела и что ей было всего нужнее, а я, наконец, получила брата.

Я по секрету писала в Денвер, что вечные скандалы из-за школы делают мою жизнь дома невыносимой. Осенью 1912 года я бросила родителям вызов: поступила в среднюю школу, и после обеда и по выходным дням хваталась за любую работу, только бы не просить у них денег. Но и это не помогло: ссоры дома продолжались.

И последняя капля, переполнившая чашу: мама



подыскала мне мужа. Нет, она не хотела, чтобы я вышла замуж немедленно, конечно, нет, ей просто надо было быть уверенной, что я не только выйду замуж, когда достигну подходящего, по ее мнению, возраста, но и, в отличие от Шейны, выйду замуж за человека, прочно стоящего на ногах. Не за богача — об этом и речи не могло быть, — но за солидного человека. И она уже под сурдинку вела переговоры с мистером Гудштейном, симпатичным, приветливым и сравнительно обеспеченным тридцатилетним человеком, которого я знала, потому что он иногда заходил к нам в лавочку поболтать. Мистер Гудштейн! Но ведь он старик! Вдвое старше меня! Я написала Шейне бешеное письмо. Ответ из Денвера пришел немедленно. «Нет, ты не должна бросать школу. Ты еще молода, чтобы работать; у тебя есть шансы чего-то добиться», — писал Шамай. И с полным чистосердечием: «Мой совет тебе: собраться и приехать к нам. Мы тоже небогаты, но у нас ты сможешь продолжать учиться, и мы сделаем для тебя все, что в наших силах». В конце письма Шейна прислала теплое приглашение от себя лично: «Ты должна приехать немедленно! Нам хватит на всех, — уверяла она. — Все вместе мы сумеем продержаться. Во-первых, у тебя будет полная возможность учиться; во-вторых, сколько угодно еды; в-третьих — из одежды тоже будет все, что человеку необходимо».

Я и тогда была растрогана этим письмом, но теперь, перечитывая его, я чувствую, что у меня замирает сердце. Молодые, совершенно неустроенные — с какой готовностью они предлагали принять меня и разделить со мной все, что имеют! Это денверское письмо, написанное в ноябре 1912 года, стало поворотным пунктом в моей жизни, потому что именно в Денвере по-настоящему началось мое образование, именно там я стала взрослеть. Вероятно, если бы Шейна и Шамай не пришли мне на помощь, я ссо-

рилась бы с родителями и плакала по ночам, но все-таки продолжала бы ходить в школу. Не могу представить себе, чтобы я, на каких бы то ни было условиях, согласилась бы бросить школу и выйти замуж за мистера Гудштейна, столь поносимого мною, хотя, вероятно, и несправедливо. Но предложение Шама и Шейны было для меня как веревка для утопающего, и я за него ухватилась.

И еще одно письмо, которое пришло от Шейны перед самым моим отъездом в Денвер, я вспоминала много раз в последующие годы. Она писала: «Главное не волноваться! Будь всегда спокойна, веди себя хладнокровно. Такое поведение всегда приносит хорошие результаты. Держись!» Речь шла тут о том, чтобы убежать из дома, но я никогда не забывала этого совета, и он сослужил мне хорошую службу через несколько лет, когда я приехала в страну, которой предстояло стать моим настоящим домом; там я приготовилась к отчаянной борьбе за то, чтобы остаться.

Уехать в Денвер было делом нелегким. Мои родители никогда не согласились бы, чтобы я поехала жить к Шейне. Они бы просто этого не позволили. Оставалось только одно: уехать, ничего им не говоря. Может, это и не самый храбрый образ действия, но во всяком случае самый эффективный. Шейна и Шамай прислали мне часть денег на железнодорожный билет; мы с Региной обдумали детали моего бегства. Главной проблемой было собрать недостающие деньги. Немножко денег я одолжила у Сарры (учитывая, что я совершенно не представляла себе, когда и как сумею их отдать, это был очень «хладнокровный» поступок!); кроме того мы с Региной стали прямо на улице уговаривать новых иммигрантов брать у нас уроки английского по десять центов в час. Когда мы собрали достаточно, то принялись зарабатывать все прочие детали моего отъезда.

Регина была исключительно преданным союзником. Ей можно было абсолютно доверять, она не проговорится ни моим, ни своим родителям; но этого мало: у нее было еще и очень пылкое воображение. Правда, теперь мне кажется, что она представляла себе мой побег как что-то вроде похищения невесты. Она, например, предложила — а я с радостью согласилась, — чтобы в вечер накануне отъезда я спустила из окна узелок с моими вещами (к счастью, это был небольшой узелок), а она уже доставит его на станцию и сдаст в багаж. Я же прямо с утра должна была идти вместо школы на станцию.

Наступил роковой вечер. Я сидела на кухне с родителями, как всегда по вечерам, но на сердце у меня было тяжело. Пока они пили чай и разговаривали, я наскоро писала им записку, которую они прочтут завтра: всего несколько слов, да и слова какие попало. Я написала: «Я буду жить у Шейны, чтобы иметь возможность учиться». Еще я добавила, что им не о чем беспокоиться, и из Денвера я буду им писать. Думаю, что эта моя записка сильно их обидела; если бы я писала ее сегодня, я бы писала обдуманно и осторожно. Но тогда я была очень подавлена, и все-таки мне было только пятнадцать лет. Перед тем как лечь спать, я подошла к Клариной кровати и целую минуту смотрела на спящую сестренку. Меня мучило чувство вины, что я уезжаю даже не попрощавшись с ней; что станется с ней теперь, когда мы с Шейной навсегда (как я думала) покинули родительский дом? Клара выросла самой «американистой» из всех нас; это была тихая, скромная, нетребовательная девочка, которую все любили; но я никогда не обращала на нее особого внимания и фактически даже не слишком хорошо ее знала. Теперь же, покидая ее, я внезапно ощутила чувство ответственности. Оказалось, однако, чего я знать не могла, что положение единственного ребенка в доме

облегчило ей жизнь. Родители были гораздо снисходительнее к Кларе, чем к Шейне или ко мне, а мама даже иногда ее баловала. В нашей семье никто не был щедр на изливания чувств, но в тот вечер я погладила Кларино личико и поцеловала ее, хотя она и проспала мое с ней прощание.

Рано утром на следующий день я вышла из дому и, как было задумано, направилась на вокзал, чтобы сесть на денверский поезд. Мне никогда еще не приходилось путешествовать одной, и ни мне, ни моей подруге, участнице «заговора», и в голову не приходило, что поезда идут по расписанию. И так я с бьющимся сердцем сидела на вокзальной скамейке в то время, как родители читали мою записку. Но, как говорит еврейская пословица, счастья у меня было куда больше, чем ума; в возникшей суматохе никто не кинулся искать меня на вокзале. Когда поезд тронулся и я поняла, что еду к Шейне, я уже сознавала, что своим поступком жестоко оскорбила мать и отца, но не сомневалась, что сделать это было для меня по-настоящему необходимо. За два года, что я провела в Денвере, отец, так и не простивший меня, прислал только одно письмо. Но мы с мамой иногда писали друг другу. И когда я вернулась домой, мне уже не надо было воевать за право поступать так, как я хочу.

Обе — и Регина и Клара — прислали мне яркие описания того, как отнеслись дома к моему бегству. Письмо Клары было полно обвинений. Мама горько плакала, потом вытерла глаза и пошла к Регининой матери. Когда Регина пришла из школы домой, очень довольная собой, ее мать уже все знала насчет «несчастливого» пособничества мне, и Регина получила хорошую трепку. Но она была настоящая подруга, она меня ни в чем не упрекала. Напротив, в своем письме ко мне она скорее извинялась: «Надеюсь, что ты не обидишься, но все здесь думают, что ты убе-

жала с итальянцем. Почему это им пришло в голову — не понимаю... Ну, дорогая Голди, не сердись, что я об этом пишу, но что делать — ты сама просила... Я горела от обиды и негодования — но что я могла сделать?»

Надо сказать, что по-настоящему жизнь для меня началась в Денвере, хотя Шейна и Шамай оказались почти такими же строгими, как мои родители. Всем нам пришлось очень много работать. Шамай получил дополнительно к своей работе в химчистке еще полставки сторожа в местной телефонной компании. Решено было, что я после школы сидела вместо него в химчистке, а он шел на свою вторую работу. Уроки делать я могла и в химчистке, а если заказчику надо было что-нибудь погладить, то я могла сделать и это.

По вечерам после ужина Шейна гнала меня делать уроки, но я была совершенно очарована их гостями, которые забегали на минутку и сидели и разговаривали до поздней ночи. Бесконечные разговоры о политике казались мне гораздо интереснее, чем все мои уроки. Маленькая квартирка Шейны стала в Денвере чем-то вроде центра для еврейских иммигрантов из России, приехавших на запад лечиться в знаменитой денверской еврейской больнице для легочных больных (той самой, где Шейна пролежала так долго). Почти все они были неженаты. Среди них были анархисты, были социалисты и сионисты-социалисты. Все они уже переболели туберкулезом или были еще больны; все были вырваны из привычной почвы; все были страстно захвачены главными проблемами современности. Они разговаривали, спорили, даже ссорились часами по поводу того, что происходит в мире и что должно произойти. Разговаривали о философии анархизма Эммы Гольдман и Петра Кропоткина, о приезде Вильсона и о ситуации в Европе, о пацифизме, о роли

женщины в обществе, о будущем еврейского народа — и безостановочно пили чай с лимоном. Я благословляла эти чаепития, потому что благодаря им мне удавалось, несмотря на то, что Шейна это очень не одобряла, засиживаться до поздней ночи: я взяла на себя обязанность дезинфицировать чашки после ухода гостей — и против этого редко кто возражал.

Конечно, я тут была самая молодая, и мой идиш был не такой литературный, как у большинства спорщиков; но я ловила их речь с такой жадностью, словно от них зависели судьбы человечества; через некоторое время я иногда стала выражать и собственное мнение. Я не знала, что такое диалектический материализм и кто, собственно, такие Гегель, Кант и Шопенгауэр, но я знала, что социализм — это демократия, право рабочих на приличную жизнь, восьмичасовой рабочий день и конец эксплуатации. И я понимала, что тираны должны быть свергнуты, но никакая диктатура — в том числе и пролетарская — меня не привлекала.

Я жадно слушала всех, но всего внимательнее, как оказалось, я слушала сионистов-социалистов, и их политическая философия показалась мне самой разумной. Я поняла и приняла полностью идею национального очага для евреев — единственного места на земле, где они смогут быть свободными и независимыми, и, само собой разумеется, казалось мне, в таком месте они никогда не будут страдать ни от нужды, ни от эксплуатации, ни от страха перед другими людьми. Еврейский национальный очаг, который сионисты хотели создать в Палестине, заинтересовал меня гораздо больше, чем политические события в самом Денвере и даже чем то, что тогда происходило в России.

Эти разговоры у Шейны — они почти всегда велись на идиш, потому что мало кто из участников достаточно знал английский, чтобы свободно выска-

зываются по этим важным идеологическим вопросам, — затрагивали очень широкий круг проблем. Были вечера, когда больше всего спорили о литературе на идиш — о Шолом-Алейхеме, И. Л. Переце, Менделе Мойхер Сфориме, — были и другие вечера, где речь шла о специальных вопросах, например, об освобождении женщин или будущности трудюнионизма. Все это меня интересовало тоже, но когда начали говорить о таких людях, как Ахарон Давид Гордон, например, который в 1905 году уехал в Палестину и помог основать Дганию (киббуц, созданный через три года на пустынном краешке земли у Галлилейского озера), я превращалась в слух и меня начинали одолевать мечты о том, чтобы присоединиться к палестинским пионерам.

Не помню, кто из молодых людей у Шейны первый заговорил о Гордоне, но помню, как меня поразило то, что он рассказал. Пожилой человек с длинной седой бородой, делавшей его похожей на патриарха, незнакомый с физическим трудом, в возрасте пятидесяти лет приезжает в Палестину со всей семьей и начинает собственными руками обрабатывать ее землю и пишет о «религии труда», как называли это его «кредо» ученики. Гордон считал, что строительство Палестины станет величайшим еврейским вкладом в дело человечества. В стране Израиля евреи через собственный физический труд найдут путь к созданию справедливого общества — если каждый в отдельности приложит к этому все свои силы.

Гордон умер в 1922 году — через год после того, как я приехала в Палестину, — и я никогда с ним не встретилась. Но, пожалуй, из всех великих мыслителей и революционеров, о которых я слышала у Шейны, мне больше всего хотелось бы познакомиться с ним, и о том же я мечтала для своих внуков.

Поразила меня и романтическая история Рахел Блувштейн, нежной девушки, приехавшей из России в Палестину почти одновременно с Гордоном и находившейся под сильным его влиянием. Рахел, замечательно одаренная поэтесса, стала работать на земле в новом поселении у Галилейского озера, где и были написаны некоторые из лучших ее стихов. Не зная ни одного слова на иврите до приезда в Палестину, она стала одним из первых ивритских поэтов современности; многие ее стихи положены на музыку и их теперь поют в Израиле. Потом она заболела (туберкулезом, который убил ее, когда ей было сорок лет), и уже не могла работать на земле, которую так любила; но когда в Денвере я услышала впервые ее имя от человека, знавшего ее в России, она еще была молода.

Прошли годы. Когда у молодежи стало модно смеяться над несгибаемостью, рутинностью и преданностью истеблишменту моего поколения, я думала о бунтовщиках-интеллектуалах, таких, как Гордон, как Рахел, как десятки других. По-моему, никакие современные хиппи не бунтовали против истеблишмента так эффективно, как те пионеры начала века. Многие из них родились в семьях торговцев или ученых; многие — в богатых ассимилированных семьях. Если бы их воодушевлял только сионизм, то они могли бы приехать в Палестину, купить несколько апельсиновых рощ и нанять для работы арабов. Это было бы куда легче. Но они были политическими радикалами и глубоко верили, что только собственный труд может освободить евреев, избавить их от гетто и его ментальности; труд даст им, вдобавок к историческому, моральное право претендовать на землю Палестины. Были среди них поэты и больные, неуравновешенные люди, и люди с бурной личной жизнью; но их всех роднило страстное стремление экспериментировать, стремление



построить в Палестине хорошее справедливое общество, по крайней мере такое, которое будет лучше, чем то, что существовало в большей части остального мира. Коммуны, которые они основали — израильские киббуцы, — устояли, я уверена, только благодаря истинно революционному социальному идеалу, который лежал и лежит в их основе.

Во всяком случае, долгие ночные споры в Денвере сыграли большую роль в формировании моих убеждений и в моем приятии или неприятии разных идей. Но мое пребывание в Денвере имело и другие последствия. Среди молодых людей, часто приходивших к Шейне, одним из самых неразговорчивых был тихий и милый Моррис Меерсон, с сестрой которого Шейна познакомилась в санатории. Их семья, такая же бедная, как наша, приехала в Америку из Литвы. Отец умер, когда Моррис был маленьким, и ему пришлось рано пойти работать, чтобы содержать мать и трех сестер. В то время, когда мы встретились, он зарабатывал тем, что расписывал вывески.

Несмотря на то, что он не повышал голоса во время самых бурных ночных споров, я заметила Морриса потому, что он был так хорошо образован: он, самоучка, знал такие вещи, о которых Шейна и ее друзья и представления не имели. Он любил, знал, понимал искусство — поэзию, живопись, музыку; он мог без устали растолковывать достоинство какого-нибудь сонета — или сонаты — такому заинтересованному и невежественному слушателю, как я.

Когда мы с Моррисом познакомились ближе, мы стали вместе посещать бесплатные концерты в парке. Моррис терпеливо учил меня наслаждаться классической музыкой, читал мне Байрона, Шелли, Китса и «Рубайят» Омара Хайяма, водил меня на лекции по литературе, истории и философии. Некоторые музыкальные произведения для меня до сих пор ассоциируются с чистым и сухим горным воздухом

Денвера и чудесными парками, по которым мы с Моррисом бродили каждое воскресенье весной и летом 1913 года.

Особенно большое впечатление на меня произвел один концерт — не столько из-за музыки, которую я еле слышала, сколько из-за угрожающе-облачного неба. Ради Морриса мне хотелось выглядеть как можно лучше, поэтому накануне того дня я пошла в магазин (он назывался «пять и десять центов») и купила себе новую ярко-красную соломенную шляпу, поскольку в продаже были только такие. Купила с некоторой опаской, потому что она казалась мне немножко фривольной, но зато она мне очень шла, и я надеялась, что Моррису понравится. До сих пор с ужасом вспоминаю тот день, когда я ее впервые надела. Небо было сплошь затянуто тучами, Моррис даже не заметил моей шляпы, я же так боялась, что пойдет дождь и меня зальет красными струями, что я больше ни о чем не думала.

Моррисом я восхищалась безгранично, одна только Шейна вызывала у меня такое же восхищение. И причиной тому была не только его энциклопедическая образованность, но и его мягкость, ум и чудесное чувство юмора. Он был старше меня всего на пять-шесть лет, но казался гораздо взрослее, спокойнее и уравновешеннее. Не отдавая себе в этом отчета, я влюбилась в него, и не могла понять, что и он меня любит, хотя мы очень долго не говорили о наших взаимных чувствах.

Шейне тоже очень нравился Моррис, и она, к счастью, одобряла наши частые встречи. Но она строго напомнила мне, что не ради этого помогла мне бежать из дому, и вообще, я приехала в Денвер учиться, а не слушать музыку и читать стихи. К своей миссии опекунши Шейна относилась очень серьезно, сторожила меня, как ястреб, и через несколько месяцев мне стало казаться, что с тем же успехом я

могла бы оставаться в Милуоки. Шамай давил на меня гораздо меньше, но Шейна все круче натягивала поводья, и я стала проявлять норов. В один прекрасный день, когда Шейна особенно раскомандовалась и раскричалась, словно я была маленькая, я решила, что пора мне жить одной, без опеки и вечных приставаний, и ушла из дому как была, в черной юбке и белой блузке, в которых проходила целый день. Я не взяла с собой даже ночной рубашки, не считая себя вправе брать вещи, которые мне покупали Шейна и Шамай, раз я больше им не подчиняюсь и покидаю их дом. Закрыв за собой двери, я решила, что — все: отныне я сама за себя отвечаю.

Минут через десять я сообразила, что, пока я еще не зарабатываю, надо найти временное пристанище. Тут я несколько упала духом. На помощь пришли две Шейнины подруги, которым я призналась, что мне негде жить; они всегда очень хорошо ко мне относились и тут же предложили гостеприимство, которое я, приунывшая, с благодарностью приняла. К сожалению, это была не самая безопасная гавань: у обеих была вторая стадия туберкулеза. То, что я не заболела, можно объяснить только маминной пословицей «Нар'с мазл» — «дуракам счастье». Они жили в тесной квартирке, состоявшей из комнаты с нишей и кухни. Ниша, сказали они, будет в моем распоряжении столько, сколько я захочу. Но так как обе были тяжело больны, я понимала, что они должны ложиться спать рано и потому не решалась зажигать лампочку над своей кроватью, когда темнело. Единственным местом, где я могла читать, не беспокоя их и не слыша их мучительного ночного кашля, была ванная комната, там-то я и проводила ночи, закутавшись в одеяло, запасшись кипой книг и устрашающе длинным списком литературы, которым снабдил меня Моррис.

Конечно, в шестнадцать лет можно обойтись почти без всего, даже без сна, и я была очень довольна своей жизнью, а еще больше, говоря по правде, сама собой. Я не только нашла жилье, но и пришла к заключению, что средняя школа может подождать. Я твердила себе, что я научилась управляться с жизнью, а это важнее, чем школьные науки, к которым я раньше так тянулась. Теперь, когда у меня имелась ниша, надо было найти работу. Отец говорил: «Лес рубят, щепки летят». Я готова была к тому, что щепки будут щелкать меня по лицу: найти работу было нелегким делом. Но через день-два я нашла работу: в магазине, где шили юбки на заказ. Я снимала мерку для приклада. Нельзя сказать, что это была интересная или возвышающая душу работа, но она давала мне средства к существованию, и вскоре я смогла уже снять крошечную комнатку — и притом без палочек Коха. Одно из последствий моей тогдашней работы: даже и теперь я машинально обмеряю взглядом подол юбки и сама могу за- просто ее подшить.

Я считала себя, да и выглядела, очень взрослой для своего возраста, но, по правде говоря, нередко мне хотелось вернуться назад жить с Шейной, Шамаем и их новорожденной Юдит. Конечно, у меня был Моррис, о чем я даже написала Регине («Он не очень красивый, но у него прекрасная душа»), и другие приятели — в частности, удивительный молодой человек из Чикаго, по имени Йосл Копелев; он решил стать парикмахером, уверенный, что это единственная профессия, которая оставляет время для чтения; мы с Моррисом общались с ним очень часто. Но одно дело приятели, а другое — семья, и порой, особенно если рядом не было Морриса, я была столь же одинока, сколь независима. Однако поскольку ни я, ни Шейна не умели признавать свои

ошибки и извиняться, прошло несколько месяцев, пока мы помирились.

Так я провела в одиночестве около года. Наконец пришло письмо от отца — единственное, которое он написал мне за все время. Оно было очень краткое и било в точку. «Если тебе дорога жизнь твоей матери, — писал он, — ты должна немедленно вернуться домой». Я поняла, что для него написать мне значило подавить свою гордость, и, следовательно, я по-настоящему нужна дома. Мы с Моррисом обсудили это, и я решила, что надо возвращаться в Милуоки — к родителям, к Кларе, к школе. Откровенно говоря я не жалела, что возвращаюсь, хотя это означало разлуку с Моррисом, который должен был остаться в Денвере до выздоровления своей сестры. Однажды вечером, перед моим отъездом, Моррис смущенно признался, что любит меня и хочет на мне жениться. Счастливая и смущенная, я сказала, что люблю его тоже, но считаю себя слишком молодой для замужества; мы согласились, что нам следует подождать. Отношения наши мы решили сохранять в тайне, но все время писать друг другу. Таким образом, в Милуоки я уехала — о чем сказала на следующий день Регине — в блаженном состоянии духа.



## Я ВЫБИРАЮ ПАЛЕСТИНУ

Дома у нас все изменилось. Родители очень смягчились, их материальное положение улучшилось, Клара стала подростком. Семья переехала в новую, лучшую квартиру на Десятой улице — там всегда былолюдно и кипела жизнь. Теперь у родителей не было возражений по поводу моего поступления в среднюю школу: они не протестовали даже тогда, когда я, окончив ее, записалась в октябре 1916 года в Нормальную школу Милуоки (тогда она носила название «Учительский колледж»). Вряд ли они поверили, что я нуждаюсь еще в каком-нибудь дополнительном образовании, — но они позволили мне поступить по-своему, и наши отношения от этого улучшились неузнаваемо, хотя мы с мамой все-таки иной раз ссорились. Одной из причин ссор были письма Морриса. Мама считала своим долгом быть в курсе дела (кто-то, вероятно Шейна, написала ей о моем денверском романе) и как-то раз она заставила Клару прочесть и перевести ей на идиш целую пачку этих писем (мы с Моррисом переписывались по-английски, на котором мама читала с трудом). Позже Клара, понимая, что сделала ужасную вещь, все рассказала мне; при этом она клялась, что пропускала «все слишком личное», как она тактично выражалась. После этого Моррис стал писать на адрес Регины.

По мере того, как их жизнь становилась легче, мои родители стали принимать все большее участие

в общественной жизни. Мама, которой, думаю, и в голову не приходило, что она может проявить себя вне узкого круга семейных дел и обязанностей, выказала, тем не менее, природный талант к благотворительности; возможно, он развился благодаря покупателям, рассказывавшим ей о своих затруднениях, пока она развешивала для них рис и сахар. Словом, хоть она и была занята как никогда, но жилось ей легче; однако у нее была очень сердившая меня привычка заявлять, что в Милуоки все хуже, чем в Пинске. Например, фрукты. Кто в Пинске мог есть фрукты? Во всяком случае, не наша семья. Но мама продолжала восхвалять все, что было «дома», а я со временем научилась не взрывать каждый раз, когда она делала это.

Слушая про чьи-нибудь невзгоды, помогая управляться с благотворительным базаром или лотереей, мама не переставала печь и жарить. Она делала это прекрасно; у нее я научилась готовить простую и питательную еврейскую пищу, — ту самую, которую люблю и готовлю по сей день, несмотря на то, что сын и один из внуков — они считают себя знатоками и льют вино в любое блюдо — критикуют мою «лишенную воображения» стряпню (однако никогда от нее не отказываются). По вечерам в пятницу, когда мы усаживались за субботнюю трапезу — куриный бульон, фаршированная рыба, мясо с картошкой и луком, цимес из моркови со сливами, — кроме отца, Клары и меня за столом почти всегда были гости, приехавшие издалека, и порой их визиты затягивались на несколько недель.

Во время Первой мировой войны мама превратила наш дом в перевалочный пункт для юношей, вступавших добровольцами в Еврейский легион Британской армии; они под еврейским флагом шли освобождать Палестину от турок. Молодые люди из Милуоки, вступавшие в легион (воинской повинности

иммигранты не подлежали), уходили от нас с двумя мешочками: маленький, вышитый руками мамы, мешочек служил для талеса и филактерий; другой мешочек, гораздо более вместимый, был наполнен еще горячим печеньем из ее духовки. Она с открытым сердцем держала открытый дом и, вспоминая это время, я слышу ее смех на кухне, где она чистит морковь, жарит лук и режет рыбу для субботнего ужина, болтая с одним из гостей, который будет ночевать на кушетке у нас в гостиной.

Отец тоже принимал активное участие в еврейской жизни города. Большинство из тех, кто спал на нашей знаменитой кушетке, были сионисты-социалисты с Восточного побережья, идишские писатели, ездившие с лекциями по стране и жившие за городом, члены Бней Брита (еврейское братство, к которому мой отец принадлежал). Короче говоря, мои родители полностью интегрировались, и их дом стал для милуокской общины и ее гостей чем-то вроде учреждения. Среди тех, кого я тогда впервые увидела и услышала, многие имели впоследствии огромное влияние не только на мою жизнь, но, что гораздо важнее, на сионистское движение, в частности на социалистическое его крыло. Некоторые оказались в числе отцов-основателей еврейского государства.

Вспоминая людей, проезжавших через Милуоки в те годы, которые произвели на меня впечатление, я прежде всего думаю о Нахмане Сыркине — пламенном идеологе сионистов-социалистов — Поалей Цион. Сыркин, русский еврей, изучавший в Берлине философию и психологию, вернулся в Россию после 1905 года, а затем эмигрировал в Соединенные Штаты, где стал лидером Поалей Цион. Сыркин считал, что единственная надежда еврейского пролетариата (он называл его «рабом рабов» и «пролетариатом пролетариата») — это массовая эмиграция



в Палестину, и об этом он писал и блистательно говорил в Америке и в Европе. Моя любимая история о Сыркине (дочь которого, Мари, стала моим близким другом, а потом и биографом) — этот спор его с доктором Хаимом Житловским, известным защитником идиша как еврейского национального языка. Для Житловского главным был чисто правовой аспект еврейского вопроса; Сыркин же был страстным сионистом и сторонником возрождения иврита. Во время их спора Сыркин сказал: «Ладно, давайте поговорим о разделе. Вы берете все, что уже существует, а я то, чего еще нет. Например, Эрец-Исраэль (Земля Израиля) еще не существует как еврейское государство, поэтому она моя; диаспора существует, значит, она ваша. Идиш существует — он ваш; на иврите в повседневной жизни не говорят — стало быть, он мой. Ваш удел — все реальное и конкретное, а моим пусть будет то, что вы зовете пустыми мечтаньями».

Или Шмарьяху Левин. Без сомнения, это был один из величайших сионистских ораторов того времени; тысячи евреев покорялись его остроумию и шарму. Как и Сыркина, теперь его помнят смутно, и если молодые израильтяне знают его, то лишь потому, что в каждом, самом маленьком, городе Израиля есть улица его имени. Для моего же поколения он был один из гигантов, и если мы кого обожали, то, конечно, элегантного, мягкого интеллектуала Шмарью (Шмарьяху — его полное имя). Юмор его был типично идишский, так что его остроты даже трудно перевести на другой язык. Он, например, говорил о евреях: народ мы маленький, да паскудненький. Или, иронически описывая Палестину, говорил, что это прекрасная страна: зиму можно проводить в Египте (где редки дожди), а лето — в Ливанских горах. Как-то во время сионистского кон-

гресса в Швейцарии он подошел ко мне очень взволнованный. «Голда, — сказал он, — у меня есть дивная мораль для басни. Но басни-то нет!» В 1924 году Шмарья поселился в Палестине, и наши пути стали пересекаться. Особенно живо я помню ужас, охвативший меня в 1929 году в Чикаго: меня попросили выступить на очень большом митинге — на таком мне не случалось еще выступать, — и вдруг я увидела Шмарью в одном из первых рядов. «Боже мой! — подумала, — как же я посмею открыть рот, когда тут сидит Шмарья?» Но я выступила и потом получила большое удовольствие, когда он сказал, что я хорошо говорила.

Первые палестинцы, которых я встретила, были Ицхак Бен-Цви, ставший потом вторым президентом Израиля, Яков Зрубавел, известный сионист-социалист и писатель, и Давид Бен-Гурион. Бен-Цви и Бен-Гурион приехали в Милуоки в 1916 году вербовать солдат для Еврейского легиона; они жили в Палестине, но турецкое правительство их выслало, запретив когда-либо туда возвращаться. Зрубавел, осужденный на тюремное заключение, сумел бежать, но был заочно приговорен к пятнадцати годам каторжных работ.

Никогда раньше я не встречала таких людей, как эти палестинцы, никогда не слышала таких рассказов про ишув (маленькую еврейскую общину в Палестине, в то время сократившуюся с 85 до 56 тысяч). Тогда я впервые узнала, как страдает ишув от жестокого турецкого режима, заморозившего всякую нормальную жизнь в стране. Их сжигала тревога о судьбах евреев Палестины, и они были убеждены, что евреи смогут предъявить свои права на родину только после войны и только в том случае, если евреи, именно как евреи, сыграют в войне значительную и заметную роль. Они говорили о Еврей-

ском легионе с таким чувством, что я сразу пошла туда записываться — и получила сокрушительный удар: девушек не принимали.

К этому времени я знала о Палестине немало, но более теоретически. Эти же палестинцы говорили не о взглядах в теории сионизма, а о его реальности. Они подробно рассказывали о пятидесяти еврейских сельскохозяйственных поселениях, существующих там, и говорили о гордоновской Дгании так, что она начинала казаться реальной, населенной живыми людьми, а не мифическими героями и героинями. Рассказывали о Тель-Авиве, только что основанном на песчаных дюнах за Яффой и о Хашомере, еврейской самообороне, организованной ишувом, в которой они участвовали. Но больше всего они говорили о том, как страстно ждут победы союзников над турками. Все они работали в Палестине бок о бок, а Бен-Цви часто говорил о четвертом члене группы — Рахел Янаит, которая позже стала его женой. Для меня она стала типичной представительницей женщин ишува, доказавших, что можно быть одновременно женой, матерью и товарищем по оружию, не только не жалуясь, но гордясь этим. Мне казалось, что она и такие, как она, без всякой рекламы делают для освобождения женщин больше, чем самые воинственные суфражистки Соединенных Штатов и Англии.

Я слушала палестинцев как зачарованная везде, где они выступали, но прошло несколько месяцев, пока я осмелилась к ним обратиться. Разговаривать с Бен-Цви и Зрубавелом было куда легче, чем с Бен-Гурионом: они были сердечнее и не были такими догматиками. Бен-Цви несколько раз приезжал в Милуоки и останавливался в доме моих родителей. Он сидел с нами за столом, пел с нами песни на идиш и терпеливо отвечал на наши вопросы о Палестине. Это был высокий, довольно застенчивый молодой

человек с ласковой улыбкой и мягкими, скромными манерами, которые сразу же привлекали к нему людей.

Что касается Бен-Гуриона, то мое первое воспоминание — о том, как я с ним не встретилась. Его ждали в Милуоки, где он должен был выступить в субботу вечером, а потом, в воскресенье, обедать у моих родителей. Но в эту субботу в город приехала Чикагская филармония. Моррис, к тому времени уже находившийся в Милуоки, пригласил меня на концерт еще за несколько недель перед тем; я считала своим долгом пойти с ним, хотя не могу сказать, что получила в тот вечер большое удовольствие от музыки. На следующий день члены Поалей Цион известили меня, что обед отменяется. Несправедливо, сказали мне, что человек, не потрудившийся прийти на выступление Бен-Гуриона, — а я, конечно, была слишком сконфужена, чтобы объяснить личные причины, помешавшие мне там присутствовать, — несправедливо, чтобы такой человек беседовал с ним за обедом. Сердце мое разрывалось, но я сочла, что они правы и стоически приняла их приговор. Потом, конечно, я познакомилась с Бен-Гурионом и очень долго продолжала испытывать перед ним благоговейный страх. Это был один из самых неприступных людей, каких я знала, и что-то было в нем, мешавшее людям его понять. Но о Бен-Гурионе — позже.

Постепенно сионизм наполнял мою жизнь и сознание. Я не сомневалась, что, так как я еврейка, мое место в Палестине и что, так как я сионистка-социалистка, я смогу работать в ишуве, чтобы достичь стоящих перед нами социальных и экономических целей. Я еще не решилась уезжать — тому еще не пришло время. Но я знала, что не примкну к «салонным сионистам», которые агитируют других поселиться в Палестине, а сами сидят на месте. И

отказалась вступить в партию Поалей Цион прежде, чем приму окончательное решение.

А была еще школа, был Моррис. Пока он оставался в Денвере, мы регулярно переписывались и, перечитывая эти письма теперь, я вижу, что были в моей жизни маленькие трагедии и сомнения, знакомые всем девушкам. Почему у меня не черные, как смоль, волосы и не огромные сияющие глаза? Любит ли он меня? Мои письма, вероятно, были пересыпаны плохо скрытыми просьбами меня успокоить — и он успокаивал, хоть и не в слишком галантных выражениях. «Я много раз просил тебя не возражать мне, когда я говорю о твоей красоте, — писал он. — Каждый раз ты выскакиваешь с одними и теми же робкими и самоунижительными замечаниями, которых я терпеть не могу».

В других письмах мы конфузливо строили планы общего будущего, и дело неминуемо кончалось тем, что мы писали друг другу о Палестине. Моррис тогда верил в сионизм гораздо меньше, чем я; он был и романтичнее, и более склонен к размышлениям. Он мечтал о мире, где все будут жить мирно, а национальное самоопределение не слишком его привлекало. Он не думал, что евреям очень поможет наличие собственного государства. Ну, будет еще одно государство, с обычными государственными тяготами и наказаниями. Вот что он писал мне в 1915 году: «Не знаю, радоваться или печалиться, что ты стала такой страстной националисткой. Я в этом отношении совершенно пассивен, хотя очень уважаю твою деятельность, как и всякую другую, направленную на помощь страдающему народу. На днях я получил приглашение на митинг... Но так как я не вижу большой разницы между тем, где будут страдать евреи — в России или на Святой земле, то я и не пошел...»

В 1915 году евреи страдали во многих странах, и

мы с отцом стали работать вместе во всяких организациях, созданных для оказания им помощи; это, кстати, нас сблизило. В Первую мировую войну, как и во Вторую, большинство мероприятий по помощи евреям Европы управлялись созданным тогда «Джойнтом» (Объединенным комитетом по распределению помощи). Но в отличие от того, что было в 1940 году, дела этой замечательной организации велись в ту пору — и довольно плохо — группой бюрократов, заседавших в Нью-Йорке, и «Джойнт» стал мишенью для жестоких критических нападок. В результате социалистические еврейские группы решили основать собственную организацию, которую они назвали «Народный комитет помощи», и сюда-то мы с отцом и вошли. Мы работали дружно, и до сих пор я с радостью вспоминаю наше содружество — хотя, по моему, отец был несколько ошеломлен тем, что я становлюсь взрослой. В новой организации отец представлял свой профсоюз, а я — маленькую литературную группу сионистов-социалистов, которую посещала после школы. Хотя теперь даже не помню ее хитрого названия, я участвовала в ее деятельности. У нас была своя программа лекций; лекторов мы приглашали из Чикаго. Они приезжали в Милуоки каждые две недели и проводили нечто вроде семинара по разным аспектам идишской литературы. Нам вечно не хватало денег на оплату лекторов и аренду зала, поэтому мы брали с наших членов по двадцать пять центов за лекцию — довольно много для того времени. Один мужчина посещал все лекции, но отказывался платить. «Я не ради лекции прихожу, — объяснял он, — я прихожу, чтобы задать вопрос».

К концу войны родилось еще одно еврейское движение — Американский Еврейский Конгресс. Ему предстояло сыграть ведущую роль в создании Всемирного Еврейского Конгресса в 1930 году. В те дни

Бунд (пересаженный на американскую почву) не возражал против создания Конгресса, хотя и противился яростно его пропалестинской ориентации. В 1918 году, когда во всех больших еврейских общинах Америки проводились выборы — это были первые выборы, которые проводили американские евреи, — страсти накалились. Сионисты тащили в одну сторону, бундовцы — в другую. Мы с отцом активно участвовали в выборной кампании и не сомневались, что Конгресс должен поддержать сионизм.

Я решила, что работать среди евреев надо поблизости от синагоги, особенно во время еврейских праздников, когда в синагогу ходят все. Но так как обращаться к конгрегации молящихся имеют право только мужчины, то я поставила ящик из-под мыла у самого выхода из синагоги, взобралась на него, и выходящие вынуждены были слушать хоть часть того, что я говорила о платформе Поалей Цион. Самоуверенности в этом случае у меня хватало; так как очень много людей, выходящих из синагоги, останавливались, чтобы меня послушать, я решила, что мне следует повторить свое выступление в каком-нибудь другом месте. О моих планах узнал отец, и начался страшный скандал. «Дочь Мойше Мабовича! — гремел он. Стоять на ящике посреди улицы, чтобы все на тебя пялили глаза! Шанде! Стыд-позор!» Я пыталась объяснить, что я обязалась выступить, что друзья ждут меня на улице, что в этом нет ничего необыкновенного. Но отец не хотел ничего слышать. Мама стояла между нами, как судья между боксерами, а мы кричали до хрипоты.

Никто так и не уступил. Отец, красный от бешенства, крикнул, что если я все-таки пойду, то прищипит меня домой за косу. Я не сомневалась, что он так и сделает — обычно он свои обещания сдерживал, но я все-таки пошла. Предупредив своих друзей на углу о том, что отец вступил на тропу войны, я

влезла на свой ящик и произнесла речь, умирая от страха. Когда я наконец пришла домой, мама ждала меня на кухне. Отец уже спал, но, оказывается, он побывал на уличном митинге и слышал мое выступление. «И откуда у нее все это?» — с удивлением сказал он маме. Он так увлекся моим выступлением на ящике из-под мыла, что совершенно забыл о своей угрозе. Больше никто из нас не вспоминал об этом случае, но я лично считаю ту свою речь самой удачной в моей жизни.

Примерно в это же время я начала по-настоящему преподавать. Деятели Поалей Цион открыли народную школу, «фолксшуле» — школу на идиш в еврейском центре Милуоки. Занятия проходили в субботу вечером, в воскресенье днем и после полудни в один из будних дней. Я преподавала идиш: чтение, письмо, начатки литературы и истории. Идиш, казалось мне, есть самая крепкая связь между евреями, и я любила преподавать его. Не к этому готовила меня милуокская Нормальная школа, но я радовалась, что могу познакомить еврейских детей в нашем городе с великими идишскими писателями, которыми так восхищалась. Конечно, английский язык прекрасен, но идиш был языком еврейской улицы, тем естественным, теплым, домашним языком, который объединял разбросанную нацию. Теперь мне кажется, что тут я проявляла даже некий педантизм: если кто из детей мешал идиш с английским, то мне это казалось преступлением. Было время, когда я считала, что в Палестине у евреев должно быть два языка — идиш и иврит. Уж там-то! Разве можно подумать о том, чтобы там обойтись без идиша? Когда деятели Поалей Цион захотели открыть отделение англоговорящих и обратились с этим ко мне, я и слышать об этом не захотела. Если люди хотят вступить в Поалей Цион, то они уж во всяком случае должны знать идиш! Конечно, потом оказа-



лось, что я сделала бы лучше, если бы в то время приналегла на иврит, но кто мог это знать? Потом, в Палестине, я, разумеется, выучила иврит, но мой иврит никогда не был так хорош, как мой идиш.

Мне нравилось преподавать в фолксшколе. Я любила детей, и они меня любили, и я чувствовала, что приношу пользу. По воскресеньям, если позволяла погода, мы с родителями, с некоторыми учениками и с Моррисом (если он был в это время в Милуоки) отправлялись на пикник. Мама заготавливала горы еды; мы усаживались в парке под деревьями и пели. Тогда я еще не курила и распевала вовсю. Потом родители засыпали на траве, накрыв лица еврейскими газетами, издававшимися на Восточном побережье, — каждую субботу они прочитывали эти газеты от доски до доски, — а мы разговаривали о жизни, свободе и стремлении к счастью до самого захода солнца. С заходом солнца мы отправлялись домой, и мама кормила нас всех ужином.

Сразу после войны, когда по Украине и Польше прокатились еврейские погромы (на Украине ответственность за них нес, в основном, известный командующий Украинской армией — Симон Петлюра, чьи войска вырезали целые еврейские общины), я помогла организовать марш протеста на одной из главных улиц Милуоки. Еврей — владелец большого универмага — услышал о моих планах и попросил меня к нему зайти. «Я слышал, что вы собираетесь устроить демонстрацию на Вашингтон-авеню, — сказал он. — Если вы это сделаете, то я уеду из этого города, так и знайте». Я сказала, что не возражаю, пусть уезжает, марш все равно будет проведен. Меня совершенно не беспокоило, что подумают или скажут люди, хотя он считал с моей стороны это неразумным. Евреям нечего стыдиться, сказала я, более того, я уверена, что выражаю свои чувства

по поводу убийств и надругательств, которым подвергаются евреи за океаном, мы заслужим уважение и сочувствие всего нашего города.

Это была очень удавшаяся манифестация. В ней приняли участие сотни людей, хотя трудно было поверить, что в Милуоки столько евреев. Меня изумило (несмотря на храбрые заявления, которые я делала владельцу универмага), что в демонстрации участвовало столько неевреев. Я смотрела в глаза людям, стоявшим вдоль тротуаров, и чувствовала, что они поддерживают нас. В те дни марши протеста были редкостью, и нас прославили на всю Америку. Пожалуй, тут уместно будет сказать, что я лично никогда не сталкивалась в Милуоки с проявлениями антисемитизма. Хоть я и жила в еврейском районе и общалась главным образом с евреями, и в школе, и вне школы, у меня, разумеется, были и друзья-неевреи. Так было на протяжении всей моей жизни. И хотя они не были так же близки мне, как евреи, я чувствовала себя с ними совершенно свободно и непринужденно.

Думаю, что именно в день нашего марша я поняла, что нельзя больше откладывать решение о переезде в Палестину. Пора было решать, где я буду жить, как ни тяжело это мое решение будет для тех, кто был мне дороже всего. Я чувствовала, что Палестина, а не парады в Милуоки, будет единственным настоящим ответом петлюровским бандам убийц. У евреев опять должна быть их собственная страна, и я должна этому помочь не речами или сбором денежных средств, а тем, что сама буду там жить и работать.

Прежде всего я вступила в партию Поалей Цион, — это стало моим первым шагом по дороге в Палестину. В то время при Поалей Цион не было молодежной организации. По уставу, в партию при-

нимались только люди, достигшие 18 лет. Мне было семнадцать, но меня в партии уже знали и поэтому приняли. Оставалось еще убедить Морриса поехать со мной в Палестину, потому что я и подумать не могла о том, что мы можем быть не вместе. Я знала, что даже если он согласится, нам все-таки придется подождать годик-другой, хотя бы пока мы соберем деньги на проезд; но абсолютно необходимо было, чтобы Моррис, прежде чем поженится, знал, что я твердо решила жить там. Я не ставила ему ультиматума, но четко объяснила свою позицию: я очень хотела выйти за него замуж и решила окончательно, что уеду в Палестину. «Я знаю, что ты не так стремишься туда, как я, — сказала я ему, — но я прошу тебя поехать туда со мной». Моррис ответил, что очень меня любит, но о переезде в Палестину он хочет еще подумать и прийти к самостоятельному решению. Теперь я понимаю, что Моррис гораздо более восприимчивый и менее импульсивный, чем я, хотел отсрочки не только для того, чтобы взвесить вопрос о переезде в Палестину, но и для того, чтобы обдумать, действительно ли мы подходим друг другу. Перед приездом в Милуоки он писал мне из Денвера: «Перестанешь ли ты когда-нибудь спрашивать себя, есть ли у твоего Морриса то единственное качество, без которого прочие ничего не стоят, — а именно, упорная, непобедимая воля?» Это был вопрос из тех, которые влюбленные задают друг другу, не ожидая или не желая ответа; я никогда не сомневалась, что воля у него есть.

Но Моррис был мудрее; вероятно, он почувствовал, что кое в чем мы очень непохожи, и когда-нибудь это непременно скажется.

На некоторое время мы расстались. Я бросила школу (как странно, что школа перестала казаться мне моим важнейшим делом!) и уехала в Чикаго, где меня взяли на работу в публичную библиотеку на

том основании, что некоторое время я проработала в Милуоки библиотекарем. В Чикаго уже жили Шейна и Шамай со своими детьми. Шамай работал там в еврейской газете. Туда же переехала и Регина; я видела их всех очень часто, хотя жила с другой подругой. Но я вовсе не чувствовала себя счастливой. Мысль о том, что придется выбирать между Моррисом и Палестиной, меня мучила. Я держалась довольно замкнуто и в свободное время работала для Поалей Цион — выступала, организовывала митинги, проводила сбор средств. Всегда находилось что-нибудь более важное, чем мои личные тревоги. Ситуация эта не слишком изменилась и в последующие шесть десятилетий.

К счастью, Моррис, хотя он и не принимал Палестину безоговорочно, все-таки испытывал к ней тягу достаточно сильно, чтобы согласиться уехать со мной. Без сомнения, на его решение повлияло и то, что в ноябре 1917 года британское правительство объявило, что относится положительно «к созданию в Палестине национального очага для еврейского народа» и что оно «приложит все усилия, чтобы облегчить осуществление этой цели». Декларация Бальфура — названная так потому, что ее подписал Артур Джеймс Бальфур, в то время британский министр иностранных дел, — была изложена в форме письма от лорда Бальфура к лорду Ротшильду. Она появилась в то самое время, когда британские войска под командованием генерала Алленби начали отвоевывать у турок Палестину. Сионисты в 1917 году ее приветствовали, поскольку она создавала основу для британской республики в Палестине. Надо ли говорить, что я приняла Декларацию с восторгом? Изгнание евреев кончилось. Теперь в самом деле начнется их объединение, и мы вместе с Моррисом будем среди миллионов евреев, которые, конечно же, устремятся в Палестину.

На фоне этого исторического события мы и поженились — 24 декабря 1917 года, в доме моих родителей. Этому предшествовал как всегда долгий и взволнованный спор с мамой. Мы хотели просто гражданской регистрации брака, без гостей и праздничной суеты. Мы были социалисты: к традиции относились терпимо, но без ритуала свободно могли обойтись. Религиозного обряда мы не хотели и в нем не нуждались. Но мама в самых недвусмысленных выражениях сообщила мне, что гражданская свадьба ее убьет, что ей придется немедленно уехать из Милуоки и что я навлеку позор на всю семью, не говоря уже обо всем еврейском народе, если у меня не будет традиционной свадьбы. И вообще, чем это нам помешает? Мы с Моррисом сдались; и в самом деле, почему пятнадцать минут под хуппой (хуппа — свадебный балдахин) нанесут ущерб нашим принципам? Мы пригласили несколько человек, мама приготовила угощение и рабби Шейнфельд, один из настоящих еврейских ученых, живших в Милуоки, обвенчал нас. До последнего дня своей жизни мама с гордостью рассказывала про то, что рабби Шейнфельд пришел венчать меня к нам домой, сам в своей речи пожелал нам счастья и — мало того! — он, известный строгостью своих религиозных принципов, никогда ничего не пивший и не евший в чужом доме, — попробовал кусочек ее пирога. И с тех пор я часто думала, как много тот день для нее значил и как я чуть не разрушила этого своим решением просто зарегистрироваться в сити-холле.

И снова я начала новую жизнь. Пинск, Милуоки, Денвер — все это были как бы промежуточные станции. Теперь я замужняя женщина, мне скоро двадцать лет, и я собираюсь уехать в ту единственную страну, в которую стремлюсь по-настоящему. Но мы не могли уехать сразу же, потому что еще продолжалась война. В доме родителей не было для

нас комнаты, да и мы сами не слишком хотели жить с кем-нибудь вместе, так что мы поселились в собственной квартире. В ней мы прожили года два, из которых половину времени я провела в разъездах по партийным делам. Причина такой моей популярности была, думаю, в том, что я была молода, одинаково свободно говорила по-английски и на идиш и готова была ехать куда угодно и выступать без особой предварительной подготовки. Через несколько месяцев после нашей свадьбы партия решила издавать центральную газету и ко мне обратились с просьбой принять участие в распространении акций этого предприятия. Отец был вне себя. «Кто так делает? Оставлять мужа одного и самой таскаться по дорогам!» — кричал он, возмущенный, что я согласилась уехать из Милуоки больше чем на два-три дня. Но Моррис понимал, что я не могла сказать партии «нет!», и я уехала и отсутствовала несколько недель. Мне платили 15 долларов в неделю и оплачивали все мои расходы, то есть все траты на еду, кроме десерта! За мороженое я платила сама. В то время члены партии не останавливались в гостиницах. Я ночевала у партийных товарищей, случалось даже — в одной постели с хозяйкой.

Так я доехала до Канады, и тут оказалось, что у меня нет паспорта. У Морриса еще не было тогда американского гражданства, а в те времена замужняя женщина на собственное гражданство не имела права. Тут мог бы помочь паспорт моего отца, но он так сердился на меня за то, что я уехала, что отказался мне его прислать. Я попыталась въехать в Канаду без паспорта. Разумеется, как только мы доехали до Монреаля, меня сняли с поезда, отвели в отдел иммиграции и вежливо, но настойчиво стали расспрашивать, что, собственно, я себе думаю. Мало того, что я приехала из Милуоки — города социалистов, я еще и родилась в России! По-моему, ка-

надские власти уже решили, что поймали большевистского агента, но в конце концов мне на помощь пришел видный деятель партии Поалей Цион и меня впустили в Канаду. Я продала много акций новой газеты (она называлась «Ди Цейт» — «Время»), а когда мы переехали в Нью-Йорк, я продавала ее на улице. Но, несмотря на все мои усилия, она просуществовала недолго.

Вероятно, для Морриса были тяжелы мои долгие отлучки, но он был бесконечно терпелив и все понимал; теперь я вижу, что до некоторой степени я злоупотребляла его терпимостью. Когда я уезжала, я писала ему длинные письма, но в них говорилось главным образом о митингах, на которых я выступала или собиралась выступать, о ситуации в Палестине, о положении в партии, а не о нас и наших отношениях. Моррис во время моих отъездов утешался тем, что старался превратить нашу крошечную квартиру в Милуоки в настоящий семейный очаг. Он вырезал и обрамлял картинки из журналов, чтобы стены выглядели веселее. И хотя денег у нас не было и он часто сидел без работы (когда ему удавалось, он зарабатывал тем, что расписывал вывески), в доме меня всегда ждали цветы. Во время моих поездок он читал, слушал музыку, помогал Кларе справляться с бурями и горестями юности. Они гуляли вдвоем, Моррис водил ее в театр и в концерты. Только он из всей семьи уделял ей время, и она его обожала и рассказывала ему все свои секреты.

Зимой 1918 года Американский Еврейский Конгресс провел свою первую сессию в Филадельфии. Главной задачей было выработать (для предъявления на Версальской мирной конференции) программу защиты гражданских прав евреев Европы. В делегацию Милуоки, к моему изумлению и восторгу, была избрана и я. Это оказалось великолепным стимулом; до сих пор помню, как горда я была, что меня

выбрали представлять нашу общину, и что я чувствовала, сидя с другими делегатами в слишком жарко натопленном поезде, который вез нас в Филадельфию. Я была (как и всегда в то время) самая молодая в нашей группе, и все меня по-своему баловали, пока дело не доходило до распределения должностей. Когда теперь журналисты спрашивают меня, когда, собственно, началась моя политическая карьера, мысль моя всегда возвращается к тому первому съезду, к тому прокурорскому залу в филадельфийском отеле, где я сидела долгие часы, совершенно поглощенная обсуждением деталей программы, возбужденными дебатами и тем, что имею тут право голоса. «Говорю тебе, тут были моменты такой высоты, что после них человек мог умереть счастливым», — восторженно писала я Моррису.

Шейна писала мне из Чикаго встревоженные письма, предупреждая, что я слишком увлекаюсь общественными делами, в ущерб личным. «Когда речь идет о личном счастье, держи его, Голди, держи его крепче, — взволнованно писала она. — Единственное, чего я тебе желаю от всего сердца, — не старайся быть тем, чем ты должна быть, будь просто сама собой. Если бы каждый был просто тем, что он есть, наш мир был бы гораздо лучше». Но я была уверена, что могу все совместить, и уверяла Морриса, что когда, наконец, мы переедем в Палестину, я больше не буду бесконечно разъезжать.

Зимой 1920 года стало похоже, что вскоре сможем уехать. Мы сняли квартиру в Нью-Йорке в районе Морнингсайд Хайтс и начали готовиться к путешествию. С нами вместе поселились Регина, Йосл Копелев и Мэнсоны — супружеская пара из Канады, которая в результате в Палестину не поехала. Ранней весной мы купили билеты на пароход «Покаонтас» и начали избавляться от нашего небогатого имущества, которое, как мы считали, не понадо-



бится нам для пионерской жизни в Палестине. О Палестине, несмотря на то, что мы о ней так много читали и слышали, наши представления были довольно примитивны: мы собирались жить в палатках, поэтому я весело распродала всю нашу мебель, занавески, уют, даже меховой воротник старого зимнего пальто (к чему в Палестине зимние вещи!). Единственное, что мы согласились единодушно взять с собой, был патефон и пластинки. Патефон заводился ручкой — так что им можно было пользоваться в палатке, — и мы по крайней мере сможем слушать музыку в пустыне, куда мы держали путь. По этой же причине я запаслась большим количеством одеял: если придется спать на земле, то мы во всяком случае будем к этому готовы.

Потом мы начали прощаться. По дороге в Милуоки, где нам предстояло распрощаться с родителями и Кларой, мы остановились в Чикаго, где жили Шейна и Шамай. Я немножко боялась предстоящей встречи, зная, что Шейна не одобряет, в сущности, наш отъезд в Палестину (в одном из своих последних писем она спрашивала: «Голди, не кажется ли тебе, что идеалисту есть что делать и не выезжая отсюда?»). Мы сидели в их крошечной гостиной, вместе с их детьми, десятилетней Юдит и трехлетним Хаимом, и разговаривали о пароходе и о том, что мы берем с собой. Шейна слушала с таким вниманием, что Шамай с улыбкой спросил: «Может и ты хотела бы уехать?» К моему изумлению — и, вероятно, к своему тоже — Шейна ответила: «Да, хотела бы». Нам показалось было, что она шутит, но нет, она была абсолютно серьезна. Раз уж мы уезжаем, потому что считали это необходимым для себя, значит и ей необходимо это сделать. Более того, она сказала, что если Шамай согласится остаться пока в Америке, чтобы присылать им деньги на жизнь, она хотела бы взять с собой и детей.

В каком-то смысле надо признать, что Шейнино внезапное заявление было не совсем неожиданным. Она с самой юности была сионисткой; она всей душой была предана нашему делу, хотя и была в некоторых вопросах осмотрительнее, чем я. Конечно, я не знаю, что именно ее подтолкнуло, но мне хочется лишний раз напомнить, что и Моррис, и Шейна отправились в Палестину не в качестве сопровождающих меня лиц. Оба они поехали туда, потому что пришли к заключению, что в Палестине их истинное место.

Шамай принял решение жены с любовным участием — и, может быть, это лучше всего характеризует и Шейну, и их брак. Конечно же, он очень старался ее отговорить. Он убеждал ее подождать, пока они смогут поехать все вместе; он говорил, что она выбрала самое неудачное время, чтобы везти туда детей — потому что после целого ряда нападений на еврейские поселения на севере, 1 мая 1921 года, во всей стране вспыхнули антиеврейские беспорядки. Более сорока человек, многие из которых только что приехали, были убиты или покалечены. За год перед тем в Старом городе в Иерусалиме шайки арабов убивали еврейских поселенцев; надеялись, что британская гражданская администрация, сменившая в это время военную, сурово поступит с виновниками и наведет порядок; вместо этого поднялась новая волна насилия. Вот через несколько лет, говорил Шамай, когда арабские националисты уже не смогут подстрекать арабских крестьян к кровопролитию, когда в Палестине наступит мир — тогда в этой стране можно будет жить. Но, однажды приняв решение, Шейна оставалась непоколебимой и продолжала спокойно укладываться, даже когда узнала, что во время беспорядков погиб еврей из Милуоки.

В Милуоки мы простились с родителями и Кларой. Нелегкое это было прощанье, хотя мы не со-

мневались, что, как только Клара закончит университет в Висконсине, все они приедут к нам в Палестину. Мне было бесконечно жаль моих родителей, когда я целовала их на вокзале. Особенно я жалела отца; сильный человек, умевший переносить боль, стоял и плакал, и слезы текли по его щекам. А мама, которая, наверняка, вспоминала собственное путешествие через океан, казалась такой маленькой, такой ушедшей в себя...

Кончалась американская глава моей жизни. Мне пришлось возвращаться в Штаты и в хорошие, и в дурные времена, иной раз приходилось даже проводить там месяц за месяцем. Но никогда больше Америка не была моим домом. Многие я увезла с собой оттуда в Палестину, может быть, даже больше, чем я могу выразить: понимание, что значит для человека свобода, осознание возможностей, какие предоставляет индивидууму истинная демократия.

Я любила Америку и всегда радовалась, возвращаясь туда. Но ни разу за все последующие годы не ощутила я тоски по родине, ни разу не пожалела, что покинула Америку ради Палестины. Я уверена, что и Шейна могла бы сказать о себе то же самое. Но в то утро на вокзале я думала, что никогда не вернусь, и с грустью расставалась с друзьями моей юности, заверяя, что буду писать, поддерживать связь.

О нашем путешествии в Палестину на борту несчастного парохода «Покаонтас» можно было бы написать целую книгу. Он был обречен изначально. Все, что могло испортиться, испортилось — чудом было то, что мы все это пережили и остались живы. Судно никуда не годилось, почему команда и забастовала еще прежде, чем мы на нее взошли. На следующий день, 23 мая 1921 года, мы пустились в путь — но ненадолго. Едва мы отчалили — предполагалось, что все починки сделаны, — команда

стала бунтовать, вымещая свое недовольство паровой компанией на бедных пассажирах. Моряки не только подмешивали морскую воду к нашей питьевой, не только посыпали солью нашу еду, но умудрились так перепортить машины, что пароход угрожающе кренился, а иногда и вовсе останавливался. Плавание от Нью-Йорка до Бостона заняло целую неделю; еще девять дней нам пришлось ждать, когда возможно будет возобновить наше утомительное путешествие. В Бостоне нас на корабле посетила делегация Поалей Цион; они принесли гостинцы и сказали несколько речей, в которых приветствовали нас, своих героических товарищей. Трое из нашей группы, вначале насчитывавшей двадцать два человека, оказались однако, хотя их и можно понять, не такими уж героями: пожилая пара и молоденькая новобрачная в Бостоне сошли с корабля. Шейна получила от Шама отчаянную телеграмму: он умолял ее высадиться тоже. Стоит ли говорить, что она и не подумала это сделать?

Ну вот, наконец, мы снова отчалили. Плавание через океан превратилось в кошмар. Мятеж не кончился — он только притих; ежедневно обрывалась подача энергии, ежедневно мы получали соленую воду для питья и отвратительную пищу. У Понта-Делгада, на Азорских островах, выяснилось: пароход в таком плохом состоянии, что требуется еще неделя на ремонтные работы. Четыре члена команды сошли на берег, похваляясь, что потопят «Покантас» прежде, чем он дотянет до Неаполя; когда об этом узнал капитан, он заковал их в кандалы.

Мы же старались использовать эту неделю для отдыха, что было нелегко. Я гуляла по прелестному портовому городу, наслаждалась мягкой погодой и восхищалась непривычными видами. Во время этой нашей вынужденной стоянки произошла забавная вещь: мы открыли крошечную (человек в тридцать)

сефардскую еврейскую общину, чрезвычайно строго придерживавшуюся еврейских обычаев. Их раввин за несколько лет перед тем умер, и община, как когда-то мой дед, так боялась нарушить законы кашрута, что предпочла навсегда отказаться от мяса. Когда мы отплыли от Азорских островов, мы уже месяц находились в пути и с ужасом предвкушали предстоящее плавание. Полумятеж продолжался; пароходный холодильник разбили вдребезги, благодаря чему нам приходилось довольствоваться три раза в день рисом и соленым чаем. Но скучного однообразия не было: одна трагедия сменяла другую. Сначала умер пассажир, и поскольку на «пароходе» не работали холодильные установки, тело его просто было брошено за борт; затем брат капитана, тоже плывший с нами, впал в буйное сумасшествие и его пришлось заковать и запереть в каюте; наконец, перед самым прибытием в Неаполь, капитан, законно впавший в депрессию, покончил с собой, хотя кое-кто говорил, что его убили.

О положении дел на «Покаонтасе» стало известно на суше, и среди наших друзей в Нью-Йорке и Бостоне распространился слух, что мы все пошли ко дну вместе с кораблем. Но из Неаполя мы уже смогли написать домой, что мы более или менее в порядке. Мы провели там пять дней, улаживая неизбежные затруднения с паспортами, покупая керосиновые лампы и еду, а также отыскивая свой бесследно исчезнувший багаж. Наконец, мы сели в поезд, шедший в Бриндизи.

Там мы встретились с группой Поалей Цион из Литвы, которые уже дважды добирались до Палестины, но каждый раз их отправляли обратно. Теперь они собирались в третий раз попытаться проникнуть в страну. Мы никогда прежде не встречали настоящих «халуцим» нашего возраста, и они произвели на нас сильное впечатление. Мне они на-

поминали людей типа Бен-Цви и Бен-Гуриона, хотя и были гораздо моложе. Какими опытными и твердыми они были по сравнению с нами, какими уверенными в себе казались! В Европе они работали на учебных фермах, основанных сионистами: было ясно, что они не без основания считают себя гораздо выше нас. Они, не скрывая, считали нас «мягкотелыми», избалованными иммигрантами-буржуйчиками из Соединенных Штатов, которые через пару недель из Палестины уедут. И хотя нам предстояло плыть на одном корабле, они, собиравшиеся ехать как палубные пассажиры, не желали иметь с нами ничего общего. Я не могла оторвать от них глаз: именно такими, как они, я хотела, я мечтала быть — суровой, решительной, беззаветно преданной делу. Я безгранично восхищалась ими, я им завидовала, я хотела, чтобы они признали нас товарищами, — но они продолжали смотреть на нас сверху вниз.

Наше впечатление от них описал Йосл в письме к Шамаю. «Настоящие Геркулесы, — писал он, — которые собираются построить справедливую страну собственным горбом. Не только страну, но и язык... Великолепный человеческий материал, любой народ гордился бы им».

Когда мы взошли на пароход, который должен был доставить нас в Александрию, я предложила своим отказаться от «роскошных» кают и устроиться на палубе вместе с молодыми литовцами. Это не показалось им особенно соблазнительным, тем более что палубные пассажиры не имели права на горячую пищу, а мы уже давно мечтали о приличной еде. Но я настаивала: наш долг, как будущих пионеров, — не откладывать в долгий ящик, разделить образ жизни наших товарищей-сионистов; уже здесь, на пароходе мы должны своим поведением доказать свою искренность и готовность переносить трудности. «Давайте организуем палубную кухню», — пред-

ложила я и добавила, что, вероятно, можно договориться и о ночлеге под крышей для детей. Несмотря на их сопротивление, мне удалось убедить своих друзей, и литовцы чуть-чуть оттаяли. С помощью нескольких долларов нам удалось получить разрешение старшего официанта, чтобы дети ели в столовой, — и мы даже нашли пустые каюты, где они могли спать (все, кроме Шейниной дочери, которую мне удалось, с помощью главного стюарда, устроить на ночлег на кушетке в салоне; правда, ей надо было освободить кушетку в пять утра). И на палубе преграды между нашей группой и литовцами рухнули, наконец. Мы рассказали им о жизни в Америке, на небе появились звезды, мы стали петь песни на иврите и на идиш, а потом все вместе танцевали хору.

Но неудачи по-прежнему нас преследовали. В Александрии на борт поднялись египетские полицейские; они искали супругов Рапапорт, которых называли «презренными коммунистами». В нашей группе были супруги Рапапорт, но, разумеется, не те. Однако же их сняли с парохода и допрашивали несколько часов. Это происшествие нас испугало и огорчило. Когда, наконец, Рапапорты вернулись, мы решили ехать дальше поездом. Мы попрощались с литовцами и отправились на вокзал, чтобы ехать в Эль-Кантару. По дороге на вокзал мы впервые увидели Ближний Восток, и с самой худшей его стороны: нищие, толпы нищих — мужчины, женщины, дети — в грязных лохмотьях, покрытые мухами. Я тут же вспомнила нищих, которых так боялась в Пинске, и поняла, что если кто-нибудь из них меня тронет, я закричу, хоть я и будущий пионер. Каким-то образом мы продрались через эту толпу и сели на поезд. Теперь мы уже так привыкли к мелким неприятностям, что нас даже не удивила окружающая нас невиданная грязь. Жара была невыносимая, воды было не достать — но мы зато понимали, что наше

путешествие близится к концу. В конце концов, наш поезд все-таки вышел из Александрии, мы снова были в пути, хоть и грязные, и усталые, но все еще способные с воодушевлением петь о нашем «Возвращении к Сиону».

Глубокой ночью, покрытые пылью, мы добрались до Эль-Кантары и пересели на другой поезд. Пересадка заняла несколько часов: иммиграционные чиновники, которых мы, в конце концов, отыскали, вовсе не торопились проделать необходимые формальности и понять не могли, отчего мы в таком дурном настроении. Помню, как я кипятилась, препираясь с одним из них на темном перроне — и все без толку. Но перед рассветом мы устало вскарабкались в свой последний поезд, который, сотрясаясь и спотыкаясь, сквозь песчаную бурю, бушевавшую на Синайском полуострове, все-таки привез нас в Палестину. И когда с Шейниным ребенком на коленях я сидела на жесткой вагонной скамейке, я впервые с тех пор, что мы выехали из Милуоки, усомнилась: доберемся ли мы когда-нибудь до Яффы?





## НАЧАЛО НОВОЙ ЖИЗНИ

**Х**отя в то жгучее июльское утро, когда я впервые его увидела сквозь грязное окно кантарского поезда, Тель-Авив и показался мне большой и не слишком красивой деревней, он уже был на пути к тому, чтобы стать самым юным городом мира и гордостью ишува. Не знаю, чего я ожидала, — но во всяком случае не того, что увидела.

В сущности, я, да и мы все, знали к тому времени о Тель-Авиве только то, что он был основан в 1909 году шестьюдесятью оптимистически настроенными еврейскими семьями. Кое-кто из них даже осмеливался предсказывать, что когда-нибудь в их дачном предместье, построенном на окраине арабского Яффо, будет 25 тысяч жителей. Но никому из них и не снилось, что всего через пятьдесят лет Тель-Авив станет большим городом, в котором еле будет хватать жилья для более чем четырехсоттысячного населения, а в 1948 году станет первой, временной столицей еврейского государства.

Во время войны турки выслали из Тель-Авива все его население. Но к тому времени, как мы приехали, там опять уже жило 15000 человек и начался настоящий строительный бум. Некоторые части города, как я впоследствии для себя открыла, были и в самом деле очень красивы: ряды чистеньких домиков — каждый с собственным садом — выстроились на мощеных улицах, обсаженных деревьями — ка-

зуарией и перечными, а вдоль улицы тянулись караваны ослов и верблюдов, груженных мешками с песком, который брали с морского берега для строительства.

Но иные районы казались — и были — построенными без всякого плана, незаконченными и ужасающе запущенными. После майских беспорядков 1921 года Тель-Авив запрудили еврейские беженцы из Яффо, и когда мы приехали — это случилось всего через несколько недель, — несколько сот беженцев все еще жили в жалких хибарах и даже в палатках.

Население Тель-Авива в 1921 году частью состояло из тех, кто прибыл в Палестину с третьей волной сионистской иммиграции, в основном из Литвы, Польши и России; они известны под именем «Третья Алия». Другую часть составляли «старики», которые находились тут с самого начала. И хотя некоторые из новых иммигрантов стали себя называть «капиталистами» — то были купцы и торговцы, открывшие маленькие фабрики и лавки, — подавляющее большинство состояло из рабочих. За год перед тем была создана Всеобщая федерация еврейских трудящихся (Гистадрут) и через двенадцать месяцев она уже насчитывала более 4000 членов.

Тель-Авив, хотя ему было всего двенадцать лет, быстро двигался к самоуправлению. Как раз в это время британские власти дали разрешение Тель-Авиву собирать налоги за дома и фабрики, а также иметь собственную систему водоснабжения. Тюрьмы, правда, он еще не имел — много лет прошло, когда появилась тюрьма, но зато у него была собственная, чисто еврейская полиция в качестве двадцати пяти человек, которой все чрезвычайно гордились. Главная улица (названная именем Теодора Герцля) была с одного конца украшена Герцлийской гимназией —

первым и импозантнейшим зданием города. Было еще несколько улиц, и маленький «деловой центр», и водокачка, у подножия которой собиралась тогда молодежь. Городской транспорт представляли собой маленькие автобусы и повозки, запряженные лошадьми, а мэр Тель-Авива Меир Дизенгоф ездил по городу верхом на великолепной белой лошади.

В 21-м году культурная жизнь уже была в Тель-Авиве ключом; множество писателей селились в городе, и среди них был и великий еврейский философ и писатель Ахад-ха-Ам и поэт Хаим Нахман Бялик. Уже функционировала состоявшая из рабочих театральная группа «Огель» («Палатка») и несколько кафе, где каждый день и каждый вечер живо обсуждались вопросы политики и культуры. Но мы, высадившиеся, наконец, на крошечной городской станции, ничего этого не видели — ни культурной жизни, ни скрытых возможностей города. Трудно было выбрать более неудачное время для приезда; все нас слепило — воздух, песок, белая штукатурка домов; все пылало на полуденном солнце, и мы всем увяли, когда, оглядев пустую платформу, поняли, что никто нас не встречает, хоть мы и написали в Тель-Авив нашим друзьям (эмигрировавшим в Палестину два года назад), когда нас следует ожидать. Потом мы узнали, что в этот самый день они отправились в Иерусалим завершить формальности, связанные с *отъездом* из страны. Это еще усугубило то состояние растерянности и неуверенности, в котором мы находились.

Как бы то ни было, после своего ужасного путешествия, мы наконец уже были в Тель-Авиве. Мечта сбылась. И станция, и дома, которые мы различали вдали, и даже глубокие пески, окружавшие нас, все было частью еврейского национального очага. Но нелегко было вспомнить, зачем, собственно, мы приехали, стоя под жгучим солнцем и не зная, куда идти,

куда повернуться. Кто-то, может быть, Йосл, даже выразил наши чувства словами. Он повернулся ко мне и сказал то ли в шутку, то ли всерьез: «Ну, Голди, ты хотела в Эрец-Исраэль. Вот мы и приехали. А теперь можем ехать обратно — с нас хватит». Я не помню, кто это сказал, но помню, что я не улыбнулась.

Неожиданно к нам подошел мужчина и представился на идиш: господин Бараш, владелец близлежащей гостиницы. Может быть, он может нам помочь? Он кликнул повозку, и мы с благодарностью взвалили на нее наши вещи. Повозка двинулась, мы устало потянулись за ней, прикидывая, далеко ли мы уйдем по этой страшной жаре. Сразу за вокзалом я увидела дерево. Оно, по американским понятиям, было не слишком высокое, но все-таки это было первое дерево, которое я в тот день увидела. И подумала, что оно — символ молодого города, чудом поднявшегося из песков.

В гостинице мы поели, напились и выкупались. Комнаты были большие и светлые, господин и госпожа Бараш — очень гостеприимные. Мы повеселились. Решили не распаковывать вещей и не строить никаких планов, пока не отдохнем. И тут, к своему ужасу, мы увидели на постелях следы клопов. Господин Бараш с негодованием отверг обвинение: «Мухи — возможно, — сказал он, — но клопы? Никогда!» Когда белье сменили, Шейна, Регина и я уже вовсе не хотели спать; остаток нашего первого дня в Тель-Авиве мы провели, уверяя друг друга, что нам предстоят проблемы посерьезнее, чем клопы.

Рано утром Шейна вызвалась сходить на рынок за фруктами для детей. Вернулась она очень скоро, сильно приунывшая. «Все, все покрыто мухами, — сказала она, — не достать бумаги, ни бумажных мешков; все до того примитивно; и солнце, солнце, которого просто нельзя выдержать!» Никогда я прежде

не слышала, чтобы Шейна на что-нибудь жаловалась; теперь я призадумалась, сможем ли мы с ней привыкнуть к нашей новой жизни. Очень хорошо было рассуждать в Милуоки о пионерстве, но, может быть, мы и в самом деле не способны справиться с незначительными неудобствами, и литовцы были правы, считая нас слишком мягкотелыми для этой страны? Чувство неловкости и вины за собственную слабость — не говоря уже о том, как нервировала меня реакция Морриса на наши неудачи, — я испытывала всю нашу первую неделю в Тель-Авиве. Может, если бы мы приехали осенью или поселились поближе к морю с его бризами, все прошло бы легче. Но мы почти все время страдали от жары, усталости и упадка духа.

В довершение всего, вернулись из Иерусалима наши друзья и пригласили нас на субботний ужин. Мало того, что они бесконечно распространялись обо всех трудностях, которые нас ожидают, — они подали котлеты, пахнувшие мылом, которые никто из нас не мог в рот взять. Все были сконфужены. Когда удалось успокоить вопящих детей, выяснилось, что в бесценный фарш упал кусок мыла. Но от объяснения мыло не стало более съедобным, и мы возвратились в гостиницу господина Бараша, чувствуя тошноту и подавленность.

Через несколько дней стало ясно, что оставаться в гостинице господина Бараша не имеет смысла. Раньше или позже мы должны были пустить корни, как то дерево у вокзала; к тому же деньги наши уходили. Хоть мы и приехали из Америки, средства наши были очень ограничены — несмотря на то, что в это, по-видимому, никто не хотел верить. Тем летом в Тель-Авиве я встретила женщину, которая обняла меня, поцеловала и сказала, со слезами на глазах: «Слава Богу, что вы, миллионеры, приехали к нам из Америки. Теперь все у нас пойдет хорошо».

Мы планировали провести в Тель-Авиве неделю-другую, а потом вступить в киббуц. Еще в Милуоки мы выбрали киббуц, в который будем предлагать свои кандидатуры. Но в Тель-Авиве нам сказали, что надо ждать конца лета: тогда можно будет подавать заявления по всей форме. И так, вместо того, чтобы сразу отправиться на завоевание земли, мы пустились на куда менее героическое предприятие: завоевание квартирохозяев. Но и это было простым делом. Квартир было мало, цены на них колоссальные, а нам нужно было помещение, куда можно было бы поставить, по крайней мере, семь кроватей. Мы разбились на группы с стали лихорадочно носиться по городу в поисках жилья. Через несколько дней мы нашли двухкомнатную квартиру в конце немощеной улицы Неве Цедек; это была самая старая часть города, основанная на границе Яффо еще раньше, чем Тель-Авив. Там не было ни электричества, ни ванной, ни уборной: «удобства», которыми пользовались еще человек сорок, помещались во дворе, но там была кухонька, и квартплату с нас попросили только за три месяца вперед, несмотря на то, что мы приехали из Штатов и, конечно, считались богачами.

Мы въехали туда без особого энтузиазма, но с большим чувством облегчения, и начали организовывать свой быт. Мы заняли у знакомых простыни, горшки и сковородки, вилки, ложки и ножи, и Шейна взялась вести наше общее хозяйство; готовила она на примусе (род керосиновой плитки), который то и дело с шумом взрывался. Регина устроилась в контору машинисткой; Йосл поступил в парикмахерскую; Морриса взяли чем-то вроде библиотекаря в британское управление общественных работ в Лидде; я стала давать частные уроки английского. Мне, правда, предложили преподавать в средней школе, но так как мы собирались в самом скором времени

вступить в киббуц, то я решила не связывать себя постоянной работой. Однако большинство встречавшихся с нами в Тель-Авиве людей считало преподавание слишком интеллектуальным занятием для будущего халуца, и мне каждый раз приходилось объяснять, что это только временно и что не за тем я приехала в Палестину, чтобы распространять американскую культуру.

В общем, мы справлялись неплохо, хотя понадобилось немало времени, чтобы соседи привыкли к нашим странным американским обычаям. Мы, например, вставили в окна сетки от мух. Все ставили на окна сетки, чтобы в комнаты не лезли бродячие кошки, которых в городе было полно, но мухи? Подумаешь, важность — мухи! Разве без мух тут проживешь? Но мы хотели сделать квартиру пригодной для жилья, и в общем нам это удалось. Когда из Неаполя пришли наши сундуки, мы превратили их в диваны и столы. Моррис расписал голые стены, мы украсили комнаты покрывалами и занавесками. Но, конечно, самым дорогим нашим достоянием был патефон с пластинками, и постепенно люди стали заходить к нам по вечерам выпить чаю и послушать музыку.

Меня часто тянуло рассказать новым репатриантам, как хорошо я понимаю их трудности и какво было мне, когда я впервые приехала в Палестину, но на горьком опыте я убедилась, что люди считают все это пропагандой, или, того пуще, проповедью, а чаще всего вообще не желают слушать. Но факт остается фактом: мы сами пробивали себе дорогу в стране, которую избрали. Не было еще ни государства Израиль, ни министерства абсорбции, ни Еврейского Агентства. Никто не помогал нам устраиваться, или изучать иврит, или найти жилище. Мы все для себя должны были сделать сами, и нам и в голову не приходило, что кто-нибудь морально обя-

зан нам помогать. Не хочу сказать, что мы были «выше», чем те репатрианты, которые приезжают в Израиль сегодня, и никаких сентиментальных чувств я не испытываю по поводу тех величайших — и в значительной части совершенно необязательных — неудобств, которые мы претерпели шестьдесят лет назад и к которым оказались так печально неподготовленными. Но теперь, глядя назад, я совершенно убеждена, что мы так быстро акклиматизировались в Палестине потому, что, во-первых, не забывали, что никто нас туда не приглашал и никто нам ничего не обещал. Мы знали, что от каждого из нас зависит сделать свою жизнь в Палестине легче, или лучше, или значительнее, и что для нас возможно только одно решение: устраивать свою жизнь здесь, и как можно скорее.

Это первое лето и вообще-то было нелегким, а тут еще у сына Шейны, Хаима, началась глазная болезнь, а у Юдит кишечное заболевание, державшееся несколько недель. И все-таки, насколько мне известно, никто из нас не думал серьезно о том, чтобы покинуть страну. И по мере того, как проходили недели, мы стали ощущать себя ее частью. Конечно, мы писали родителям и друзьям очень осторожно и несколько лакировали самые неприятные обстоятельства нашей жизни. Но письмо, которое я написала Шамаю через шесть недель после приезда в Палестину, до некоторой степени отражает наши чувства:

«О возвращении толкуют те, кто недавно приехал. Старый труженик преисполнен веры и кипуч духом. И пока те, кто создал то немногое, что здесь есть, остаются тут, я не смогу уехать, а ты должен приехать. Я не сказала бы этого, если бы не знала, что ты готов к тяжелой работе. Правда, тут нелегко найти и тяжелую работу, но у меня нет сомнений, что ты что-нибудь найдешь. Конечно, это не Америка, и человек должен быть готов к тому, что матери-



ально ему придется трудно. И арабские волнения тоже могут повториться, но если человек хочет иметь собственную страну и хочет этого всем сердцем, он должен быть готов ко всему. Когда ты приедешь, мы, я уверена, сможем составить план... Ждать нечего».

То, что я чувствовала, — по-моему, естественно. В конце концов мне было немногим более двадцати лет, я делала именно то, что хотела, физически я чувствовала себя хорошо, энергии было хоть отбавляй, и со мной были самые дорогие для меня люди — муж, сестра, лучшая подруга. У меня не было детей и связанных с этим тревог, и мне наплевать было, есть у нас ледник или нет, и не поражало, что мясник заворачивает наше мясо в кусок газеты, который он подобрал с пола. Все эти мелкие неприятности возмещались ну хотя бы тем, что, идя в первый свой предсубботний вечер по тель-авивской улице, я чувствовала, что нет для меня в жизни большей радости, чем находиться здесь — в единственном чисто еврейском городе, какой есть в мире, где все, от шофера до нашей квартирной хозяйки разделяют со мной, в глубочайшем смысле этого слова, не только общее прошлое, но и цели на будущее. Все эти люди, спешащие домой с цветами в руках справлять субботу, были мои братья и сестры, и я знала, что мы с ними связаны до конца жизни. Хоть мы и приехали в Палестину из разных стран с разной культурой, хоть зачастую мы и говорили на разных языках, мы все одинаково верим, что только здесь евреи могут жить по праву, а не потому, что их терпят, и только здесь евреи будут хозяевами — а не жертвами — своей судьбы. Потому и не удивительно, что несмотря на все вспышки и раздражения и неутраченные вопросы, я была счастлива.

Но когда я вспоминаю, как Шейна справлялась со всем и со всеми, даже не заикаясь о том, что на

нее навалили слишком много, — а ведь ее дети болели, и Шамай был так далеко, и почта работала из рук вон плохо, так что его письма к ней шли месяцами; когда вспоминаю, как держался Моррис, который и поехал-то в Палестину не без колебаний, а тут еще его книги, которыми он так дорожил, пришли в изорванном и подмоченном виде; когда я вспоминаю об этом, я вновь испытываю восхищение ими и размышляю, сумела ли бы я быть так же тверда на их месте. Конечно, и тогда были новички, вроде тех, что должны были нас встретить, которые не смогли принять то, что увидели, и уехали, — как и теперь некоторые не приемлют и уезжают. Я всегда их жалела, потому что теряли на этом деле, в сущности, они.

В сентябре мы подали заявление в кибуц Мерхавия в Израильской долине, которую мы называем «Эмек». Мы выбрали этот кибуц, как часто бывает, по случайным причинам: там находился наш с Моррисом друг, прибывший в Палестину с Еврейским легионом. О самой Мерхавии мы знали очень мало — да и вообще о кибуцах мы знали только то, что это поселения, где фермеры живут сообща, не имея личной собственности, наемной рабочей силы и частной торговли, и что коллектив целиком отвечает и за производство, и за обслуживание, и за индивидуальное снабжение. Но оба мы верили — я без всяких сомнений, Моррис с оглядкой, — что жизнь в кибуце больше всего поможет каждому из нас выявить себя как сиониста, как еврея и как человека.

Может быть, здесь следует вкратце рассказать об Эмеке, потому что борьба за его развитие является неотъемлемой частью всего сионистского движения. Когда закончилась Первая мировая война, и Лига Наций вручила Великобритании мандат на управление Палестиной, надежды, порожденные Декларацией Бальфура на создание еврейского националь-

ного очага в полном смысле этого слова, казалось, были на пути к осуществлению. Но еще в 1901 году сионистское движение создало Еврейский Национальный Фонд с целью покупать и возделывать землю Палестины для всего еврейского народа. Много принадлежащей евреям земли в Палестине купил «народ» — булочники, портные, плотники из Пинска, Берлина и Милуоки. С детских лет я помню синюю жестяную копилку, что стояла у нас в гостиной рядом с субботними свечами, в которую не только мы, но и наши гости еженедельно опускали монеты; такая синяя копилка имелась в каждом еврейском доме, где мы бывали. И на эти-то монеты еврейский народ начал с 1904 года покупать обширные участки палестинской земли.

Честно говоря, мне здорово надоело слышать о том, как евреи «украли» у арабов землю в Палестине. Дело обстояло совершенно иначе. Много полной монеты перешло из рук в руки, и много арабов стали очень богатыми людьми. Конечно, были и другие организации и частные лица, скупавшие участки. Но к 1947 году только Еврейскому Национальному Фонду — то есть миллионам тех самых синих копилочек — принадлежало больше половины всех еврейских землевладений в стране. Так что пусть хоть с этой клеветой будет покончено.

В то время, когда мы приехали в Палестину, землю в Эмеке скупали довольно широко, хотя земля эта в большей своей части представляла черные малярийные болота, распространявшие малярию и черную лихорадку. Но важно было то, что эту зачумленную землю можно было купить, хоть и недешево. Кстати, немалый кусок ее Еврейский Национальный Фонд купил у богатой арабской семьи, проживавшей в Бейруте.

Затем надо было сделать эту землю пригодной для обработки. Разумеется, и это в природе вещей,

фермеры-частники не заинтересовались проектом, сулившим хоть какую-то выгоду только через годы каторжного и опасного труда. Только высокоидейные халуцим, как наши Поалей Цион, готовые взять землю, несмотря на все предстоящие трудности и жертвы, могли взяться за осушение эмекских болот. Мало того — они собирались делать это сами, а не руками наемных арабских рабочих под наблюдением еврейских управляющих. Таковы были эти первые поселенцы в Мерхавии, и многие из них дожили до того времени, когда Эмек стал самой плодородной и красивой долиной Израиля с ее цветущими деревьями и киббуцами.

Мерхавия (в переводе — «Божьи просторы») — один из первых киббуцов, основанных в Эмеке. В 1911 году группа молодых людей из Европы устроила тут ферму, но еле-еле справлялась с ней. Когда в 1914 году разразилась война, соединенные усилия эпидемии малярии, враждебно настроенных соседей-арабов и турецких властей, уговаривавших покинуть это место, сделали свое дело: первая группа не устояла и рассеялась. После войны новое поселение было основано на том же месте, опять-таки пионерами из Европы, к которым присоединились британские и американские ветераны Еврейского легиона (а позже — и мы с Моррисом). Но и эта группа распалась. В 1929 году на то же место пришла третья группа поселенцев, и на этот раз группа выполнила свою задачу и осталась на месте.

Нам так хотелось вступить именно в Мерхавию, мы так торопились подать свои заявления — и каково же было наше изумление, когда мы просто-напросто получили отказ, совершенно, по-моему, необоснованный. Собственно, вначале даже никто объяснить нам не хотел, почему нас отвергли; однако я настаивала, я хотела знать правду, и, наконец, мне очень неохотно назвали два препятствия.

Первое — киббуц не хотел еще принимать супружеские пары, потому что дети — роскошь, которую не может позволить себе новое поселение. И второе, которое я отвергла с порога: коллектив, состоящий из семи женщин и тридцати мужчин, не допускал мысли, что «американская» девушка сможет или захочет выполнять все необходимые тяжелые работы. Они, понятное дело, считали себя экспертами во всем американском, в том числе и в вопросе о характере и способностях «американских» девушек, вроде меня. Особенно возражали некоторые из девушек — членов киббуца: они уже были в Палестине ветеранами и немало наслышались от экспертов-мужчин об американских девушках. Мне показалось, что я опять среди литовцев и должна доказать им, что не боюсь тяжелой работы, хоть и жила в Соединенных Штатах. Я яростно спорила: они не имеют права делать такие прогнозы, справедливо было бы дать нам испытательный срок, чтобы мы им показали, на что способны. Помнится, лично против меня аргументировали тем, что в Тель-Авиве я предпочла давать уроки английского, чем заняться физической работой. Одно это должно было показать, как я «избалована».

Мы победили. Нас пригласили в Мерхавию на несколько дней, чтобы члены киббуца на нас посмотрели и сделали бы свои выводы на месте. Я была уверена, что в конце концов они позволят нам остаться — и так оно и произошло. Наша тель-авивская «коммуна» стала распадаться: Регина устроилась на другую работу, Йосл тоже переехал. В квартире оставалась только Шейна с детьми. Жарким сентябрьским вечером я радостно укладывала вещи, чтобы ехать в Мерхавию, когда мне вдруг пришло в голову, что, собственно говоря, мы бросаем Шейну одну, в квартире, которую она не в состоянии оплачивать в одиночку, с больными детьми и

без Шама, который все еще был за тысячи миль отсюда. Тогда я спросила, не хочет ли она, чтобы мы еще немного задержались в Тель-Авиве, но она и слышать об этом не захотела. «Одну комнату я сдам, — сказала она резко, — и буду искать работу. Не беспокойся обо мне». Мне она сказала, что попробует устроиться сестрой без оплаты в Хадассу, больницу, только что открывшуюся в Тель-Авиве, и, может быть, ее со временем зачислят в штат. А Шамай, она не сомневалась, скоро приедет в Палестину. А до того времени она как-нибудь справится. Я сделала вид, что поверила — такова уж человеческая природа, — сознавая в глубине души, что как ни трудна будет наша жизнь в Мерхавии, она будет легче, чем предстоит одинокой Шейне в Тель-Авиве.

Сегодня Мерхавия — большой шумный поселок с районной средней школой, куда съезжаются дети со всех сторон Эмека. Как и в других больших киббуцах, здесь успешно соединили сельское хозяйство с промышленным производством и теперь в Мерхавии существует фабрика пластмассовых труб и своя типография. Люди в Мерхавии живут хорошо, хотя и тяжело работают. Там у них красивые и удобные комнаты, обширная общая столовая с кондиционером, полностью механизированная кухня — и все это они получили, не принося в жертву и даже не меняя радикально тех принципов, на которых была основана киббуцная жизнь в 1921 году. Киббуцники по-прежнему работают восемь часов ежедневно там, куда их назначает комиссия по распределению работы, хотя теперь они обычно имеют возможность делать ту работу, которой они обучены, которую делают лучше всего и которая дает им удовлетворение. По-прежнему все они поочередно несут дежурства — в столовой, на кухне, в охране и т. д. — и все участвуют в решении основных вопросов, которые обсуждаются и ставятся на голосование на ежене-

дельных собраниях. Дети киббуца, как и в 1921 году, воспитываются все вместе: едят вместе, спят в общих спальнях, вместе учатся, хотя, разумеется, родительская комната — их дом, место сбора семьи и в некоторых киббуцах дети даже спят в комнате рядом.

Я лично считала и считаю, что киббуц — единственное место в мире, где человека судят, принимают и дают возможность полностью проявить себя в родной общине не в зависимости от того, какую работу он делает и как он ее делает, но в зависимости от его человеческой ценности. Нельзя сказать, что киббуцникам неведомы зависть, нечестность или лень: киббуцники — не ангелы. Но, насколько я знаю, только они в самом деле разделяют поровну почти все — проблемы, награды, ответственность и удовлетворение. И благодаря своему образу жизни они способствовали развитию Израиля несравненно сильнее, чем то позволяло их число. Сегодня в Израиле 230 киббуцов, но невозможно себе представить — по крайней мере, я не могу, — что собой представляла бы страна без них. Тридцать лет моя дочь Сарра является членом киббуца Ревивим в Негеве, и каждый раз, когда я посещаю там ее и ее семью — а в прошлом это бывало только когда мне это позволяли обстоятельства, то есть нечасто, — я всегда вспоминаю, с какими надеждами и страхами мы с ее отцом давным-давно отправлялись в Мерхавию, рассчитывая провести там всю свою жизнь — если только нас захотят.

Много лет я надеялась когда-нибудь вернуться к киббуцной жизни, и то, что я так этого и не сделала, — разочаровывает меня в самой себе. Конечно, всегда были причины, отчего это представлялось невозможным, особенно же общественные обязанности, которыми я была связана. Но и до сих пор я жалею, что не нашла в себе сил пренебречь всеми

настояниями и убеждениями, а когда, наконец, пришло время, я была уже слишком стара для перемен. Много есть вещей, в которых я не уверена, но одно я знаю: если бы я осталась на всю жизнь членом киббуца — настоящим членом, а не праздничным посетителем, — то это дало бы мне во всяком случае не меньшее внутреннее удовлетворение, чем моя государственная деятельность.

Киббуц, куда мы прибыли осенью 1921 года, состоял из нескольких домов и группы деревень, оставшихся от первого поселения. Не было ни фруктовых садов, ни лугов, ни огородов — ничего не было, кроме ветра, камней и сожженных солнцем полей. Весной весь Эмерек цветет. Горы, окаймляющие долину, даже черные болота, — все покрывается цветами, и на несколько недель Мерхавия превращается в самое красивое место, какое я когда-нибудь видела. Но впервые я ее увидела задолго до того, как начались живительные зимние дожди, и она выглядела совсем не так, как я себе представляла. Но не пейзаж был там препятствием, которое предстояло преодолеть. Я твердо решила доказать, что по закалке ничуть не уступаю киббуцникам и смогу справиться с любым заданием. Не помню уж всех работ, какие мне поручали во время этого «испытательного срока»; помню, что целыми днями собирала миндаль в роще около киббуца и участвовала в посадке леса в скалах по дороге в Мерхавию. Теперь это уже настоящий лес, и каждый раз, когда я там проезжаю, я вспоминаю, как мы выкапывали бесчисленные ямы между камнями, как осторожно опускали туда каждый саженец, спрашивая себя, доживет ли он до зрелого возраста, и воображая, как прекрасна станет дорога, да и вся земля, если примутся хотя бы вот эти наши деревья. Тут я работала. Возвращаясь в свою комнату по вечерам, я и пальцем уже не могла пошевелить, но знала, что если я не приду на



ужин, все начнут смеяться: «А, что мы вам говорили? Вот вам американская девушка!» Я бы с радостью отказалась от ужина, потому что гороховая каша, которую мы ели, не стоила труда, затрачиваемого мною на то, чтобы поднять ко рту вилку, но я все-таки шла в столовую. В конце концов деревья выжили, и я тоже. Через несколько месяцев нас с Моррисом приняли в члены киббуца, и Мерхавия стала моим домом.

Киббуцная жизнь в двадцатые годы была далеко не роскошна. Прежде всего, еды было очень мало, а та, что была нам доступна, была страшно невкусная. Наш рацион состоял из прокисших каш, неочищенного растительного масла (арабы продавали его в мешках из козьих шкур, отчего оно невероятно горчило), некоторых овощей с бесценного киббуцного огородика, мясных консервов, оставшихся после войны от британской армии и еще одного неопишемого блюда, которое готовилось из «свежей» селедки в томатном соусе. Мы эту «свежатицу» каждый день ели на завтрак. Когда наступила моя очередь работать на кухне, я, ко всеобщему удивлению, была в восторге. Теперь-то, наконец, я смогу что-нибудь сделать с этой ужасной едой.

Имейте в виду, что в те дни киббуцницы ненавидели работу на кухне, и не потому, что это тяжело — по сравнению с другими, эта работа легкая — а потому, что они считали ее унижительной. Они боролись не за равные «гражданские» права — в этом у них недостатка не было, — а за равное распределение обязанностей. Они хотели делать те же работы, что и мужчины, — мостить дороги, мотыжить землю, строить дома, нести сторожевую службу; они не хотели, чтобы с ними обращались, как будто они какие-то не такие, и сразу же отправляли их на кухню. Все это происходило лет за пятьдесят до того, как был изобретен неудачный термин «уименс'с

либ» — но факт тот, что киббуцницы были первыми в мире успешными борцами за настоящее равенство. Но я относилась к работе на кухне иначе. Я никак не могла понять, о чем тут беспокоиться, и так и сказала. «А почему? — спросила я девушек, унывавших (или бушевавших) от работы на кухне. — Чем, собственно, лучше работать в хлеву и кормить коров, чем работать на кухне и кормить своих товарищей?» Никто не сумел на это убедительно ответить, и я позволила себе больше думать о качестве нашего питания, чем о женской эмансипации.

Я начала энергично — с преобразования меню. Прежде всего я избавилась от ужасного растительного масла. Потом я отменила «свежатину» и ввела вместо нее овсянку, чтобы люди, возвращающиеся домой с работы в холодное и мокрое зимнее утро, могли съесть что-то горячее и питательное вместе со своей обязательной порцией хинина. Никто не возражал против исчезновения растительного масла, но все восстало против овсянки: «Еда для младенцев! Все ее американские идеи!» Но я не сдавалась, и Мерхавия постепенно привыкла к этому новшеству. Потом мне пришлось в голову обновить посуду: наши эмалированные кружки, выглядевшие такими белыми и чистыми, когда их только что купили, через несколько недель облупились и заржавели, и от одного взгляда на них у меня начиналась депрессия. И вот, ободренная успехом овсянки, я, перед тем как опять настало мое дежурство по кухне, купила для каждого стаканы. Они были куда красивее и пить из них было куда приятнее, хотя надо признаться, что за неделю почти все они были перебиты, и киббуцникам пришлось пить чай по очереди из трех оставшихся стаканов.

Проблемой стала и селедка, которую теперь с утреннего завтрака передвинули на середину дня. Не у каждого были вилка, нож и ложка; у кого была

только вилка, у кого только ложка или нож. Девушки, работавшие на кухне, мыли селедку и нарежали ее на маленькие кусочки, но не снимали с нее кожу, так что за столом каждый делал это сам. И поскольку руки вытирать было нечем, каждый вытирал их о рабочую одежду. Я стала снимать кожу. Девушки возопили: «Вот, теперь она их еще и к этому приучит!» Но у меня на это был ответ: «А что бы вы делали у себя дома? Как бы вы подали селедку к столу? А это ваш дом, ваша семья!»

По утрам в субботу мы варили кофе. Ввиду того, что по субботам мы не могли отправить в Хайфу молоко, наше субботнее меню на молоке и основывалось. Из этого молока мы делали «лебен» — простоквашу и «лебениа» — та же простокваша, но пожирнее. Девушка, которая пекла печенье, входившее в субботнее расписание, стерегла его как зеницу ока, потому что весь завтрак состоял из кофе и печенья. В пятницу вечером кое-кто из молодых людей после ужина начинал рыскать в поисках этого печенья и, случалось, находил его — и тогда за завтраком разыгрывались трагедии. Когда пришла моя очередь готовить на субботу, я рассудила так: ни масла, ни сахара, ни яиц (хозяйство наше начиналось с нескольких тощих кур, иногда откладывавших сиротливые яички) добавить неоткуда; зато можно прибавить воды и муки и таким образом напечь столько печенья, чтобы хватило и на вечер пятницы, и на утро субботы. Сперва это сочли «контрреволюцией», но потом всем понравилось, что печенье, за те же деньги, будет два раза в неделю.

Но самое «буржуазное» мое нововведение, о котором весь Эмек говорил месяцами, — была «скатерть», сделанная из простыни, которую по пятницам я стала стелить на столы для ужина — да еще и цветы поставила посередине! Мерхавийцы вздыха-

ли, ворчали, предупреждали, что наш киббуц будут «дразнить», — но позволили мне делать по-своему.

Такие же споры возникали у нас и по другим поводам — об одежде, например. Тогда все наши девушки носили одинаковые платья: в сотканной арабами мешковине прорезались три дырки — одна для головы и две для рук — получалось платье, которое оставалось только подвязать веревкой. В пятницу вечером киббуцники переодевались: мужчины надевали чистые рубашки, а женщины — юбки и блузки вместо брюк и рабочих платьев. Но я не понимала, почему аккуратность допускалась только раз в неделю. Мне неважно было, что носить по будням, но это должно было быть проглажено. И каждый вечер я тщательно гладила свой «мешок» тяжелым утюгом на углях, зная, что киббуцники не только считают меня сумасшедшей, но и в глубине души подозревают, что я не настоящий пионер. Так же не одобрялся и цветочный узор, которым Моррис расписал стены нашей комнаты, чтобы они выглядели красивее, не говоря уже о ящиках, которые он расписал и превратил в шкафы для нас. В общем, киббуцникам понадобилось немало времени, чтобы принять наши странные «американские» обычаи, да и нас самих. Очень возможно, что помог этому наш знаменитый патефон. Я оставила его в Тель-Авиве у Шейны, но через несколько месяцев решила, что киббуцу он нужнее, чем ей, и перетащила его в Эмек, где он и стал притягивать в киббуц почти столько же народу, сколько в Тель-Авиве. Я даже иногда думаю — а не приятнее ли было киббуцу получить приданое без невесты?

В ту зиму я была назначена работать на киббуцном птичьем дворе и меня послали на несколько недель в сельскохозяйственную школу, чтобы изучить всякие тонкости в деле выращивания домаш-

ней птицы. Когда, много лет спустя, я рассказала родным об этом периоде моей жизни, они очень веселились, что я стала таким специалистом по курам, ибо до работы в Мерхавии я славилась в семье полным отсутствием любви к животным — и к птицам в том числе. Не могу сказать, что я полюбила обитателей птичьего двора, но я очень увлеклась своим делом и была страшно горда, когда птичники со всего Эмека приехали смотреть наши курятники и перенимать наш опыт. В то время я с утра до вечера говорила о том, как ее выращивать и кормить, а после того, как однажды возле курятников показался шакал, я много ночей подряд видела во сне убийство моих кур. Энергия и время, затраченные мною на птичьем дворе, дали немаловажный побочный результат. Бог свидетель, мы не могли быть особенно щедры с нашими питомцами, но все-таки через некоторое время на нашем обеденном столе появились яйца и даже куры и гуси. Иногда, когда к нам в Мерхавию приезжала Шейна с Хаимом и Юдит, мы готовили мархавийское «фирменное блюдо»: жареный лук с мелко нарубленными крутыми яйцами. Запивали мы это теплым чаем. Теперь это звучит не так уж прекрасно, но тогда нам это казалось чудесным.

Месяцы шли быстро. Нам по-прежнему не хватало рабочих рук; казалось порой, что все, кто не болен малярией, страдает дизентерией или «папатачи» — очень неприятной формой лихорадки. Всю зиму киббуц утопал в грязи; по грязи мы тащились в столовую, в амбары и на работу. Лето было не легче: очень длинное и страшно жаркое. С весны до осени нас мучили полчища оводов, песочных мух и москитов. В четыре утра обычно мы уже были на месте работы, потому что с поля надо было возвращаться до того, как поднимется беспощадное солнце. Единственным средством от насекомых был вазелин (когда

его можно было достать); им мы обмазывали все незакрытые части тела, к которым оводы и мухи прилипали немедленно; поднятые воротники, длинные юбки и рукава, платки — вот в таком виде мы ходили все лето, несмотря на жару. Я тоже раза два болела, и до сих пор помню, как благодарна я была парню, принесшему мне из соседней деревни кусочек льда и лимон, чтобы я могла приготовить себе лимонад. Может, если бы могли вскипятить себе чашку чая, когда холодно, или приготовить холодное питье, когда нас изнуряла летняя жара, нам было бы физически легче. Но киббуцная дисциплина не разрешала брать что-нибудь одному, не делясь со всеми.

Я понимала и одобряла причины, на которых основывались такие крайности, но Моррис, которому киббуцная жизнь нравилась все меньше и меньше, считал, что такое поведение — абсурд, и что нельзя из-за преданности доктрине делать трудную жизнь еще труднее. Он очень страдал от отсутствия уединения и от того, что называл интеллектуальной ограниченностью нашего образа жизни. В то время никто в Мерхавии не интересовался тем, что интересовало Морриса — книгами, музыкой, живописью; никто не стал бы об этом разговаривать. Не то, чтобы киббуцники были необразованны, — напротив. Но их больше интересовало другое. Вопрос — может ли киббуц позволить себе купить «гигантский» инкубатор на 500 яиц, или попытка извлечь идеологический смысл из того, что кто-то сказал на очередном собрании, — занимал их несколько не меньше, чем книги, музыка и картины. Но все равно, по мнению Морриса, мерхавийцы мыслили очень односторонне — и даже эта «одна сторона» была слишком узка. Еще, по его словам, они были чересчур серьезны и полагали, что чувство юмора в киббуце неуместно.

И, конечно, он не был кругом неправ. Теперь я вижу, что если бы у тогдашних киббуцов были средства и хватило идеологической гибкости хотя бы на то, чтобы принять, что теперь и не обсуждается — отдельные уборные и душевые для каждого и возможность, для каждого, заваривать чай в своей комнате, — то тысячи таких людей, как Моррис, покинувших киббуцы впоследствии, остались бы там навсегда. Но в 1920-е годы ни один киббуц не мог себе этого позволить, и меня это не слишком беспокоило.

Я наслаждалась тем, что нахожусь среди своих — среди людей, разделяющих мои общественно-политические взгляды, серьезно и горячо их обсуждающих, серьезно относящихся к социальным проблемам. Мне в киббуце нравилось все, все я делала с удовольствием — работала в курятнике, постигала тайны хлебопечения, когда месила тесто в подвальчике, служившем нам пекарней, сидела на кухне, куда являлись что-нибудь перехватить ребята, несшие сторожевую службу, — истории, которые они рассказывали, я готова была слушать часами. Очень скоро я почувствовала себя здесь дома, словно бы я нигде больше никогда не жила, и именно те аспекты жизни, которые так мешали Моррису, особенно мне нравились. Были, конечно, в Мерхавии люди, к которым мне нелегко было приспособиться, — главным образом, кое-кто из «ветеранш», считавших, что имеют право устанавливать законы, кто как себя должен и не должен в киббуце вести. Но в самом главном я чувствовала, — мои желания исполнились.

Конечно, за тяжелую работу, за круглый год под открытым небом и за примитивные бытовые условия приходилось расплачиваться. Солнце и ветер обжигали и сушили кожу, а в то время, в отличие от теперешнего, в киббуцах не было ни кабинетов красоты, ни косметичек, отчего женщины киббуца ста-

рились гораздо быстрее, чем горожанки. Но они были ничуть не менее женственны, несмотря на морщины. Одна моя мерхавийская подруга, приехавшая из Нью-Йорка и вступившая в киббуц за полгода до нас, рассказывала мне, что она поехала проститься с молодым поэтом, служившим в Еврейском легионе в Палестине и возвращавшимся в Штаты. Когда она протянула ему свою загрубевшую от работы руку, он сказал: «В Америке держать вашу руку было удовольствием. Теперь это честь». Ее очень взволновала эта любезность, а я подумала, что это чепуха. И тогда, и теперь мужчины в киббуцах с удовольствием брали женщин за руку, как, впрочем, и везде. Тогда, как и теперь, киббуцные романы и браки были похожи на все романы и браки — одни удаются лучше, другие хуже. Конечно, в то время молодые люди гораздо сдержаннее рассказывали о своей любовной жизни, но не потому, что в Мерхавии или в Дгании не влюблялись, а потому что в 1921 году люди вообще относились к этому более пуритански.

Я была очень счастлива все эти годы, несмотря на трудности. Я любила киббуц и киббуц любил меня, и выражал это свое отношение. Начать с того, что я была избрана в правление поселения (правление отвечало за общую политическую линию), что было большой честью для новичка. Потом меня избрали делегатом от Мерхавии на съезд киббуцного движения, проходивший в 1922 году, — и это, действительно, было выражением доверия. Я и сейчас, когда это пишу, испытываю чувство гордости, что именно мне киббуц поручил представлять его на таком важном собрании, и даже разрешил говорить мне по ходу дела на идиш, поскольку мой иврит все еще хромал.

Съезд происходил в Дгании, которая считалась «матерью киббуцов»; именно это поселение помогал строить Гордон, именно там его через год похо-



ронили. На заседаниях, которые я посещала, речь шла в основном о проблемах, непосредственно относящихся к будущности киббуцов как таковых. Человеку со стороны могло бы, вероятно, показаться странным, даже нереалистичным, учитывая, какое это было время, что люди в течение нескольких дней жарко спорят о том, каков должен быть максимальный размер киббуца, сколько раз в день матери должны навещать своих детей в общественных яслях, как лучше отбирать среди претендентов будущих членов киббуца. Ведь тогда в Палестине киббуцов было раз-два и обчелся, киббуцников же — лишь несколько сотен. Только что по стране прокатились серьезные антиеврейские волнения, и вообще статус восьмидесятитрехтысячного еврейского населения (в 1922 году это составляло 11 % всего населения страны) был еще очень неопределенный. Какой же смысл имели все эти бесконечные дебаты по мелочам, затягивавшиеся далеко за полночь в продолжение целой недели? Как сейчас вижу: чадит керосиновая лампа, а мы все сидим вокруг, всецело поглощенные каким-нибудь теоретическим аспектом киббуцной жизни, и стараемся разрешить сложные проблемы, которые еще и не возникали.

А с другой стороны, ведь, в конце концов, вопрос о том, что реалистично, а что нет, очень зависит от того, кто дает определение. Факт тот, что никто из участников собрания, весь день работавших в условиях, которые теперь считались бы невыносимыми, и по ночам охранявших поселение и разрабатывавших сложные идеологические аргументы, — никто не сомневался, что они закладывают основы для идеального общества на заре величайшего эксперимента в еврейской истории. И, разумеется, они были правы.

Здесь, в Дганин, я встретила многих выдающихся представителей рабочего движения — не только

Бен-Гуриона и Бен-Цви, с которыми я познакомилась еще в Милуоки, но и других замечательных людей, впоследствии ставших моими друзьями и коллегами. Тут были — назову хоть немногих — Аврахам Хартцфельд, Ицхак Табенкин, Леви Эшкол, Берл Кацнельсон, Залман Рубашов (Шазар) и Давид Ремез. В предстоявшие нам бурные годы все мы оказались тесно связаны общей судьбой; но тогда, в Дгании, я только слушала с упоением их речи и не осмеливалась с ними заговаривать. В Мерхавию я вернулась вдохновенная, с новым стимулом и еле дождалась минуты, когда смогла рассказать Моррису обо всем, что там говорилось и делалось. В те годы мне удалось увидеть часть страны. В Палестину приехала жена выдающегося лидера британской лейбористской партии Филиппа Сноудена, которая и сама была видной политической фигурой; понадобился говорящий по-английски гид; партия вызвала меня в Тель-Авив и попросила принять поручение. Я расщипела: «Тратить время на то, чтобы с кем-то кататься по стране?» Но партийная дисциплина взяла верх, и я уступила, хоть и не слишком покорно. Потом я радовалась, что поехала. Впервые в жизни я увидела лагерь бедуинов; вместе с миссис Сноуден, сидя на полу, мы съели огромное количество баранины с рисом и с питтой (лепешкой), для чего наши хозяева-арабы предусмотрительно снабдили нас ложками: я, наверное, нескрываемо ужаснулась от мысли, что придется есть, как все, руками. Думаю, миссис Сноуден тоже осталась довольна; я должна была показывать ей всяких важных особ, хотя я так никогда и не приучилась делать это в рабочие часы.

Но жизнь как раз, когда кажется, что все идет хорошо, любит сделать неожиданный поворот. Моррису не только было не по себе в киббуце — он заболел. Климат, малярия, пища, тяжелая работа в

поле — для него все это оказалось слишком тяжело. И как он ни старался все стерпеть ради меня, стало ясно, что нам придется покинуть киббуц, по крайней мере до тех пор, пока он опять не наберется сил. Это произошло раньше, чем я ожидала. Мы прожили в Мерхавии два с половиной года — последнее время Моррис болел несколько недель подряд. И однажды доктор очень серьезно сказал мне, что если я не хочу, чтобы Моррис стал хроником, то нам надо уезжать из Мерхавии как можно скорее.

Потом я часто спрашивала себя — а не приспособился ли бы Моррис к киббуцу и физически, и эмоционально, если бы я была внимательнее, проводила бы с ним больше времени и не позволяла бы жизни коллектива поглотить себя целиком. Но мне в голову не приходило, что я лишаю чего-нибудь Морриса, когда готовлю перекусить для ребят, возвращающихся с дежурства, или учусь на курсах птицеводов, или трачу столько времени на разговоры и пение песен с другими. Если бы я задумалась, побеспокоилась о нашем браке, я бы, конечно, поняла, что Моррис борется в одиночку, стараясь привыкнуть к невероятно трудной для него жизни.

Был серьезный вопрос, по которому мы так никогда и не смогли прийти к согласию. Я очень хотела ребенка, но Моррис был категорически против киббуцного метода коллективного воспитания детей. Точно так же, как он хотел жену для себя одного, так и детей наших он хотел, чтобы мы воспитывали сами, по своему разумению, не подвергая каждую подробность их жизни проверке и одобрению (или неодобрению) комитета или всего киббуца. И он отказался заводить детей, пока мы не уедем из Мерхавии. Может, он со временем и изменил бы свое решение, но со здоровьем у него было так плохо, что мы в любом случае должны были уезжать. И снова мы запаковали вещи — в третий раз за три

года! — и распростились с друзьями. Оторваться от киббуца мне было тяжело, но, проливая слезы, я утешала себя надеждой, что мы скоро вернемся, что Моррис выздоровеет, у нас родится ребенок и наши отношения — совсем разладившиеся в Мерхавии — опять улучшатся. К сожалению, все произошло не так.

Мы провели несколько недель в Тель-Авиве. К этому времени в Палестину приехал Шамай, и семья перебралась в новый дом (с ванной). Шейна получила довольно хорошую зарплату; Шамай стал через некоторое время управляющим обувного кооператива, у которого дела шли неблестяще. Как бы то ни было, у них был дом и они зарабатывали себе на жизнь. По сравнению с нами, их положение было завидным. Мы в Тель-Авиве почему-то не смогли прижиться. Я получила место кассирши в Гистадрутовском комитете гражданского строительства (то, что стало потом называться «Соел Боне»), а Моррис старался прийти в себя. Но мы как-то не могли наладить нашу жизнь. Мне не хватало киббуца даже больше, чем я себе могла представить, а Морриса бомбили письмами мать и сестры, умоляя его вернуться в Штаты и предлагая оплатить ему билет. Я знала, что он не покинет ни меня, ни страну, но мы оба чувствовали себя беспокойно и угнетенно. По сравнению с эмекскими «Божьими просторами», Тель-Авив казался невыносимо маленьким, шумным и многолюдным. Моррис не скоро смог встать на ноги и отделаться от последствий своей долгой болезни, а я без Мерхавии была как без руля и без ветрил, и казалось, словно мы обречены оставаться вечными транзитниками. Мне не хватало дружеского тепла, которое я ощущала в киббуце, и чувства удовлетворения, которое не давала моя работа. Мне приходило в голову, что постоянный оптимизм и целеустремленность покинули меня навсегда, а если

так, то что же будет с нами? Хотя никто из нас не произносил этого вслух, но, думаю, мы оба винили друг друга в том, что с нами произошло. Во-первых, Моррис поехал в Мерхавию из-за меня, а теперь, оттого что он там не «справился», я должна была с такой болью оторваться от киббуца. Может, для нас было бы лучше, если бы стали открыто упрекать друг друга, но мы этого не сделали. И потому мы все время были какие-то неприкаянные и раздражительные.

Понятно, что когда Давид Ремез, с которым я познакомилась в Дгании и теперь случайно встрети-лась на улице, спросил, не захотим ли мы с Моррисом работать в иерусалимском отделении «Солеп Боне», мы оба ухватились за возможность покинуть Тель-Авив. Быть может, думали мы, на крепком горном воздухе Иерусалима мы опять оживем, и все сладится. Особенно добрым предзнаменованием показалось мне то, что накануне отъезда я узнала, что беременна.

Осенью, 23 ноября, в Иерусалиме родился наш сын Менахем. Это был прекрасный здоровый ребенок, и мы с Моррисом были вне себя от радости, что стали родителями. Целыми часами мы разглядывали младенца, которого мы произвели на свет, и разговаривали о его будущем. Но меня все еще тянуло в Мерхавию, и когда Менахему исполнилось шесть месяцев, я на некоторое время возвратилась в киббуц с ним вместе. Мне казалось, что если я вернусь туда, то обрету себя вновь. Все оказалось не так просто. Остаться там без Морриса я не могла и теперь уже не строила никаких иллюзий: ясно было, что он не сможет и не захочет вернуться в Мерхавию. Пришла пора принимать решение, и принимать его должна была я. Грубо говоря, я должна была решить, что для меня важнее: мой долг перед мужем, домом, ребенком или тот образ жизни, который был для меня по-настоящему желанным. И не в

первый раз — да уж, конечно, и не в последний — я поняла, что в конфликте между долгом и самыми сокровенными желаниями, долг для меня важнее. Нечего тосковать о жизни, которая мне недоступна — тут нет никакой альтернативы. И я вернулась в Иерусалим — не без опасений, но с твердым решением начать новую жизнь. В конце концов, ведь я — счастливая женщина. Я замужем за мужчиной, которого люблю. Ну и пусть он не создан для жизни в коллективе и физической работы — ведь я хочу оставаться его женой и хочу, если это окажется в моих силах, сделать его счастливым. Если я буду очень стараться, думала я, мне это удастся — особенно теперь, когда у нас сын.



## ПИОНЕРЫ И ПРОБЛЕМЫ

**Н**есмотря на все надежды и добрые намерения, четыре года, которые мы прожили в Иерусалиме, не только не обеспечили мне тихой пристани, которую, уверяла я себя, я готова была принять, а стали самыми несчастными годами моей жизни. И когда это говорит человек, проживший на свете так долго, как я, это кое-что значит. Неудачи шли почти сплошняком; порой мне казалось, что я повторяю самые несчастные годы своей матери, и у меня каменело сердце, когда я вспоминала рассказы о том, как ужасающе бедны они были в России. Ни тогда, ни потом я не дорожила деньгами как таковыми или житейским комфортом. Ни того, ни другого у меня никогда не было в избытке, и в Палестину я приехала не для того, чтобы улучшить наше материальное положение. И Моррис, и я слишком хорошо знали бедность в лицо и привыкли к очень невысокому материальному уровню. К тому же мы сами избрали образ жизни, основанный на минимуме — желать и иметь только немного. Сытная еда, чистая постель, иногда — новая книга или пластинка — вот и все материальные блага, на которые мы претендовали. Так называемые «рады жизни» не только были для нас недоступны — мы просто не знали, что это такое, и будь время не таким трудным, мы бы прекрасно просуществовали на Моррисову маленькую зарплату.

Но время было трудное, и были потребности, которые необходимо было удовлетворять, — не только наши, но, прежде всего, потребности наших детей. Их надо было соответственным образом кормить и у них должно было быть жилище. Думаю, свобода от страха, что вы не сможете предоставить своим детям даже этого минимума, как ни старайтесь — это и есть основное из прав человека, отца или матери. Теоретически я знала это задолго до того, как пережила собственный опыт, но, раз переживши, я никогда его не забывала. И, конечно, великая сила киббуцной жизни в том, что никто не переживает этих страхов в одиночку. Даже если это молодой киббуц, или год был неудачный и взрослые должны затянуть пояса потуже, для киббуцных детей всегда хватает еды. В те трудные иерусалимские времена я с тоской вспоминала Мерхавию. А через двадцать лет, когда началась Вторая мировая война, я, хорошо помнившая те годы, внесла предложение, чтобы весь ишув на военное время превратился в один большой киббуц, в частности, открыл бы сеть кооперативных кухонь, чтобы в любом случае дети не голодали. Мое предложение было отвергнуто, во всяком случае оно не было принято, а я и сейчас думаю, что оно было разумным.

Но не беспросветная бедность и даже не вечный страх, что дети останутся голодными, были причиной того, что я чувствовала себя несчастной. Главным тут было одиночество, непривычное чувство изоляции и вечное сознание, что я лишена как раз того, ради чего и приехала в Палестину. Вместо того, чтобы активно помогать строить еврейский национальный очаг и продуктивно трудиться ради него, я оказалась запертой в крошечной иерусалимской квартирке, и на то, чтобы продержаться как-нибудь на Моррисовы заработки, были направлены все мои



мысли и вся энергия. Да еще и «Солел-Боне» чаще всего платил ему бонами, которых никто — ни квартирохозяин, ни молочник, ни детский сад — не желал принимать.

В день полочки я неслась на угол к бакалейщику и уговаривала его принять бону в 1 фунт (100 пиастров) за 80 пиастров — я знала, что больше он не даст. Но не подумайте, Боже сохрани, что эти 80 пиастров я получала деньгами, — нет, он опять-таки давал мне целую кучу бон. С ними я мчалась к торговке курами, и в удачный день после двадцатиминутного спора мне удавалось уговорить ее взять мои боны (с которых она снимала 10-15%) в обмен на маленький кусочек курицы, из которой я варила суп для детей. Изредка в Иерусалим на день-другой приезжал Шамай; он привозил немного сыру или коробку с овощами и фруктами от Шейны. Мы устраивали тогда «банкет», и на некоторое время мне становилось полегче, а потом опять, как всегда, меня начинала грызть тревога.

Пока не родилась Сарра — в 1926 году — у нас было немножко дополнительных денег: мы сдавали одну из наших комнат, хотя у нас не было ни газа, ни электричества. Но когда появилась Сарра, мы, как ни трудно нам было, решили обходиться без этих денег, чтобы у детей была их собственная комната. Восполнить недостающую сумму можно было только одним способом: найти для меня такую работу, которую я могла бы делать, не оставляя ребенка одного. И я предложила учительнице Менахема, что буду стирать все детсадовское белье вместо того, чтобы вносить плату за своего сына. Целыми часами стоя во дворе, я скребла горы маленьких полотенец, передников и слюнявчиков, грела на примусе воду, ведро за ведром, и думала, что я буду делать, если треснет стиральная доска.

Я ничего не имела против работы — в Мерха-

вии я работала куда тяжелее и находила в этом удовольствии. Но в Мерхавии я была частью коллектива, членом динамичного общества, успех которого был для меня дороже всего на свете. В Иерусалиме я была словно узница, приговоренная — как миллионы женщин — неподвластными мне обстоятельствами бороться со счетами, которых не могу оплатить, стараться, чтобы обувь не рассыпалась, потому что не на что купить другую, и с ужасом думать, когда ребенок кашляет или у него поднимется температура, что неправильный пищевой рацион или невозможность как следует топить зимой могут навсегда подорвать его здоровье.

Конечно, иногда выпадали хорошие дни. Когда светило солнце и небо было синее (по-моему, летнее небо в Иерусалиме синее, чем где-либо), я сидела на ступеньках, смотрела, как играют дети, и чувствовала, что все хорошо. Но когда бывало ветрено и холодно и детям нездоровилось (а Сарра вообще много болела), меня переполняло — если не отчаяние, то горькое недовольство своей участью. Неужели к этому все и сводится? Бедность, нудная утомительная работа, вечные тревоги? Хуже всего было то, что об этих своих чувствах я не могла рассказать Моррису. Ему больше всего нужен был отдых, питание и душевный покой — но все это было недоступно и никаких видов на будущее не было.

Дела у «Солел-Боне» тоже шли скверно, и мы страшно боялись, что он закроется совсем. Одно дело было взяться со всем энтузиазмом за создание неофициального отдела гражданского строительства и подготовку квалифицированных еврейских рабочих-строителей, с тем, чтобы их непременно использовать; другое дело — иметь необходимый капитал и опыт в постройке дорог и зданий. В те дни «Солел-Боне» мог расплачиваться только «промиссоринотс» — чем-то вроде векселей на 100 или 200 фун-

тов, покрывавшимися более крупными векселями, которые «Солел-Боне» получал в оплату за совершенные работы. По поводу строительства в Палестине тогда рассказывали анекдот: «Один еврей сказал, что если бы у него для начала была хоть одна хорошая перьевая подушка, он бы мог построить себе дом. Каким образом?» «Очень просто, — сказал он. — Слушайте, хорошую подушку вы можете продать за один фунт. На этот один фунт вы покупаете членство в обществе кредита, и оно дает вам в кредит десять фунтов. Когда у вас на руках уже есть десять фунтов, можете начать присматриваться и наметить себе хорошенький участок. Наметили? Теперь идите к хозяину, платите ему десять фунтов чистогоном, а остальные он, конечно, согласится взять векселями (вот этими «промиссори нотс»). Раз уж вы землевладелец, ищите контрагента. Нашли? Скажите ему: «Земля у меня есть. Теперь построй на ней дом. А мне нужна только квартира, чтобы я там мог жить с семьей».

Но в моих переживаниях не было ничего веселого. Иногда Регина, работавшая тогда в Правлении сионистского движения в Иерусалиме, приходила ко мне, и пока я уныло убирала в комнатах, выслушивала мои жалобы и пыталась меня развеселить. Конечно, в письмах к родителям я рисовала совершенно другую картину и даже от Шейны старалась скрыть, до чего мне было плохо — но, боюсь, мне не удавалось.

Как ни странно, оглядываясь назад теперь, я понимаю, что не знала никого, кроме своего ближайшего окружения. А ведь тогда в Иерусалиме находилось правительство, оттуда высшие чины британской администрации — сначала сэр Герберт Сэмюэл, а с 25-го года лорд Плюмер — управляли страной. Иерусалим и тогда, как на протяжении всей своей истории, был изумительным городом. Одна его

часть была, как и теперь, мозаикой из усыпальниц и святых мест, другая же была штаб-квартирой колониальной администрации. Но прежде всего это был живой символ того, что еврейская история продолжается, узел, который связывал и связывает еврейский народ с землей Палестины. Население его было не такое, как в остальной стране. Наш район, например, граничил с кварталом Меа-Шеарим, где и сейчас живут ультраортодоксальные евреи, сохранившие в почти нетронутом виде свои обычаи, одежду и религиозные обряды, вынесенные из Европы XVI века, и считавшие таких евреев, как Моррис и я, без пяти минут язычниками. Но ни город, ни его улицы и пейзажи, ни живописные процессии, тянувшиеся по Иерусалиму даже в будние дни и являвшие людей всех вероисповеданий и рас, почти не производили на меня впечатление. Я слишком устала, слишком упала духом, слишком сосредоточилась на себе и семье, чтобы смотреть по сторонам, как бы следовало.

Однажды вечером я, уже не впервые, все-таки пошла к Стене Плача. Впервые мы были там с Моррисом через неделю или две после того, как мы приехали в Палестину. Я выросла в еврейском доме, хорошем, традиционном еврейском доме, но я не была набожной, и, по правде говоря, пошла к Стене без всякого волнения, просто потому, что должна была это сделать. И вдруг, в конце узких петляющих улиц Старого города, я увидела Ее. Тогда, до всех раскопок, Стена выглядела не такой большой, как сейчас. Но в первый раз я увидела, как евреи — мужчины и женщины — молились и плакали перед ней и засовывали «квитлех» — записочки с просьбами к Всемогущему — в ее расщелины. Значит, вот что осталось от прежней славы, подумала я, вот, значит, и все, что осталось от Соломонова Храма. Но, по крайней мере, она на месте. И тогда я увидела в

этих ортодоксальных евреев с их «квитлех» — выражение веры в будущее, отказ нации признать, что ей остались только эти камни. Когда я уходила в тот первый день от Стены, чувства мои изменились — может быть, то, что я испытывала тогда, можно назвать подъемом. И годы спустя, в тот вечер, о котором я сейчас рассказываю, когда я чувствовала глубокую неудовлетворенность, Стена опять не осталась ко мне немой.

В 1971 году я была награждена медалью «За освобождение Иерусалима» — величайшая честь, когда-либо мне оказанная, и на церемонии награждения я рассказала еще об одном посещении Стены. Это было в 1967 году, после Шестидневной войны. Девятнадцать лет, с 1948 по 1967 год, арабы запрещали нам ходить в Старый город или молиться у Стены. Но на третий день войны — в среду 7 июня — весь Израиль был наэлектризован сообщением, что наши солдаты освободили Старый город и Стена опять в наших руках. Через три дня я должна была лететь в Соединенные Штаты, но я не могла уехать, не посетив Стены. И в пятницу утром — хотя гражданским лицам еще не разрешалось входить в Старый город, потому что там еще продолжалась перестрелка, — я получила разрешение пойти к Стене, несмотря на то, что в то время я была не членом правительства, а простой гражданкой, как все.

Я пошла к Стене вместе с группой солдат. Перед Стеной стоял простой деревянный стол, а на нем — пулемет. Парашютисты в форме, с талесами на плечах, прикинули к Стене так тесно, что, казалось, их невозможно от нее отделить. Они со Стеной были одно. Всего за несколько часов перед тем они отчаянно сражались за освобождение Иерусалима и видели, как во имя этого падали их товарищи. Теперь, стоя перед Стеной, они закутались в талесы и плакали, и тогда я взяла листок бумаги, написала на нем

слово «шалом» (мир) и засунула его в расщелину, как делали евреи давным-давно, когда я это видела. И один из солдат (вряд ли он знал, кто я такая) неожиданно обнял меня, положил голову мне на плечо, и мы плакали вместе. Наверное, ему нужна была передышка и тепло старой женщины, и для меня это была одна из самых трогательных минут моей жизни. Но, конечно, все это относится к гораздо более позднему времени, к другой эре.

Конец двадцатых годов был тяжелым не только для меня, но и для всей еврейской Палестины. В 1927 году в ишуве было 7000 безработных мужчин и женщин — 5% всего палестинского еврейского населения. Казалось, что сионизм в своем рвении перехлестнул через край. В страну въезжало больше иммигрантов, чем ишув был в состоянии использовать. Например, из 13000 евреев, приехавших в Палестину в 1926 году, уехало больше половины; в 1927-м, впервые за все время, эмиграция из страны была выше иммиграции, — зловещий знак. Одни эмигранты уехали в Соединенные Штаты, другие — в разные части Британской империи. Была группа, включавшая в себя членов «Гдуд ха-авода», «Рабочего батальона», основанного в 1920 году для использования эмигрантов на работах по кооперативному строительству дорог, и добывавшая проекты, финансировавшиеся британской администрацией, которая по идеологическим причинам отправилась в Россию; многих из этой группы, по тем же «идеологическим» причинам, сослали в Сибирь или расстреляли.

Причин кризиса было несколько. Экономика ишува была совершенно не развита. Кроме строительства (на котором работало около половины всех еврейских рабочих Палестины) и апельсиновых рощ, фактически не было никакой другой работы — и капиталов не было тоже. Еврейские промышленные предприятия можно было пересчитать по пальцам

одной руки. Были предприятия на Мертвом море, соляная фабрика и карьер в Атлите, Палестинская электрокомпания (построившая электростанцию на берегах Иордана), фабрика мыла и пищевого масла «Нешер» в Хайфе. Было еще несколько мелких предприятий, в том числе типография и винные погреба, и это было все.

Была еще одна очень серьезная проблема. Зарплата еврейских рабочих в то время была очень низкой, но арабы-рабочие соглашались и на меньшую оплату, и немало владельцев апельсиновых рощ соблазнялись более дешевым арабским трудом. Что касается британской администрации, то, кроме строительства дорожной сети, она фактически ничего не делала для развития экономики страны и уже стала поддаваться антиеврейскому нажиму арабских экстремистов, таких, например, как муфтий Иерусалима Хадж Амин аль-Хуссейн и другие. Всего несколько лет прошло с тех пор, как Великобритания получила мандат на Палестину, — а правительство уже проявляло довольно сильную враждебность к евреям. Хуже того, оно стало сворачивать еврейскую иммиграцию в Палестину и в 1930 году угрожало вообще ее временно прекратить. Короче говоря, еврейский национальный очаг не процветал.

Я почти не бывала в Тель-Авиве в годы своей иерусалимской жизни, а если приезжала, то только для того, чтобы повидать Шейну с семьей или родителей, переехавших в Палестину в 1926 году. Между посещениями родственных домов я старалась повидать старых друзей, узнать, что происходит в партии, услышать какие-нибудь слухи из Мерхавии или о Мерхавии, — словом хоть на несколько часов почувствовать себя частью того, что делается в стране. Отец, как мне теперь кажется, был типичным иммигрантом того времени, хоть он и приехал не из Европы, а из Штатов. В Милуоки ему удалось со-

брать немного денег, на которые он с гордостью купил в Палестине два участка земли — частью потому, что, как сионист, он хотел тут жить, частью ради того, чтобы воссоединить семью. Оба его участка были в тех местах, где почти ничего не было, кроме песка. Один был в Герцлии, в нескольких километрах к северу от Тель-Авива. Другой был в Афуле, недалеко от Мерхавии, и там он собирался построить дом. Когда я спросила: почему в Афуле, ведь это далеко и от Шейны, и от меня, — он сказал, что в Афуле будет построен первый в Палестине оперный театр, и он будет жить в крупном музыкальном центре. Я хорошо знала Афулу — когда мы жили в киббуце, я неоднократно там бывала. Это была пыльная деревушка, и я была уверена, что никакого театра там не построят — во всяком случае, в обозримом будущем. Но отец был непоколебим. Долгое время он и слушать ничего не хотел и упрекал нас с Шейной за маловерие. «Разве Тель-Авив не был построен на песчаных дюнах?» — спрашивал он с укором в голосе. В конце концов, мама присоединилась к нам; отец вздохнул, отказался от намерения жить в Эмеке и согласился строиться в Герцлии, хоть там и не будут раздаваться оперные арии.

Дом он построил, можно сказать, собственными руками, как подобает хорошему плотнику. Это был один из первых настоящих домов в районе, и родители обосновались там так же быстро, как когда-то в Милуоки. Отец стал членом местной синагоги, выяснил, что там нет кантора и предложил бесплатно свои услуги. Он также вступил в кооператив плотников, но так как работы было мало, это не принесло плодов. Но у моей предприимчивой мамы появилась идея. Она будет готовить и продавать обеды, а отец будет ей помогать. В Палестине тогда было очень мало ресторанов, а в Герцлии их не было вообще, так что мамина идея оказалась очень удачной.



За несколько пиастров рабочие всей округи получали недорогую и здоровую пищу.

И при всем этом, хоть они и решили твердо устроиться в Палестине (несмотря на то, что оба были уже не первой молодости), они очень страдали от общей экономической ситуации. Как-то, за неделю до Пасхи я повезла детей в Герцлию, чтобы помочь маме готовиться к празднику. В канун Пасхи должен был приехать Моррис, ожидали и Шейну с детьми. Но все мы были так бедны, что готовить оказалось нечего. Отец ходил как пришибленный. Подумать только, он в Палестине, почти со всей семьей (Клара еще училась в колледже в Висконсине, но тоже собиралась приехать, как только получит диплом) — а в доме ни одной пачки мацы, ни одной бутылки вина, не говоря уже о праздничном ужине. Я не могла на него смотреть, я боялась, как бы он не сделал чего-нибудь ужасного. Никогда раньше бедность не могла его сломить — а теперь он чувствовал себя униженным.

И тут случилась изумительная вещь. Меня укусила собака. Для кого другого это, может быть, и было бы ужасно, но для меня это было чудо. Мне пришлось ездить в Тель-Авив на уколы, а находясь там, я могла бегать по городу в поисках человека, который одолжил бы мне денег. Мне удалось найти банк, который соглашался дать мне займы 10 фунтов (тогда это были большие деньги), если я найду гарантов. Опять я пустилась рыскать по городу, но те, кого я находила, не подходили банку, а те, кого указывал мне банк, не желали рисковать. Наконец, я нашла человека, у которого был капитал, хорошая репутация и хорошее еврейское сердце, — и я вернулась в Герцлию. В кармане у меня лежали целых десять фунтов для отца, а в сердце пылала небывалая любовь к собакам.

Тель-Авив в тех редких случаях, когда я там

бывала, угнетал меня видом безработных мужчин на углах и унынием недостроенных зданий, торчащих повсюду. Словно бы истощился огромный взрыв энергии. Конечно, люди со стороны могли видеть все это иначе. Несмотря на экономический кризис, тысячи евреев жили в Палестине, воспитывали там детей, выдвигали собственное руководство, создавали сельскохозяйственные и городские поселения, и все это, в конце концов, делалось только благодаря сионистскому движению за границей. Это и само по себе можно было рассматривать как успех. Для будущих историков даже этот мрачный период приобретает более светлый оттенок. Но я не была ни человеком со стороны, ни историком, и только желала, страстно и пламенно, принять активное участие в том, что надо сделать, чтобы ситуация улучшилась.

Мне повезло. Гистадрут (Всеобщая федерация еврейских трудящихся) — организация, в которой и для которой мне пришлось проработать так много лет, была заинтересована в работе людей моего типа. Я уже поработала в Тель-Авиве для «Солел-Боне» и, правда, очень короткое время, продолжала работать и в Иерусалиме, к тому же знала многих деятелей рабочего движения. Эти люди нравились мне больше всего и я восхищалась ими. Мне хотелось учиться у них и работать с ними, и с ними я чувствовала себя совершенно как дома. Основные цели Гистадрута они понимали так же, как я, — не столько как защиту ближайших экономических интересов трудящихся, сколько как создание трудовой общины, преданной будущему евреев в Палестине — тех, кто уже там живет, и тех, кто приедет потом.

Во многом Гистадрут представлял собой уникальное явление. Он не мог строиться как другие существующие рабочие организации, потому что положение еврейского рабочего в Палестине ничуть не

походило на положение рабочих в Англии, Франции или в Америке. Как и всюду, в Палестине надо было охранять экономические права еврейских — и арабских — рабочих, в том числе право на забастовку, на приличную оплату труда, на отпуск, на отпуск по болезни и т. д. Но ошибкой было бы думать, что Гистадрут, хоть и назывался Всеобщей федерацией еврейских трудящихся, есть тред-юнион; это значило бы упрощать ситуацию. И по идее, и на практике он представлял собой нечто значительно большее. Прежде всего, Гистадрут базировался на единстве всех трудящихся ишува, будь то служащие, киббуцники, «синие воротнички», «белые воротнички», чернорабочие или интеллектуалы; с самого начала Гистадрут был в первых рядах борцов за переезд евреев в Палестину, хотя увеличение иммиграции падало бременем на его собственные плечи.

Во-вторых, Палестина не имела готовой экономики, которая могла бы сравниться с постоянным притоком еврейских иммигрантов в страну. Конечно, существовали на поверхности мелкие предприятия, существовали сельскохозяйственные поселения. Но этого было мало для страны с растущим населением, и мы, приехавшие в Палестину, чтобы строить еврейский национальный очаг, знали, что должны создать то, что сегодня так естественно называют «национальной экономикой». Не будем говорить обо всем, что сюда входит — о промышленности, транспорте, строительстве, финансах, не говоря уже о способах борьбы с безработицей и о соцстраховании. Скажем только, что нашей работой должно быть создание чего-то из ничего, или почти из ничего. И даже в то время палестинские трудящиеся, немногочисленные и изолированные, не колеблясь, возложили на себя через Гистадрут, чего, разумеется, никто от них не требовал, нелегкую от-

ветственность: быть авангардом строящегося государства.

По причине своей глубокой преданности идеалам сионизма Гистадрут рассматривал все аспекты жизни еврейского национального очага как одинаково важные. У Гистадрута, о каком бы проекте ни шла речь, всегда было (да и теперь есть) два критерия: отвечает ли он насущным потребностям нации и приемлем ли он (или необходим) с социалистической точки зрения.

Вот пример: Гистадрут принял решение развивать собственные экономические предприятия, контроль над которыми принимает на себя вся трудовая община в целом. Уже в 1924 году официально зарегистрированная организация Хеврат ха-Овдим (что можно перевести как Всеобщая кооперативная ассоциация еврейских трудящихся Палестины), представляющая всех и каждого члена Гистадрута, стала «владельцем» всех предприятий, тогда немногочисленных, которые были у Гистадрута в активе. Одним из этих предприятий был «Солел-Боне», и когда в 1927 году распух и лопнул, никто за пределами рабочего движения не мог себе представить, что он может когда-либо быть восстановлен. Но Гистадрут знал, что существует и всегда будет существовать потребность в строительной компании, отвечающей национальным требованиям так, как не смогла бы отвечать в то время компания частных предпринимателей. И через некоторое время «Солел-Боне» возродился. Теперь, пережив несколько реорганизаций, в том числе реорганизацию 1958 года (когда он перестроился на базе трех компаний — строительной, заморских и портовых работ и индустриальной с ее филиалами), это одна из самых больших и успешно работающих компаний на Ближнем Востоке. Когда я вспоминаю, какое напряжение, какое уныние ца-

рили в 1927 году в темной иерусалимской конторке «Солел-Боне», где не хватало наличных денег, чтобы хоть раз в месяц заплатить бухгалтеру, и сравниваю это с теперешним «Солел-Боне» — 50000 мужчин и женщин, рабочих и служащих, годовой оборот 2,5 миллиарда, — я готова спорить с любым, кто скажет, что сионизм совместим с пессимизмом, а социализм не действителен, если он не беспощаден.

Тем критикам еврейского рабочего движения, которые пятьдесят лет назад говорили, что у Гистадрута слишком романтическое и грандиозное представление о своей роли и поэтому он обречен на провал, я скажу, что «Солел-Боне» не только выстоял пять очень трудных десятилетий, но и сыграл решающую роль в строительстве тысяч домов, школ, больниц и дорог в Израиле, а также в тех израильских проектах, которые осуществлены были в Африке, Азии и на Ближнем Востоке. Но ведь «Солел-Боне» — только одно из созданий Гистадрута. Существуют десятки других, в разных областях — в сельском хозяйстве, промышленности, народном образовании, культуре, даже в медицине, и все они были созданы в стойком убеждении, что трудящиеся Израиля выражают себя именно в строительстве того, что теперь является еврейским государством.

Во всяком случае я была в восторге (и мне очень польстило), когда в один дождливый день Давид Ремез, увидев, что я с кем-то остановилась на улице около тель-авивского здания Гистадрута, подошел и спросил, не хочу ли я вернуться на работу и не соглашусь ли стать секретарем «Моэцет ха-поалот» (Женского рабочего совета) Гистадрута. Это был тот самый Давид Ремез, который четыре года назад предложил нам с Моррисом работать в иерусалимском отделении «Солел-Боне». По дороге обратно в Иерусалим я приняла решение, нелегкое решение. Я понимала, что если возьму эту работу, мне придется

много ездить по стране, и за ее пределами, и что нам придется искать квартиру в Тель-Авиве, что было непросто. Но — и это было куда серьезнее и труднее — и я должна была признать тот факт, что возвращение на работу означает конец моим попыткам целиком посвятить себя семье. Я еще не смела даже себе признаться в окончательном поражении, но уже поняла за эти четыре года, что мое замужество оказалось неудачей. И поступить на работу с полным рабочим днем — означало примириться с этим обстоятельством, — а это меня пугало. Но, с другой стороны, твердила я себе, для всех — для Морриса, для детей, для меня — будет лучше, если я буду довольна и удовлетворена. Может, я смогу со всем справиться, все совместить: спасти то, что осталось от нашего брака, быть хорошей матерью Менахему и Сарре и жить интересной и целеустремленной жизнью, к которой я так стремилась.

Разумеется, все вышло не совсем так. Ничто не выходит точно так, как задумано. Но, честно говоря, не могу сказать, что я когда-либо пожалела об этом своем решении или сочла его неправильным. А горько я жалею о том, что хотя мы с Моррисом и остались супругами и любили друг друга до самой его смерти в моем доме в 1951 году (символично то, что я в это время была в отъезде), мне все-таки не удалось сделать наш брак удачным. Мое решение в 1928 году означало, что мы расстаемся, хотя окончательно мы расстались только десять лет спустя.

Трагедия была не в том, что Моррис меня не понимал, — напротив, он слишком хорошо меня понимал и знал, что не может ни создать меня заново, ни переделать. Я оставалась сама собой, а из-за этого у него не могло быть такой жены, которую он хотел бы иметь и в которой нуждался. И поэтому он не стал отговаривать меня от возвращения на работу, хотя и знал, что это в действительности означает.

Он навсегда остался частью моей жизни — и, уж конечно, жизни наших детей. Узы между ним и детьми никогда не слабели. Они его обожали и виделись с ним очень часто. У него было что им дать, как было что дать мне, и он оставался для них прекрасным отцом даже после того, как мы стали жить раздельно. Он читал им, покупал им книжки, часами говорил с ними о музыке, и всегда с той нежностью и теплотой, которые были для него так характерны. Он всегда был спокойным и сдержанным. Посторонним он мог казаться неудачником. Но дело в том, что он жил богатейшей внутренней жизнью, куда более богатой, чем моя, при всей моей активности и подвижности, — и это богатство он щедро делил с близкими друзьями, с семьей и, прежде всего, со своими детьми.

Итак, в 1928 году я уехала в Тель-Авив с Саррой и Менахемом — Моррис приезжал к нам только на уик-энды. Дети пошли в школу — одну из тех, которые содержал Гистадрут, и я стала работать.

Женский рабочий совет и сестринская заграничная организация — «Женщины-пионеры» — был первой и последней женской организацией, для которой я работала. Меня влекло туда не потому, что они занимались именно женщинами, но потому, что меня очень интересовала их работа, в частности — на учебных фермах, которые они устроили для девушек-иммигранток. Сегодня Рабочий совет (часть Гистадрута) занимается главным образом социальным обслуживанием и трудовым законодательством для женщин (льготы по материнству, пенсионные дела и т. д.), но в тридцатые годы он делал упор на профессиональную подготовку сотен девушек, приезжавших в Палестину, чтобы работать на земле, не имея никакого трудового опыта. Эти учебные фермы давали девушкам куда больше, чем просто профессиональные навыки. Они помогали ускорить их

интеграцию в новое общество; девушки изучали там иврит и получали чувство стабильности на новой земле, куда приехали без семьи и зачастую против воли родителей. Эти «женские рабочие фермы» были устроены тогда, когда большинство людей считало абсурдом самую мысль о том, что и женщинам надо давать профессиональную подготовку, да еще в области сельского хозяйства.

Я не поклонница того феминизма, который выражает себя в сожжении лифчиков, ненависти к мужчинам или в кампаниях против материнства, но я испытывала глубокое уважение к таким женщинам, как Ада Маймон, Беба Идельсон, Рахел Янаит-Бен-Цви, много и энергично работавших в рядах партии Поалей Цион и сумевшим вооружить десятки городских девушек теоретическими знаниями и практическими навыками, которые помогли им справляться с сельским трудом в новых палестинских поселениях. Доля этих девушек в развитии поселений была очень велика. Такой конструктивный феминизм действительно делает женщинам честь и значит гораздо больше, чем споры о том, кому подметать и кому накрывать на стол.

Конечно, о положении женщин можно сказать многое (многое — даже, может быть, очень многое — уже было сказано), но я свои взгляды по этому вопросу могу сформулировать кратко. Разумеется, следует признавать равенство мужчин и женщин во всех отношениях, но, и это справедливо и по отношению к еврейскому народу, не надо женщинам стараться быть лучше всех для того, чтобы чувствовать себя людьми, и не надо думать, что для этого им следует поминутно творить чудеса. Однако тут надо рассказать анекдот, когда-то ходивший по Израилю, — будто бы Бен-Гурион сказал, что я — «единственный мужчина» в его кабинете. Забавно, что он (или тот, кто выдумал это) считал, что это величайший ком-



плимент, который можно сделать женщине. Сомневаюсь, чтобы какой-нибудь мужчина почувствовал себя польщенным, если бы я сказала о нем, что он — единственная женщина в правительстве.

Дело в том, что я всю жизнь прожила и проработала с мужчинами, но то, что я женщина, никогда мне не мешало. Никогда у меня не возникали чувства неловкости или комплекс неполноценности, никогда я не думала, что мужчины лучше женщин, или что родить ребенка — несчастье. Никогда. И мужчины со своей стороны никогда не предоставляли мне каких-нибудь особенных льгот. Но, по-моему, правда и то, что для женщины, которая хочет жить не только домашней, но и общественной жизнью, все гораздо труднее, чем для мужчины, ибо на нее ложится двойное бремя. Исключением являются женщины в киббуцах, где организация жизни позволяет им и работать, и воспитывать детей. А жизнь работающей матери без постоянного присутствия и поддержки отца ее детей в три раза труднее жизни любого мужчины.

Моя жизнь в Тель-Авиве после переезда может до некоторой степени служить иллюстрацией ко всем этим трудностям и дилеммам. Я вечно спешила — на работу, домой, на митинг, на урок музыки с Менахемом, к врачу с Саррой, в магазин, к плите, опять на работу и опять домой. И до сего дня я не уверена: не повредила ли я детям, не забрасывала ли я их, хоть и старалась не задерживаться ни на час нигде. Они выросли здоровыми, трудолюбивыми, талантливыми и добрыми, они стали чуткими родителями для своих детей, чудными товарищами для меня. Но когда они еще были подростками, оба они, и я это знала, очень не любили мою общественную деятельность.

Чтобы приготовить им обед, я вставала по ночам. Я чинила их одежду. Я ходила с ними на кон-

церы и в кино. Мы всегда много разговаривали и много смеялись. Но не были ли Шейна и мама правы, обвиняя меня в том, что я недодаю детям того, что им положено? Думаю, что никогда не смогу ответить на этот вопрос удовлетворительно для себя и никогда не перестану себе его задавать. А гордились ли они мною, тогда или потом? Мне хочется думать, что да, но я не уверена, что гордость за мать возмещает ее частые отлучки. Помню, однажды я председательствовала на каком-то митинге и, ставя вопрос на голосование, сказала: «Поднимите руки, кто за!» Каково же было мое изумление, когда я увидела в зале (куда они незаметно прокрались, придя за мной) Сарру и Менахема — они оба дружно подняли руки, выражая этим, что они тоже «за». Это был самый приятный для меня вотум доверия, но я все-таки чувствовала, что голосовать за мать менее важно, чем находить ее дома, когда приходишь из школы.

И, конечно, потом я еще и за границу часто уезжала. И тогда чувство вины совсем уж подавляло меня. Я им все время писала, даже наговаривала для них «говорящие письма», никогда не возвращалась без подарков — и все-таки вечно чувствовала, что наношу им обиду. В 1930 году я выразила свои чувства в анонимной статье, написанной для сборника воспоминаний активисток ишува того времени. Может быть, для современной женщины будут небезынтересны кое-какие места из той давнишней статьи, потому что современные машины — стиральные, посудомоечные, сушильные, — хоть и очень помогли бы мне в ту пору, все-таки и сейчас не решили бы проблем, тревожащих меня тогда.

*«Как правило, внутренняя борьба и порывы отчаяния матери, которая ходит на работу, ни с чем несравнимы. Но внутри этого правила есть вариации и оттенки. Есть матери, которые работают*

лишь тогда, когда вынуждены это делать — муж болен или потерял работу, или семья еще каким-то образом выбита из колеи. Ее действия для ее самой оправданы необходимостью — иначе нечем будет кормить детей. Но есть женщины, которые не могут оставаться дома по другим причинам. Какое бы место в их жизни ни занимали семья и дети, их натура, все их существо требует большего: они не могут отделить себя от жизни общества. Они не могут допустить, чтобы их горизонт ограничивался детьми. Эти женщины не знают покоя.

Теоретически все ясно. Женщина, которая занимается своими детьми, — надежна, преданна, детей любит и годится для этой работы; дети вполне присмотрены. Есть даже теоретики-педагоги, считающие, что для детей лучше, если матери не хлопочут вокруг них постоянно; что мать, отказавшаяся от внешнего мира ради мужа и детей, сделала это не из чувства долга, преданности и любви, а по причине своей неспособности, потому что ее душа не может вместить многосторонность жизни с ее страданиями — но и с ее радостями. Пусть женщина осталась с детьми и не занимается ничем другим — разве это доказывает, что она более преданная мать, чем та, что работает? Если у женщины нет любовников, доказывает ли это, что она больше любит мужа?

Но мать страдает и на самой своей работе. У нее всегда есть ощущение, что ее работа была бы продуктивнее, если бы ее делал мужчина или даже незамужняя женщина. Дети, со своей стороны, всегда ее требуют, и когда здоровы, и, особенно, когда больны. Вечное внутреннее раздвоение, вечная спешка, вечное чувство невыполненного долга — сегодня по отношению к семье, завтра по отношению к работе — вот такое бремя ложиться на плечи работающей матери».

Статья эта не слишком хорошо написана, сегодня она кажется мне недостаточно свободной, но тогда я писала ее, страдая по-настоящему.

Не говоря уже обо всем прочем, Сарра болела несколько лет подряд. Нам сказали, что у нее не в порядке почки, — не было месяца, когда бы мы в тревоге ни обращались к врачу. Она была хорошенькая, веселая, очень подвижная девочка, послушно соблюдавшая диету, глотавшая лекарства и, если надо, неделями остававшаяся в постели. Непросто было оставлять ее с кем-нибудь в те дни, когда она лежала; когда же она была на ногах, то за ней нужен был глаз да глаз. Шейна и мама очень мне помогали, но мне всегда казалось, что я должна давать им объяснения и извиняться за то, что уйду на работу с утра и возвращаюсь поздно вечером.

Недавно мне попало в руки письмо, которое я в это время написала Шейне. Меня на несколько месяцев послали в Штаты — с поручением к организации «Женщины-пионеры». Семь лет, с самого 1921 года, я не была в Америке. По дороге я побывала в Брюсселе на съезде Социалистического интернационала. Брюссель меня поразило. Я совершенно забыла, каков мир за пределами Палестины; меня изумляли деревья, трамваи, лотки с цветами и фруктами, прохладная облачная погода. Это было так непохоже на Тель-Авив. Все приводило меня в восторг. Так как я была самым молодым членом делегации (куда входили Бен-Гурион и Бен-Цви), у меня хватало времени и на то, чтобы осматривать город, и на то, чтобы слушать часами речи знаменитых социалистов, которых я, конечно, не встречала прежде, — таких, как Артур Гендерсон, лидер британской лейбористской партии, или Леон Блюм, впоследствии первый во Франции премьер-министр-социалист и еврей. Гендерсон только что согласился организовать «Лигу для рабочих Палестины», за что подвергся жесто-

ким нападениям — кого бы вы думали? — социалистов-евреев — антиссионистов! — и по отношению к нам атмосфера была грозная. Несмотря на все, что происходило вокруг, я однажды выкроила час, чтобы, воспользовавшись отдалением, завоевать Шейну и убедить ее, что я не просто эгоистичная плохая мать. Я писала ей из Брюсселя:

*«Мне нужно только, чтобы меня поняли и мне поверили. Моя общественная деятельность не случайность, она мне абсолютно необходима... Перед отъездом доктор заверил меня, что состояние Сарриного здоровья это позволяет, то же я установила и в отношении Менахема... При нашей теперешней ситуации я не могла отказаться от того, что мне поручали. Поверь, я понимаю, что это не ускорит приход Мессии, но, по-моему, я должна воспользоваться всякой возможностью, чтобы объяснить влиятельным людям, чего мы хотим и кто мы такие...»*

И хотя сама Шейна вскоре должна была уехать в Америку, чтобы учиться там диетологии, оставив в Палестине двух старших детей, она продолжала обвинять меня в том, что я теперь, как она выражалась, «общественная фигура, а не столп семьи». И мама меня ругала тоже. Думаю, что больше всего их огорчало, что из-за моих частых отлучек детям приходилось обедать в нашей общественной, довольно спартанской, но хорошей столовой, входившей в блок домов, построенных для рабочих на нашей улице Яркон, в приморской части северного Тель-Авива.

Вообще же мы жили хорошо. Одну из наших трех комнат я всегда сдавала, так что дети никогда не были одни (годами я спала — и как крепко! — на кушетке в нашей гостиной-столовой), а уезжая за границу, я всегда находила человека, который бы смотрел за ними. Но, конечно, они видели меня мень-

ше, чем следовало бы, а у меня никогда не хватало времени, зато с избытком хватало тревог по поводу того, как примирить требования семьи с тем, чего от меня требует моя работа.

Сегодня Правление Гистадрута помещается в огромном здании на одной из главных улиц Тель-Авива; это улей, гудящий сотнями голосов, телефонов, пищащих машинок. Тогда не было ничего похожего. У нас было несколько комнат, две-три машинистки, один телефон и все знали друг друга. Мы были товарищами — «хаверим» — в буквальном смысле этого слова; хоть мы все время спорили между собой по всяким техническим мелочам, взгляды на жизнь у нас были общие, как и ценности. Связи, которые у меня завязались тогда, не порвались и теперь — хотя в последние годы пришлось мне провозжать в последний путь многих из тех, кто тогда был молод, как и я, как и Гистадрут.

Трое-четверо из этих людей стали известны и за пределами ишува. О Бен-Гурионе, который, по справедливости, стал для всего мира воплощением всего Израиля и который почти, наверное, останется в памяти людей как один из истинно великих евреев XX столетия, я буду говорить позже. Он был единственным среди нас, о ком можно сказать, что он был буквально необходим народу в его борьбе за независимость. Но в то время я его мало знала. Хорошо я узнала тогда Шнеура Залмана Шазара, который стал третьим президентом Израиля; Леви Эшкола, ставшего третьим премьер-министром; Давида Ремеза и Берла Кацнельсона; Иосифа Шпринцака — первого председателя Кнессета.

Я встретила впервые с Шазаром (фамилия которого, прежде чем он ее гебраизировал, была Рубашов) сразу после того, как мы уехали из Мерхавии в Тель-Авив. Это было 1 мая, рабочий праздник, и мы с Моррисом пришли на сбор, проводившийся

под руководством Гистадрута во дворе гимназии «Герцлия». Я не слишком люблю слушать длинные речи — даже если они посвящены рабочему движению — и немножко отвлеклась. Но тут слово взял молодой человек. Как сейчас вижу его: крепко сложенный, в русской рубашке — эти рубашки тогда носили палестинские рабочие — с кушаком, в брюках защитного цвета. Он говорил с таким жаром, с таким энтузиазмом и на таком изумительном иврите, что я сразу же спросила, кто это. «Рубашов, — ответили мне с каким-то укором, словно я должна была это знать. — Поэт и писатель. Очень значительный человек». Когда я с ним познакомилась, он произвел на меня очень сильное впечатление, и через некоторое время мы стали очень близкими друзьями.

В отличие от некоторых из нас, кто, не будь сионистского движения, никогда бы особенно не выдвинулся, Шазар был замечательно одаренным человеком. Это был настоящий ученый, достигший вершин еврейской образованности, как и надлежало потомку знаменитой хасидской фамилии (он носил имена первых любавичских раввинов), — и талантливейший журналист, эссеист и редактор. Он умер в 1974 году, в возрасте восьмидесяти пяти лет, через год после того, как ушел с президентского поста. Когда он уже был очень старым человеком, молодые израильтяне не могли скрыть улыбки (думаю, добродушной, все-таки), когда он произносил свои длинные, эмоциональные и цветистые речи, стиль которых не изменился с двадцатых годов.

Но Шазару всегда было что сказать, хотя иной раз ему для этого требовалось время. Будучи президентом, он всегда подчеркивал, что главное — это единство «семьи Израиля», как он называл всю еврейскую общину страны, — и тех, кто, как он, приехал из Европы, и многих тысяч тех, кто приехал из

арабских стран и для которых ни хасидизм, ни идишская культура не значили ничего. Много лет Шазар был редактором ежедневной партийной газеты «Давар». Помнится, кто-то сказал мне: Залману гораздо приятнее исправлять ошибки в чужих писаниях, чем писать самому. Ему следовало бы стать учителем.

Он никогда не преподавал, но в 1948 году стал первым израильским министром образования и с наслаждением взялся за эту работу. Очень люблю историю про его первый день в министерстве — она показывает, какой это был теплый, лишенный претензий и преданный делу человек. Он обнаружил, что для него — министра — есть комната и есть мужчина-секретарь, но нет пишущей машинки. Это его не смутило. Он повесил шляпу, сел и с живостью сказал секретарю: «Запишите, пожалуйста. Нет машинки? Неважно. Пишите от руки. Готово? «Все израильские дети в возрасте от 4 до 18 лет должны получать бесплатное образование самого высокого качества». Когда секретарь заметил, что, быть может, лучше с этим подождать несколько дней, поскольку государству всего один день от роду, Шазар вспыхнул: «Когда речь идет об образовании, я не хочу никаких споров. Это мой первый министерский приказ, и я за него отвечаю». И в самом деле, очень скоро он издал постановление о всеобщем и бесплатном образовании в Израиле.

Когда Шазар был президентом, а я премьер-министром, я виделась с ним так часто, как только могла. Он ненавидел сравнительную изоляцию, в которой находится в Израиле президент; я звонила ему и приходила к нему, чтобы удержать его, не дать ему впутаться в чреватые неприятностями политические ситуации, особенно же партийного порядка. «Залман, не забывай, что ты теперь президент, — говорила я. — Ты не должен вмешиваться». И Шазар горестно качал головой, но принимал мой совет.



Леви Эшкол (его фамилия в России была Школьник) — другой многообещающий молодой человек, с которым я подружилась в 1920-е годы. Хотя и он тоже происходил из хасидской семьи в России, но был полной противоположностью Шазару. Он был гораздо больше человек действия, чем слова. Ему было девятнадцать лет, когда он приехал в Палестину; проработав сельскохозяйственным рабочим в разных частях страны, он записался в Еврейский легион вместе с Бен-Гурионом и Бен-Цви (много лет спустя он похвалялся, что получил звание капрала раньше, чем Бен-Гурион). Когда война окончилась, он стал членом киббуца Дгания-Бет, откуда его кооптировали в Гистадрут, но его связь с этим киббуцем никогда не порывалась. Это был типичный идеалист-практик той эпохи. Главными его интересами были земля, вода и оборона — не обязательно в таком порядке, — и счастливее всего он был, когда работал над этими земными и основополагающими проблемами. Абстрактная политика не слишком привлекала его, а бюрократические процедуры он просто ненавидел — но стоило дать ему конкретное задание, как он брался за его выполнение с присущим ему упрямством, искренностью и прозорливостью. Хотите еврейский национальный очаг — селите евреев на землю, сколько бы ни стоила земля, какие бы препятствия ни ставило британское правительство на пути тех организаций, которые хотят эту землю купить. «Да тут и нагайкой невозможно взмахнуть», — говорили в британском управлении колоний в 1929 году в извинение своей непростительной политики, ограничивающей еврейскую иммиграцию и покупку земли. Тридцать лет Эшкол высматривал места для новых поселений и в качестве главы отдела поселений Еврейского Агентства он курировал создание новых еврейских сел — примерно около 400. Но поселений не может быть без ирригации, а ир-

ригации — без воды. В поисках воды Эшкол организовал интенсивные разведывательные работы. Они стоили дорого, поэтому он искал и денег на их осуществление, и находил и воду, и деньги — хотя и не в таком количестве, которого хватило бы навсегда.

Но если, имея и землю, и воду, вы, к несчастью, имеете еще и очень враждебно настроенных соседей, то вы должны приобретать оружие и обучать армию. Вклад Эшкола в вооруженные силы Израиля, начиная с 1921 года, когда он вошел в первый комитет обороны Гистадрута, и до тех пор, пока он был премьер-министром и министром обороны — с 1963 года, — достоин особого рассказа. Во время Шестидневной войны, когда он был премьер-министром, его много и несправедливо ругали за так называемые «колебания» — между тем, лидер, который не колеблется, посылая в бой молодых людей, есть катастрофа для нации; куча злых анекдотов ходила тогда по поводу его якобы нерешительности. Но величайшей трагедией и страданием Эшкола в последние годы (он умер в 1969 году от сердечного приступа — вежливое название для разбитого сердца) был его разрыв с Бен-Гурионом, лояльнейшим последователем которого он был в течение десятилетий и по просьбе которого он очень неохотно принял пост премьер-министра в 1963 году. В их конфликт было вовлечено все рабочее движение и, можно сказать, он раздирал Израиль на части — но все это относится к более поздним годам и к этому я еще вернусь.

Эшкол не был, как сейчас модно говорить, «харизматичен». У него не было «блеска», но он был творческой личностью. Он делал то, что действительно надо было делать, как ни трудно это было; люди и их чувства значили для него очень много. Я с самого начала его любила и ему доверяла. Кто мог бы подумать тогда, что он станет премьер-министром, а я

сменю его на этом посту? В 1950-е годы, когда Эшкол был министром финансов, а я — министром труда, у нас происходили непрерывные стычки — не на личной почве, разумеется. В те годы молодое государство было наводнено сотнями тысяч нищих, голодных, бездомных евреев из европейских лагерей перемещенных лиц и арабских гетто — разместить их мы могли, только построив для них наши собственные лагеря (так называемые «маабарот»).

Однажды Эшкол ворвался в мой кабинет. «Мы должны вытащить их из этих лагерей, — кричал он. — Мы должны расселить их по стране. Не знаю, как мы это сделаем, не знаю, откуда возьмем деньги, не знаю, на что они будут жить, но мы должны вытащить их из лагерей». Я сказала, что сделать это сейчас невозможно, и речи не может быть, нужно время. Он был непреклонен — и был совершенно прав. Не думаю, что Израиль пережил бы хаос тех лет, если бы Эшкол не настоял, чтобы около 700000 иммигрантов немедленно были вывезены из этих «приемных центров» и распределены по стране в палаточных городках, за несколько дней покрывших землю, словно поганки. Но, в конце концов, именно это помогло их абсорбции.

Мне, как министру труда, надлежало найти этим людям работу и вытащить их из жалких палаток, и я вечно мучила Эшкола требованием денег на спец-проекты и строительство жилья. Но он ставил во главу угла другие дела, а лозунг у него был один. «Слушай, — говорил он мне, — дома не дойдутся, дойдут коровы. Если тебе сейчас нужны деньги — пожалуйста. Но только на коров». Однажды я так рассердилась, что пошла к Бен-Гуриону и заявила, что ухожу в отставку. Я ведь соглашалась быть министром труда и развития (это включало домостроительство), а не министром безработицы и палаток! В конце концов я, конечно, не ушла в отставку, а Эшкол

каким-то образом наскреб денег на домостроительство.

Еще один дорогой друг тех лет — Давид Ремез, о котором я уже говорила. Это был такой же теплый человек, как Эшкол, и у него было такое же чувство юмора; как и Эшколу, ему пришлось разрешать насущные проблемы сионизма, в частности в «Солел-Боне», а потом в гистадрутовских проектах, разрешавших проблемы транспорта — сухопутного, морского и даже воздушного. Ремез принадлежал к последней волне «Второй Алии», как мы ее называем (примерно 35 000 евреев, прибывавших в Палестину в промежутке между 1909 и 1914 годами), и был, пожалуй, типичен для этого поколения пионеров. В юности он писал стихи, читал и рассуждал о социализме, на всю жизнь увлекся ивритом и изучал право в Константинопольском университете, где познакомился с Бен-Гурионом, Бен-Цви и молодым тогда Моше Шаретом. Но, приехав в Палестину, он отложил в сторону теорию и книжки, взялся за кирку и лопату и в течение пяти нелегких лет осуществлял то, что прежде проповедовал, работая в апельсинных рощах и на виноградниках страны.

Всю свою жизнь (он умер в 1951 году) Ремез сохранял страстно заинтересованное отношение не только к содержанию рабочего движения (рабочее единство и будущее социализма в еврейском национальном очаге), но и к его форме. Возрождением языка он занимался не меньше, чем морским транспортом, и любимым его отдыхом было создавать нужные ивритские слова из древнееврейских корней. Слова, которые он изобретал, были, что характерно, связаны с реальной жизнью, а не с идеологией, несмотря на то, что он принимал активное участие в руководстве рабочим движением и много лет был генеральным секретарем Гистадрута. Кстати, в 1948 году Ремез был одним из авторов Изра-

ильской Декларации Независимости. Когда было создано государство, он стал его первым министром транспорта, а потом — министром образования. Мы встречались часто и на многое смотрели одинаково. Ремез был одним из очень немногих моих товарищей, с которыми я обсуждала даже свои личные дела; я принимала его советы и указания — и мне до сих пор их не хватает.

И главное — был Берл Кацнельсон. Он умер в 1944 году и никогда не увидел государства Израиль, а я часто задумываюсь, что сказал бы он о нем и о нас. Не сомневаюсь, что если бы Берл был с нами эти тридцать лет, многое у нас сложилось бы иначе — и лучше. Партия, в которой он был неоспоримым духовным вождем и руководителем, тверже держалась бы своих принципов и, может быть, нам удалось бы создать общество, в котором было бы больше равенства. Несмотря на то, что он занимал в партии немного постов, роль его была уникальна\*. Конечно, я не историк, и не могу, да и не хочу даже пытаться проанализировать и оценить силу его влияния на нас. Но, по крайней мере, я могу постараться, чтобы его имя узнали за пределами Израиля, потому что это был единственный человек, которого все мы, и Бен-Гурион в том числе, глубоко уважали и любили, безоговорочно подчиняясь его моральному авторитету.

Внешностью Берл не поражал. Маленького роста, вечно растрепанный, в вечно помятой одежде. Его лицо освещено было прелестной улыбкой, а глаза — всегда грустноватые — заглядывали вам прямо в душу, и никто из тех, кто с ним когда-нибудь разговаривал, уже не мог его забыть. Я вижу его таким, каким видела сотни раз — в старом потертом кресле

---

\* Анита Шапира. Берл. Биография («Ам Овед», 1980; в переводе на русский язык — «Библиотека-Алия», 1985).

в одной из двух уставленных книжными полками комнат (он жил в центре Тель-Авива); туда все к нему приходили и там он работал, потому что терпеть не мог официальных кабинетов. «Берл хотел бы, чтобы ты к нему зашел», — это было как приказ, которого нельзя было ослушаться. Он не выносил решений, не отдавал приказаний — просто никакое мало-мальски важное решение, касалось ли оно рабочего движения или всего ишува, никогда не принималось без того, чтобы Берл предварительно не высказал свое мнение.

Он сидел в своем кресле, подпирая рукой подбородок, и часами говорил и слушал, и почти всегда его мнение было решающим, хотя его официальные посты в партии только и были, что редактор газеты «Давар» и директор издательства «Ам-Овед». Уверена, что если бы он дожил до 1948 года, он не принял бы министерского поста, а мы все по-прежнему ходили бы к нему за указаниями и одобрением. И уж, конечно, не ложная скромность мешала Берлу стремиться к власти. Его в самом деле нисколько не интересовал механизм политики, это было для него слишком тривиально; он со жгучим интересом искал зерно каждой проблемы, каждого решения. Он, как археолог, копал ради истины — и большей частью докапывался до нее, нисколько не заботясь, модно ли это и принесет ли это ему популярность. И до самой его смерти, на всем протяжении двадцатых, тридцатых и начала сороковых годов, никто в партии не решал важного вопроса, не спросив сначала: «А что об этом думает Берл?»

Было у него еще два выдающихся качества, кроме неутомимой жажды истины. Это был человек пронзительного ума и поразительного обаяния. Его мудрость изумляла, его личность притягивала. На партийных конференциях он большей частью стоял в коридоре и разговаривал о важных делах с «не-

важными людьми», а не сидел за столом с партийными лидерами, и когда приходила его очередь выступить, все кидались его искать. Он не был оратором. Он никогда не произносил речей, не обращался к кому-нибудь особо. Он просто стоял на эстраде и беседовал — иногда часами, попивая воду, с величайшей простотой взвешивая «за» и «против». Свой великолепный интеллект он использовал для того, чтобы все прояснить, пробиться сквозь путаницу и рассмотреть дело со всех сторон. И никто не писал записок, не шептался, не выходил, пока говорил Берл, хоть иной раз это затягивалось на два-три часа.

Во что он верил? Как и большинство из нас, — хотя мы могли бы и забыть, если бы Берл не напоминал нам так часто, — он верил, что наш социализм должен быть не похож ни на какой другой, что мы создаем не тред-юнион, а общество, и что в общине, где еще нет классов, классовая борьба не имеет значения. Он верил, что сионизм — одно из самых великих революционных движений в мире, и говорил, что это ось, вокруг которой вращается современная еврейская история. Это, говорил он, «тотальное восстание против заточения в диаспору — любой формы заточения» и «создание трудового еврейского населения, подготовленного к труду во всех областях сельского хозяйства и промышленности». Он был интеллектуальным отцом многих важнейших детищ Гистадрута: он первый сказал, что необходимо создать рабочий банк, кооперативное общество оптовой торговли, страховой фонд на случай болезни.

Именно потому, что он во всем умел различать самое главное, он первый сказал, что иммиграция в Палестину должна быть широкой, а не селективной (а тогда в партии была тенденция поддерживать в первую очередь пионеров, получивших за границей сельскохозяйственную подготовку), и поддержал так называемую «нелегальную иммиграцию». «Отны-

не, — сказал он, — нас поведут не пионеры, а беженцы». Он говорил это о судьбе всего ишува, ступень за ступенью, в малых масштабах свершающего героические деяния и идущего к своему окончательному оформлению, — к которому он и пришел, хотя Берл до этого и не дожил. Одно из «малых, но героических дел», за которое он взял на себя ответственность, — переброска палестинских евреев-парашютистов за нацистскую линию фронта (согласованная с армиями союзников), в отчаянной попытке добраться до евреев Европы в годы Второй мировой войны. И он же был первым, кто сформулировал срочную необходимость потребовать государства для евреев, хотя миру это требование изложил Бен-Гурион на митинге 1942 года в нью-йоркском отделе «Билтмор».

Интересно отметить, что такой эрудит, как Берл, никогда нигде формально не учился. Он был довольно болезненным ребенком и его учили дома, потому у него оставалось много времени для чтения. «Я прочел все, что попадалось мне в руки, — сказал он мне однажды, — Талмуд на древнееврейском и на арамейском, Пушкина и Горького по-русски, Менделе Мойхер Сфорима на идиш, Гете и Гейне по-немецки». К тому времени, как он достиг Бар-Мицвы, в тринадцать лет, — отец его умер, и Берл стал давать частные уроки, чтобы помогать содержать семью.

Поскольку Берлу требовалось немало времени, чтобы прийти к какому-нибудь заключению, он очень восхищался людьми вроде Бен-Гуриона, который принимал решения быстро и сразу переходил к действию. Он считал Бен-Гуриона величайшим государственным деятелем, какой есть у партии — и у еврейского народа — «в наше время», а у Бен-Гуриона фотография Берла стояла на письменном столе до самого дня его смерти. (Это та единственная фотография, которая теперь находится в моей гостиной.) Но однажды прохладное отношение Берла к полити-



ческому шагу, к которому склонялся Бен-Гурион, послужило причиной того, что партия проголосовала против Бен-Гуриона. Конечно, Берл не интриговал и не толкал никого в противоположном направлении. Достаточно было руководству партии узнать, что Берл не поддерживает что-либо, как это «что-либо» подвергалось тщательному изучению, даже если это предлагал Бен-Гурион. В 1937 году Бен-Гурион поддержал предложение английской комиссии (Пиля) о разделе Палестины. Берл против этого возражал на том основании, что британцы никогда не закончат раздела, а наше согласие навсегда останется на документе и, без всякого сомнения, будет использовано против нас. Берл был прав.

У него было любящее сердце, ему был чужд цинизм, он посвящал много времени и внимания молодежи — может быть, потому, что у него не было своих детей. Когда мне бывало нужно с ним поговорить, он уводил меня на долгие прогулки. Далеко за полночь, бывало, мы с ним ходили взад и вперед по бульвару Ротшильда и говорили, говорили обо всем: о том, что происходит в России (он ненавидел большевиков), о роли иврита в сионистской революции, о необходимости печатать на иврите хорошие занимательные книги, о необходимости поддерживать единство еврейского народа, соблюдая субботу и кашрут во всех общественных учреждениях еврейского национального очага. Он терпеть не мог соблюдать расписание, он проводил со мной столько времени, сколько я хотела, ни разу не взглянув на часы, — и за это я его любила тоже. В любом месте страны он встречался с группами молодежи и выслушивал их. Помню, незадолго до его смерти, я однажды в субботу повезла компанию молодых людей (включая Сарру) в киббуц, где Берл проводил уик-энд; целый день они просидели на лужайке — Берл и пятнадцать мальчиков и девочек, — беседа и слу-

шая друг друга. Он организовал в Реховоте месячные курсы для молодежи, и как я сейчас вижу его, в его старой, нахлобученной на лоб серой фуражке среди молодежи, у входа, — и он слушает не очень оригинальные соображения какого-то мальчика по поводу Гистадрута.

И, конечно, я никогда не забуду той страшной ночи, когда Берл скончался в Иерусалиме от удара. Много лет спустя, когда убили президента Кеннеди, и Соединенные Штаты замерли, потрясенные, я вспомнила другую ночь, за тридцать лет перед этим, когда умер Берл, и никто из нас не мог себе представить, как же все будет без него. Я была в Тель-Авиве. Возвращаясь в автобусе из театра «Габима», я заметила, что люди перешептываются, словно случилось что-то ужасное. Ужасные вещи в 1944 году происходили все время, и когда я увидела у дверей своего дома на улице Яркон группу друзей, я немного встревожилась. Они ждали меня. «Берл умер», — сказали они. Говорить больше было не о чем. Я немедленно поехала в Иерусалим. Бен-Гурион в ту ночь был в Хайфе; после того, как он услышал это сообщение, никто уже не осмеливался с ним заговорить. Всю ночь он пролежал на постели, не раздеваясь; его трясло, он плакал. Он потерял единственного человека, чье мнение он действительно ценил, а может быть — и единственного настоящего друга.



## «МЫ БУДЕМ БОРОТЬСЯ ПРОТИВ ГИТЛЕРА»

**В** 1929 и 1930 годах я часто уезжала за границу. Один раз я ездила в США по делам Женского рабочего совета и два раза — в Англию, как представитель рабочего движения. Конечно, в те дни люди не перескакивали через океан в самолетах (хотя я впервые полетела на самолете в 1929 году в Соединенные Штаты — и сидела прямая, как палка, ооченев со страху, но надеясь, что никто этого не видит), и каждая поездка за границу длилась несколько недель. Я знала, что Менахем и Сарра очень боялись моих долгих отлучек. В тех редких случаях, когда я из-за мигрени оставалась дома и не выходила на работу, дети, вне себя от радости, танцевали вокруг меня, распевая: «Нынче наша мама дома! Голова у ней болит!» От этой песни голова не проходила, зато начинало болеть сердце; но я уже к тому времени научилась, что ко всему можно привыкнуть, если надо, даже к вечному чувству вины.

Странно было после семилетнего отсутствия опять оказаться в Штатах. Как будто приезжаешь в незнакомую страну. Мне понадобилось время, чтобы освоиться, опять научиться свободно ходить по Нью-Йорку, приладиться к расписанию железных дорог и городского транспорта, даже привыкнуть к звукам английской речи вокруг, хотя, собственно, большинство женщин, с которыми мне пришлось работать, говорили на идиш. Организация, куда я

была послана — «Женщины-пионеры» — была основана Рахел Янаит-Бен-Цви всего три-четыре года назад и вошли в нее жены активистов американского Поалей Цион. Почти все они родились в Европе. Дома они говорили на идиш и, вероятно, люди, их знавшие, находили, что они больше похожи на матерей — такие же типичные трудолюбивые «идише мамэ», основной заботой которых было накормить семью и охранять дом. Но они были иными. Это были молодые женщины с идеалами, с политическими убеждениями, либерально настроенные, для которых все, происходившее в Палестине, было очень важно. Они находили время, чтобы принимать участие в деятельности организации и в собирании средств для учебных ферм в Петах-Тикве, Нахалат-Иехуде и Хадере, которых они никогда не видели и не рассчитывали когда-либо увидеть. Более того, идеалы Поалей Цион были в 1929 году не слишком популярны, и меньше всего — в Штатах, так что компания «Женщин-пионеров» в пользу Женского рабочего совета была, мягко выражаясь, делом нелегким.

Я делала, что могла, чтобы их поддержать и воодушевить. Произносила речи, отвечала на сотни вопросов, объясняла необходимость «женских учебных ферм», рассказывала о новом обществе, создаваемом в еврейской Палестине под руководством рабочего движения, которое гарантирует полную эмансипацию женщин. Говорила о внутренней политической жизни сионизма в Палестине, — и меня изумил — и порадовал — интерес, который эти женщины проявили к разным оттенкам политических верований, представленных в те времена в политических фракциях ишува. Через год предстояло слияние двух самых больших рабочих партий — Ха-поэл ха-цаир («Молодой рабочий»), находившейся под сильным влиянием А. Д. Гордона, и Ахдут ха-авода (к которой и я, и они принадлежали) — на основе

социалистической идеологии и того, что обе считали себя принадлежащими к Социалистическому интернационалу. Несмотря на существовавшие между ними разногласия, они объединились в одну партию под названием Мапай; Ха-шомер ха-цаир, состоявший в основном из киббуцников с марксистской идеологией, остался вне объединенной партии.

Много позднее, уже в 1940-е годы, от Мапай отделилась группа, затем соединившаяся с Ха-шомер ха-цаир и образовавшая новую партию — Мапай («Единая рабочая партия»). В конце 60-х годов произошли и другие комбинации и перемены. Но много лет подряд Мапай доминировала. Ее история — это история самой страны, и государство Израиль еще ни разу не имело правительства, где Мапай не была бы хоть в маленьком большинстве. Для меня Мапай с самого начала была моей партией, и я никогда не колебалась в своей преданности ей, как и в убеждении, что лучшей основой для социалистического сионизма является управление объединенной рабочей партии, представляющей разные оттенки мнений. Не раз в последующие годы мне посчастливилось проводить свое убеждение в жизнь.

Как бы то ни было, «Женщины-пионеры» с огромным интересом относились к тому, что происходило в Палестине, и я испытывала большое удовлетворение от того, что играю роль в их работе, хоть меня и беспокоило их твердое решение оставаться идишской общиной в стране, где еврейская иммиграция из Европы сокращалась с каждым годом. Они, конечно, уверяли меня, что все их дети говорят на идиш, и что газеты и театр на идиш в Америке процветают по-прежнему. Но я тоже приехала из страны иммигрантов, и так же, как я была уверена, что в Палестине идиш со временем уступит место ивриту, так же я была уверена, что если «Женщины-пионеры» хотят, чтобы он и дальше существовал в Амери-

ке, они должны пополнить свои ряды более молодыми, американизированными женщинами, говорящими по-английски. И об этом тоже я много говорила с моими американскими подругами.

Чтобы повидаться с сестрой Кларой, я поехала в Кливленд. К тому времени она была замужем за молодым человеком по имени Фред Стерн и имела красивого и умного сына, которого звали Даниэль Дэвид. Я не видела Клары с ее отроческих лет, и хотя мы изредка писали друг другу (родители, разумеется, переписывались с ней регулярно), мне пришлось к ней привыкать заново. Казалось — да так оно и было — мы бесконечно далеки друг от друга. Все, что было мне дорого, находилось в Палестине. Все, что было дорого Кларе, находилось в Соединенных Штатах. Я была всей душой предана делу сионизма, и моя карьера (хоть я никогда мысленно этого так не называла) естественно развивалась в рамках рабочего движения ишува; Клара и Фред были социологами, и у Фреда в это время уже была ученая степень. Он был очень умный, начитанный и культурный человек. Вырос он, можно сказать, на улицах Милуоки, где с шести лет продавал газеты и, как говорится, полностью «сам себя сделал». Они были вовлечены в еврейскую жизнь не меньше, чем я, но не на политическом или национальном, а на общинном уровне, как социальные работники, — и мы говорили на разных языках. Я понимала, что Клара остается в Штатах не потому, что жить там легче (их бедность в Кливленде меня просто испугала), а потому, что она считала, что здесь ее место. Ее интерес к Палестине носил чисто академический характер, а Фред, тот и вовсе через несколько часов сказал мне, что он не одобряет национализма вообще и считает сионизм крайне реакционным движением.

Клара и Фред решили, что у них будет только один ребенок, чтобы они могли дать ему все, но, как

говорила мама, «Менч трахт ун Гот лахт» (что соответствует русской, менее саркастической поговорке «Человек предполагает, а Бог располагает»); Даниэль Дэвид умер восемнадцать лет от тяжелой болезни, находясь в рядах американской армии. После этого заболел Фред. Он потерял ногу и много лет пролежал в постели. Но Клара никогда себя не оплакивала, продолжала усиленно работать и, несмотря на все трагедии, добилась больших профессиональных успехов. Еще до того, как умер Дэвид и заболел Фред, они переехали в Бриджпорт (штат Коннектикут), и там она стала главой объединенного Еврейского комитета. Но тогда, в 1929 году, я поняла только, что моя младшая сестра не поедет к нам в Палестину, и это меня огорчало.

В 1930 году я опять уехала — на конференцию женщин-социалисток в Англию. Там было более 1000 делегатов, и я, пожалуй, впервые поняла, до какой степени люди за пределами Палестины, неевреи, могут быть заинтересованы тем, что уже называли «Палестинской проблемой». Я выступала всего несколько минут, но после этого меня попросили выступить в разных частях Англии, и впервые я встретила британцев в их собственной стране. Женщины-социалистки, бомбившие меня вопросами о Гистадруте, о киббуцах, о Женском рабочем совете, о том, как мы живем и как общаемся с арабами, ничуть не походили на тех немногих англичанок, которых я встречала в Палестине. Там англичане смотрели на нас, как на странно-непонятное туземное племя, куда менее очаровательное, чем смирные и живописные арабы, и куда более претенциозное и требовательное. Но в Англии — в Лондоне, Манчестере и Гулле — я разговаривала с женщинами, по-настоящему восхищенными сионистским «экспериментом», которые, пусть не всегда с сочувствием, все же стремились узнать факты.

Я решила, что на них сионистская риторика не произведет большого впечатления, и что тут сослужит службу правдивое освещение кое-каких домашних дел. В 1929 году опять поднялась волна арабских беспорядков, направляемая муфтием Иерусалима Хадж Амином аль-Хуссейни (тем самым, который стал известен своей профашистской и нацистской агитацией во время Второй мировой войны), и хотя британцы восстановили порядок, они сделали это с расчетом создать у арабов впечатление, что никто не будет особенно сурово наказан за убийство или ограбление евреев. Поэтому я была особенно рада, что могу объяснить как было дело моим английским сестрам-социалисткам.

Тогда же я встретила, и тоже впервые, с женщинами — членами британских кооперативных обществ и слушала их восторженные рассказы о чудесах Советской России. Помнится, я думала, что если бы их можно было привезти в Палестину и показать, что мы осуществили там, они бы и о нас говорили захлебываясь. Я и теперь так думаю и верю, что одно посещение Израиля стоит больше, чем сотни речей.

Я еще раз побывала в Лондоне в том году — как делегат имперской лейбористской конференции. Рамзи Макдональд был тогда премьер-министром. Несмотря на то, что сам он сочувствовал прогрессу ишува и даже был им озабочен, именно его правительство выпустило в 1930 году печально знаменитую «Белую книгу» Пасфилда, приостановившую еврейскую иммиграцию и создание новых поселений. Через тринадцать лет после Декларации Бальфура оказалось, что англичане куда более озабочены умиротворением арабов, чем выполнением своих обещаний евреям. В Лондоне мне цинично сказали: «Вы, евреи, хотели получить во владение национальный дом, а получили всего-навсего квартиру в нем».



Но правда была еще горше. Начинало казаться, что квартирохозяин хочет и вовсе разорвать контракт, хотя в 1930 году никто, разумеется, и представить себе не мог, что всего через восемнадцать лет британцы заявят, что мандат совершенно неосуществим.

Может быть, оттого, что я так долго жила в Америке, я не в такой мере была очарована британцами, как многие мои коллеги. Мне нравился английский народ, и в том числе лейбористское руководство, я даже восхищалась ими, но не могу сказать, что меня так уж поражало, когда они обманывали наши ожидания. В те годы многие, если не все, палестинские евреи сохраняли патетическую уверенность — несмотря ни на что! — что Британия будет верна своим обязательствам, несмотря на все усиливающееся арабское давление и на традиционную проарабскую позицию министерства колоний. Вероятно, такое нежелание посмотреть фактам в лицо и увидеть, что британское правительство меняет взгляды на свою ответственность перед сионистами, коренилось в глубочайшем уважении, которое британская демократия внушала евреям, выросшим в Центральной Европе XIX века.

Даже много лет спустя большинству моих коллег британские парламентские и гражданские установления и обычаи казались почти что чудом, тогда как меня, выросшую в демократической стране, они ослепляли меньше. Замечательно, что несмотря на долгий, тяжкий и порою трагический конфликт между нами и британцами, несмотря на то, каким финалом он закончился в 1948 году, мы, израильтяне, все еще относимся к британскому народу с большим и сердечным уважением, и в тех случаях, когда от нас отворачиваются англичане, страдаем больше, чем когда это делают другие нации. Этому есть много причин. Одна из них, конечно та, что Британия дала нам Декларацию Бальфура. Другая — евреи никогда

не забывали, как британцы в одиночку противостояли нацистам, а третья, думаю, основана на врожденном еврейском уважении к традиции. Во всяком случае, за тридцать лет существования мандата ишув всегда подчеркивал разницу между Палестинским мандатным правительством и британским народом, между простыми людьми Англии и чиновниками министерства колоний и иностранных дел и надеялся добиться британской поддержки. Но на политическом уровне, во всяком случае, это оставалось историей безответной любви.

Вероятно, меня раньше или позже так или иначе послали бы опять в США, но в 1932 году Сарра по-настоящему серьезно заболела, и тут я сама предложила поехать в Америку с детьми, чтобы девочка могла там получить квалифицированную медицинскую помощь (правда, наши врачи были не уверены, сможет ли она перенести такое путешествие). Выглядела она ужасно. Личико ее распухло так, что почти не видно было глаз, и температура не спадала. «Ты ее убьешь, если повезешь в Штаты, — сказал один врач. — Нельзя везти ее через океан». Специалисты его поддержали. Она ничего не ела; были дни, когда она могла проглотить только шесть-семь стаканов очень сладкого чая и ничего больше. «Это суп, — говорила она, выпивая один стакан. — Это мясо, это хлеб, это морковь, а это — пудинг». Однажды ночью, когда Менахем и Сарра уже спали, мы с Моррисом до утра просидели на балконе, решая, что делать, — и к утру приняли решение. Я пошла в Женский рабочий совет и спросила, нельзя ли направить меня представителем к «Женщинам-пионерам».

«Если ее отсюда не увезти, она может умереть тут, и мы до конца дней своих будем знать, что сделали не все возможное» — объясняла я родителям, которые считали дальнейшее путешествие с таким боль-

ным ребенком полным безумием. Но я знала, что у нас нет альтернативы и что я не могу сидеть сложа руки у ее постели, наблюдая, как она слабеет, бледнеет и распухает день ото дня, пока не угаснет совсем.

План поездки был сложный. Моррис оставался работать в Хайфе, а я отправлялась одна с детьми — сначала поездом в Порт-Саид, потом на французском корабле в Марсель, оттуда поездом в Шербург и оттуда, наконец, на пароходе «Бремен» — в Нью-Йорк. Это продлится недели две — а кто знает, что случится с Саррой за эти две недели? Но я знала, что другого выхода нет — и мы пустились в наше опасное путешествие.

Мне кажется, за эти две недели я не отдыхала ни минуты. Менахем вел себя очень хорошо и все время занимался своими делами, а Сарра, учитывая, что ей было всего шесть лет и она была так больна, — просто изумительно. Казалось, она чувствует, как я за нее боюсь, и чувствует, что должна меня успокоить. У нас была каюта с двумя койками, и по ночам я приносила с палубы складное кресло, лежала около Сарры, наблюдая за ней и, может быть, по-своему молилась.

Милые старые друзья, Фанни и Джейкоб Гудмэн, поместили нас в своей квартире в Бруклине, и я тут же начала хлопотать об устройстве Сарры в больницу Бет-Израэль в Нижнем Манхэттене (Ист-сайд). Кому приходилось класть в больницу ребенка, не нужно рассказывать, что значит оставлять его на попечении больничного персонала. Для Сарры не только больница была непривычна, но и язык — она ведь ни слова не знала по-английски, и первые две недели она только рыдала, умоляя меня не оставлять ее одну.

Врачам Бет-Израэль понадобилось немного времени, чтобы поставить диагноз. У Сарры действи-

тельно была болезнь почек, но не та, от которой ее лечили в Палестине. При ее болезни не нужны были ни строгая диета, ни постельный режим. Как только она наберется сил, как оказалось, она сможет пойти в школу, кататься на роликах, плавать, ходить и бегать по лестницам. Ее стали лечить, она стала поправляться, набирать вес и через шесть недель ее выписали из больницы «совершенно здоровой», как я, заливаясь слезами облегчения, написала Моррису.

Теперь у меня было время и для своей работы, и для Менахема, которому не разрешалось навещать Сарру в больнице и который поэтому почти не видел меня с тех пор, как мы приехали в Нью-Йорк. Он был страшно сердит, что она уже немного научилась английскому языку у больничных сестер, в то время как он старался объясняться на смеси иврита и идиш. Дети очень скучали по Моррису и ненавидели мои поездки по городам по делам «Женщин-пионеров», из-за которых, случалось, я по месяцам не бывала «дома». Но я возила их к Кларе с Фредом и к матери Морриса, на детские концерты, в кино и в оперу, и надеялась, что пребывание в более богатом, чем Тель-Авив, мире возместит их пересадку в чужую почву. Как бы то ни было, оба они расцвели, а Сарру было буквально не узнать. Конечно, ни один из них не говорил вслух, что жизнь в Штатах лучше и роскошнее, чем в Палестине, и я не могу сказать, что их не смущало пребывание за границей. Помню, что Менахем никак не мог понять, почему все нью-йоркские друзья говорят, что будут голосовать за Рузвельта. «Почему не за Бен-Цви или Бен-Гуриона?» — спрашивал он.

Я же в эти два года напряженно работала. Когда я уехала, журнал «Женщин-пионеров», который я некоторое время редактировала, воздал мне несколько преувеличительную хвалу. Вот что там было написано:

«Голди привезла нам дуновение апельсиновых рощ в цвету, распускающихся деревьев; ухоженные коровы и куры, победа над неподдающейся землей и опасными стихиями — все это результат работы, работы, работы. Это работа — не по принуждению, не ради личной выгоды, нет, пот и кровь, поля и пашни, дороги и цемент, бесплодная сушь и терпение, болота и болезни, опасности, лишения, препятствия, скорби, вдохновение — и работа, работа во имя работы, во имя восторга созидания... Ее красноречие и искренность, гордость и простота внушили слушателям ее почтение к нашему делу и уважение к нашей организации. Мы постараемся вовлечь ее почитателей в нашу работу и надеемся, что достигнем успеха».

Но сама я из этих долгих поездок (одна из них продолжалась восемь недель подряд; я везде рассказывала о Палестине, старалась собрать для нее деньги и завербовать новых членов для нашей организации) лучше всего запомнила запах вокзалов и звук моего собственного голоса. Конечно, собирали тогда не миллионы долларов, как случается ныне, и редко когда община собирала даже столько, сколько предполагала. Но каждый грош и тогда значил не меньше, чем теперь. «Женщины-пионеры» Ньюарка (Нью-Джерси) рассчитывали с октября 1933 года до июля 1934 года собрать 165 долларов, а собрали лишь 17 долларов 40 центов; чикагский Вестсайдский клуб думал собрать 425 долларов, а наскреб всего 76; это означало, что члены организации должны сделать еще дополнительное усилие. Опять надо устроить базар или лотерею, а может быть — бал-маскарад (за вход куда можно было брать по 25 центов), а может — еще одну лекцию «Роль женщины в киббуце» или «Жизнь трудящихся в Палестине».

Вот что было в типичном письме (из Виннепе-

га), которое мне прислали в штаб «Женщин-пионеров» в Нью-Йорке:

«У нас есть председатели, которые занимаются отдельными участками нашей работы, и им помогают комитеты. Мы собираемся еженедельно, и на каждом собрании у нас читают важные лекции. На прошлой неделе у нас с лекцией выступал д-р Хеннел, очень интересно рассказавший о своей поездке в Палестину. Первым нашим финансовым предприятием в этом году был «серебряный чай» — мы собрали 45 долларов. Теперь мы собираемся устроить праздник Ханукки, но еще не решили в какой форме. Сейчас все наши члены с энтузиазмом готовятся к ланчу по 5 долларов с человека и очень ждут вашего приезда сюда».

Той же почтой пришло письмо из Кливленда — просили меня помочь с организацией пикника: будет игра в поиски сокровищ и кухня на воздухе, а также культурная программа-лекция «Зарождение и развитие политических групп в сионизме». Тут же — письмо из Канзаса, в котором меня просили выступить на митинге и прочесть на общей «встрече субботы» лекцию «на какую-нибудь еврейскую тему». Мне пришлось ночевать в десятках семейств Соединенных Штатов и Канады, и набросать, по-английски и на идиш, сотни программ для учебных групп. Я бывала очень утомлена, но мне никогда не было скучно, а главное — я никогда ни на минуту не усомнилась в большом и актуальном значении той работы, которую вели «Женщины-пионеры».

Об этих бесконечных разъездах сохранились и забавные воспоминания. В метельное зимнее утро я приехала в Виннипег на поезде, который прибывал очень рано. Не увидев никого из тех, кто должен был меня встретить, я предпочла поехать в ближнюю гостиницу вместо того, чтобы будить кого-ни-

будь их женщин в такой ранний час. Не успела я распаковать вещи, как зазвонил телефон. Голос, в котором было отчаянье: «Миссис Меерсон, мы все на вокзале. Вас приветствовать пришла большая делегация. Как же я могу сказать им, что мы вас пропустили? Как можно нанести такой удар их энтузиазму, их восторгу, что они первые пожмут вам руку? Они будут так огорчены!»

И я сказала: «Не беспокойтесь, я буду там через несколько минут». Я сложила вещи, вызвала такси и через пятнадцать минут опять была на вокзале, где встретила делегацию, которая благополучно и проводила меня туда, где я должна была остановиться.

В одном из городов Восточного побережья мне нужно было выступить три раза: в субботу вечером, в воскресенье утром и в воскресенье вечером. В воскресенье днем я прилегла на часок отдохнуть, но тут пришла председательница местного отделения организации, села ко мне на кровать и сказала целую речь. «Слушайте, Голда, — твердо сказала она, — вы говорите очень хорошо, но не так, как должна говорить женщина. Когда тут была Рахел Янаит Бен-Цви, она плакала и мы плакали с ней вместе. Но вы говорите как мужчина, и никто не плачет».

Я только и могла на это ответить, запинаясь: «Мне очень жаль, но я в самом деле не могу говорить иначе». Она видела, что я смертельно устала, но хотела выполнить свою миссию и просидела у меня весь этот дорогой для меня час, снова и снова повторяя, что я должна научиться говорить как женщина. Особенно ее огорчило, сказала она, что я рассказывала «Женщинам-пионерам» не только о женском рабочем движении, но и вообще и Гистадруте, о проблемах иммиграции и политическом положении, и она сомневается, чтобы это помогло собрать деньги.

С другой стороны, я конечно, знала далеко не

все о том, как эти деньги собирают. В маленьком городке на Среднем Западе все члены организации были, встречая меня, очень взволнованы. В этом году они собрали больше денег, чем когда-либо, хотя это была очень маленькая группа. Я спросила: «Как вы это сделали?»

— О, — ответили они, — мы играли в карты.

Я так и взвилась.

— Для Палестины вы играете в карты? Разве такие деньги нам нужны? Хотите играть в карты — играйте, но не ради нас.

Все промолчали, только одна женщина спросила очень спокойно: «Хавера Голди, а вы в Палестине не играете в карты?»

— Конечно, нет, — с яростью ответила я. — За кого вы нас принимаете?

Через год, вернувшись домой, в Тель-Авив, я заметила, что кое-кто их членов Гистадрута по вечерам играет в карты у себя на балконе — но, слава Богу, не на деньги. Мне захотелось написать этой женщине и извиниться, но я не знала ее имени.

Между поездками я писала редакционные статьи для журнала и открывала распродажу продуктов, изготовленных или выращенных в Палестине. Продажу мы устроили в огромном складе — там мы ее паковали, а затем сами продавали всему району. И так как я всегда твердо верила, что нельзя терять драгоценное время, то, пока мы паковали мацу, я учила женщин последним песням ишува.

Статьи мои всегда бывали посвящены политическим вопросам, близко касавшимся Поалей Цион, и теперь я понимаю, почему та говорливая дама находила меня недостаточно сентиментальной — хотя, как писал однажды Бен-Гурион одному из своих коллег, с которым спорил, «сентиментальность — не грех, ни с социалистической, ни с сионистской точки зрения». Я думала, и сейчас думаю, что люди,



посвятившие себя великому делу, заслуживают, чтобы с ними об этом говорили как можно серьезнее и умнее, и вовсе нет необходимости исторгать слезы у участников сионистского движения. Ведает Бог, причин для того, чтобы поплакать, хватает с избытком.

Весной 1933 года я написала статью в ответ на обвинение руководителя Хадассы, что успех Поалей Цион зависит от финансовой поддержки «еврейских буржуев и капиталистов».

Вот что я писала:

*«Мы всегда утверждали, что успех работы сионистов зависит от двух внутренних факторов — от работников, которые будут работу делать, и от денег, которые дадут возможность эту работу вести. Мы не знали, что деньги, которые идут от широких еврейских масс, должны носить ярлык «классовых денег»... Мы рассматриваем и деньги Еврейского Национального Фонда, и деньги Керен ха-иесод (финансировавшую еврейскую иммиграцию и поселения), и рабочую силу, и пионерское движение (Халуц) как проявление воли и решимости всей нации в целом... Означает ли это, что мы против частного капитала и частной инициативы? Нет, не означает. Поалей Цион прежде всего заинтересован в массовой иммиграции в Палестину. Если мы не сможем осуществить ее с помощью национального капитала, мы приветствуем частный капитал. Да, мы в самом деле говорим, что даже частный капитал должен служить целям сионизма. Частный капитал, не использующий еврейскую рабочую силу, не помогает нашему делу... К сожалению, мы слишком часто видим, что частные предприятия Палестины используются только для личной выгоды, и при этом забывается, что еврейская иммиграция в Палестину прежде всего зависит от наличия рабочих мест в стране. И мы подчеркиваем снова: частный капи-*

*тал, не использующий еврейскую рабочую силу, в стране не приветствуется, потому что такой частный капитал не способствует массовой иммиграции, которой желаем и мы, и Хагасса...»*

Летом 1934 года мы собрались домой. Я совершила последнюю поездку по Штатам, чтобы проститься с «Женщинами-пионерами», с их клубами и собраниями, с которыми я так близко познакомилась. Я была полна уважения к этим немодным, преданным, работающим женщинам, которые так хорошо отнеслись ко мне, и мне хотелось, чтобы они знали, как я им благодарна. Я была уверена: что бы ни случилось в Палестине, они всегда будут нам поддержкой и помощью — и, конечно, время доказало, что я была права.

Я приехала в Нью-Йорк в 1932 году с двумя маленькими детьми, ни слова не говорившими по-английски. Я вернулась в Палестину в 1934 году с двумя маленькими детьми, говорившими по-английски и на иврите — и полными радости, что снова увидят Морриса. В жизни Морриса было много разочарований, но источником постоянного счастья было то, что Менахем глубоко заинтересовался музыкой и имел к ней несомненный талант. Хотя впоследствии я, а не Моррис, носила за Менахемом виолончель на его уроки музыки (пока он не вырос, чтобы носить ее сам), но именно Моррис много лет слушал по субботам его упражнения, ставил для него пластинки, укреплял и углублял его любовь к музыке.

Но меня в Палестине ожидало дело, еще более серьезное, чем должность национального секретаря «Женщин-пионеров» в Соединенных Штатах. Через несколько недель после нашего приезда мне предложили войти в Ваад ха-поэл (Исполнительный комитет Гистадрута).

Поскольку Гистадрут в целом представлял очень

развитую форму еврейского самоуправления в Палестине, то Ваад ха-поэл был его «кабинетом министров», и в этом кабинете в течение последующих бурных 14 лет, мне поручались разные портфели и ответственные участки работы. Ни один из них, как я вижу теперь, не был легким, ни один не способствовал особой популярности внутри самого Гистадрута. Но одно преимущество у них было: все они так или иначе были связаны с тем, что меня больше всего заботило и интересовало — с проведением социалистических принципов в каждодневной жизни.

Думаю, что если бы экономическая и политическая ситуация в Палестине 1930-х и 1940-х годов была хорошей — или хотя бы получше, чем была, — то было бы сравнительно нетрудно справедливо распределять тяготы между всеми членами трудовой общины. В конце концов, кроме способа заработать на жизнь, между так называемыми рядовыми членами партии и так называемым руководством Гистадрута не было никаких различий — ни экономических, ни социальных. Все мы получали «фикс» на жизнь, менявшийся лишь в зависимости от старшинства и количества иждивенцев в семье, и у этого правила не было исключений. Знаю, что теперь люди в Израиле, да и везде, считают такой эгалитаризм старомодным и даже совершенно неприменимым. Может быть, но я его всегда поддерживала и с ним соглашалась. Я и сейчас считаю, что был добрый социалистический смысл — обычно это и есть добрый здравый смысл — в том, что смотритель здания Гистадрута в Тель-Авиве, имевший девять детей, получал гораздо более толстый конверт, чем я, у которой было только двое детей.

Социализм на практике не ограничивался тем, что я называла этого смотрителя «Шмуэль», — а он меня — «Голда». Это означало еще и то, что у него те же обязанности по отношению к другим членам

Гистадрута, что и у меня, а так как экономическая ситуация в Палестине, как и везде в ту пору, была трудная, то именно этот аспект тред-юнионизма стал основным вопросом во многих боях, которые я дала внутри Гистадрута.

Платили же в Гистадруте по скользящей шкале, как платят подоходный налог. Ежемесячно вносилась некая сумма, включающая плату в союзную кассу, в пенсионную кассу и в купат-холим (рабочая больничная касса), которая называлась единым налогом. Я считала, что этот единый налог должен взиматься со всех денег, которые работающий получил, а не только с основной зарплаты, или среднего заработка, или какой-то теоретической суммы. А иначе — где же «равенство», о котором мы так много говорим? «Все поровну» — верно ли это только для киббуцов, или годится как образ жизни и для рабочих Тель-Авива? И как быть с коллективной ответственностью коллектива Гистадрута за своих безработных членов? Можно ли допустить, чтобы Гистадрут подавал голос в каждом случае, жизненно касавшемся ишува, — иммиграции, поселения, самообороны, — и отворачивался от своих безработных, чьим детям еле-еле хватает на пропитание? Взаимопомощь — одна из основ Гистадрута — без сомнения, есть и предварительное условие социализма, каким бы трудным ни было положение работающего члена союза, и как бы тяжело ему ни было ежемесячно отчислять в специальную кассу свой однодневный заработок. Я очень остро чувствовала эти вещи и, несмотря на шумное сопротивление, настояла на создании кассы для безработных. Мы назвали ее «Мифдэ», что значит «искупление», а когда количество безработных выросло (в 1930-е годы одно время насчитывалось 10000 безработных членов Гистадрута), я настояла, чтобы налог на безработицу был повышен, и мы создали «Мифдэ-2».

Кое-кто из друзей обвинял меня, что я «разрушаю Гистадрут» и «требую невозможного», но и Бен-Гурион, и Берл Кацнельсон, и Давид Ремез поддерживали меня, и Гистадрут, несмотря ни на что, остался невредим. К тому же оказалось, что кампания за «Мифдэ» была важным прецедентом для куда более тяжкого самообложения, так называемого «Кофер ха-ишув», который несколько времени спустя пришлось ввести, ибо арабские беспорядки 1936 года стоили такое количество жизней и имущества, что нам пришлось наложить оборонный налог на все еврейское население в целом. Даже потом, во время Второй мировой войны, когда мы создали фонд военных нужд и помощи, мы опирались на опыт тех же дней, на создание ненавистного «Мифдэ».

Не прошли мимо меня и горькие последствия (ощущавшиеся еще много лет) ужасной трагедии, поразившей рабочее движение, когда я была в Штатах. Молодой Хаим Арлозоров, одна из восходящих звезд партии Мапай, только что вернувшийся из Германии, где он старался найти пути для спасения немецких евреев после прихода Гитлера к власти, был убит, когда гулял по набережной Тель-Авива со своей женой. В убийстве был обвинен Абрахам Ставский, член ревизионистской партии — ее правого крыла; он был осужден, но потом оправдан кассационным судом за отсутствием улик. Вероятно, личность убийцы никогда не будет установлена, но в то время все руководство, ошеломленное и осиротевшее, было убеждено в виновности Ставского, как и я сама. Арлозоров воплощал умеренность, осторожность, сбалансированный подход к мировым проблемам и, конечно, к нашим собственным тоже, и его трагическая гибель представлялась неизбежным последствием того антисоциалистического правового милитаризма и яростного шовинизма, который защищали ревизионисты. Я не успела хорошо позна-

комиться с Арлозоровым; но я, как и все знавшие его, находилась под большим впечатлением его интеллектуальной силы и политической прозорливости и была глубоко потрясена, когда в Нью-Йорк пришла весть о его убийстве.

Но больше всего ужаснуло меня то, что в Палестине один еврей мог убить другого, что политический экстремизм внутри ишува мог привести к кровопролитию. Как бы то ни было, трения, много лет существовавшие между левым и правым крылом сионистского движения, после убийства Арлозорова превратились в такую широкую брешь, что она не закрылась вполне и поныне — и, может быть, никогда окончательно не закроется.

В конце 1933 — начале 1934 года в ишуве, особенно в рабочем движении, наметились как бы две враждующие группы. Ревизионисты обвиняли Гистадрут в «кровавом навете» и в том, что он держит ишув за горло, не давая работы несоциалистам и стараясь буквально уморить с голоду своих политических оппонентов; по всей стране происходили постоянные столкновения между рабочими, иногда кровавые. Бен-Гурион считал, что любой ценой должно быть сохранено единство еврейской общины в Палестине; многие из нас (я в том числе) с ним соглашались. Он предложил «перемирие» в форме рабочего соглашения между левыми и правыми, которое, по его мысли, должно было положить конец распрям. Неделю за неделей мы с жаром, иногда и с истерикой, обсуждали «договор», — но над всеми спорами тяготело убийство Арлозорова, и предложение Бен-Гуриона было, к моему большому сожалению, отвергнуто.

Что наши проблемы не исчерпывались безработицей и внутренними конфликтами. На очереди стояли вопросы еще более серьезные. Тучи собирались над Палестиной, тучи нависли и над другими стра-

нами. В 1933 году Гитлер пришел к власти, и хотя его открыто провозглашенная программа господства арийской расы над миром сперва всем показалась абсурдной, яростный антисемитизм, который он с самого начала проповедовал, явно был не только риторическим ухищрением. Одним из первых действий Гитлера было введение дикого антиеврейского законодательства, лишавшего немецких евреев всех гражданских и политических прав. Разумеется, тогда еще никто и подумать не мог, что гитлеровский обет истребить евреев будет выполняться буквально. По-моему, это говорит в пользу нормальных, приличных людей: мы не могли поверить, что такое чудовищное злодеяние может быть совершено или — что мир позволит ему свершиться. Нет, мы не легковерны. Просто мы не могли вообразить то, что тогда было невообразимо. Зато теперь для меня не существует невообразимых ужасов.

Но и задолго до гитлеровского «окончательного решения» самые первые результаты нацистских преследований — легально оформленных — были достаточно ужасны, и опять я почувствовала, что существует только одно место на земном шаре, куда евреи могут приехать по праву, какие бы ограничения не налагали британцы на их иммиграцию в Палестину. К 1934 году тысячи бездомных, исторгнутых из привычной почвы беженцев от нацизма двинулись в Палестину. Кое-кто из них вез с собой то немногое, что сумел спасти из своего имущества, у большинства же не было ничего. Это были высокообразованные, трудолюбивые, энергичные люди, и вклад их в ишув был огромен. Но это означало, что население, не достигавшее и 400000 человек, еле-еле сводящее концы с концами, должно немедленно абсорбировать 60000 мужчин, женщин и детей, и все вместе они должны противостоять не только расту-

щему арабскому террору, но и равнодушию — чтобы не сказать враждебности — британских властей.

Одно дело — приветливо принять иммигрантов, особенно беженцев, и совсем другое — абсорбировать их. Надо было расселить тысячи мужчин, женщин и детей, приехавших к нам из Германии и Австрии, надо было дать им работу, обучить их ивриту, помочь акклиматизироваться. Адвокат из Берлина, музыкант из Франкфурта, химик-исследователь из Вены должны были тут же превратиться в птицевода, официанта, каменщика — иначе никакой работы для них не будет. Им надо было приспособиться — и тоже немедленно — к новому, более трудному образу жизни, к новым опасностям и лишениям. Нелегко это было и для них, и для нас, и я по сей день считаю из ряда вон выходящим событием, что ишув перенес трудные годы и вышел из них сильнее, чем когда-либо. Но, по-моему, существует только два разумных — или возможных — способа встречать национальные невзгоды. Один — рухнуть, сдаться и сказать: «тут ничего не поделаешь». Другой — стиснуть зубы и бороться, бороться на всех фронтах столько, сколько понадобится — что мы и сделали тогда, что делаем и теперь.

Я теперь часто вспоминаю Палестину 30-х и 40-х годов и черпаю запасы бодрости из этих воспоминаний, хотя далеко не все они приятны. Но когда в 1975 году мне говорили: «Как может Израиль со всем этим справиться? Арабы решили уничтожить еврейское государство, у них огромное преимущество в деньгах, людях, вооружении; из России прибывают тысячи иммигрантов; большинство стран мира относятся к вашим проблемам в лучшем случае равнодушно: экономическая ситуация такова, что, по-видимому, ей ничем не поможешь!» — я могла ответить только одно, и вполне честно: «Сорок лет



назад все было гораздо труднее, и мы все-таки справились — хотя как и всегда, дорогой ценою». Порой мне в самом деле кажется, что только те из нас, кто действовал сорок лет назад, могут понять, как много с тех пор сделано и как велики наши победы; может быть, потому-то в Израиле самые большие оптимисты — старики вроде меня, которые знают, что такое великое дело, как возрождение нации, не может совершиться быстро, безболезненно и без усилий.

Мы старались решать главные задачи. Но какой бы острой ни была сиюминутная проблема, надо было выполнять и будничную работу. Для меня это была работа в качестве председателя совета директоров рабочей больничной кассы, проверка условий труда членов Гистадрута, используемых на строительстве британских военных лагерей в разных частях страны, ведение различных деловых переговоров — а также и вся работа по дому, да и Менахему и Сарре надо было помогать готовить уроки. Такова была рутина.

Но в то же время нам надо было принять и сформулировать целый ряд важнейших решений по вопросам общего положения в ишуве. И первейшим был вопрос — что мы можем предпринять в связи с постоянно повторяющимися взрывами арабского террора. За один 1936 год были зверски уничтожены сотни тысяч деревьев, которые евреи сажали с такой любовью, заботой и надеждой; сожжены сотни полей; подстроены бесчисленные крушения поездов и автобусов; и — самое ужасное — было совершено 2000 вооруженных нападений на евреев, в результате которых 80 человек были убиты и многие серьезно ранены.

Беспорядки начались в апреле 1936 года. К лету евреям небезопасно было ездить из одного города в другой. Когда мне надо было поехать из Тель-Авива на митинг в Иерусалим — что случалось часто, — я

целовала детей на прощанье, зная, что могу и вовсе не вернуться, что мой автобус может быть взорван, что арабский снайпер может застрелить меня при въезде в Иерусалим, что на выезде из Яффо меня может забросать камнями арабская толпа. Хагана (подпольная еврейская организация самообороны) была теперь больше и лучше вооружена, чем во времена беспорядков 1929 года, но, во-первых, мы не хотели ее делать инструментом контртеррора, направленного против арабов, потому что они арабы, а во-вторых не желали дать англичанам повод для дальнейшего сокращения иммиграции и поселений, к чему они прибегали всякий раз, когда наша самооборона становилась слишком активной. Хоть сдерживаться и труднее, чем наносить ответные удары, но мы руководствовались одним принципом: несмотря на опасность и страдания наши, нельзя делать ничего такого, что побудит англичан срезать квоту на въезд евреев в Палестину. Политика сдержанности («хавлага» на иврите) проводилась строжайшим образом. Где и когда было возможно, евреи оборонялись от нападающих, но за все три года, которые англичане с блистательной недоговоренностью решили называть «беспокойными», Хагана не наносила ответных ударов.

Однако весь ишув приветствовал наше решение обороняться, но не наносить ответных ударов. Большинство требовало контртеррора и изобличало политику сдержанности как трусливую. Я всегда находилась среди большинства, где все были убеждены, что «хавлага» — одно-единственное этически приемлемое решение, которому можно следовать. Мне по моральным причинам была отвратительна самая мысль, что можно нападать на арабов, независимо от того, виновны ли они в антиеврейских действиях. Конкретное нападение должно быть отражено, конкретный преступник наказан. Это правильно. Но мы

не будем убивать арабов только потому, что они арабы, и не будем совершать хулиганских действий, характерных для их методов борьбы.

И здесь я очень коротко отвечаю на очень смешное обвинение, которое слышу много лет, — будто мы игнорировали палестинских арабов и развивали страну, словно арабского населения не существует вовсе. Когда зачинщики беспорядков конца тридцатых годов заявили, что арабы нападают на нас потому, что их «вытесняют», мне не надо было справляться с цифрами британской переписи населения, чтобы знать, что за это время, как евреи стали селиться в Палестине, арабское население ее удвоилось. Я сама наблюдала, с самого своего приезда, этот прирост арабского населения. И дело было не только в том, что уровень жизни палестинских арабов был гораздо выше уровня жизни других арабов Ближнего Востока, но и в том, что целые толпы арабов переселялись сюда из Сирии и других пограничных стран в течение всего этого времени. Когда какой-нибудь добродушный представитель британского правительства собирался прекратить еврейскую иммиграцию на том основании, что в Палестине недостаточно места, я, помнится, произносила речи о широких абсорбиционных возможностях Палестины, опираясь на статистические данные, почерпнутые, как должно, из британских источников, но фактически основанные на том, что я видела собственными глазами.

Добавлю, что в течение тридцатых годов я не переставала надеяться, что наступит время, когда палестинские арабы будут жить в мире с нами как равные граждане еврейского национального очага — так же точно, как не переставала надеяться, что евреям, живущим в арабских странах, позволят жить там в условиях мира и равенства. Это было второй причиной, почему наша политика сдержанности пе-

ред лицом арабских нападений казалась мне такой жизненно важной. Я чувствовала, что ничто не должно усложнять и отравлять будущее. Получилось не так, но всем нам понадобилось много времени, чтобы признать факты и понять, что примирение, которого мы ожидали, не состоится.

Затем мы приняли решение заполнить экономический вакуум, создавшийся, когда Верховный арабский комитет, под председательством муфтия, объявил всеобщую забастовку с расчетом полностью парализовать ишув. Ни один араб во всей Палестине — приказал муфтий — не выйдет на работу, пока не будет прекращена полностью еврейская иммиграция и покупка евреями земли. На это у нас нашелся простой ответ. Если не будет работать Хайфский порт, мы откроем наш собственный порт в Тель-Авиве. Если арабские крестьяне не будут продавать урожай, еврейские фермеры удвоят и утроят усилия. Если на дорогах Палестины исчезнет арабский транспорт, шоферы еврейских грузовиков и автобусов будут работать сверхурочно и покроют свои машины броней. Все, что арабы откажутся делать, так или иначе будем делать мы.

Конечно, было немало людей, чьи суждения, мнения и личность оказали влияние на принятие этих решений, — в их число в какой-то небольшой мере входила и я, но тут в первую очередь надо говорить о человеке, чьим выдающимся качеством лидера и чьей поразительной политической интуиции мы все доверяли и тогда, и в последующие годы. Этим человеком был Бен-Гурион, единственный из нас, чье имя — я в это глубоко верю — будет известно и евреям и неевреям даже через сто лет. Я побывала недавно на его могиле в киббуце Сде-Бокер в Негеве, где он провел свои последние годы и где пожелал быть похороненным. Когда я стояла одна у его могилы, я вспоминала свой разговор с ним в 1963 году,

после того, как он (во второй и последний раз) ушел в отставку с поста премьер-министра Израиля. Многие из нас упрашивали его изменить свое решение.

«Конечно, — сказала я, — нет на свете человека, без которого действительно никак нельзя было обойтись. Ты это знаешь, и мы это знаем. Но я скажу тебе одну вещь, Бен-Гурион. Если бы сегодня вышли на Таймс Сквер и стали бы спрашивать прохожих, как зовут президентов и министров всяких больших стран, они не сумели бы ответить. Но если спросить их, кто премьер-министр Израиля? — все они будут знать». Это не произвело на Бен-Гуриона особенного впечатления; но, по-моему, я сказала правду; более того, я уверена, что в памяти людей имя Бен-Гуриона будет связано со словом «Израиль» очень долго, может быть — всегда. Никто, конечно, не может предсказать, что или кого явит будущее, но не думаю, что еврейский народ выдвинет когда-нибудь лидера более крупного масштаба или более пронизательного и отважного государственного деятеля.

Что он представлял собой как человек? Мне трудно ответить на этот вопрос, потому что трудно описать того, чьим восторженным последователем я была так долго и кому я так упорно противостояла, как в свое время я противостояла Бен-Гуриону. Но я попытаюсь — не претендуя ни на то, что мой взгляд на него единственно правильный, ни на то, что он особенно пронизательный.

Первое, что приходит мне в голову сейчас, когда я о нем пишу, — с Бен-Гурионом невозможна тесная близость. Не только для меня — для всех это было невозможно, за исключением, может быть, его жены Поли и, возможно, его дочери Ренаны. Все мы — Берл, Шазар, Ремез, Эшкол — были не только товарищами по оружию, но и любили общество друг друга: мы заходили друг к другу просто поговорить —

не только о важных политических и экономических делах, но о людях, о себе, о своих семьях. Но только не Бен-Гурион.

Мне и в голову не могло прийти, например, позвонить Бен-Гуриону и сказать: «Слушай, а если я вечером забегу?» Или у тебя было к нему какое-нибудь дело, которое ты хотел обговорить, или же не было, и тогда ты оставался дома. Он не нуждался в людях так, как все остальные. Ему хватало себя самого — не то что нам. И потому он знал о людях немного, хотя страшно сердился на меня, когда я ему это говорила.

Я думаю, что немалую роль в том, что ему никто не был нужен, сыграло то, что ему было очень трудно беседовать. Он совершенно не умел просто разговаривать, болтать. Как-то он сказал мне, что в 1906 году, когда он только приехал в Палестину, он почти всю ночь проходил по улицам Иерусалима с Рахел Янаит и не сказал ей ни единого слова. Я могу сравнить это только с историей, которую мне рассказал о себе Марк Шагал. Отец Шагала был в Витебске водоносом. Он целый день таскал ведра и приходил домой поздно вечером. «Он приходил, садился, и мать давала ему поесть, — рассказывал Шагал. — Не помню ни разу, чтобы он ко мне обратился, чтобы у нас был какой-нибудь разговор. Отец весь вечер сидел молча и барабанил по столу пальцами. Вот я и вырос не умея разговаривать с людьми». Потом Шагал влюбился в девушку, они встречались несколько лет, но он не мог с ней разговаривать. Он уехал из Витебска, она ждала его, он хотел написать ей письмо и попросить его стать его женой — но он, как не умел разговаривать, так не сумел и написать письмо. Девушка перестала ждать и вышла замуж за другого. Бен-Гурион был в этом же роде; он, правда, умел писать, но я не могу представить, чтобы он с кем-нибудь разговаривал о своей женитьбе, или о детях,

или о чем-нибудь подобном. Для него это была бы пустая трата времени.

С другой стороны, то, что его интересовало или представлялось важным, он делал с полной самоотдачей — и это не все и не всегда могли оценить и понять. Однажды — по-моему, в 1946 году — он попросил освободить его на несколько месяцев от обязанностей по Еврейскому Агентству, которое он тогда возглавлял, чтобы изучить вопрос о Хагане: чем она располагает и что ей понадобится для борьбы, которая, как он был уверен, ей несомненно предстояла. Все смеялись: Бен-Гурион уходит на учебу. Кто в эти дни непрекращавшегося кризиса брал отпуск «для учебы»? Только Бен-Гурион. И когда он вернулся на работу, он знал о реальных силах Хаганы больше, чем все мы, вместе взятые. Через несколько дней после того, как он вышел на работу, он меня вызвал. «Голда, — сказал он, — зайди. Я хочу с тобой поговорить». Он ходил взад и вперед по своему большому кабинету на верхнем этаже. «Слушай, — сказал он, — мне кажется, что я схожу с ума. Что с нами будет? Я уверен, что арабы нападут, а мы к этому не готовы. У нас ничего нет. Что с нами будет?» Он был вне себя от волнения. Мы сели и начали разговаривать, и я рассказала, как боится будущего один из наших партийных коллег, который был всегда против бен-гурионовского «активизма», а теперь, в темные годы нашей открытой борьбы против англичан, — и подавно. Бен-Гурион слушал очень внимательно. «Знаешь, нужна большая храбрость, чтобы бояться, — и еще большая, чтобы признаться в этом. Но даже И. не знает самого страшного». К счастью, Бен-Гурион знал. Он присоединил к своей фантастической интуиции всю полученную информацию и начал действовать. Почти за три года до того, как началась Война за Независимость (1948), он отправился к американским евреям за помощью

на случай, как он выразился, «вероятной» войны с арабами. Он не всегда был прав, но ошибался нечасто; в данном случае он был прав абсолютно.

Бен-Гурион вовсе не был грубым или бессердечным человеком, но он знал, что иногда необходимо принимать решения, которые стоят человеческих жизней. В те времена, когда многие в ишуве думали, что мы не в состоянии создать государство Израиль и наладить его эффективную оборону, Бен-Гурион не видел другого решения, — и я была с ним согласна. Даже у таких людей, как Ремез, были серьезные сомнения. Однажды ночью в 1948 году мы сидели с ним у меня на балконе, смотрели на море и беседовали о будущем. Ремез отчеканил: Вы с Бен-Гурионом разобьете последнюю надежду еврейского народа». Тем не менее Бен-Гурион осуществил создание еврейского государства. Не один, разумеется, но сомневаюсь, чтобы оно могло быть создано, если бы не его руководство.

Мы с ним сработались с самого начала. Бен-Гурион мне доверял и, думаю, хорошо ко мне относился. Много лет он не разрешал никому критиковать меня в его присутствии, хотя бывали случаи, когда я не соглашалась с ним по важным вопросам, — например, предложение комиссии Пиля о разделе Палестины (1937) или вопрос о «нелегальной» иммиграции, которую Бен-Гурион по началу не принимал всерьез.

Были ли у него диктаторские замашки? В сущности, нет. Говорить, что люди его боялись, — преувеличение, но уж, конечно, он не был человеком, которому легко перечить. В числе людей, впавших у Бен-Гуриона в немилость — и кому он очень осложнял жизнь, — были два израильских премьер-министра, Моше Шарет и Леви Эшкол. Были и другие.

Он терпеть не мог, когда его обвиняли в том, что он руководит партией, а позже — правительст-



вом, с авторитарных позиций. Как-то на партийном собрании, услышав это обвинение, он воззвал к министру, которого считал безупречным в смысле интеллектуальной честности и который, как Бен-Гурион слишком хорошо знал, нисколько его не боялся. «Скажи, Нафтали, спросил он, — разве я веду партийные собрания недемократично?»

Перец Нафтали минуту глядел на него, улыбнулся своей чарующей улыбкой и задумчиво ответил: «Нет, я бы не сказал. Я бы скорее сказал, что партия, самым демократичным образом, всегда решает голосовать так, как ты хочешь». Поскольку у Бен-Гуриона совершенно не было чувства юмора (не помню ни одного случая, когда бы он шутил), то его полностью удовлетворил этот ответ — кстати сказать, не грешивший неточностью.

Рассказывая о правительственных собраниях и голосованиях, я вспомнила разговор, который произошёл несколько лет назад на приеме по случаю съезда Социалистического интернационала. Я сидела с Вилли Брандтом, Бруно Крайским, премьер-министром одной скандинавской страны, и Гарольдом Вильсоном, который тогда не был премьер-министром. Мы болтали о разных государственных процедурах, и тут один из них повернулся ко мне и спросил: «Как вы проводите заседания кабинета?»

Я сказала: «Мы голосуем».

Все пришли в ужас. «Вы голосуете на заседаниях кабинета?»

«Ну, конечно, — сказала я. — А вы что делаете?»

Брандт объяснил, что он в Бонне докладывает вопрос, затем происходит обсуждение, он резюмирует его и затем выносит решение. Крайский кивнул в знак одобрения и добавил: «Если бы кто-нибудь из министров осмелился сказать, что он возражает против этого резюме, которое дал канцлер, и его решения — то ему осталось бы только

уйти домой». Но в Израиле все происходит и происходило, даже в дни Бен-Гуриона, совсем не так. У нас всегда ведутся долгие дискуссии и, если надо, происходит настоящее голосование. Мне не приходилось оказываться в меньшинстве в бытность мою премьер-министром, но поскольку у нас правительства коалиционные и кабинеты министров поэтому большие, — а большинство членов израильского кабинета считают, что они не исполнят своего долга, если не будут просить слова по каждому вопросу, — то заседания кабинета длятся часами, даже когда вопрос может быть за полчаса решен. Не забуду изумления, выразившегося на лицах Брандта и Крайского, когда я терпеливо объясняла им все это.

Но вернемся к Бен-Гуриону. Самым удивительным в течение его политической жизни было: даже когда он совершенно ошибался в теории, на практике он обычно оказывался прав, и этим, в конце концов, государственный деятель и отличается от политика. Хотя я никогда и не смогла простить ему обиды, которую он нанес нам в деле Лавона, брани, которой он осыпал прежних товарищей, вреда, который он нанес рабочему движению в последние десять лет своей жизни, я по-прежнему ощущаю то, что ощущала, посылая ему из заграничной поездки телеграмму к дню его рождения. «Дорогой Бен-Гурион, — писала я. — Мы много спорили в прошлом и, без сомнения, будем спорить и в будущем, но что бы будущее нам не готовило, никто не сможет отнять у меня сознания, что мне неслыханно посчастливилось, ибо десятки лет я проработала бок о бок с единственным человеком, который сделал больше любого другого для создания еврейского государства». Я верила в это тогда и верю теперь.

В 1937 году меня опять послали в Соединенные Штаты, на этот раз для сбора средств на новый проект Гистадрута, который я принимала необыкновен-

но близко к сердцу (кроме того, к моей радости, и мои дети были им прямо-таки очарованы). Речь шла об основании нового предприятия — морских перевозок. Названо оно было по имени первого из детей Израиля, бросившегося в Красное море по приказу Моисея во время Исхода из Египта — «Нахшон». Все в этом проекте радовало мое сердце. Зародился он в уме Давида Ремеза накануне арабской всеобщей забастовки. Древние палестинские евреи были мореходами, конечно; искусство мореплавания было забыто за две тысячи лет изгнания и жизни в гетто и только сейчас оно стало возвращаться к жизни. Забастовка портовых рабочих в Яффе в 1936 году стала для ишува сигналом, что надо собраться с силами и подготовить собственных людей. Как я говорила американской аудитории в разных городах Соединенных Штатов: «Нам надо готовить людей для работы в море, подобно тому, как мы много лет готовили их к работе на земле». Это означало — открыть собственный порт, купить корабли, обучить моряков и вообще опять превратиться в мореходную нацию.

День, когда открылся тель-авивский порт, был в полном смысле слова праздничным днем для евреев Палестины. Меня и сейчас охватывает волнение, когда я вспоминаю, как толпа, ожидавшая на берегу, ринулась в воду, чтобы помочь докерам, евреям из Салоник, выгружать мешки с цементом с югославского корабля — первого, бросившего якорь в Тель-Авиве. Мы все понимали, что деревянный причал — еще не порт, во всяком случае, не Роттердам и не Гамбург — но это был наш причал, и мы очень им гордились и испытывали большой подъем. Позднее деревянный причал был заменен железным, и каждый вечер (если англичане не объявляли в Тель-Авиве комендантский час) весь город собирался на берегу, чтобы посмотреть, как идут работы. Поэты

писали поэмы о порте, песни складывались в его честь, и, что еще важнее, туда стали заходить корабли.

Что-то привлекало меня в самой идее возвращения евреев к морю, и я, когда только могла, путешествовала на «еврейских» кораблях, первым из которых был пароход «Тель-Авив», на палубах которого впервые обсуждались подробности будущего «Нахшона», когда Ремез, Берл Кацнельсон и я вместе ехали на Сионистский конгресс в Швейцарию. Были, конечно, и скептики, которые не могли понять, почему нам не безразлично, что почти весь палестинский морской транспорт сосредоточен не в еврейских руках; но для меня «Нахшон» был еще одной ступенькой к еврейской независимости, и некоторое время я только и могла говорить о кораблях и рыболовстве и ради сбора средств на это дело снова поехала в США. В каком-то смысле это была, можно сказать, романтическая интерлюдия. Иногда по вечерам, покончив с домашними делами (обед на завтра, починка одежды), зная, что сегодня не будет собрания рабочего совета и никто не должен ко мне прийти, я усаживалась на своей веранде, остывала под легким бризом, смотрела на море и думала, что было бы, если бы у нас был собственный военноморской флот, и процветающий торговый флот, и пассажирские лайнеры, которые ходили бы под звездой Давида в Европу, Азию и Африку. Это был мой отдых; как у Бен-Гуриона, в тайне от всех, кино и детективные романы, а у других — коллекционирование марок. Я ни на минуту не забывала, что понятие «море» подразумевало для нас куда более мрачные вещи, ибо только морем еврейские беженцы из нацистской Европы могли добраться до Палестины, если им это разрешат англичане. В 1939 году, когда замаячила на горизонте мировая война, уже было ясно, что британское министерство колоний окон-

чательно поддастся арабскому напору и фактически прекратит еврейскую иммиграцию в Палестину.

Комиссия Пиля, объездившая Палестину в 1936 году, внесла рекомендацию — разделить страну на два государства: еврейское, площадью в 2000 квадратных миль, и арабское — вся остальная территория, за исключением интернационализированного Иерусалима и коридора от него к морю. Это не соответствовало моему представлению о жизнеспособном национальном очаге для еврейского народа. Государство получалось слишком маленькое и перенаселенное. Мне это предложение показалось смехотворным, и так я и сказала, несмотря на то, что большинство моих коллег, с Бен-Гурионом во главе, решили, хоть и неохотно, принять предложение комиссии Пиля. «Когда-нибудь мой сын спросит меня, по какому праву я отдала большую часть страны, и я не буду знать, что ему ответить», — сказала я на одном из партийных собраний, где обсуждалось предложение Пиля. Конечно, я не была в партии совершенно одинока. Берл, как я уже говорила, и еще несколько руководящих партийцев со мной соглашались. Но ошибались мы, а прав был Бен-Гурион, самый опытный из всех, настаивая, что любое государство лучше, чем ничего.

Мы так и не получили государства в 1937 году и, слава Богу, не из-за меня, а из-за арабов, которые начисто отвергли план раздела — хотя, если бы они его приняли, они получили бы «Палестинское государство» сорок лет назад. Но основным принципом поведения арабов в 1936 и 1937 годах был тот самый, который действует и поныне: решения принимаются, руководствуясь не тем, хороши ли они для них, а тем, плохи ли они для нас. Теперь, в свете дальнейшего, ясно, что и сами британцы никогда не собирались осуществить план Пиля. Во всяком случае, я не могла бы жить, если бы в дальнейшем стало ясно,

что план провалился из-за меня. Будь у нас крошечное, смехотворное государство хоть за год до того, как разразилась война, сотни тысяч евреев — а может быть и больше, — можно было бы спасти от нацистских крематориев и газовых камер.

Несмотря на то, что вопрос об иммиграции очень быстро превращался в вопрос жизни и смерти евреев Европы, мы, казалось, были единственным народом в мире, понимавшим это, — и кто стал бы нас слушать? Что мы были такое? Какие-то несколько сотен тысяч евреев, далеко не хозяева собственной судьбы, засунутые в дальний уголок Ближнего Востока, даже полностью не входивший в Британскую империю, не имеющие элементарного права сказать европейским евреям, находившимся под угрозой: «Идите к нам сейчас, пока еще не поздно». Ключ от ворот в так называемый еврейский национальный дом держали британцы, и ясно было, что они вот-вот эти ворота запрут, независимо от того, что уже тогда происходило.

Но если для европейских евреев недостижима Палестина, как же обстоит дело с другими странами? Летом 1938 года меня послали на международную конференцию о судьбе европейских беженцев, созванную Франклином Рузвельтом во французском курорте Эвиан-ле-Бэн. Я присутствовала там в странном качестве «еврейского наблюдателя из Палестины» и даже сидела не с делегатами, а в зале, хотя беженцы, о которых шла речь, принадлежали к моему народу, к моей семье, и не были для меня нежелательной цифрой, которую нужно, если это вообще возможно, втиснуть в рамки квоты. Страшное это было дело — сидеть в роскошном зале и слушать, как делегаты тридцати двух стран поочередно объясняют, что они хотели бы принять значительное число беженцев, но что, к несчастью, не в состоянии это сделать. Человек, не переживший это,

не может понять, что я испытывала в Эвиане, — всю эту смесь горя, ярости, разочарования и ужаса. Мне хотелось встать и крикнуть всем им: «Вы что, не понимаете, что эти «цифры» — живые люди, люди, которые, если вы не впустите их, обречены сидеть до смерти в концлагерях или скитаться по миру, как прокаженные?» Конечно, я не знала тогда, что этих беженцев, которых никто не хотел, ожидали не концлагеря, а смерть. Если бы я это знала, то не смогла бы молча сидеть час за часом, соблюдая дисциплину и вежливость.

И там я вспомнила, что на конгрессе Социалистического интернационала год назад я увидела, как плачут члены испанской делегации, умоляя о помощи, чтобы спасти Мадрид. Эрнст Бевин только и сказал: «Британские лейбористы не готовы воевать за вас». Других слов он в своем сердце не нашел. Много позже я сама получила урок от социалистического братства, но в Эвиане я впервые, с тех пор как в России маленькой девочкой с ужасом прислушивалась к грохоту казацких копыт, поняла: если народ слаб, то как ни справедливы предъявляемые им требования, этого все равно мало.

На вопрос «быть или не быть?» каждая нация должна ответить по-своему, и евреи больше не могут и не должны зависеть от кого бы то ни было, чтобы им разрешено было оставаться в живых. Немало всего произошло с миром, с ишувом и со мной лично после 1938 года, и многое из того, что произошло, — ужасно. Но, по крайней мере, слов «еврейские беженцы» не слышно больше нигде, потому что теперь существует еврейское государство, готовое и способное принять каждого еврея — квалифицированного и неквалифицированного, старого и молодого, больного и здорового, — каждого, кто пожелает там жить.

В Эвиане дело так и окончилось пустыми фразами, но я перед отъездом устроила пресс-конференцию. Все-таки журналистам захотелось услышать, что я скажу, а через их посредство можно было надеяться снова привлечь к себе внимание мира. «Только одно хочу я увидеть прежде чем умру, — сказала я прессе, — чтобы мой народ больше не нуждался в выражениях сочувствия».

И в мае 1939 года, несмотря на эскалацию преследований и убийств евреев в Австрии и Германии, англичане решили, что время пришло, наконец, окончательно захлопнуть ворота Палестины. Правительство Чемберлена поддалось арабскому шантажу почти так же, как поддалось нацистскому. Если уж чехословацкую проблему можно было решить путем «умиротворения», то не ясно ли, что такая же политика должна проводиться и в Палестине, — о которой вообще никто особенно не заботился. Фактически британский мандат кончился с «Белой книгой» в 1939 году, хотя еще девять лет ему наносились смертельные удары. В течение ближайшего десятилетия предполагалось создание Палестинского государства, основанного на конституции, гарантирующей «права меньшинств». Еврейские закупки земли прекращаются (кроме 5 % территории, где это было возможно) и еврейская иммиграция сначала сокращается до минимума (75000 человек за предстоящие 5 лет), а затем и прекращается навсегда, «если на нее не согласятся палестинские арабы».

За день или два до опубликования «Белой книги» я написала статью для журнала, издававшегося Женским рабочим советом. Я писала ее почти всю ночь напролет и сказала Менахему, что даже если никто ее не прочтет, я, по крайней мере, облегчила душу. Когда я перечитываю ее сегодня, меня поражает ирония судьбы.



*«Каждый день приносит новые указы, вырывающие почву из-под ног сотен тысяч людей. Мы, матери, знаем, что еврейские дети рассеяны по всему свету и что во многих странах еврейские матери просят только об одном: «Увозите наших детей. Увозите их куда хотите. Только спасите их от этого ада».*

*Дети переезжают из Германии в Австрию, из Австрии в Чехословакию, из Чехословакии в Англию, — а кто может заверить их матерей, что, покидая один ад, они не попадут в другой?*

*Но здесь, во всяком случае, наши дети будут сохранены для еврейского народа. И я даже вообразить не могу, что у нас могут быть поражения в труде или при обороне даже самых маленьких поселений, если в глазах наших будет стоять образ: тысячи евреев в европейских концлагерях. Вот в чем наша сила... И мы глубоко уверены: то, что было сделано в других странах с другими людьми, не может у нас повториться».*

Не знала я, что то, что будет сделано с евреями, будет несравнимо с тем, что мы тогда воображали.

Совершенно очевидно, «Белая книга» была неприемлема. Мы собирали митинги протеста, устраивали забастовки, подписывали заявления. Но надо было также принимать решения. Недостаточно было оплакивать измену британцев или демонстрировать, понурившись, с тоской в сердце, на главных улицах Тель-Авива, Иерусалима и Хайфы. Что нам теперь делать? Бросить вызов англичанам? Если да — то как? Какую цель поставит себе сионистское движение теперь, когда англичане, в самую злую для нас минуту, предпочли снять с себя ответственность за чаяния и национальные устремления евреев?

В августе мне снова пришлось объяснять детям, что я опять еду за границу, на этот раз — на Сioane

нистский конгресс в Женеву, где будут приняты решения огромной важности для жизни всего ишува. Я видела, что дети очень огорчились; однако в других случаях бывало, что они начинали спорить, спрашивали, в самом ли деле это необходимо, — на этот раз они не спорили вовсе. Собственно, к тому времени, как я уехала в Женеву, политика Мапай была уже сформулирована. Какую бы позицию ни заняли сионистские делегаты из-за границы, наша собственная была нам ясна. Иммиграция будет продолжаться, даже если дойдет до вооруженных столкновений с англичанами, и мы будем продолжать селиться на земле и оборонять наши поселения. Это означало, что мы пойдём на столкновение с англичанами, если придется. Мы, значившие так мало, что нас даже не наши достойными иметь настоящую делегацию на международной конференции беженцев? Но выбора у нас, по-видимому, не было — разве что принять систему квот и таким образом примкнуть к обществу наций, «глубоко сожалеющих», что не в состоянии участвовать в спасении евреев.

К сентябрю 1939 года, когда разразилась война, Бен-Гурион резко, но очень ясно определил нашу позицию: «Мы будем бороться с Гитлером так, как если бы не было «Белой книги», и будем бороться с «Белой книгой» так, как если бы не было Гитлера».



## БОРЬБА ПРОТИВ БРИТАНЦЕВ

**Т**ысячу раз с самого 1939 года я пыталась объяснить себе и, конечно, другим, каким образом британцы, в те самые годы, когда они с таким мужеством и решимостью противостояли нацистам, находили время, энергию и ресурсы для долгой и жестокой борьбы против еврейских беженцев от тех же нацистов. Но я так и не нашла разумного объяснения — а может быть, его и не существует. Знаю только, что государство Израиль, возможно, родилось бы только много лет спустя, если бы британская «война внутри войны» велась не с таким ожесточением и безумным упорством.

В сущности, ведь только тогда, когда британское правительство, вопреки всем резонам и всякой гуманности, решило встать железной стеной между нами и всякой возможностью для нас спасти евреев из рук нацистов, мы поняли окончательно, что политическая независимость уже не отдаленная цель. Именно необходимость самим контролировать иммиграцию, ибо от этого контроля зависели человеческие жизни, подтолкнула нас принять решение, которое в противном случае дождалось бы куда лучших (если не идеальных) условий. Но «Белая книга» 1939 года, ее правила и регулирования, подписанные чужими людьми, для которых, как явствовало, жизнь евреев имела второстепенное значение, превратили абстрактный разговор о праве ишува на самоуправление в самую конкретную и острую не-

обходимость. Из этой необходимости, в основном, и поднялось государство Израиль, всего через три года после окончания войны.

Что мы требовали от британцев и в чем они нам так упорно отказывали? Даже мне ответ на это сегодня представляется невероятным. С 1939 по 1945 год мы хотели только одного: принять в страну всех евреев, которых можно было спасти. Вот и все. Всего-навсего права поделиться тем немногим, что у нас было, с мужчинами, женщинами и детьми, которым посчастливилось не быть расстрелянными, отравленными газом или похороненными заживо теми самыми людьми, поражения которых добивалась Британская империя.

Мы не просили ничего другого: ни привилегий, ни власти, ни обещаний на будущее. Мы просто умоляли — потому что смертный приговор, вынесенный миллионам евреев Европы, уже приводился в исполнение, — чтобы нам разрешили спасти кого сможем от неминуемой гибели и привезти в то единственное место, где они были желанны. Когда же британцы сперва не ответили ничего, а потом ответили, что по разным техническим и совершенно ничего не стоящим причинам не смогут с этим «справиться» (якобы не хватало «кораблей», которые нашлись в избытке в 1940 году, когда стало «необходимо» увезти «нелегальных» иммигрантов из Палестины на остров Св. Маврикия) — мы перестали просить и начали настаивать.

Но ничего не помогало — ни просьбы, ни слезы, ни демонстрации, ни заступничество влиятельных друзей. «Белая книга» оставалась в силе, и ворота Палестины открывались только лишь для того, чтобы впустить то количество, которое было указано в этом позорном документе, — и ни одним человеком больше. И тогда мы все поняли то, что многие из нас всегда подозревали: ни одно чужое правительство

не может и не сможет никогда почувствовать нашу мучительную тревогу так, как ее чувствуем мы, и ни одно чужое правительство никогда не будет ценить жизнь евреев, как мы ее ценим. Не такой уж трудный это был урок, но когда мы его усвоили, мы уже не смогли его забыть, хотя, как это ни невероятно, весь мир, за очень небольшими исключениями, его в наше время забыл. И учтите — выбора тогда не было никакого: не надо думать, что перед английским министерством колоний стояла длинная очередь стран, просивших пустить к ним беженцев, чтобы их кормить и лечить под своим кровом. Было несколько стран — к их вечной славе — готовых принять какое-то количество евреев, если тем удастся спастись от Катастрофы. Но нигде на земном шаре не было страны, за исключением Палестины, которая стремилась принять евреев, готова была заплатить за них любую цену, предпринять все, рискуя чем угодно, чтобы только их спасти.

Британцы были непоколебимы. Они сражались как львы против немцев, итальянцев и японцев, но не могли или не хотели сопротивляться арабам, хотя большая часть арабского мира была открыто пронацистской. Режьте меня, но я и сейчас не понимаю, почему британцы — учитывая все, что происходило с евреями, — не сочли возможным сказать арабам: «Вам не о чем беспокоиться. Когда окончится война, мы проследим за тем, чтобы каждый параграф «Белой книги» строжайше выполнялся, и если они нас не послушаются, мы пошлем на их усмирение армию, авиацию и флот. Но сейчас речь идет не о будущем Ближнего Востока, или мандата, или каких бы то ни было национальных устремлений. На карте миллионы человеческих жизней, и мы, англичане, не можем препятствовать спасению людей от Гитлера. «Белой книге» придется подождать до конца войны».

В конце концов, что случилось бы, если бы британцы издали подобную декларацию? Несколько арабских лидеров произнесли бы угрожающие речи. Произошла бы демонстрация протеста — ну две. Может быть, даже случился бы еще один акт пронацистского саботажа где-нибудь на Ближнем Востоке. И во всяком случае, очень может быть, что вообще было бы слишком поздно и большую часть евреев Европы не удалось бы спасти. Но тысячи из 6000000 могли бы остаться в живых. Тысячи борцов гетто и еврейских партизан можно было бы вооружить. И тогда над цивилизованным миром не тяготело бы страшное обвинение в том, что он и пальцем не шевельнул, чтобы избавить евреев от их страданий.

За все долгие трагические годы войны и первого послевоенного времени я ни разу не встретила палестинского еврея — даже и не слышала о таком, — который хоть минуту поколебался, прежде чем принести любую жертву, личную или в национальном масштабе, необходимую для спасения евреев Европы. Нельзя сказать, что между нами было единодушие по вопросу о том, как это сделать, но, насколько мне известно, вопрос о том, нужно ли это делать вообще, никогда не поднимался. Если никто не будет нам помогать, мы попытаемся делать это сами — и именно так мы и поступали.

На том Женевском сионистском конгрессе, в 1939 году, я провела большую часть времени, закрывшись с делегатами молодежных сионистских социалистических организаций, где мы планировали, как будем сноситься друг с другом, если разразится война. Разумеется, ни я, ни они тогда не знали о гитлеровском «окончательном решении», но помню, как я смотрела в глаза каждому, когда мы пожимали друг другу руки и говорили «шалом», думая при этом о том, что ожидает его, когда он вернется домой.

Не раз я снова и снова проигрывала в своей

памяти наши сравнительно оптимистические беседы в моей женеvской комнате в конце августа 1939 года. Почти все эти преданные делу молодые люди погибли потом в Освенциме, Майданеке или Собиборе, но среди них были и лидеры еврейского сопротивления в Восточной Европе, которые сражались с нацистами внутри гетто и за его пределами — в партизанских отрядах и, наконец, за колючей проволокой лагерей смерти. Мне мучительно тяжело думать о них теперь, но я всем сердцем верю, что в их неравной борьбе до самого конца им помогало сознание, что мы все время с ними, и потому они не были совершенно одиноки. Я не мистик, но надеюсь, что мне простят, если я скажу, что в самые черные наши часы память о них, их дух вселяли в нас мужество, вдохновляли нас на дальнейшую борьбу и, главное, прибавили веса в значимости нашему собственному отказу уничтожиться ради того, чтобы остальному миру легче жилось. Анализируя все это теперь, видишь, что именно евреи Европы, пойманные, обреченные и погибшие, научили нас раз и навсегда, что мы сами должны стать хозяевами своей жизни и смерти, и, думаю, мы остались верны их завету.

Лозунг «Мы будем бороться с Гитлером, как если бы не было «Белой книги», и с «Белой книгой», как если бы не было Гитлера» звучал хорошо, но выполнять его было не просто. Собственно говоря, борьба в Палестине в первые годы войны велась сразу на три фронта, независимых, но и связанных между собой, и я, как член рабочего правления, принимала участие во всех трех ее направлениях. Шла отчаянная борьба за то, чтобы ввезти в Палестину как можно больше евреев, и другая, унижительная и необъяснимая, которую пришлось вести, чтобы убедить англичан позволить нам принять участие в военных действиях против нацистов, и наконец, третья, при почти полном равнодушии британцев, — за сохра-

нение экономики ишува, дабы он вышел из войны достаточно крепким, чтобы абсорбировать большую волну иммигрантов — если к тому времени еще останутся евреи.

Не раз я удивлялась, как нам удалось пережить эти годы и не рассыпаться; вероятно, физическая и эмоциональная жизненная сила есть, в основном, дело привычки, а уж чего нам хватало, так это возможностей проверить себя в час испытаний.

Всю жизнь, сколько я себя помню, люди, особенно члены моей семьи, упрекали меня за то, что я слишком себя загоняю, что бы они при этом не имели в виду. Даже теперь, когда жить мне стало легче, мои дети вечно на меня нападают, что я недостаточно «отдыхаю». Но в те военные годы я усвоила очень важный урок: человек всегда может сделать чуть больше того, что вчера казалось пределом его сил. Как бы то ни было, я не помню, чтобы в те годы я почувствовала усталость — а это означает, что я к ней привыкла. Как и все в то время, тревога и страдание так сильно прищипывали меня, что казалось, не хватит ни дня ни ночи, чтобы сделать все, что нужно. И, конечно, главной причиной было то, что как ни трудно человечеству было поверить, будто нацисты занимаются уничтожением евреев Европы, большинство из нас поверило в это сразу же, а когда вы понимаете, что каждая минута уносит жизни людей твоего народа, не может быть речи о том, что работы слишком много.

Отчетливо помню, как впервые дошли до нас сообщения о газовых камерах, о мыле и абажурах из еврейских тел. Мы созвали срочное заседание в Гистадруте. Страшно и примечательно то, что никто из нас не усомнился в правдивости полученной информации. Мы все поверили — сразу и полностью. На следующий день у меня была назначена встреча по какому-то незначительному поводу с британским



чиновником, который мне всегда был симпатичен, и я, конечно, рассказала ему то, что мы только что узнали о зверствах нацистов. Через несколько минут он посмотрел на меня как-то странно и сказал: «Но миссис Меерсон, вы-то ведь не верите во все это, не так ли?» И начал мне рассказывать про пропаганду Первой мировой войны, где тоже говорилось о зверствах. Я не могла объяснить, как и почему я знаю, что тут другое дело, но по восторженному взгляду его добрых голубых глаз я поняла, что он счел меня сумасшедшей. «Не надо верить всему, что вы услышите», — ласково сказал он мне на прощанье.

Днем мы делали свою привычную работу, а по ночам и между делом — то, что могли, чтобы отразить антиеврейскую войну. Поскольку я и прежде занималась проблемами труда, я продолжала заниматься этим и теперь, хотя теперь мне пришлось иметь дело почти исключительно с британскими военными властями. Как я уже писала, британцы категорически противились вступлению в армию евреев-добровольцев (хотя 130000 записались) и изобрели целую серию сложных мер (большая часть которых потерпела неудачу), чтобы удержать запись членов ишува на минимуме — в частности, настаивая на том, чтобы еврейских рекрутов было ровно столько же, сколько арабских. Но когда война распространилась на Ближний Восток, то выяснилось, что союзники все больше и больше зависят от единственного в районе резерва высококвалифицированной (и, конечно, политически совершенно надежной) рабочей силы. Десятки тысяч молодых палестинских евреев, не допущенные в английские боевые части, проработали всю войну армейскими шоферами во вспомогательных и медицинских частях. Конечно, их называли «палестинцами», а не евреями, и обращались с ними как с «туземцами», но, по крайней мере, они были частью армии. Гражданские же ра-

ботники ишува — квалифицированные и неквалифицированные — не только считались «туземцами», но и оплату за труд получали по египетским расценкам. Поскольку для Гистадрута это было неприемлемо, я много месяцев подряд вела споры и разговоры с генеральным штабом ближневосточных войск. Множество палестинских арабов присоединилось к нам во время этих бурных споров, хотя один из них, прелестный человек из Хайфы, заплатил за этот объединенный фронт своей жизнью — арабские террористы убили его в 1947 году.

Типичный эпизод этого времени — переговоры, которые я несколько недель вела с фирмой, прежде действовавшей в Бирме, а теперь назначенной сюда в качестве транспортного агентства палестинского мандатория. Думаю, что этим джентльменам никогда прежде не приходило в голову, что они не смогут нанимать и увольнять шоферов, когда им заблагорассудится, а твердо решила заставить их признать существование профсоюзов и необходимость коллективных договоров. «В Бирме, — весело рассказывали они мне при первой нашей встрече, — нам не нужны были никакие рабочие федерации. У нас была своя собственная «федерация» — восемьдесят тысяч рабочих». И все-таки, в конце концов, они согласились перенести переговоры с Гистадрутом и, может быть, даже узнали кое-что про ишув и в чем тут было дело.

По мере ухудшения военного положения на Ближнем Востоке, все больше и больше палестинских евреев втягивалось в работу для войны, и правительство мандата вынуждено было решиться на создание специального органа, с которым оно могло бы консультироваться по экономическим вопросам. Был создан Военный экономический совет, членом которого я была до тех пор, пока война не кончилась. Все это надо было делать, все было важно, но

не это было в центре нашего внимания. По-настоящему меня заботило другое. Посланный нами в Анкару Меллех Найштадт (позже — Ной) возвратился с известиями, от которых нас бросило в дрожь. Он словно привез послание с другой планеты. Он нашел в Турции людей, имевших возможность связаться с еврейским подпольем в Польше. Он предупредил нас, что они, конечно, не ангелы. За свои услуги они затребовали большие деньги, но, как он думал, немалая часть того, что они получают для гетто, будет ими урезана в свою пользу, а кроме того, некоторые из них почти наверняка нацисты. Но мы не нанимали официальных посланников. Мы искали людей, которые смогут более или менее свободно передвигаться по оккупированной нацистами Европе, и их послужной список нас не интересовал. В тот же день мы приняли решение основать тайный фонд. Мы поставили себе целью собрать огромную для нас сумму — 75000 фунтов стерлингов — хоть уже знали, что только малая часть ее дойдет по назначению, если дойдет вообще. Но на эту малую часть евреи может быть смогут купить оружие и еду, очень немного, конечно, но, может быть достаточно, чтобы хоть ненадолго поддержать еврейское движение сопротивления.

С этого начались наши отчаянные попытки пробиться в оккупированную Европу и поддержать жизнь евреев там. К тому времени как окончилась война не было пути, которого мы бы не разведали, лазейки, в которую мы бы не проникли, возможность, которой мы бы немедленно не изучили. Годами мы упрашивали союзников помочь нам заслать наших молодых людей в центр Европы — пешком, на подводной лодке, на самолете... Наконец летом 1943 года британцы, с большими оговорками, все-таки дали согласие. Не несколько сотен, как мы просили, но тридцать два палестинских еврея будут за-

брошены на оккупированную территорию для выполнения двойной задачи: помочь бежать военнопленным из числа союзников (это в основном были летчики) и оказать помощь и поддержку еврейским партизанам.

Когда я пишу эти строки, я вижу двух людей, которых нет уже в живых. Они ничем не походили друг на друга — ни происхождением, ни внешностью, ни манерами, — но оба были мне дороги, и, с болью думая о них, я вижу, что они персонифицируют те темные и страшные времена. Один был Элияху Голлоб, другой — Энцо Серени. Писатели и историки когда-нибудь расскажут о том, что пытались сделать — и сделали — палестинские евреи во время Катастрофы. Я же напишу только об этих двоих, хоть было немало других мужчин и женщин, которые отдали своему народу столько же, сколько Элияху и Энцо.

Элияху я знала лучше и дольше, чем Энцо. Он принадлежал к замечательной семье (все родственники через жен), сыгравшей большую роль в создании ишува и его рабочего движения. Об одном из них — о Моше Шарете — я буду говорить позже, потому что нас тесно связала и жизнь, и работа, но и трое остальных во время войны сыграли не меньшую роль. Все они, и вместе, и порознь, могли бы быть героями книги, которая неизбежно бы стала сагой об ишuve, — и я очень надеюсь, что когда-нибудь эта книга будет написана.

Моше Шарет в те времена возглавлял политический департамент Еврейского Агентства. Он в 1933 году наследовал Хаиму Арлозорову и всегда (подозреваю, даже и в то время) считал себя несомненным кандидатом на пост министра иностранных дел — если когда-нибудь будет создано еврейское государство. Из всех четверых это был самый «светский человек» — умный, одаренный, блестящий лин-

гвист. Однако он был формалист и педант. Несмотря на все свои таланты, он не был ни Бен-Гурионом, ни Берлом Кацнельсоном. Но в течение многих лет он был достойным министром иностранных дел Израиля и даже премьером — в короткий и очень тяжелый период между первой и второй отставкой Бен-Гуриона. Именно Шарет, больше, чем кто бы то ни было, отчаянно боролся за создание Еврейской бригады, которая, в конце концов, была создана в последние годы войны, как раз когда начались военные действия в Италии.

Одна из сестер Шарета была замужем за Довом Хозом, который много лет был «человеком Гистадрута» в Лондоне и установил теплые личные отношения со многими лидерами британских лейбористов. Внешность у него была не слишком импозантная, но он обладал огромным обаянием и любил и понимал англичан. Поэтому мы часто просили Дова представлять нас перед властями мандата. Любимым его проектом был проект развития авиации в Палестине; он и сам был летчиком, что нас всех восхищало. В 1940 году он вместе женой Ревеккой и дочерью погиб в автомобильной катастрофе в Палестине, и с его смертью мы лишились одного из наших столпов общества. Бывая в Лондоне перед войной, я много времени проводила с ним вместе, да и потом мы вместе занимались вопросами о еврейских добровольцах для британской армии.

Надо отметить, что не все в ишуве относились к службе в английской армии как мы. Было немало людей, считавших, что, «складывая все яйца в одну корзину», мы ставим под удар безопасность еврейских городов и поселений в случае поражения Англии на Ближнем Востоке. «Вы ведете кампанию за то, чтобы еврейские добровольцы сражались с нацистами за границей, — говорили они, — это все очень хорошо, конечно, но что будет с ишувом, если

победят державы Оси? Кто будет оборонять Тель-Авив, Дганию, Реховот? Кучка плохо вооруженных членов Хаганы?» Смысл в этом был — но, по-моему, ошибочный. Ждать, пока Гитлер подойдет к границам Палестины, не вступая с ним в борьбу, — мне это казалось абсурдом. Мне хотелось помочь свержению нацизма, где бы это ни было, и день за днем мы старались убедить наших противников в Гистад-руте, в партии и за их пределами, что они ошибаются.

Другой шурин Моше Шарета (брат его жены Ципоры) был Шаул Авигур. Никто, ни теперь, ни тогда, увидев Авигура на улице Тель-Авива или за работой в саду киббуца Киннерет (членом которого он и теперь является), в жизни бы не догадался по его зауряднейшей и неподтянутой внешности, что все годы, предшествующие созданию государства Израиль, он был нашим подпольным министром обороны. Именно Шаул поставил на ноги легендарную разведывательную службу Хаганы; именно он, когда кончилась война, стал во главе того, что мы называли «Мосад» («учреждение»), организуя и направляя сложную и опасную нелегальную иммиграцию в Палестину остатков европейского еврейства. Ни его внешность, ни манера говорить не указывали на то, что, в отличие от Шарета, Дова Элияху или меня, он — прирожденный конспиратор. В жизни не видел, чтобы Шаул написал ненужную записку или сказал не необходимое слово. Что бы он ни делал, что бы ни приказывал сделать, все выполнялось совершенно секретно, и каждого он подозревал, что тот может секретность нарушить. Иной раз мы смеялись над его, как казалось нам, излишней осторожностью. Например, его дочь, будучи в Англии, попросила отца прислать ей ивритских газет и ничуть не удивилась, что на обертке написано: «Совершенно секретно». Но все мы его безгранично уважали.

По всем вопросам, касавшимся подполья, — тайные закупки оружия в Европе в 1947 году, переселение в Палестину еврейских беженцев из арабских стран в разгар войны, сбор информации и составление досье по поводу британской разведывательной службы, — авторитет его был непререкаем. И вот типичная черта: Шаул был первым из нас, кто много лет тому назад посвятил себя делу еврейской иммиграции из России.

Но в те дни в центре всего происходившего находился четвертый — Элияху Голомб. Именно через его дом в Тель-Авиве и его кабинет (комната № 17) в Гистадруте проходил главный нерв нашей жизни. Помоему, за все время войны в доме Элияху так и не выключался свет — там никогда не бывало пусто. Если можно говорить о нашей штаб-квартире в то время, то это она и была. Когда бы вы ни пришли посоветоваться с Элияху, днем и ночью, причем непременно приходилось пройти через кухню, вы неизменно заставали там его тещу (мать Шарета, которую мы все называли «мамочка») за гладкой белья, будь то хоть в полночь, и Аду Голомб с уже налитым стаканом чая. Бен-Гурион, Шарет, Дов Хоз — все они были политики, посредники, представители ишува перед внешним миром; Элияху Голомб, как Берл в сфере чистой идеологии, — был нашим главнокомандующим, фактически возглавлявшим Хагану с 1931 до 1945 года, который стал годом его смерти. Как и Берл, он никогда не увидел государства Израиль, и отсутствие его в первые годы существования Израйля, как и отсутствие Берла, ощущалось нами как огромное, я бы сказала даже — постоянное лишение, ибо во многих отношениях он был одним из основателей государства.

Как он выглядел, наш «главнокомандующий»? Да как и все мы. Кроме Бен-Гуриона с его развевающимися белыми волосами, никто из «отцов-основа-

телей» государства Израиль не обладал запоминающейся внешностью, и, конечно, Элияху не являлся исключением. Это был человек маленького роста, с очень высоким лбом, изрезанным морщинами, и глубоко посаженными красивыми глазами. Как и Берл, он носил что-то вроде формы — косоворотку и мятые брюки защитного цвета. Не помню, чтобы я хоть раз видела его в костюме. Говорил он очень спокойно, очень медленно, очень убедительно и был чрезвычайно начитан. Из всех известных мне людей он меньше всего был похож на военного и был напрочь лишен манерности или аффектации, которую нередко развивают в себе руководители-подпольщики, чтобы производить впечатление на своих последователей. Он не выделялся ничем — только силой индивидуальности, да и это открывалось лишь тем, кто близко с ним сотрудничал. Но Хагана, ее философия и ее сила — в значительной степени создание Элияху. Он приехал в Палестину из России в 1909 году и, как и Шарет, был в числе первых выпускников гимназии Герцлия в Тель-Авиве. Во время первой мировой войны в Еврейском легионе он подружился с Берлом и под влиянием Берла стал развивать свою концепцию еврейской самообороны в Палестине.

Хагана с самого начала представлялась ему не как партизанское движение или соединение отборных частей, а как общенациональный, на широкой основе, ответ на потребность ишува в самообороне, целиком включенный в сионистское движение. Он считал, что самооборона не менее и не более важна, чем завоевание пустыни или абсорбция. И поэтому Хагана должна быть и порождением, и частью всего еврейского населения, и потому она должна подчиняться высшим национальным органам ишува, какими бы секретными ни были ее особые функции. Из этой же концепции выросло отношение Элияху



к двум впоследствии возникшим диссидентским военным организациям — Эцел (Иргун Цвай Леуми) и Лехи (Лохамей херут Исраэль), возникшим из-за несогласия с проводимой Хаганой политикой сдержанности, ненанесения ответных ударов и уклонения (чтобы не сказать — отвращения) от собственного еврейского терроризма.

Элияху с самого начала понимал необходимость готовить Хагану к ее решающей роли в борьбе за независимость и всегда рассматривал ее как ядро еврейской армии, которая будет способна выполнить возложенную на нее задачу — охранять право евреев приезжать в Палестину, селиться в Палестине и вести в Палестине свободную жизнь.

Поэтому роль, предоставляемая Хагане, была чрезвычайно важна. По понятиям Элияху, самооборона означала, что ишув будет использовать свои всегда тощие ресурсы там и тогда, где они больше всего понадобятся. Те самые молодые люди, мужчины и женщины, которые нелегально ввозили в Палестину евреев, охраняли и поселенцев, устанавливали частоколы и башни в местах, которые «Белая книга» объявила для евреев запретными, изготавливали и старались накапливать оружие против будущих атак и даже прыгали с парашютом в оккупированной Европе. Хагана была смоделирована как инструмент национального освобождения, со взаимозаменяемыми частями, и Элияху так ее подготовил, что в 1948 году, когда это понадобилось, она таким инструментом и стала. Национальное освобождение было той целью, которую он лелеял в душе, не позволяя, чтобы ее осквернили. И он сумел это сделать, потому что был настоящим пионером, идеалистом, социалистом и хорошим евреем, кроме того, что был лидером подполья.

Горько писать об Элияху сегодня, о мире, который решил прославлять арабский терроризм и до-

пустил в так называемый совет ООН такого человека, как Ясир Арафат, у которого на счету нет ни одного конструктивного деяния, ни одной конструктивной мысли, костюмированного убийцу, возглавлявшего движение, у которого только одна цель — уничтожение государства Израиль. Но мое глубочайшее убеждение — и утешение — что семена гибели арабского терроризма заключены уже в самой концепции террора. Ни одно движение, сколько ни давай ему денег и сколько его ни задабривай — а такое задабривание всегда приносило миру катастрофу, — не может быть успешным, если руководство прогнило, а его единственные подвиги — шантаж и кровопролитие. Настоящие освободительные движения добиваются своей цели не такими средствами, как убийство и калеченье детей, угон самолетов и нападения на дипломатов. Оно имеет далеко идущие цели и, говоря по-старинному, вправе претендовать на интеллектуальную и моральную чистоту.

Главное, что сделал Элияху для ишува, — не уровень военной подготовки Хаганы, а ее основная цель, которая, когда пришло время, была у нее перенята почти полностью армией Израиля. Были, конечно, и ошибки (иной раз обходившиеся дорого), и упадок духа, и множество разочарований — но с первого же дня миссией Хаганы было служение еврейскому народу, а не стремление терроризировать другие народы или господствовать над ними. И потому, что она одинаково ценила и саморазвитие, и самоопределение, она и взяла верх, и дух ее остался жить.

Я лично не занималась отбором добровольцев Хаганы, которые были сброшены с парашютами в Европе. Но я видела их всех, потому что все они приходили к нам в Гистадрут проститься. Тогда-то я и попробовала отговорить от участия в этой группе Энцо Серени. Как-то днем я работала в своей комнате в рабочем совете, когда отворилась дверь и во-

шел Энцо. Глаза его за очками блестели больше обычного. «Я пришел попрощаться, — сказал он. — Я уезжаю».

«Не уезжай, — сказала я. — Во-первых, ты в самом деле для этого стар и, во-вторых, слишком нужен здесь. Прояви благоразумие, ради всех нас оставайся». Я знала, что мне его не убедить, хотя я и уговаривала его битых четверть часа.

И когда я замолчала, он взял меня за руку и сказал: «Голда, ты должна понять. Не могу я оставаться, раз я сам столько туда послал. Ты только не бойся. Даю тебе слово, что мы еще встретимся».

Но мы никогда больше не встретились. Ветреной ночью 1945 года я видела, стоя на палестинском берегу, как принадлежавший Хагане корабль под названием «Энцо Серени» высадил на прибрежный песок более тысячи человек, переживших лагеря смерти, — теперь он доставил их сюда, живыми и невредимыми, сквозь кольцо британской блокады. Я подумала, что каждый народ славит своих героев по-своему, и назвать именем героя корабль — это по-нашему, и Энцо бы понравилось.

По происхождению Энцо принадлежал к среде, совершенно чуждой большинству моих коллег. Он родился и вырос в Италии, его отец был лейб-медиком короля. Семья была богатая, очень ассимилированная, высококультурная. Дядя был знаменитым адвокатом, брат стал сенатором от коммунистов. Ничто не связывало Энцо с сионизмом — только интерес к социализму и киббуцному движению, о котором он много читал и думал. В конце двадцатых годов, после серьезной стычки с фашистами, он приехал в Палестину, помог основать киббуц Гиват-Бреннер (близ Реховота; там мы с ним и познакомились) и стал принимать активное участие в рабочем движении. Он верил в особую ветвь социализма, связанную с религией и, что типично, он был убежден-

ным пацифистом. У нас сложились очень хорошие отношения, хотя мы много спорили, особенно во время беспорядков 1936-1939 годов: Энцо хотел ходить по арабским деревням, ночью, безоружным, ибо он считал, что его долг — попытаться успокоить арабское население. Но переубедить его в том, что касалось его принципов, было невозможно. Если какое-то дело стоило трудов, то он сам должен был его сделать. И потому мы не слишком удивились, когда почти сразу же после начала войны он записался добровольцем.

Одно дело было записаться в добровольцы, другое — быть сброшенным на парашюте за неприятельскую линию фронта. Ему уже исполнилось сорок лет, у него была семья, он был очень нужен в Палестине и не имел никаких шансов выжить, если попадет в плен. Он и так уже полностью работал для войны. Он вел регулярное радиовещание на Италию в пользу союзников и издавал антифашистскую газету, которую читали тысячи итальянских солдат. И в приключениях недостатка у него не было. Когда-нибудь еще будет рассказано о его подвигах в Ираке в 1941 году, где он, в частности, вывел молодых евреев из иракских гетто и с огромным риском для собственной жизни через пустыню привел в Палестину. Но он не находил покоя, думая о страданиях итальянских евреев, и решил либо попытаться спасти их, либо с ними вместе переживать их беды. Он помог Элияху отобрать парашютистов, стал с ними вместе тренироваться и настоял, чтобы его сбросили в Италии. Его поймали почти сразу же, транспортировали с другими евреями в Дахау, и там нацисты его убили. Он был только одним из тридцати двух наших парашютистов, и самой знаменитой из всех была молодая поэтесса Хана Сенеш, — но для меня он остался символом этого отряда и нашей беспомощности в этой ситуации.

Иногда журналисты спрашивают меня, что я чувствую к немцам. Вероятно, сейчас будет уместно и своевременно ответить на этот вопрос. Послевоенная Германия была тем, с чем государству Израиль пришлось иметь дело, завязывать контакты, работать. Такова была послевоенная действительность, а действительности надо смотреть в лицо, как это ни мучительно. Нечего и говорить, ничто не уменьшит удара, который нанесла Катастрофа. Шесть миллионов убитых евреев — тоже действительность, которая никогда не должна изгладиться из человеческой памяти, и, конечно, ни один еврей — и ни один немец — не должен этого забывать. И хотя прошли годы, прежде чем я заставила себя — в 1967 году — снова вступить на землю Германии, я всегда была сторонницей репараций, всегда была за то, чтобы мы взяли у немцев деньги на строительство государства Израиль, ибо, по-моему, это-то они во всяком случае были нам должны, дабы абсорбировать оставшихся в живых евреев. И я верила, что сам Израиль — сильнейшая гарантия от другой Катастрофы.

И когда приспело время, я была сторонницей дипломатических отношений с германским правительством, хотя и яростно противилась назначению избранного правительством посла и особенно возмутилась, узнав, что Рольф Паульс воевал и даже был ранен (он потерял руку) на войне. «Неважно, что он блестящий дипломат, — сказала я, — не важно, что он не был членом нацистской партии. Пусть немцы пришлют посла, который не воевал вовсе». Но германское правительство отказалось сделать это. Рольф Паульс прибыл в Израиль, против него были демонстрации, и я была уверена, что он будет отозван. К счастью, я ошиблась. Теперь он — посол Бонна в Пекине, но по-прежнему остается одним из лучших и преданнейших друзей Израйля.

Когда Паульс впервые вручал в Иерусалиме свои

верительные грамоты, я была министром иностранных дел. Это был нелегкий момент; я предполагала, что ему сказали, как я отнеслась к его назначению, но, решила я, это во всяком случае момент для правды. «Перед вами очень трудная задача, — сказала я. — Страна наша в значительной степени состоит из жертв Катастрофы. Вряд ли есть семья, которая живет без кошмарных воспоминаний о крематориях, о младенцах-мишенях для нацистских пуль, о нацистских «научных» экспериментах. Вам не приходится ожидать теплого приема. Даже у женщин, прислуживающих за столом, вы, если когда-нибудь придете ко мне завтракать, увидите на руках вытатуированные нацистские номера».

«Я знаю, — ответил Паульс. — Я пришел к вам из Яд ва-Шем (Израильский мемориал шести миллионам) и одно я, во всяком случае, могу вам обещать. Сколько бы я здесь ни пробыл, я вменяю себе в обязанность проследить, чтобы каждый приезжающий сюда немец, первым делом посетил мемориал, как это сделал сегодня я». И он сдержал свое слово.

Однажды я рассказала Паульсу про свою поездку в Германию, продолжавшуюся одни сутки, и я не забуду, как он побелел, слушая мой рассказ. Я поехала туда после Шестидневной войны, не будучи членом правительства. Я была на конференции социалистов в Париже, вместе со своим старым другом Реувеном Баркатом. Утром позвонил телефон — звонил из Нью-Йорка Абба Эвен, наш министр иностранных дел. Он вел в это время неравный и, казалось, заранее проигранный бой в ООН против так называемой югославской (а на самом деле, русской) резолюции, одной из тех стандартных резолюций, которые осуждали нас как «агрессоров» и требовали нашего немедленного безоговорочного отступления с «оккупированных территорий». Эвен сказал, что французы, поддерживающие эту резолюцию,

оказывают огромное давление на представителей франкоязычных африканских государств, стараясь, чтобы и они проголосовали «за». Главной африканской делегацией была делегация Берега Слоновой Кости; министр иностранных дел этой страны очень симпатизировал Израилю, а президент, Феликс Уфуэ-Буаньи был моим личным другом и остался им и поныне. Эвен спросил, не встречу ли я с Уфуэ-Буаньи, который где-то в Европе — где в точности, Эвен не знал, — чтобы поговорить с ним насчет этой резолюции?

Оказалось, что Уфуэ-Буаньи отдыхает на одном из германских курортов, прежде чем начать свой официальный визит в эту страну. Я бы лучше отдала правую руку, чем туда ехать, но Эвен настаивал, и я его вполне понимала. Словом, я поехала и встретилась с президентом, и побеседовала с ним, но почти ничего не ела и не пила и уехала как только смогла. В Париже Баркат, знавший, как тяжела для меня была эта поездка, сказал: «Это досталось тебе труднее, чем все, что ты раньше делала для Израиля, верно?» Но я ничего не ответила. Ни Баркату, ни потом Паульсу. Я не могла передать того чувства ужаса и отвращения, которое я испытывала в течение двадцати четырех часов. Я все время видела перед собой лица людей на процессе Эйхмана, и самого Адольфа Эйхмана, и глаза мужчин, женщин и детей, которых мы вызволили из этого ада в сороковые годы.

Ничего не вернет к жизни убитых, но суд над Адольфом Эйхманом в Иерусалиме в 1961 году был, по-моему, великим и необходимым актом исторической справедливости. Он произошел через два десятилетия после тех отчаянных лет. Я совершенно убеждена и теперь, что только израильтянам принадлежало право суда над Эйхманом от имени мирового еврейства, и до глубины души горжусь, что мы это осуществили. Это ни в коем случае не ре-

ванш. Как писал еврейский поэт Бялик, сам дьявол не в состоянии придумать казнь за убийство одного ребенка, но оставшиеся в живых — и еще нерожденные поколения — заслуживают, во всяком случае, чтобы мир узнал во всех гнусных деталях, что учинили над евреями Европы, и кто это сделал.

До конца жизни не забуду, как мы с Шейной сидели в набитом людьми зале суда, слушая показания оставшихся в живых. Многие из моих друзей нашли в себе силы день за днем ходить на судебные заседания, но я должна признаться, что пошла туда только два раза. Не так уж много в моей жизни было такого, от чего я сознательно уклонялась; но живые свидетельства о пытках, унижениях и смерти, — которые давались в леденящем присутствии самого Эйхмана, — были для меня буквально невыносимы, и я слушала процесс по радио, как и большинство моих людей в Израиле. Но и это не давало возможности продолжать нормальную жизнь. Конечно, я работала, и каждый день приходила в свой кабинет, и ела, и причесывалась — но все мое внимание было сосредоточено в зале суда, и радио всегда было включено, и в течение недель и для меня, и для других суд этот господствовал над всем. Слушая тех, кто давал показания, я думала: как же после всего они еще нашли в себе волю к жизни, к созданию новых семей, к тому, чтобы снова стать людьми? Думаю, ответ на это один: все мы, в конце концов, жаждем жить, что бы ни было у нас в прошлом; но точно так же, как я не могу знать по-настоящему, что такое лагерь смерти, я не могу знать, что это такое — опять начать все с начала. Только выжившим дано это знание.

В 1960 году, стоя перед Советом Безопасности и отвечая на обвинения аргентинского правительства, что Израиль совершил незаконное действие, похитив Эйхмана, я пыталась, по крайней мере, объяс-



нить, что этот суд означает для евреев. Ни одна публичная речь не потребовала от меня столько, сколько потребовала эта — она меня буквально опустошила. Я чувствовала, что говорю от имени миллионов, которые уже не могут сказать ничего, и мне хотелось, чтобы каждое слово было значащим, а не просто на несколько минут растрогало или привело в ужас. Я давно уже открыла, что людей легче заставить плакать или ахать, чем думать.

Речь моя была недлинной, но здесь я только приведу часть ее. И делаю я это не ради того, чтобы увидеть свои слова в печати, а потому, что, к глубокому моему огорчению, есть еще люди, не понимающие, что мы обязались жить и вести себя так, чтобы евреи, погибшие в газовых камерах, были последними евреями, умершими не обороняясь. И потому, что эти люди не понимают или не могут понять этого, они и не могли никогда понять нашего «так называемого упрямства».

*«В протоколах Нюрнбергского суда мы читаем, что Дитер Вислицний, помощник Эйхмана, сказал об «окончательном решении»:*

*— До 1940 года политикой сектора было решение еврейского вопроса в Германии и в областях, оккупированных Германией, способом запланированной эмиграции. После этой даты вторая фаза была — концентрация всех евреев Польши и других оккупированных Германией восточных территорий в гетто. Этот период продолжался примерно до начала 1942 года. Третий период был периодом так называемого «окончательного решения» еврейского вопроса — то есть планового искоренения и истребления еврейской расы; этот период продолжался до октября 1944 года, когда Гиммлер отдал приказ прекратить истребление.*

*Далее, на вопрос, знал ли он в силу своих офици-*

альных связей с сектором 1У А4 о каких-нибудь приказах об уничтожении всех евреев, он ответил: «Да, я впервые узнал о таком приказе от Эйхмана летом 1942 года».

Гитлер не разрешил еврейский вопрос соответственно своему плану. Но он уничтожил шесть миллионов евреев — евреев Германии, Франции, Бельгии, Голландии, Люксембурга, Польши, Советского Союза, Венгрии, Югославии, Греции, Италии, Чехословакии, Австрии, Румынии, Болгарии. С этими евреями было уничтожено более тридцати тысяч еврейских общин, бывших в течение столетий центрами еврейской веры, учения и учености. Из этой еврейской среды поднялись гиганты искусства, литературы и науки. Но разве только это поколение евреев Европы погибло в газовых камерах? Уничтожено было и следующее поколение — миллион детей. Кто может охватить эту картину во всем ее ужасе, во всех последствиях для многих будущих поколений еврейского народа, для Израиля? Здесь был погублен естественный резервуар всего, в чем нуждается новая страна — ученость, знания, преданность, идеализм, пионерский дух».

Я говорила и о самом Эйхмане, и о личной его ответственности и далее сказала:

«Я убеждена, что много людей во всем мире страстно желали суда над Эйхманом, но факт остается фактом: за пятнадцать лет его так никто и не нашел. И он мог нарушать законы каких угодно стран, въезжая туда под фальшивым именем и с фальшивым паспортом, злоупотребляя гостеприимством тех стран, которые, я уверена, в ужасе отшатнулись бы от его поступков. Но евреи, и в их числе те, кто лично явились жертвами его жестокости, не находили покоя, пока не обнаружили его и

не привезли в Израиль — в страну, куда сотни тысяч переживших эйхмановские ужасы приехали домой; в страну, существовавшую в сердцах и мыслях шести миллионов, которые, идя в крематории, пели великий символ нашей веры: «Ани маамин бе эмуна шлема бевиаат ха-Машиах» («Я верую в пришествие Мессии»).

Закончила я вопросом:

*«Должен ли Совет Безопасности заниматься этой проблемой? Эта организация занимается охраной мира. Разве угроза миру — привлечение Эйхмана к суду тем самым народом, полному физическому уничтожению которого он отдал всю свою энергию, даже если способ его ареста нарушил законы Аргентины? Не заключается ли угроза миру в существовании Эйхмана на свободе, Эйхмана не наказанного, Эйхмана вольного изливать яд своей изломанной души на новое поколение?»*

Потом у меня несколько часов дрожали руки, но я надеялась, что хоть частично сумела объяснить, почему мы привезли Эйхмана на суд.

Это было через пятнадцать лет после конца Катастрофы. Но в начале сороковых годов никто не знал, как и когда она закончится — и даже закончится ли она вообще. Несмотря на усиление английской блокады, корабли Хаганы, один за другим (все-го их было более шестидесяти) закупались, наполнялись евреями и отправлялись к берегам Палестины. С каждым разом английские патрули делались бдительнее, с каждым разом морское путешествие на этих еле-еле плавающих, переполненных, несчастных посудинах становилось опаснее. Но британцы охотились как одержимые не только за евреями, спасшимися из еврейских лагерей. Они охоти-

лись и за Хаганой, за оружием, которое ей удалось собрать, хотя порой наступало и короткое затишье в преследованиях — до нового притеснения, до новой антиеврейской меры, заставлявшей Хагану глубже уйти в подполье.

Особенно запомнились мне два года и по личным, и по политическим причинам. В 1943 году Сарра сообщила мне, что она уходит из гимназии и будет участвовать в основании нового киббуца в Негеве, хотя ей оставалось учиться еще год. Она выросла и стала очень милой, очень скромной и очень серьезной девушкой, а училась лучше Менахема, поглощенного своей музыкой и уже решившего, что станет профессиональным виолончелистом. Оба, как почти все подростки ишува, были связаны с деятельностью Хаганы, хотя дома об этом никогда открыто не говорилось. Но хоть дети ничего и не говорили, родители и школьные учителя знали, что подростки нередко ложатся спать поздно: то они исполняют обязанности курьеров подполья, то распространяют листовки Хаганы. Я и сама написала дома одну из этих афиш, конечно же, очень стараясь, чтобы не увидели дети. Дня через два Сарра сказала: «Мама, я сегодня приду поздно, может быть даже очень поздно». Я, конечно, захотела узнать, почему. «Не могу сказать», — ответила она и ушла с пакетом под мышкой. Я прекрасно знала, что в этом пакете, и знала, что расклеивание «нелегальных» афиш — дело очень рискованное. До рассвета я не спала, ожидая ее прихода, но на утро я и не заикнулась ни о чем, хотя мне до смерти хотелось спросить.

Сарра, как и Менахем, много лет принадлежала к юношеской организации рабочего движения, так что я не очень удивилась, когда она заявила о своем желании вступить в киббуц. Начать с того, что я сама хотела когда-то провести жизнь в киббуце и, с моей точки зрения, это был прекрасный образ жизни. Во-

вторых, я понимала ее желание участвовать более непосредственно во всем, что происходило в стране. Британцы объявили 85 % Негева «землей, совершенно непригодной для обработки», хотя по своей величине эта территория равнялась половине Палестины. Но Еврейское Агентство выработало подробный долгосрочный план, как сделать поливными, хоть частично, эти 2 000 000 акров горячих песков в надежде, что тогда сотни тысяч иммигрантов смогут там поселиться; Сарра и ее друзья по молодежному движению решили принять участие в великом эксперименте. План призывал создать три поселения — в сущности, три наблюдательных поста — к югу от Беер-Шевы, которая тогда была маленьким и пыльным арабским городишкой. «Если мы сумеем доказать, что люди могут жить в Негеве и получать там урожаи, то мы сделаем для страны гораздо больше, чем если просто окончим школу», — заявила Сарра, и в глубине души я считала, что она права. Но, может быть, стоит годок подождать? Окончить гимназию очень важно, и мало кто, бросив школу, туда возвращался, возражала я. А не может ли быть, что весь их план задуман для того, чтобы уклониться от последнего, самого трудного школьного года и выпускных экзаменов? Потому что уж этого я во всяком случае не одобряю.

Разговоры продолжались долго. Моррис был вне себя. Элияху Голомб, чья осиротевшая племянница явилась домой с таким же заявлением, умолял меня поддержать его против молодежи. Шейна сказала, что если я уступлю, то буду жалеть об этом всю жизнь, как и Сарра. Но, хоть кое-кого это и удивит, я никогда не была сторонницей непреклонности — если дело не касалось Израиля. В делах, касавшихся моей страны, я не уступала никогда, но люди — это другое. Словом, было мало вероятно, что Сарра ус-

тупит, и потому, хоть и с тяжелым сердцем, уступила я.

Когда я в первый раз приехала посетить ее в Ревивиме, на километры вокруг не было ничего, ни деревца, ни стебелька травы, ни птицы — только песок и жгучее солнце. Есть тоже было нечего, а бесценная вода, до которой поселенцы докапывались, была такая соленая, что я не могла ее пить. Правда, им все-таки удалось вырастить какие-то овощи, которые, к счастью, были в отношении воды не так разборчивы, как я. «Поселение» состояло из защитной стены, сторожевой башни и нескольких палаток. Большую часть года тут было невыносимо жарко, зато зимой — очень холодно, и я подумала, что для девушки, которая в детстве чуть не умерла от болезни почек, — это самое неподходящее место в мире. Но я не сказала ни слова. При первой возможности я приезжала туда и проводила несколько часов с Саррой, слушая рассказы о том, как развивается киббуц, разглядывая водостоки и резервуар, который они строили для сбережения зимних дождей, а иногда — беседуя с очень милым молодым человеком, Зехарией Рехави, иеменитом из Иерусалима, которому Сарра, по-видимому, симпатизировала. Мне казалось, что жизнь в Ревивиме (на иврите это означает «капли росы») можно было бы при некотором усилии сделать более комфортабельной — несмотря на окружение. Но я вспоминала, как на меня сердились мерхавийцы за такие советы, и держала язык за зубами.

В сентябре 1943 года я выступила свидетелем на процессе о похищении оружия, который стал в Палестине знаменитым. Два молодых еврея были обвинены англичанами в краже армейского оружия с целью передать его Хагане; меня, как члена Ваад ха-поэл, вызвали давать показания перед военным су-

дом. Прокурор майор Бакстер — малосимпатичный джентльмен — гораздо меньше всего заинтересован обоими юношами, чем еврейской организацией самообороны; он хотел представить ее как широко разветвленное террористическое движение, угрожающее спокойствию и безопасности Палестины. Он не остановился и перед прямой клеветой на ишув, сказав, что евреи в таком количестве записывались в добровольцы еще и потому, что рассчитывали получить доступ к оружию. Это было не только несправедливое обвинение — это было опасное обвинение. (Как же я была удивлена, когда в 1975 году получила письмо от майора Бакстера из Ирландии, в котором он меня поздравлял с тем, что американцы выбрали меня «Женщиной года». «Если вам когда-нибудь придется искать работу, — писал он, — то я вам ее предоставлю в Ольстере, тут ваши таланты очень бы пригодились».)

Говоря по правде, я была рада случаю дать понять майору Бакстеру, что я о нем думаю, хотя и должна была соблюдать при этом осторожность. Я понимала, что больше всего Бакстеру хотелось бы доказать, что официальное Еврейское Агентство и незаконная Хагана работают рука об руку. И я поклялась себе, что Бакстер ничего из меня не выудит, только получит поделом. Лозунгом моим стала любимая поговорка мамы: «Если скажешь «нет» — то никогда не пожалеешь». По-моему, цитаты из Бакстера расскажут о позиции и поведении англичан в отношении нас в 1943 году больше, чем все, что я могу написать. Вот часть отчета, появившаяся в англоязычном «Палестайн Пост» (теперь «Джерузалем Пост») 7 сентября 1943 года. (Одно пояснение: Бен-Шемен — молодежная деревня, которую англичане перетряхнули до основания в поисках оружия).

*Майор Б.* Вы — хорошая, миролюбивая, законопослушная леди, не так ли?

Г. М. Думаю — да.

Майор Б. И вы всегда были такая?

Г. М. Я никогда ни в чем не обвинялась.

Майор Б. Хорошо, тогда послушайте выдержку из вашей речи 2 мая 1940 года (*читает*): «Двадцать лет нас учили доверять британскому правительству, — но нас предали. Пример тому — Бен-Шемен. Мы никогда не учили свою молодежь применять огнестрельное оружие для нападения — только для самозащиты. И если эти юноши — преступники, то преступники и все евреи Палестины». Что вы на это скажете?

Г. М. Если речь идет о самозащите — то я за самозащиту, как и все евреи Палестины.

Майор Б. Вы лично обучались владению оружием?

Г. М. Не знаю, должна ли я отвечать на этот вопрос. Во всяком случае я никогда не применяла огнестрельного оружия.

Майор Б. Обучали ли вы еврейскую молодежь владению огнестрельным оружием?

Г. М. Еврейская молодежь будет защищать жизнь и имущество евреев в случае беспорядков и в случае необходимости.

Председатель суда. Прошу вас отвечать только на вопросы.

Майор Б. Имеется ли у вас в Гистадруте разведывательная служба?

Г. М. Нет.

Майор Б. Что?

Г. М. Вы слышали. Нет.

Майор Б. Слышали ли вы о Хагане?

Г. М. Да.

Майор Б. Есть у нее оружие?

Г. М. Я не знаю, но полагаю, что да.

Майор Б. Слышали ли вы о Палмахе?

Г. М. Да.

Майор Б. Что это такое?

Г. М. Когда я впервые услышала о Палмахе, речь



шла о группах молодежи, организованных с ведома властей, проходивших специальную тренировку в то время, когда германская армия приближалась к Палестине. Функция их была всячески помогать британской армии, если в страну вторгнется враг.

*Майор Б.* И эти группы продолжают существовать?

*Г. М.* Не знаю.

*Майор Б.* Это легальная организация?

*Г. М.* Я знаю только, что эти группы были организованы в помощь британской армии с ведома властей.

(После того, как свидетельница подтвердила, что член Гистадрута может быть членом Хаганы и Палмаха, майор Бакстер спросил, готовы ли они делать то, о чем она говорила в своей речи в 1940 году.)

*Г. М.* Они готовы защищать себя, если на них нападут. У нас тут в этом смысле есть уже горький опыт. Я говорю, что мы готовы защищаться, и я хочу, чтобы меня поняли. Самозащита — не теория. Мы помним беспорядки 1921, 1922 и 1929 годов, помним и беспорядки, которые длились четыре года — с 1936 по 1939 год. Все в Палестине — и власти в том числе — знают, что если бы народ не был готов к борьбе и храбрая еврейская молодежь не защищала бы еврейские поселения, то не только ничего не осталось бы от этих поселений, но и чести евреев был бы нанесен урон.

*Майор Б.* Разве вы не знаете, что правительство назначило 30000 евреев специальными полицейскими с правом носить оружие?

*Г. М.* Знаю. И знаю, что до 1936 года правительство помогало нам. Но никто в правительстве не может отрицать, что, если бы евреи не были подготовлены к самообороне, с нами произошли бы ужасные вещи. Мы гордимся евреями Варшавского гет-

то, которые почти без оружия восстали против своих преследователей, и мы уверены, что они брали пример с еврейской самообороны в Палестине.

*Майор Б.* А как насчет дела о краже 300 армейских винтовок и боеприпасов?

*Г. М.* Мы заинтересованы в победе британских вооруженных сил. Кража у армии, в наших глазах, — преступление.

*Майор Б.* Но это оружие может пригодиться Хагане?

*Г. М.* Нет еврея, который был бы равнодушен к этой войне и не был бы заинтересован в победе британской армии.

*Майор Б.* Но вы ведь не можете сказать, что винтовки ушли сами собой? (*Показывает свидетельнице «белый билет» одного из подсудимых.*) Этот билет, по-видимому, указывает на то, что вы производили набор в армию?

(*Свидетельница заявляет, что ни для кого не секрет, что Еврейское Агентство в течение некоторого времени проводило кампанию за запись добровольцев, и каждый здоровый еврей получил приказ вступить в вооруженные силы. «Мы воюем против Гитлера с 1933 года», — сказала она.*)

*Председатель суда.* Не кажется ли вам, что правительство — лучший судья в вопросе, следует или нет проводить набор в армию? Не разумнее ли было лояльно выполнять решение правительства — не проводить набора в армию в этой стране?

*Г. М.* Мы не в том положении, чтобы проводить в Палестине набор в армию; с другой стороны, и правительство, и армия хотели, чтобы в войска были направлены евреи; они обращались с этой просьбой к Агентству, и мы сочли правильным сказать евреям, — что это — их война.

*Майор Б.* Вы называете «добровольной записью» такой порядок, когда, если человек отказывается записаться добровольцем, его увольняют с работы?

Г. М. Это только моральное давление. Для евреев эта война имеет большее значение, чем для кого бы то ни было. (Допрошенная представителем защиты д-ром Джозефом, мисс Меерсон сказала, что даже высшие офицеры британской армии участвовали в кампании Еврейского Агентства и некоторые просили у Гистадрута совета и помощи в вербовке евреев для британской армии).

*Д-р Джозеф.* Правда ли, что в Хевроне произошла страшная резня и почти все еврейское население погибло только потому, что там не было еврейской самообороны?

Г. М. Да, это было в 1929 году; в том же году то же самое случилось в Цфате; в 1936 году произошла ночь убийств в еврейском квартале Тверии — и все лишь потому, что в тех местах не было Хаганы.

*Майор Б.* А у Хаганы было оружие и до того, как началась война?

Г. М. Не знаю, но полагаю, что да. Беспорядки случались и до войны.

*Председатель суда.* Прошу вас ограничиваться тем, что относится к настоящему делу и не возвращаться назад, а то скоро мы отойдем на две тысячи лет.

Г. М. Если бы еврейский вопрос был разрешен две тысячи лет назад...

*Председатель суда.* Замолчите!

Г. М. Я возражаю против такого обращения ко мне.

*Председатель.* Вам следовало бы уметь вести себя в зале суда.

Г. М. Прошу прощения, если я вас перебила, но вам не следовало обращаться ко мне в такой форме.

На следующий день я поехала в Герцлию навестить родителей. Мама открыла мне двери и сказала: «Твой отец целое утро ходил по соседям и показывал газету: «Смотрите! Моя Голда!»

И все-таки большинству из нас казалось, что

когда война закончится победой союзников, в которой никто уже не сомневался, англичане задумаются над своей катастрофической палестинской политикой.

Как только начнется новая, послевоенная эра, «Белая книга», конечно же, будет отменена, тем более, что в Великобритании к власти пришли лейбористы. Тридцать лет британские лейбористы осуждали ограничение еврейской иммиграции в Палестину и печатали одно за другим просионистские заявления. Может быть, это и было с нашей стороны наивно — верить, что теперь все изменится, но это никак не было неразумно, особенно же в свете того страшного зрелища, которое представляли собой сотни тысяч живых скелетов, падавших из ворот лагерей уничтожения в объятия англичан-освободителей.

Конечно, мы ошиблись. Британская политика действительно переменилась, но к худшему. Правительство м-ра Эттли не только не отказывалось от «Белой книги», но и заявило, что не видит необходимости выполнять свои обещания по поводу Палестины — данные не только нам, но и миллионам английских рабочих и солдат. У Эрнста Бевина, нового министра иностранных дел, было собственное «окончательное решение» для еврейской проблемы в Европе, в котором евреи уже именовались «перемещенными лицами». Если они возьмут себя в руки и сделают настоящее усилие, они опять смогут поселиться в Европе. И неважно, что континент превратился в кладбище миллионов убитых евреев, и неважно, что есть только одно место в мире, куда все эти несчастные «перемещенные лица» хотят ехать, — Палестина.

Мне было трудно, почти невозможно поверить, что британское лейбористское правительство, вместо того, чтобы, как оно давно и неоднократно обе-

щало, заложить основы еврейской независимости в Палестине, теперь готово было послать солдат против невинных людей, просивших только об одном: чтобы им было разрешено доживать свои дни в Палестине, среди других евреев. В общем, не такое уж это было трудное дело, но Бевин отверг их просьбу с такой небывалой грубостью и сопротивлялся с таким безумным упорством, словно судьба и будущее всей Британской империи зависели от того, чтобы удержать за пределами Палестины несколько сот тысяч помертвых людей.

Я не могла — да и теперь не могу — найти объяснения той слепой ярости, с которой британское правительство преследовало этих евреев — да и нас. Но эта ярость заставила нас понять, что у нас нет другого выхода, кроме как принять вызов, хотя мы, конечно, не были к этому достаточно подготовлены. С лета 1945 до зимы 1947 года мы, на наших весьма неподходящих для этого судах, перевезли из лагерей перемещенных лиц в Палестину около 70000 евреев, пробравшись с ними сквозь жесточайшую блокаду, установленную правительством, члены которого на бесчисленных лейбористских конференциях, где я бывала, еще так недавно с таким волнением провозглашали сионистские идеи.

Настоящая борьба — «маавак» — началась с 1945 года, но решающим был 1946-й. Именно тогда, ко всеобщему изумлению, британское правительство отказало самому президенту Трумэну, обратившемуся к нему с призывом — в виде исключения, из милосердия и гуманности, разрешить ста тысячам беженцев из Германии и Австрии въехать в Палестину. Но м-р Эттли и м-р Бевин, считавшие, по-видимому, что проблема европейских евреев придумана только для того, чтобы ставить палки в колеса британскому правительству, сказали президенту Трумэну «нет». Однако, добавили они, если правительство США так

беспокоится о евреях, то, может быть, оно окажет помощь в разрешении палестинской проблемы? Была создана англо-американская комиссия для рассмотрения палестинского вопроса. Она посетила лагерь перемещенных лиц, услышала там от евреев, что они хотят ехать только в Палестину, провела собеседования с лидерами британского и американского еврейства, после чего ранней весной 1946 года прибыла в Палестину, чтобы там проводить свои заседания.

25 марта 1946 года я предстала перед комиссией в качестве представительницы Гистадрута. Снова понадобилось излагать все факты (наверняка всем известные), включая кратчайшую историю евреев и их деятельности в Палестине. Я попыталась объяснить, каково было нам наблюдать из Палестины за истреблением миллионов евреев и быть лишенными возможности что бы то ни было сделать. Я также предупредила комиссию, что мы твердо решили положить конец тому, что великий еврейский поэт Хаим Нахман Бялик назвал «бессмысленной жизнью и бессмысленной смертью» нашего народа.

*«От имени ста шестидесяти тысяч членов Гистадрута мне поручено заявить здесь в самых недвусмысленных выражениях: еврейское рабочее движение готово сделать все, что понадобится, в этой стране ради того, чтобы принять, без ограничений и условий, широкие массы еврейских иммигрантов...»*

Но поняли ли почтенные члены комиссии, что именно я имела в виду? Я хотела быть в этом уверенной, и потому решила рассказать, каково бывает, когда приходится делать перед судом «свидетельство» по таким вопросам. Повредить делу это не могло — могло бы, возможно, даже помочь. В конце концов, передо мной были культурные и образованные люди. Я сказала им:

«Я не знаю, господа, можете ли вы, имеющие счастье принадлежать к двум великим демократическим нациям, британской и американской, даже при самом искреннем желании, понять наши проблемы, представить себе, что значит принадлежать к народу, чье самое право на существование постоянно ставится под вопрос; под вопросом — наше право быть евреями, какие мы есть, не лучше, но и не хуже других людей мира, с нашим языком, нашей культурой, правом на самоопределение и готовностью к дружбе и сотрудничеству с ближними и дальними. Еврейские трудящиеся этой страны, вместе с оставшимися в живых молодыми и старыми евреями в лагерях для перемещенных лиц решили в течение жизни одного поколения навсегда покончить с беспомощностью и зависимостью от других. Мы хотим только того, что естественно дано всем народам земли — быть хозяевами собственной судьбы — только собственной, а не чужой; жить по праву, а не потому, что нас терпят; иметь возможность перевезти оставшихся в живых еврейских детей, которых не так-то много осталось теперь в мире, сюда, в эту страну, чтобы они росли, как наши дети, родившиеся здесь, которые свободны от страха и высоко держат головы. Наши дети здесь не понимают, почему самое существование еврейского народа ставится под вопрос. Для них быть евреем естественно».

Но по выражению их лиц я так и не могла сделать вывод — поняли они или нет. Как бы то ни было, трое из членов комиссии вскоре стали нашими друзьями — Бартли Крам, Ричард Кроссмен и Джемс Дж. Макдональд, который был первым послом США в Израиле.

В Палестине в это время было очень беспокойно. Корабли, один за другим, доставляли к ее бере-

гам новых и новых беженцев, а британцы тут же вычитали этих «нелегальных» иммигрантов из месячной квоты сертификатов на въезд; когда же Хагана отказалась прекратить иммиграцию, британцы издали специальные правила, равнявшиеся переходу на военное положение.

В апреле, когда комиссия готовила свой отчет, британцы сделали новый ход в своей войне против беженцев. Мало того, что королевский флот, королевская авиация и тысячи британских солдат патрулировали побережье Палестины, стараясь схватить «опасных политических преступников», помогавших привозить перемещенных из Европы. Теперь битва перекинулась в другую страну. Два корабля Хаганы («Федэ», переименованный в «Дов Хоз», и второй, «Элияху Голомб») были захвачены в Специи, на Итальянской Ривьере, перед самым их выходом в море с 1014 беженцами на борту. Под давлением англичан итальянские власти запретили кораблям выйти в море, а беженцы, со своей стороны, отказались сойти с корабля. Они объявили голодовку и сделали заявление, что если против них применят силу, они убьют друг друга и потопят корабли.

Не сомневаюсь, что все они дошли в своем отчаянии до того, что были бы способны это сделать; мысль об этих несчастных, истощенных людях, стиснутых как сельди в бочке, которые лишают себя той скудной еды, которой мы могли их снабдить, была для меня невыносима. Если уж мы не можем сами привести в страну эти корабли, то мы можем хоть показать иммигрантам — и всему миру — как глубоко мы оскорблены. Я отправилась сначала в Рабочее правление, а потом в Еврейский Национальный Совет (Ваад Леуми, представлявший весь ишув, председателем которого тогда был Ремез) и предложила, чтобы мы тоже объявили голодовку в поддержку беженцев Специи. Мы поставили два условия: что-



бы каждая крупная группа ишува прислала в правительство Ваад Леуми в Иерусалиме, где должна была происходить голодовка, не более одного делегата, и что всего в ней примет участие пятнадцать человек, совершенно здоровых.

В этом смысле мое положение было нетвердым, потому что я только что перенесла болезнь, и меня не удивило, когда врач сказал, что мне никак нельзя присоединиться к голодовке. «О'кей, — сказала я, — выбирай. Одно из двух: или я буду сидеть вместе со всеми в Ваад Леуми, или я буду сидеть одна и голодать дома. Ты ведь не можешь думать, что я не приму в этом участия». Он был недоволен, но через некоторое время уступил и выдал мне бесценное медицинское удостоверение. Не у меня одной были неприятности с докторами. Шазар тоже перенес болезнь, но он пошел к знакомому гинекологу в Реховоте и без всяких затруднений получил от него требуемое удостоверение (хотя, кстати сказать, после голодовки его сразу же отвезли в больницу, где он пробыл около месяца).

Мы поставили в кабинетах Ваад Леуми кровати, пили чай без сахара, когда нас иссушала жажда, и не ели ничего в течение 101 часа, хотя я, слава Богу, решила, что курение разрешается. Была одна трудность: третий день голодовки совпал с началом Пасхи, и главный раввин Герцог сообщил нам, что надо кончать; ибо, по еврейскому Закону, на седере все евреи должны есть. Мы провели консультацию, наши эксперты сказали, что достаточно съесть кусочек мацы с оливку величиной, и мы продолжили голодовку. Это был очень трогательный седер. И тогда, и во все дни голодовки евреи собирались во дворе под нашими окнами, молились и пели, и со всех концов страны прибывали делегации с добрыми пожеланиями для нас. Однажды, к моей радости, появились

Менахем и Сарра, нередко бывал с нами и Бен-Гурион, хотя по какой-то причине он был против этой голодовки. Теоретически нас разрешалось посещать только раз в день, от 12 до часу дня, но в действительности мы редко бывали одни.

За несколько минут до начала голодовки мы решили посетить генерального секретаря Палестинского правительства и в последний раз просить о том, чтобы людей из Специи впустили в страну. Он все выслушал, потом повернулся ко мне и сказал: «Миссис Меерсон, неужели вы хоть на минуту допускаете, что правительство его величества изменит свою политику оттого, что вы не станете есть?» «Нет, — сказала я, — таких иллюзий у меня нет. Если уж смерть шести миллионов не изменила эту политику, то я не рассчитываю, что она изменится, если я не буду есть. Но, по крайней мере, это будет знаком нашей солидарности».

Тем не менее, голодовка произвела впечатление. 8 мая «Дов Хоз» и «Элияху Голомб», под эскортом британских кораблей, отплыли в Палестину — и из майской квоты было вычеркнуто 1014 сертификатов. В этом же месяце англо-американская комиссия опубликовала свой доклад. В нем предлагалось, чтобы 100 000 иммигрантов было немедленно допущено в Палестину и запрет «Белой книги» на продаже евреям земли был отменен. В нем содержалось и предложение на будущее — чтобы мандат был передан на попечение Объединенных Наций. Но мистер Бевин опять сказал «нет». Он сказал, что если, несмотря на возражения арабов, в страну въедет 100000 беженцев, то понадобится целая британская дивизия, чтобы навести порядок в Палестине. «В таком случае, — сказала я на партийной конференции в Хайфе, — нам придется доказать м-ру Бевину, что если он не изменит своей политики, ему придется

послать армейскую дивизию, чтобы бороться с нами». В сущности м-ру. Бевину больше всего хотелось именно этого — и так он и сделал.

29-июня 1946 года британское правительство фактически объявило войну ишуву. Сто тысяч британских солдат и две тысячи полицейских ворвались в десятки киббуцов и деревень; вторглись в национальные учреждения — в Еврейское Агентство, Ваад Леуми, Ваад ха-поэл; ввели комендантский час во всех городах Палестины с еврейским населением; наконец, посадили в лагеря более 3000 евреев, в том числе большую часть национальных лидеров. Этим предполагалось убить сразу трех зайцев: деморализовать и наказать ишув, разгромить Хагану и раз навсегда покончить с «нелегальной» иммиграцией, бросив в тюрьму тех, кто был за нее ответственен. Британцы потерпели поражение на всех трех фронтах, но именно с этой «Черной субботы», как она теперь называется в Израиле, Палестина стала буквально полицейским государством.

К счастью, мы были предупреждены, что готовится эта операция. Десятки командиров Хаганы ушли в подполье, оружие было перенесено в новые хранилища, придуманы были новые коды. Бен-Гурион был за границей, но Ремез, Шарет и фактически все члены Еврейского Агентства и Ваав Леуми были схвачены и отправлены в Латрун, в лагерь. Меня, однако, не арестовали, и нашлись злые языки, утверждавшие, что ничего хуже этого правительство мандатория не могло мне сделать. Может, я была не такая важная птица, а может, они не могли помещать в Латрун женщин. Как бы то ни было, многие считали арест в эти дни за честь, и один из моих коллег так стремился, чтобы его посадили вместе с остальными, что вместо того, чтобы спрятаться, он разгуливал по улицам весь день, пока полицейский не предложил ему идти домой. Поля Бен-Гурион, не

славившаяся тактичностью, звонила мне каждые несколько часов: «Голда, ты еще дома? Тебя еще не взяли?» Я отвечала «нет» и вешала трубку. Через некоторое время — опять звонок: «Голда, они еще не пришли за тобой?» И все это по телефону, словно никто не мог этого услышать.

Британцы не только арестовывали людей и искали оружие и документы, но причинили массу бессмысленного ущерба. Один из больших киббуцов, Ягур, был оккупирован солдатами целую неделю. Там нашли арсенал Хаганы и потому все было перевернуто вверх дном. Киббуцники, которых британцы, всех поголовно, заподозрили, что они члены Хаганы, отказались называть свои имена и говорили только: «палестинский еврей». За это все мужчины были отправлены в лагеря и после ухода войск в Ягуре остались только женщины и дети. Сразу после ухода солдат я поехала туда, чтобы посмотреть, какой нанесен ущерб. Не забуду, как я подбирала испорченные детские фотографии: глаза детей на них были выколоты.

Поскольку Шарет сидел в Латруне, я стала исполнять обязанности начальника политического отдела Еврейского Агентства и внесла предложение, чтобы ответом ишува на массовые аресты было гражданское неповиновение. Невозможно было покорно принять все происходившее, не говоря уже о том, что я была уверена — если мы ничего не будем делать, то Эцел и группа Штерна (Лехи) возьмут дело в свои руки.

Всему свое место и свое время, и тут не место и не время рассказывать подробно всю, в общем — трагическую историю существовавших тогда в ишуве двух диссидентских подпольных организаций и их взаимоотношений с Хаганой. Оставляю это другим, на будущее. Но нечестно будет, если я тут с совершенной ясностью не выскажу своего отноше-

ния и к методам, и к философии Эцела и штерновцев. Я всегда и по моральным, и по тактическим соображениям была неизменной противницей любого террора — как против арабов, потому что они арабы, так и против британцев, потому что они британцы. Моим твердым убеждением было и есть то, что, несмотря на участие в этих диссидентских группах многих лично очень храбрых и преданных людей, их позиция была ошибочна от начала до конца и потому вредна для ишува. И летом 1946 года я утверждала, что если мы не будем эффективно реагировать на события «Черной субботы», то это сделают они и навлекут на нас еще большие несчастья.

При первой возможности я отправилась в Реховот к д-ру Хаиму Вейцману, надеясь убедить его, чтобы он призвал к массовой демонстрации. В то время д-р Вейцман был председателем Всемирной Сионистской организации и главой Еврейского Агентства. Он являлся бесспорным лидером и выразителем мнений всемирного еврейства.

Этот замечательный ученый родился в России, но много лет жил и работал в Англии и сыграл важную роль в появлении декларации Бальфура. Красивый, величественный, он отличался и своей королевской осанкой. Для евреев всего мира это был «царь иудейский»; не принадлежа ни к одной политической партии, он был заинтересован киббуцным движением в частности и рабочим движением в целом — хотя тут между постепеновцем Вейцманом и активным деятелем Бен-Гурионом шли неизбежные трения. Во время войны их отношения еще ухудшились: по мнению Бен-Гуриона, Вейцман недостаточно нажимал на создание еврейской бригады там, где это было нужно, и он даже внес предложение, чтобы партия попросила Вейцмана уйти со своего поста. Мы, конечно, не согласились с Бен-Гурионом, но

позже, на Базельском конгрессе 1946 года, Вейцман получил вотум недоверия.

Но несмотря на все, что теперь рассказывают в Израиле об отношениях этих двух столь различных по темпераменту и взглядам людей, Бен-Гурион восхищался Вейцманом и любил его, хоть и не разделял его доверия к англичанам. Вейцман даже после 1946 года все еще верил, что англичане одумаются, и не мог уразуметь всю меру их предательства по отношению к нам. Но все тридцать лет мандата, независимо от того, занимал ли он свой пост или нет, он был живым воплощением сионизма для всего внепалестинского мира, и влияние его было огромно.

Только Вейцман мог убедить Трумэна в решающий час 1948 года признать еврейское государство, включающее Негев. Он был уже стар и слаб и почти ничего не видел, но когда 14 мая 1948 года Трумэн подписал признание Израиля Соединенными Штатами, он вспомнил именно доктора Вейцмана. «Теперь старый доктор мне поверит», — сказал он. А у Бен-Гуриона и сомнений не было, что, когда у нас будет свое государство, первым его президентом будет Хаим Вейцман.

Я нередко навещала Вейцмана в Реховоте, где они с Верой (так звали жену Вейцмана) построили в тридцатые годы дом, с 1948 по 1952 годы, то есть до смерти Вейцмана, считавшийся резиденцией президента. Иногда он звонил мне сам: «Приходи к нам, пообедаем вместе!» Я приходила, и мы весь вечер сплетничали и разговаривали о политике. Под конец жизни он стал очень желчным, называл себя «реховотским узником» и чувствовал, что его сознательно отстраняют от политических дел. Как-то мы с ним завтракали; он с грустью говорил о де Голле, что тот может, если хочет, присутствовать на заседаниях кабинета и даже председательствовать на них,

а наша парламентская система этого не позволяет. Может быть, ему и не следовало продолжать жить в Реховоте, хотя он, разумеется, хотел быть поближе к Институту Вейцмана, великолепному центру научных исследований, который вырос из научно-исследовательского института, основанного Даниэлем Зифом в 1934 году. Если бы Вейцман жил в Иерусалиме и открыл двери своего дома народу Израиля, как это сделали в свое президентство Бен-Цви и Шазар, он бы меньше ощущал свою позицию. И если бы г-жа Вейцман была не так элегантна и высокомерна — это тоже бы не повредило. Как бы то ни было, это был очень большой человек, и я сочла большой честью для себя, когда директор Института Вейцмана и мой друг Меир Вейсгал попросил меня в 1974 году быть почетным председателем на праздновании столетия со дня рождения Хаима Вейцмана.

Но в 1946 году, в тот день, когда я к нему пришла, он был в расцвете сил и обладал большой властью. «Если к политике гражданского неповиновения призовешь ты, — сказала я, — весь мир увидит, что мы не можем примириться с тем, что происходит. Надо иметь твой авторитет, чтобы сделать такое заявление эффективным».

«Хорошо, — сказал он. — Но мне нужно подтверждение Хаганы, что она не предпримет ничего — никаких действий! — до того, как Еврейское Агентство проведет свое августовское заседание в Париже». Я обещала сделать все, что смогу, чтобы получить эту гарантию от пяти человек, от которых это зависело (я еще не входила тогда в их число), и немедленно отправилась к Эшколу, выяснить, насколько это возможно. В сущности, вопрос о действиях Хаганы уже был решен положительно, тремя голосами против двух, но когда Эшкол услышал требование Вейцмана, он сказал, что отдаст свой голос тем, кто был «против». Он тоже понимал, что если

национальные организации смолчат, то Эцел непременно что-нибудь предпримет. И тут Вейцман отступился от своего обещания. Вероятно, английские друзья отговорили его от руководства кампанией гражданского неповиновения, но каковы бы ни были их резоны, я была очень огорчена и рассержена.

В августе, как и было намечено, состоялось заседание Еврейского Агентства в Париже. Мы не хотели, чтобы Бен-Гурион, все еще находившийся за границей, возвращался в Палестину, где его, вероятно, ожидал арест, поэтому мы поехали во Францию и услышали подробности нового предложения Бевина. На этот раз Бевин предложил «кantonизацию» Палестины — с одним еврейским кантоном. В это время британцы уже депортировали «нелегальных» иммигрантов в кипрские лагеря и вводили в Палестину все новые и новые воинские части. Казалось бы, речь следовало вести лишь о предложениях, имевших целью сознание еврейского государства, но переговоры, которые Вейцман вел с британцами, шли по несколько иной линии.

Бен-Гурион готов был поднять шум на весь мир, но я предложила полететь в Лондон и самим поговорить с Вейцманом. Бедняга! Он потерял на войне сына, его зрение ухудшалось, его сердце разрывалось — из-за британцев и от тревоги, что, отвергнув английский план кантонизации, мы ввергнем ишув в тотальную войну. Я же, не в силах слышать, что нас же обвиняют в «безответственности», совершенно потеряла самообладание, что со мной случается нечасто. Я поднялась и вышла из комнаты. И прошли годы, прежде чем Вейцман простил мне, что я была против него — и тогда, и позже, в Базеле.

Кстати, это был не единственный случай, когда я вышла из комнаты. Всего через несколько месяцев я зачем-то зашла к ответственному правительственному чиновнику и была ошеломлена его любезными



словами: «Миссис Меерсон, согласитесь, что у нацистов были кое-какие причины преследовать евреев». Я поднялась и вышла, не сказав не единого слова и отказалась встречаться с ним вообще. Потом мне говорили, что он не мог понять, отчего я пришла в такое бешенство.

XXII Сионистский конгресс в Базеле был первым конгрессом после войны. Он был похож на сбор семьи в глубоком трауре, оплакивающей бесчисленные утраты, но сплотившейся, несмотря на великое горе, чтобы спасти оставшихся в живых и рассмотреть текущие задачи. Теперь мы открыто говорили всему миру о создании еврейского государства. Я выступила на идиш. Вспомнила черные дни войны и последовавшие за ними события, рассказала о нашей молодежи, о сабрах, родившихся в Палестине, и о том, как мы спрашивали друг друга: «Что свяжет этих наших детей с еврейским народом всего мира?» Я хотела, чтобы делегаты конгресса узнали, что эта молодежь, еще недавно не понимавшая, что такое диаспора, предана идее свободной еврейской иммиграции не меньше, чем мы.

*«Пришло время, и сами сабры дали на это свой ответ. Им чужда казуистика и абстрактные рассуждения. Они просты и чисты, как солнце Палестины. Для них все эти вопросы просты, ясны и несложны. Когда над евреями всего мира разразилась Катастрофа и они начали прибывать в Палестину на «нелегальных» кораблях, как делают и теперь, мы увидели, что эти наши дети бросаются в море, рискуя жизнью, в прямом, а не в переносном смысле — навстречу кораблям и на своих плечах перетаскивают репатриантов на берег. И это тоже надо понимать буквально: шестнадцати и восемнадцатилетние мальчики и девочки перетаскивали выживших на собственных плечах. Я слышала от тех, кого пере-*

*таскивали, что они плакали впервые — после всего, что перенесли в Европе за семь лет! — когда увидели, что палестинские дети выносят взрослых мужчин и женщин на берег родной земли. Наше благословение — эта молодежь, готовая отдать жизнь не за свой родной киббуц или даже за палестинский ишув в целом, а за каждого еврейского ребенка, за каждого старика, ищущего убежище в стране.*

*То, что евреи все-таки приехали, несмотря на английские газовые бомбы, зная, что некоторые могут погибнуть и что все будут отправлены в кипрские лагеря, — это уже чудо. А другое чудо — что наши дети принимали участие в нашей борьбе.*

*Что касается будущего, то удары, которые нам наносили, только укрепили нашу решимость добиваться полной политической независимости, а она может быть достигнута только через создание еврейского государства».*

Но я не сказала конгрессу, потому что еще не знала этого сама, что в течение 21 месяца, отделявших нас от рождения Израиля, нам нанесут куда более жестокие удары, чем те, что прежде знала Палестина.



## У НАС ЕСТЬ СВОЕ ГОСУДАРСТВО

**1946** год был тяжелым, но о 1947 годе я могу сказать, что британцы полностью утратили контроль над тем, что происходило в стране. Борьба против нелегальной иммиграции превратилась в открытую войну, не только с ишувом, но и с самими беженцами. У Бевина, казалось, только одно и было на уме как бы не впустить еврейских беженцев в еврейское отечество. И то, что мы отказались разрешить для него эту проблему, привело его в такое бешенство, что он и вовсе перестал рассуждать; честно говоря, я думаю, что некоторые его решения определялись именно бешенством против евреев, которые не могут и не желают согласиться с мнением британского министра иностранных дел о том, как и где им жить.

Не знаю — да сейчас это и неважно, — помещался ли слегка Бевин, или просто был антисемитом, или то и другое вместе. Знаю лишь, что настойчиво противопоставлял мощь Британской империи еврейской воле к жизни и принес этим не только тяжкие страдания народу, и так уже вынесшему страдания невероятные, но и навязал тысячам английских солдат и моряков такую роль, которая должна была преисполнить их ужасом. Я побывала в 1947 году на Кипре, и, глядя на молодых англичан, стороживших лагеря, думала, как же могут они примириться с тем, что еще совсем недавно они освобождали из нацистских лагерей тех самых людей,

которых теперь держат за колючей проволокой только потому; что те не хотят жить нигде, кроме Палестины. Я смотрела на этих славных английских ребят и меня переполняла жалость. Нельзя было не думать, что они такие же жертвы британской одержимости, как и те мужчины, женщины и дети, на которых день и ночь были нацелены их винтовки.

На Кипр я поехала, чтобы выяснить, что можно сделать — если вообще это возможно — для сотен находившихся там в заточении детей. В это время в кипрских лагерях находилось около 40 тысяч евреев. Ежемесячно англичане выдавали ровно 1500 разрешений на въезд в Палестину: 750 евреям Европы и 750 тем, кто был на Кипре. Принцип отправки с Кипра был: «кто первый приехал, первый уедет», а это означало, что множество маленьких детей были обречены месяцами находиться в очень тяжелых условиях. Наши врачи в кипрских лагерях были этим очень озабочены, и однажды в моем иерусалимском кабинете появилась медицинская делегация.

«Мы не можем взять на себя ответственность за здоровье детей, если они проведут в лагерях еще одну зиму», — заявили они.

И я вступила в переговоры с палестинским правительством. Мы предложили, чтобы семьи с ребенком до года были отправлены с Кипра «вне очереди», с тем, чтобы потом их количество вычли из месячной квоты разрешений «очередникам». Таким образом, надо было одновременно убедить палестинские власти, чтобы они проявили несвойственную им рассудительность и гибкость, а самих «перемещенных» — чтобы они установили специальную систему очередности. Мне понадобилось немало времени, чтобы договориться с властями, но, в конце концов, это удалось, и удалось даже получить разрешение отправлять с Кипра детей-сирот как можно быстрее.

После этого мне надо было ехать на Кипр договариваться с «перемещенными». «Они тебя и слушать не станут, — предупреждали меня друзья. — Ты только нарвешься на неприятности. Люди только и ждут, когда им разрешат уехать с Кипра, а ты хочешь просить их, чтобы они позволили рвануть оттуда тем, кто там находится всего неделю-другую. Это не пройдет!»

Но я представляла себе это не так, и считала, что во всяком случае придется попытаться. И я поехала.

Прибыв на Кипр, я тут же представилась коменданту лагеря, пожилому, высокому, сухопарому англичанину, который много лет прослужил в Индии. Это было что-то вроде визита вежливости. Я вкратце объяснила ему, кто я такая и что мне нужно, и спросила, не будет ли он возражать, если я завтра начну обход лагерей.

Он выслушал меня и сухо сказал: «О семьях с детьми мне все известно, но я не получил никаких инструкций по поводу сирот».

«Но это входит в мое соглашение с верховным комиссаром», — сказала я.

«Придется проверить», — сказал он довольно нелицезно. Тем не менее мы продолжали беседовать, и вдруг он сказал: «Да ладно! Включайте и сирот!» Я не могла понять, почему он так быстро сдался, но утром мне стало известно, что он получил телеграмму из Иерусалима, где говорилось: «Остерегайтесь миссис Меерсон, это незаурядная личность». Повидимому он решил отнестись к предупреждению серьезно.

Лагеря производили еще более удручающее впечатление, чем я ожидала, и в чем-то были еще хуже, чем американские лагеря для перемещенных лиц в Германии. Выглядело это как тюрьма — уродливое скопление лачуг и палаток со сторожевыми вышка-

ми по углам, а вокруг только песок: ни деревьев, ни травы. Питьевой воды было мало, воды для мытья — еще меньше, несмотря на жару. Лагеря находились на берегу, но плавать беженцам не разрешалось, и они проводили почти все время в грязных, душных палатках, по крайней мере защищавших их от палящего солнца. Когда я проходила по улице, «перемещенные» толпами собирались у колючей проволоки, отделявшей их от меня, а в одном из лагерей двое крошечных детей поднесли мне букет бумажных цветов. Много букетов получила я с тех пор, но не один не растрогал меня так, как этот, изготовленный кипрскими детьми, вероятно, забывшими — если они когда и знали! — на что похожи настоящие цветы и которым помогали в работе посланные нами в лагеря учительницы. Кстати, на Кипре в это время находилась палестинская еврейка — потом ей удалось бежать — по имени Аян, хорошенькая радистка с корабля, принадлежавшего Хагане; теперь она детский психиатр в Тель-Авиве и моя невестка.

Первым делом я встретила с комитетом, представлявшим всех беженцев, которому я объяснила цель своей миссии. Затем, прямо под открытым небом, я выступила на митинге кипрских лагерников; выразив свою уверенность, что они не останутся здесь надолго и через некоторое время их всех отпустят, я сказала, что в ожидании этого я нуждаюсь в их содействии ради спасения детей. Сторонники Эцела, имевшиеся в лагерях, яростно возражали против моей договоренности с британцами. «Все или ничего!» — кричали они; кто-то даже попытался наброситься на меня с кулаками. Но, в конце концов, они успокоились, и мы обо всем договорились.

Оставался еще один беспокоивший меня вопрос. Мы просили, чтобы сиротам было разрешено въехать в Палестину вне очереди — и как же поступать с теми, у кого в живых остался только один из роди-

телей? Вернувшись в Иерусалим, я отправилась к верховному комиссару, сэру Алэну Каннингэму и поблагодарила его за то, что он сделал. «Но у нашего договора есть один трагический аспект, — сказала я. — Получается несправедливо: ребенок, у которого мать или отец убиты в Европе, остается на Кипре, а его друг, которому «посчастливилось» потерять обоих родителей, может уехать. Нельзя ли что-нибудь сделать?»

Каннингэм — последний верховный комиссар Палестины, добрый и порядочный человек — покачал головой, подавил вздох с выражением покорности судьбе, улыбнулся и сказал: «Не беспокойтесь, миссис Меерсон, я сейчас же об этом позабочусь».

Я изредка встречалась с ним и потом, и какой бы напряженной и хаотичной ни была обстановка в Палестине, мы с ним всегда разговаривали как друзья. После того как Каннингэм 14 мая 1948 года уехал из Палестины, я уже не думала, что когда-нибудь о нем услышу. Но через много лет, когда я стала премьер-министром, я получила от него письмо. Оно было написано от руки, послано из сельской местности в Англии, куда он удалился после своей отставки, и в нем говорилось, что какое бы сильное давление на нас ни оказывали, Израиль не должен уходить с территорий, занятых во время Шести-дневной войны, пока у него не будет надежных и хорошо защищенных границ. Это письмо меня очень тронуло.

Но куда менее приятное воспоминание о том времени мне пришлось пережить в 1970 году в Хайфе, когда у прелестного подножия горы Кармел произошло перезахоронение ста детей, умерших в ужасных кипрских лагерях. Я не могла отогнать от себя мысль, что те две девочки, которые так торжественно поднесли мне бумажные цветы в 1947 году, быть может, находятся среди них. Но я часто сталкива-

лась с людьми, присутствовавшими на митинге кипрских лагерников и хорошо его помнившими. Пять лет тому назад в негевском киббуце ко мне робко подошла женщина средних лет.

— Вы меня простите за беспокойство, — сказала она, — но мне впервые предоставляется случай вас поблагодарить.

— За что? — спросила я.

— Я в 1947 году была на Кипре с маленьким ребенком, и вы нас спасли. А теперь я бы хотела познакомить вас с этим маленьким ребенком.

«Маленький ребенок» оказался крепкой, хорошенькой двадцатилетней девушкой, только что окончившей военную службу, которая, видно, решила, что я свихнулась, когда я, не говоря ни слова, крепко расцеловала ее у всех на глазах.

На Базельском сионистском конгрессе в 1946 году было решено, что Моше Шарет возглавит политический сектор Еврейского Агентства в Вашингтоне, а я — в Иерусалиме. Но жизнь в Иерусалиме в 1947 году была подобна жизни в городе, оккупированном враждебной державой. Британцы замкнулись в импровизированной крепости в центре города (мы прозвали ее Бевинградом) под сильной охраной и по малейшему поводу высылали на улицы танки, причем войскам было запрещено входить в какие бы то ни было отношения с евреями. Когда Эцел или группа Штерна брали дело в свои руки — что, к несчастью, происходило довольно регулярно, — британцы обрушивали репрессии на весь ишув, особенно на Хагану, и не проходило недели, чтобы чего-нибудь не случилось: то обыски (искали оружие), то массовые аресты, то комендантский час, на несколько дней парализовавший нормальную жизнь, то депортации евреев без предъявления обвинений, не говоря уже о суде. Когда британцы начали наказывать членов Эцела или группы Штерна, диссидентские органи-



зации ответили похищением и казнью двух британских сержантов — и все это происходило в разгар нашей борьбы за свободную иммиграцию и устройство страны.

Конечно, теперь я вижу, что почти любая колониальная держава, стремясь подчинить себе строптивых туземцев (чем мы и были в глазах англичан), вероятно, действовала бы еще более сурово. Но и британцы не были мягкосердечными. Невыносимой ситуацию делали не только их жестокие карательные меры, но и то, что мы знали — они поддерживали и покрывали арабов, если и не прямо, их науськивали. С другой стороны, вечное кровопролитие в Палестине тоже не устраивало Англию, особенно при ее послевоенных настроениях, и в феврале 1947 года сам г-н Бевин решил, что его правительству все это надоело, о чем и заявил на заседании Палаты общин. Пусть палестинской проблемой занимаются Объединенные Нации. С британцев хватит. Не думаю, чтобы Объединенные Нации пришли в восторг оттого, что на них столкнули эту ответственность, но и отказаться они не могли.

Специальная комиссия Организации Объединенных Наций по Палестине прибыла в страну в июне. 1 сентября 1947 года она должна была доложить Генеральной Ассамблее свои выводы и конкретные предложения. Палестинские арабы, как всегда, отказались с ней сотрудничать, но все остальные хоть и без энтузиазма, согласились — и лидеры ишува, и палестинское правительство, и, под конец, даже лидеры некоторых арабских государств. Я проводила много времени с одиннадцатью людьми, составлявшими комиссию, чье полное незнание истории Палестины и сионизма приводило меня в ужас. Но поскольку очень важно было, чтобы они ознакомились с этим как можно скорее, мы стали им все объяснять и показывать, как столько раз делали прежде, и

через некоторое время они стали понимать, из-за чего разгорелся весь сыр-бор и почему мы не собираемся отказываться от права привезти в Палестину уцелевших после Катастрофы.

Затем, как раз перед тем, как комиссия должна была покинуть Палестину, британцы — по причинам, не понятным для меня, да и для всех — решили продемонстрировать, как жестоко и беспощадно они относятся к нам и к проблеме еврейской иммиграции. На глазах у потрясенных членов комиссии они насильно отправили назад в Германию 4500 беженцев, прибывших в Палестину на корабле Хаганы «Эксокус-1947», и, думаю, этим в значительной мере повлияли на рекомендации, которые дала комиссия. Сколько жить буду — не забуду кошмарную картину: сотни британских солдат в полной боевой форме с дубинками, пистолетами и гранатами наступают на несчастных беженцев «Эксокуса», из которых 400 — беременные женщины, решившие дать жизнь своим детям в Палестине. И не забуду отвращения, узнав, что этих людей перевезут, как животных в клетках, в лагеря перемещенных лиц, находящиеся в стране, ставшей символом кладбища для европейского еврейства.

За несколько дней до того, как пассажиры «Эксокуса» были отправлены в свое печальное обратное путешествие, я, выступая на митинге Национального комитета, попыталась выразить возмущение и горечь ишува — и проблеск надежды, что кто-нибудь, где-нибудь, как-нибудь вмешается, чтобы спасти беженцев от новых страданий:

*«Британцы надеются, что депортация «Эксокуса» поможет им запугать евреев, содержащихся в лагерях, и терроризировать нас. Мы можем дать на это только один ответ: корабли будут прибывать сюда по-прежнему. Я знаю, какие трудности пред-*

стоят евреям, желающим въехать в Палестину, и тем, кто им помогает: вся мощь Британской империи сейчас сконцентрирована против этих утлых суденышек, нагруженных человеческим страданием. И все-таки я уверена, что ответ может быть только один — непрерывное прибытие новых и новых «нелегальных» кораблей. У меня нет сомнений, что евреи в лагерях готовы преодолеть все опасности — только бы покинуть эти лагеря. Уцелевшие в европейских странах евреи не могут оставаться там, где они находятся.

Если мы, евреи Палестины, а также американское, южно-африканское и английское еврейство не дадим себя запугать, прибытие кораблей не прекратится. Им придется положить на это еще больше тяжкого труда, чем раньше, — но они будут прибывать. Ни на минуту я не закрываю глаза на то, что предстоит в ближайшем будущем тысячам таких кораблей. Знаю, что каждый из нас с радостью был бы на них и сделал все возможное. Всех нас тревожит судьба, которая постигнет евреев «Эксогуса» в Германии, при том, что никто не помешает британской армии проучить этих «нарушителей закона». Они-то будут упорствовать, как упорствовали до сих пор. Вопрос лишь в том, есть ли надежда, что в последнюю минуту британцы смягчатся.

Мы не умеем отчаиваться и потому обращаемся еще раз теперь и отсюда ко всему миру, к народам, которые так тяжело пострадали от войны, к тем, на чьих фронтах евреи сражались и помогали освобождению. К этим народам мы обращаемся сейчас. Возможно ли, чтобы ни один голос не поднялся, чтобы сказать британскому правительству: перестаньте размахивать бичом и винтовкой над головами евреев «Эксогуса»? Британцам же мы должны сказать: считать нас слабаками — большое заблуждение. Пусть знает Британия с ее мощным флотом,

*с ее пулеметами и самолетами, что не так уж слаб этот народ и не намерен расслабляться».*

Но судьба «Эксодуса» уже была решена, и корабль вернулся в Германию.

А лето 1947 года тянулось и тянулось. Несмотря на то, что дорога Тель-Авив — Иерусалим все больше попадала под контроль арабских вооруженных банд, с вершин холмов обстреливавших еврейские машины и грузовики, я не могла отказаться от челночных поездок между этими городами, совершаемых под защитой двух молодых членов Хаганы. Дело было не в том, что меня могли убить или ранить; на очереди стоял вопрос, удастся ли арабам, как они хотели, полностью перерезать дорогу и уморить иерусалимских евреев голодной смертью. И уж, конечно, не я стала бы им в этом помогать, избегая единственной дороги, соединявшей Иерусалим с еврейскими центрами страны. Раза два пули со свистом влетали в окно машины Еврейского Агентства, в которой я обычно ездила; один раз мы свернули не там и въехали в арабскую деревню, известную как разбойничье гнездо, — но нам удалось уйти без единой царапины.

Бывали и другие «приключения». Однажды британские солдаты стали искать в моей машине оружие — как раз после того, как сам главный секретарь обещал мне, что эти обыски прекратятся ввиду растущей опасности для еврейского транспорта на этой дороге. Мои протесты были бесполезны. У сопровождающей меня девушки (члена Хаганы) нашли пистолет — и ее тут же арестовали.

— Куда вы ее потащите? — спросила я у офицера, возглавлявшего эту блистательную операцию.

— В Маэждаль, — ответил он.

Маэждаль (сейчас Ашкелон), арабский городок, явно не годился для ночлега молодой девушки, и я

сказала командиру, что если ее туда повезут, то я буду настаивать, чтобы и меня повезли туда же. К этому времени он уже знал, кто я такая, и вряд ли ему улыбалось давать объяснения своим начальникам, почему член правления Еврейского Агентства отправился ночевать в Маэждаль, поэтому он отказался от своего намерения, и все мы отправились в полицейский участок ближайшего еврейского города. Была уже полночь, но мне все-таки надо было добраться до Тель-Авива, что я и сделала под королевским эскортом британских полицейских и девушки из Хаганы, которую тут же освободили. Но не всем так везло. Количество жертв на дороге возросло каждую неделю, и в ноябре 1947 года арабы, на глазах у британцев, начали осаду Иерусалима.

31 августа, за минуту или две до того, как истекло их время, одиннадцать членов комиссии, собравшейся в Женеве, представили свой отчет о Палестине. Восемь членов комиссии рекомендовали — как и комиссия Пиля, — чтобы страна была разделена на два государства — арабское и еврейское, с интернациональным анклавом, включающим Иерусалим и его окрестности. Меньшинство (в которое входили представители Индии, Ирана и Югославии — стран с большим мусульманским населением) предложило создание федерального арабско-еврейского государства. Генеральная Ассамблея ООН должна была теперь принимать решение. В это же время все заинтересованные стороны довели до ее сведения свой ответ — и нельзя сказать, чтобы ее ожидали какие-либо сюрпризы. Мы, разумеется, этот план приняли — без восторга, но с большим облегчением — и потребовали, чтобы мандату немедленно был положен конец. Все арабы ответили, что им дела нет до каких бы то ни было рекомендаций и пригрозили войной, если вся Палестина не будет объявлена арабским государством. Британцы заявили, что пока ара-

бы и евреи не примут план раздела с восторгом, они не будут сотрудничать при его осуществлении — а мы хорошо понимали, что это значит. Америка и Россия опубликовали — каждая со своей стороны — заявление, поддерживающее рекомендацию большинства.

На следующий день я дала пресс-конференцию в Иерусалиме. Поблагодарив комиссию за быстрое завершение работы, я подчеркнула, что «нам трудно представить себе еврейское государство без Иерусалима» и что «мы все еще надеемся, что Ассамблея ООН исправит этот недочет». Нас также очень огорчило, сказала я, исключение Западной Галилеи из еврейского государства, и мы рассчитываем, что и это будет принято Ассамблеей, во внимание. Но главное, что я особенно выделила, было наше страстное желание установить иные, новые отношения с арабами, которых, как я думала, в еврейском государстве будет 500000. «Еврейское государство в этой части мира, — сказала я представителям прессы, — это не только решение вопроса для нас. Оно может и должно помочь каждому жителю Ближнего Востока». Сердце разрывается, как подумаешь, что мы без конца повторяем эти слова с самого 1947 года.

Голосование произошло 29 ноября в Нью-Йорке, в Лейк-Саксес\*. Как и весь ишув, я сидела, словно прикованная, у радиоприемника с бумагой и карандашом и записывала, как кто голосует. Наконец, около полуночи по нашему времени, были объявлены результаты: тридцать три нации, включая Соединенные Штаты и Советский Союз, голосовали за план раздела; тринадцать, в том числе все арабские страны, голосовали против; десять, в том числе Великобритания, воздержались. Я немедленно отправилась в Еврейское Агентство. У здания уже толпился на-

---

\* Там помещалось временное здание ООН. (Прим. перев.)

род. Это было невероятное зрелище: сотни людей, среди них и британские солдаты, пели и танцевали, держась за руки, и к зданию, один за другим, подъезжали грузовики с толпами. Я вошла в свой кабинет одна, не в силах принять участие в общем ликованиях. Арабы отвергли план раздела и говорили только о войне. Пьяная от радости толпа требовала речей; я поняла, что нехорошо портить им настроенное отказом. Выйдя на балкон своего кабинета, я сказала короткую речь. Но обращена была моя речь, в сущности, не к массам народа под балконом, но опять-таки к арабам.

«Вы провели битву против нас в Объединенных Нациях, — сказала я. — Объединенные Нации — большинство стран мира — выразили свое решение. План раздела — компромисс: не то, чего хотели вы, не то, чего хотели мы. Но давайте теперь жить в мире и дружбе». Нельзя сказать, чтобы моя речь разрешила создавшееся положение. На следующий день по всей Палестине вспыхнули арабские волнения (семь евреев было убито из засады), а 2 декабря толпа арабов подожгла еврейский коммерческий центр в Иерусалиме, на глазах у британской полиции, которая вмешивалась только тогда, когда попытки активности проявляла Хагана.

Конечно же, мы были совершенно не готовы к войне. То, что нам так долго удавалось более или менее удерживать в известных границах местных арабов, вовсе не означало, что нам удастся справиться с регулярными армиями. Нам срочно нужно было оружие — если мы сумеем найти кого-нибудь, кто захочет нам его продать; но прежде этого нам нужны были деньги — и не те малые деньги, на которые мы озеленили страну или перевезли в нее беженцев, а миллионы долларов. Во всем мире была только одна группа людей, от которой, может быть, можно

было эти доллары получить: американские евреи. Больше некуда и не к кому было обращаться.

Конечно, не могло быть и речи о том, чтобы Бен-Гурион в это время покинул Палестину. Он играл ту самую главную роль. Думаю, он и сам чувствовал, что никто другой не сможет собрать сумм, о которых говорилось на наших закрытых заседаниях в Тель-Авиве в декабре 1947 года и в начале января 1948 года, и я, конечно, была с ним согласна. Но он должен был оставаться в стране. Кто же поедет? На одном из этих заседаний я окинула взглядом своих усталых и измученных коллег, сидевших за столом, и впервые подумала: не предложить ли мне свою кандидатуру? В конце концов, мне уже приходилось собирать деньги в Соединенных Штатах, и по-английски я говорила свободно. Моя работа в Палестине могла подождать недельку-другую. Хоть я и не привыкла предлагать себя, я почувствовала, что надо подсказать Бен-Гуриону. Сначала он и слышать об этом не хотел. Он сказал, что поедет сам и возьмет с собой Элизера Каплана, казначея Еврейского Агентства.

— Но тут тебя никто не может заменить, — возразила я, — а в Соединенных Штатах я, может быть, и сумею.

Он был непоколебим.

— Нет, ты мне нужна здесь.

— Тогда поставим вопрос на голосование, — сказала я. Он посмотрел на меня, потом кивнул. Мое предложение прошло.

— Но ехать немедленно, — сказал Бен-Гурион. — Даже в Иерусалим не возвращайся.

В тот же день я улетела в Соединенные Штаты — без багажа, в том же платье, в каком я была на заседании, — только надела сверху зимнее пальто.

Первое мое появление в 1948 году перед амери-



канским еврейством было не запланировано, не отрепетировано и, разумеется, не объявлено. Таким образом, люди, перед которыми я выступала, совершенно меня не знали. Это произошло 21 января в Чикаго, на общем собрании совета еврейских федераций и благотворительных фондов. Это не были сионистские организации. Палестина у них не стояла на повестке дня. Но это было совместное заседание профессиональных сборщиков денег, людей с огромным опытом, контролировавших еврейскую машину денежных сборов в Соединенных Штатах, и я понимала, что если мне удастся их пронять, то, возможно, и удастся собрать нужные суммы — ключ к нашей самообороне. Я говорила недолго, но высказала все, что у меня было на сердце. Я описала положение, создавшееся в Палестине ко дню моего отъезда, и продолжала:

*«Еврейское население в Палестине будет сражаться до самого конца. Если у нас будет оружие — мы будем сражаться этим оружием. Если у нас его не будет, мы будем драться камнями.*

*Я хочу, чтобы вы поверили, что цель моей миссии — не спасение семисот тысяч евреев. За последние несколько лет еврейский народ потерял шесть миллионов евреев, и было бы просто дерзостью беспокоить евреев всего мира из-за того, что еще несколько сот тысяч евреев находятся в опасности.*

*Речь не об этом. Речь идет о том, если эти семьсот тысяч останутся в живых, то жив будет еврейский народ как таковой и будет обеспечена его независимость. Если же эти семьсот тысяч теперь будут перебиты, то нам придется на много веков забыть мечту о еврейском народе и его государстве.*

*Друзья мои, мы воюем. Нет в Палестине еврея, который не верил бы, что, в конце концов, мы победим. Таков в стране моральный дух... Но этот дух*

не может противостоять в одиночку винтовкам и пулеметам. Без него винтовки и пулеметы не много стоят, но без оружия дух может быть сломлен вместе с телом.

Наша проблема — время... Что мы сможем получить немедленно? И когда я говорю «немедленно», я имею в виду не месяц. И не через два. Я имею в виду — сейчас, сегодня.

Я приехала довести до сознания американских евреев один факт: в кратчайший срок, не более, чем за две недели, нам нужно собрать чистоганом сумму от двадцати пяти до тридцати миллионов долларов. Через две-три недели после этого мы уже сумеем укрепиться. В этом мы уверены.

Египетское правительство может провести такой бюджет, который поможет нашим противникам. То же самое может сделать и правительство Сирии. У нас нет правительств. Но в диаспоре у нас миллионы евреев, и я верю в евреев США не меньше, чем в нашу палестинскую молодежь; верю, что они поймут, в какой опасности мы находимся, и сделают то, что должно.

Знаю, что сделать это будет нелегко. Мне приходилось участвовать во всяких кампаниях по сбору средств, и я знаю, как непросто сразу собрать ту сумму, которую мы просим. Но я видела таких людей там, дома. Видела, как, когда мы призвали общину отгавать кровь для раненых, они пришли прямо со службы в больницы и стояли в длинных очередях, чтобы отгавать свою кровь. В Палестине отгавают и кровь, и деньги.

Мы не лучшей породы; мы не лучшие евреи из еврейского народа. Случилось так, что мы — там, а вы — здесь. Уверена, что если бы вы были в Палестине, а мы в Соединенных Штатах, вы делали бы там то же самое, что делаем мы, и просили бы нас здесь сделать то, что придется сделать вам.

*В заключение я хочу перефразировать одну из самых замечательных речей времен Второй мировой войны — речь Черчилля. Я не преувеличиваю, говоря, что палестинский ишув будет сражаться в Негеве, в Галилее, на подступах к Иерусалиму до самого конца.*

*Вы не можете решить, следует нам сражаться или нет. Решать будем мы. Еврейское население Палестины не выкинет белый флаг перед муфтием. Это решение уже принято. Никто не может его изменить. Вы можете решить только одно: кто победит в этой борьбе — мы или муфтий. Этот вопрос могут решить американские евреи. Но сделать это надо быстро — за дни, за часы.*

*И прошу вас — не запаздывайте. Чтобы не пришлось вам через три месяца горько сожалеть о том, что вы не сделали сегодня. Время уже настало».*

Они слушали, они плакали, они собрали столько денег, сколько еще не собирала ни одна община. Я провела в Штатах шесть недель — больше я не могла находиться вне дома — и повсюду евреи слушали, плакали и давали деньги, иногда даже делая для этого банковские заемы. В марте я вернулась в Палестину, собрав 50 000 000 долларов, немедленно ассигнованные на тайные закупки в Европе оружия для Хаганы. И даже когда Бен-Гурион сказал мне: «Когда-нибудь, когда будет написана история, там будет рассказано о еврейской женщине, доставшей деньги, необходимые для создания государства», — я никогда не обманывалась. Я всегда знала, что эти доллары были отданы не мне, а Израилю.

В этот год эта поездка в Штаты была моей единственной поездкой. За полгода, предшествовавшие созданию государства, я дважды встречалась с транс-иорданским королем Абдаллой — дедом нынешнего короля Хуссейна. И хотя содержание наших перегово-

воров много лет хранилось втайне — даже долгое время после 1951 года, когда Абдалла был убит своими арабскими врагами (думаю, людьми муфтия) — никто до сих пор не знает, какие слухи об этих переговорах вызвали его убийство. Убийство — эндемическая болезнь в арабском мире, и первое, что узнает каждый арабский правитель, это прямая связь между соблюдением секретности и продолжительностью жизни. Убийство Абдаллы произвело незабываемое впечатление на всех арабских лидеров, пришедших затем к власти; однажды Насер сказал посреднику, которого мы направили в Каир: «Если бы Бен-Гурион приехал в Египет переговорить со мной, его встретили бы дома, как героя-победителя. Но если бы я поехал к нему, то по возвращении меня бы застрелили». И я боюсь, что в этом смысле ничего не изменилось.

Впервые я встретилась с королем Абдаллой в начале ноября 1947 года. Он согласился встретиться со мной — как с главой Политического отдела Еврейского Агентства — в Нахараиме (на реке Иордан), в доме, где помещалась электростанция, принадлежавшая палестинской компании. Я приехала туда с одним из наших экспертов по арабским делам — Элияху Сассоном. Мы выпили, как полагается по этикету, по чашечке кофе и потом начали беседовать. Абдалла был невысокий, очень стройный человек, обладавший большим обаянием. Вскоре главное стало ясным: он не присоединится к нападающим на нас арабам. Он сказал, что всегда останется нашим другом, и больше всего, как и мы, он хочет мира. В конце концов, враг у нас был общий — иерусалимский муфтий, хадж Амин эль-Хуссейн. Мало того: он предложил, чтобы после голосования в Объединенных Нациях мы встретились опять.

По дороге обратно в Тель-Авив Эзра Данин, не раз встречавшийся с Абдаллой прежде, объяснил мне

его концепцию роли евреев на Ближнем Востоке: Бог рассеял евреев по Западному миру для того, чтобы они усвоили европейскую культуру и потом принесли ее с собой обратно на Ближний Восток, чтобы его опять оживить. Однако в его надежности Данин сомневался. «Абдалла — не то чтобы лгун, — сказал он, — но он бедуин, а у бедуинов свое представление о правде, куда менее абсолютное, чем наше». Но, по его мнению, Абдалла был совершенно искренен в своих выражениях дружбы, хотя он из-за этого и не будет чувствовать себя связанным по рукам и ногам.

И в январе, и в феврале мы продолжали поддерживать контакт с Абдаллой, обычно через общего друга, передававшего ему мои послания. Эти послания постепенно стали выражать все большее беспокойство. Атмосфера была насыщена предположениями; были сведения, что, несмотря на свои обещания, Абдалла собирается вступить в Арабскую лигу. «Так ли это?» — спрашивала я. Из Аммана очень скоро пришел отрицательный ответ. Король был изумлен и обижен моим вопросом. Он просил меня запомнить три вещи: во-первых, он — бедуин, и потому человек чести; во-вторых, — король, и потому дважды человек чести; в-третьих, он никогда не нарушит обещания, данного женщине. Поэтому моя тревога ничем не оправдана.

Но мы-то знали другое. Уже к первой неделе мая не оставалось сомнений, что, несмотря на все свои заверения, Абдалла связал свою судьбу с Арабской лигой. Мы обсудили, стоит ли попросить о новой встрече, пока еще не поздно. Может, удастся его отговорить в последнюю минуту. А если нет, то, может, удастся у него выяснить, что именно он и его обученный англичанами и возглавляемый английскими офицерами Арабский легион собираются пред-

принять в войне против нас. Многое тогда лежало на чаше весов: легион не только намного превосходил все остальные арабские армии, но тут перемешивались и другие жизненно важные соображения. Если случится чудо и Трансиордания не вступит в войну, то и иракской армии будет куда труднее вступить в Палестину и напасть на нас. Бен-Гурион считал, что мы ничего не потеряем, если сделаем еще одну попытку, — поэтому я попросила о новой встрече, договорившись с Эзрой Данином, что он будет меня сопровождать.

Но на этот раз Абдалла отказался приехать в Нахараим. Как передал нам его посланец, это будет слишком опасно. Если я хочу его увидеть — я должна приехать в Амман, приняв риск на себя: он не может поднять легион по случаю того, что ожидает еврейских гостей из Палестины, и никакой ответственности за то, что может произойти с нами по дороге, он тоже на себя не возьмет. Начать с того, что в Тель-Авив попасть тогда было почти так же трудно, как и в Амман. Я с самого утра и до семи вечера ожидала в Иерусалиме тель-авивского самолета, а когда он, наконец, приземлился, то было так ветрено, что ему трудно было взлететь. В нормальной обстановке я отложила бы полет на завтра, но уже почти не было «завтра». Было 10 мая, а 14 мая должно было быть провозглашено еврейское государство. Это был наш последний шанс переговорить с Абдаллой. Поэтому я настояла, чтобы мы полетели, хотя, казалось, что наш «пайпер каб» перевернется от простого ветра, не говоря уже о буре. Когда мы уже взлетели, на иерусалимский аэродром сообщили, что погода слишком опасна для полета, — но мы уже были в воздухе.

На следующее утро я поехала в Хайфу, где должна была встретиться с Эзрой. Было решено, что

он только наденет на голову арабскую «куфию». Он свободно говорил по-арабски, знал арабские обычаи и его легко было принять за араба. Я же должна была надеть традиционное, темное и широкое арабское платье. По-арабски я не говорила вовсе, но было маловероятно, чтобы от мусульманки, сопровождающей своего мужа, потребовались какие-то разговоры. Арабское платье и покрывало для меня уже были заказаны, а Эзра объяснил мне дорогу. Мы будем часто менять машины, предупредил он, чтобы убедиться, что за нами не следят, а вечером, в назначенном месте, недалеко от королевского дворца нас будет ожидать человек, который проводит нас к Абдалле. Главное было — не вызвать подозрений у арабских легионеров на проверочных пунктах по дороге к дворцу.

Это была длинная поездка, в темноте, с некоторыми пересадками. Сначала мы ехали на одной машине, потом вышли, потом пересели в другую, проехали еще несколько километров, потом, в Нахараиме, пересели в третью. Друг с другом мы во время пути не разговаривали. Я полностью доверяла способностям Эзры провезти нас через неприятельские линии и слишком занята была вопросом об исходе нашей миссии, чтобы думать о том, что случится, если нас, сохрани Боже, схватят. К счастью, хоть нам и пришлось несколько раз предъявлять удостоверения, мы прибыли на место встречи вовремя и не разоблаченные. Человек, который отвез нас к Абдалле, был его самым доверенным сотрудником; это был бедуин, с детства живший в его семье и привыкший исполнять самые опасные поручения своего господина.

Он отвез нас к себе домой в своей машине, с затянутыми плотной черной материей окнами. В ожидании Абдаллы я разговорилась с привлекатель-

ной и умной женой нашего проводника, происшедшей из богатой турецкой семьи; она горько жаловалась на монотонность своего существования в Трансиордании. Я подумала, что некоторая монотонность мне лично сейчас бы не помешала, но продолжала сочувственно кивать головой.

В комнату вошел Абдалла. Он был очень бледен; казалось, его что-то мучило. Эзра переводил; мы беседовали около часу. Я сразу же взяла быка за рога, спросив: «Итак, нарушили вы данное мне обещание?»

Он не ответил на вопрос прямо. Он сказал: «Когда я давал обещание, я думал, что судьба моя в моих руках и я могу делать все, что считаю правильным, но с тех пор я узнал кое-что другое». Он объяснил, что прежде был один, а теперь «я — один из пяти». Мы поняли, что четверо остальных — это Египет, Сирия, Ливан и Ирак. И все-таки он считал, что войны можно избежать.

— Почему вы так торопитесь провозгласить создание своего государства? — спросил он. — К чему такая спешка? До чего же вы нетерпеливы!

Я сказала, что о народе, ожидавшем этого две тысячи лет, нельзя говорить, что он слишком тороплив. Он, по-видимому, принял это возражение.

— Неужели вы не понимаете, — сказала я, — что мы — ваши единственные союзники во всем районе? Все остальные — ваши враги.

— Да, — сказал он, — я это знаю. Но что я могу сделать? Это зависит не от меня.

И тогда я сказала:

— Вы должны знать, что если нам навяжут войну, мы будем сражаться и мы победим.

Он вздохнул и повторил:

— Да. Я это знаю. Ваш долг сражаться. Но почему бы вам не подождать несколько лет? Бросьте ваше требование свободной иммиграции. Я стану во гла-



ве всей страны, и вы будете представлены в моем парламенте. Я буду очень хорошо с вами обращаться и войны не будет.

Я попыталась объяснить, почему этот план невозможен.

— Вы знаете все, что мы сделали, вы знаете, как тяжело мы работали, — сказала я. — И вы думаете, что мы сделали все это ради того, чтобы быть представленными в чужом парламенте? Вы знаете, чего мы хотим, к чему стремимся. Если вы больше ничего не можете нам предложить, значит, будет война и мы победим. Но, может быть, мы встретимся снова — после войны, когда будет существовать еврейское государство.

— Вы слишком уж полагаетесь на свои танки, — сказал Эзра. — У вас нет настоящих друзей в арабском мире, и мы разгромим ваши танки, как была разгромлена линия Мажино.

Это была очень смелая речь, особенно если учесть, что Данину было точно известно наше положение с оружием. Но Абдалла стал еще серьезнее и снова повторил, что мы должны исполнить свой долг. И еще он добавил — с грустью, как мне показалось, — что события должны идти своим чередом. В свое время мы все узнаем, что нам уготовила судьба.

Очевидно, говорить больше было не о чем. Я хотела сразу же уехать, но Данин и Абдалла затеяли новую беседу.

— Надеюсь, мы останемся в контакте и после того, как начнется война, — сказал Данин.

— Конечно, — ответил Абдалла. — Вы будете приезжать ко мне.

— Но как я смогу до вас добраться? — спросил Данин.

— О, я не сомневаюсь, что уж вы-то найдете дорогу, — с улыбкой сказал Абдалла.

Но потом Данин попенял ему, что он недоста-

точно осторожен. «Вы молитесь в мечети, — сказал он, — и позволяете своим подданным целовать край вашей одежды. Какой-нибудь злодей, чего доброго, может учинить что-нибудь дурное. Пора вам отменить этот обычай ради своей безопасности».

Абдалла был, видимо, шокирован этими словами. «Никогда я не стану пленником своей охраны, — сурово сказал он Данину. — Я родился бедуином, свободным человеком, и останусь свободным. Пусть те, кто хочет убить меня, попробуют это сделать. Я на себя цепей не надену». После этого он попрощался с нами и ушел.

Жена хозяина пригласила нас к столу. В конце комнаты стоял огромный стол, уставленный яствами. Я совершенно не чувствовала голода, но Данин сказал, что я должна наполнить свою тарелку, буду я есть или нет, а то получится, что я отказываюсь от арабского гостеприимства.

Я наполнила свою тарелку до краев, но только поковыряла еду. У меня не осталось сомнений, что Абдалла поведет против нас войну. И, несмотря на всю браваду Данина, я хорошо знала, что танки арабского легиона не игрушка, и сердце мое падало при мысли о том, какие известия я привезу в Тель-Авив. Время близилось к полуночи. Нам предстоял длинный и опасный путь — на этот раз без всяких обманчивых надежд.

Через несколько минут мы простились и уехали. Была очень темная ночь, и арабский шофер, который вез нас в Нахараим (откуда мы должны были отправиться в Хайфу), приходил в ужас всякий раз, когда машину останавливали на контрольном пункте легионеры. В конце концов, на некотором расстоянии от электростанции он велел нам выходить. Было около трех часов ночи, и мы должны были сами найти дорогу. Мы не были вооружены, и должна признаться, что я была и подавлена, и испугана. Из окон ма-

шины мы видели иракские части, скопившиеся у лагеря Мафрак; шепотом мы рассуждали о том, что может случиться 14 мая. Помню, как застучало мое сердце, когда Данин сказал: «Если нам повезет и мы победим, мы потеряем только десять тысяч человек. Если же нам не повезет, наши потери могут дойти до пятидесяти тысяч». Я была подавлена. Тогда мы решили переменить тему разговора, и все остальное время пути мы беседовали только о мусульманских обычаях и об арабской кухне. Когда же мы остались одни в кромешной тьме, мы уже не разговаривали ни о чем. Мы боялись даже вздохнуть. Арабская одежда мешала мне двигаться, притом я вовсе не была уверена, что мы идем в нужном направлении, да еще не могла избавиться от подавленности и ощущения полного провала моих переговоров с Абдаллой.

Вероятно, шли уже полчаса, когда нас заметил молодой солдат Хаганы, целую ночь с тревогой ожидавший нас. Я не могла разглядеть его лица, но никогда я так крепко и с таким облегчением не сжимала чужую руку. Без всякого затруднения он провел нас в Нахараим. Второй раз я увидела его несколько лет назад: пожилой человек подошел ко мне в фойе иерусалимского отеля и сказал: «Миссис Меир, вы меня не узнаете?» Я стала вспоминать, но так и не вспомнила. Тут он ласково улыбнулся и сказал: «Это я привел вас в ту ночь в Нахараим».

Но Абдаллу я больше никогда не видела, хотя после Войны за Независимость с ним велись долгие переговоры. Потом мне передавали, что он сказал обо мне: «Если кто-нибудь лично ответственен за войну, то это она, ибо она слишком горда, чтобы принять мое предложение». Признаться, когда я думаю о том, что случилось бы с нами, если бы мы были меньшинством в государстве и под протекцией арабского короля, убитого арабами через каких-ни-

будь два года, я не жалею о том, что в ту ночь так разочаровала Абдаллу. Жаль, что ему не хватило храбрости на то, чтобы не вступать в войну. Насколько лучше было бы для него — да и для нас, — если бы он был чуть более горд.

Прямо из Нахараима меня повезли в Тель-Авив. На следующее утро в помещении Мапай было назначено заседание — разумеется, в эти дни заседания шли непрерывно, одно за другим, — на котором, как я знала, будет присутствовать Бен-Гурион. Когда я вошла, он поднял голову и спросил: «Ну?» Я села и написала ему записку: «Не удалось. Будет война. Мы с Эзрой видели у Мафрака скопления войск и огни». Мне тяжело было смотреть на лицо Бен-Гуриона, читавшего мою записку, но, слава Богу, он не изменил ни своего, ни нашего решения.

Окончательное решение надо было принимать через два дня. Провозглашать еврейское государство или нет? После моего доклада о переговорах с Абдаллой множество народу из так называемой «Минхелет хаам» (буквально — народная администрация), куда входили члены Еврейского Агентства, Национального совета (Ваад Леуми) и некоторых малых партий и групп, и которая позднее стала временным правительством Израиля, стали просить Бен-Гуриона в последний раз взвесить «за» и «против». Они хотели знать, в какой мере Хагана подготовлена к решающему часу. Бен-Гурион вызвал Игаэля Ядина — начальника оперативного отдела Хаганы и Исраэля Галили — фактического главнокомандующего. Они ответили одинаково, одинаково жестко. Только в двух вещах можно быть уверенными, сказали они: британцы уйдут и арабы вторгнутся. И тогда? Оба замолчали. Через минуту Ядин сказал: «В лучшем случае, шансы наши — пятьдесят на пятьдесят. Пятьдесят, что победим, пятьдесят — что потерпим поражение».

На этой оптимистической ноте и было принято окончательное решение. 14 мая 1948 года (пятого ияра 5708 года по еврейскому календарю) будет провозглашено еврейское государство с населением в 650000 человек; шанс этого государства пережить день своего рождения зависел от способности этих 650000 отразить нападение пяти регулярных армий, активно поддерживаемых миллионом палестинских арабов.

По первоначальному плану я должна была в четверг вернуться в Иерусалим и там остаться. Нечего и говорить, что мне очень хотелось остаться в Тель-Авиве, хотя бы на церемонию провозглашения государства, время и место которой держалось в тайне от всех, кроме 200 приглашенных, и должно было быть объявлено лишь за час. Всю среду я, несмотря ни на что, надеялась, что Бен-Гурион уступит, но он был непоколебим. «Ты должна ехать в Иерусалим», — сказал он. И в четверг 13 мая я опять сидела в «пайпер кабе». Пилоту был дан приказ отвезти меня в Иерусалим и немедленно возвращаться с Ицхаком Гринбаумом, которому предстояло стать министром внутренних дел временного правительства. Но как только мы, перевалив за Прибрежную равнину, оказались над Иудейскими холмами, мотор забарахлил. Я сидела рядом с пилотом (крошечные «примусы», как мы их ласково называли, имели только два сиденья) и видела, что даже он очень беспокоится. По звуку казалось, что мотор вот-вот вообще оторвется, почему меня и не удивило, когда пилот сказал: «Прости, пожалуйста, но я, кажется, не смогу перелететь холмы. Надо возвращаться». Он развернул самолет; мотор продолжал угрожающе гудеть, я заметила, что пилот оглядывает окрестности под нами. Я не сказала ни слова, машина чуть-чуть поднялась, пилот спросил: «Ты понимаешь, что происходит?»

«Понимаю», — ответила я.

«Я искал арабскую деревню, где мы могли бы приземлиться». (Помните, это происходило 13 мая.) «Но, пожалуй, — сказал он, — я смогу приземлиться в Бен-Шемене». Звук мотора улучшился. «Нет, — сказал пилот, — пожалуй, мы сможем вернуться в Тель-Авив».

Таким образом мне удалось присутствовать на церемонии, а бедному Ицхаку Гринбауму пришлось остаться в Иерусалиме, и он сумел подписать Декларацию Независимости только после первого прекращения огня.

Утром 14 мая я участвовала в собрании Ваад Леуми, где решалось, какое имя мы дадим нашему государству, и окончательно формулировалась Декларация. Вопрос об имени оказался менее дискуссионным, чем формулировка Декларации, ибо в последнюю минуту возник спор: упоминать ли в ней Бога. Собственно говоря, выход был найден накануне. Небольшой комитет, которому было поручено составить последнюю версию Декларации, получил текст, в котором самая последняя фраза начиналась словами: «Уповая на Твердыню Израиля, мы скрепляем нашими подписями...» Бен-Гурион надеялся, что слова «Твердыня Израиля» своей недвусмысленностью могут удовлетворить и евреев, не допускавших мысли, чтобы документ о создании еврейского государства мог обойтись без упоминания о Боге, и евреев, которые наверняка будут упорно протестовать против малейшего намека на клерикализм.

Но принять этот компромисс оказалось не так-то легко. Представитель религиозных партий, рабби Фишман-Маймон, потребовал, чтобы ссылка на Бога была сделана безо всяких экивоков, и сказал, что одобрит выражение «Твердыня Израиля» только если будет прибавлено «и его Искупитель»; представитель левого крыла Рабочей партии Ахарон Цизлинг столько же решительно выступил с противоположных

позиций. «Я не могу подписать документ, в какой бы то ни было форме упоминающий Бога, в которого я не верю», — сказал он. Бен-Гуриону понадобилось чуть ли не все утро, чтобы убедить обоих, что слова «Твердыня Израиля» имеют двойное значение. Для многих, может быть, для большинства евреев они означают «Бог», но могут рассматриваться и как символ, означающий «силу еврейского народа». В конце концов, Маймон согласился, чтобы слово «Искупитель» не было включено в текст. Забавно то, что в первом английском переводе, опубликованном в этот день для заграницы, не было вообще никакого упоминания о «Твердыне Израиля»; военный цензор вычеркнул весь последний параграф из соображений безопасности, ибо в нем было указано время и место церемонии.

Может показаться странным, что за несколько часов до провозглашения государства, да еще под угрозой иностранного вторжения, будущий премьер-министр тратит время на такие споры, но надо иметь в виду, что эти споры отнюдь не были чисто терминологическими. Мы глубоко сознавали, что Декларация не только объявляет о конце двухтысячелетней еврейской бездомности, но и выражает основные принципы Государства Израиль. И потому каждое слово имеет огромное значение. Кстати, мой добрый друг Зеев Шареф, первый секретарь будущего правительства, заложивший основы государственности, нашел время проследить за тем, что грамота, которую нам предстояло днем подписать, была сразу после церемонии отправлена в подвал Англо-Палестинского банка, и таким образом сохранена для потомства, на случай, если государство и все мы проживем не очень долго.

Около двух часов дня я вернулась к себе в гостиницу на набережной, вымыла голову и надела свое лучшее черное платье. Потом я посидела несколько

минут — для того, чтобы перевести дух и впервые за несколько дней подумать о детях. Менахем в то время учился в Штатах, в Манхэттенском музыкальном училище. Я понимала, что теперь, когда война неизбежна, он вернется, и думала, когда и где мы увидимся. Сарра была в киббуце Ревивим — относительно не очень далеко; но мы были совершенно отрезаны друг от друга. Несколько месяцев назад банды палестинских арабов вместе с вооруженными египтянами, перешедшими границу, блокировали дорогу, соединявшую Негев со всей страной, и систематически взрывали или перерезали водопровод, снабжавший двадцать семь еврейских поселений, там находившихся. Хагана делала что могла, чтобы прорвать осаду. Она открыла грунтовую тропу, параллельно главной дороге, по которой прорывались конвои, доставлявшие пищу и воду тысяче южных поселенцев. Но кто знает, что будет с Ревивимом, да и с любым маленьким, плохо вооруженным и плохо оснащенный негевским поселением, когда начнется широкое египетское вторжение в Израиль, что почти наверняка произойдет через несколько часов? И Сарра, и ее Зехария были в Ревивиме радистами, и до сих пор мне удавалось поддерживать связь с ними. Но уже несколько дней я ничего о них не слышала и очень беспокоилась. Именно от таких молодых людей, как они, от их духа и отваги зависело будущее Негева и, следовательно, Израиля, и я содрогалась при мысли о том, что им придется противостоять вторгнүвшимся частям регулярной египетской армии.

Я так углубилась в свои мысли о детях, что телефонный звонок заставил меня вздрогнуть: оказалось, меня ждет машина, чтобы отвезти в музей. Решено было провести церемонию провозглашения государства в тель-авивском музее на бульваре Ротшильда, не потому, что это было особенно импозантное зда-



ние — таким оно не было! — а потому, что оно было маленькое и поэтому его легко было охранять. Когда-то этот дом, один из первых домов Тель-Авива, принадлежал его первому мэру, Дизенгофу, и он завещал его гражданам города с тем, чтобы они устроили там художественный музей. Огромная сумма — двести долларов! — была отпущена на его украшение к этому дню; полы были выскоблены, картины на стенах, изображавшие наготу, целомудренно задрапированы, окна затемнены на случай воздушной тревоги, а над столом, за которым должно было разместиться тридцать человек — члены временного правительства, — висел большой портрет Теодора Герцля. Однако, хотя предполагалось, что только 200 человек приглашенных знают, когда и где будет происходить церемония, у музея, когда я подъехала, уже собралась большая толпа.

Через несколько минут, ровно в четыре часа, началось торжественное заседание. Бен-Гурион, в темном костюме и при галстукe, встал и постучал председательским молотком. По плану этим подавался знак оркестру, упрятанному на галерею второго этажа, сыграть «Ха-Тиква». Что-то не сработало, и музыка так и не раздалась. Но мы все поднялись со своих мест и спели наш национальный гимн. Тогда Бен-Гурион откашлялся и негромко сказал: «Сейчас я прочту Декларацию Независимости». Чтение заняло всего четверть часа. Он читал медленно, очень внятно, и помню, как изменился и слегка усилился его голос, когда он дошел до одиннадцатого параграфа:

«На этом основании мы, члены Национального Совета, представители еврейского населения Эрец-Исраэль и сионистского движения, собрались в день истечения британского мандата на Эрец-Исраэль и в силу нашего естественного и исторического права и на основании решения Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций настоящим про-

возглашаем создание еврейского государства в Эрец-Исраэль — Государства Израиль».

Государство Израиль! Глаза мои наполнились слезами, руки дрожали. Мы добились. Мы сделали еврейское государство реальностью, — и я, Голда Мабович-Меерсон, дожила до этого дня. Что бы ни случилось, какую бы цену ни пришлось за это заплатить, мы воссоздали Еврейскую Родину. Долгое изгнание кончилось. Отныне мы будем жить в стране своих отцов не потому, что нас соглашаются терпеть; теперь мы — такая же нация, как другие, и, впервые за двадцать веков, мы — хозяева своей судьбы. Мечта осуществилась — слишком поздно для спасения погибших при Катастрофе, но не слишком поздно для грядущих поколений. Пятьдесят лет назад, после Первого сионистского конгресса в Базеле, Теодор Герцль записал в дневнике: «В Базеле я основал еврейское государство. Если бы я сказал это сегодня — это было бы встречено общим смехом. Может быть, через пять лет — и без всякого сомнения, через пятьдесят — это увидят все». Так оно и произошло.

Пока Бен-Гурион читал, я опять думала о своих детях, и о детях, которые у них родятся, — как непохожа их жизнь будет на мою, и как теперь изменится моя собственная жизнь; я думала о своих коллегах в осажденном Иерусалиме, которые сейчас, собравшись в помещении Еврейского Агентства, слушают торжественное заседание по радио, а я, по чистой случайности, нахожусь в музее. И я почувствовала, что большей привилегии, чем у меня в этот день, не было ни у одного еврея на земле.

Вдруг, словно по сигналу, мы все поднялись со своих мест, плача и аплодируя: Бен-Гурион сорвавшимся (впервые за все время) голосом прочитал: «Государство Израиль будет открыто для репатриации и объединения в нем всех рассеянных по свету

евреев». В этих словах билось самое сердце Декларации, в них была выражена и причина, и смысл создания государства. Я плакала в голос, услышав, как эти слова прозвучали в жарком, переполненном зале. Но Бен-Гурион опять постучал молотком, призывая к порядку, и продолжал:

«Призываем сынов арабского народа, проживающих в Государстве Израиль, — даже в эти дни кровавой агрессии, развязанной против нас много месяцев тому назад, — блюсти мир и участвовать в строительстве Государства на основе полного гражданского равноправия и соответствующего представительства во всех его учреждениях, временных и постоянных».

И далее:

«Протягиваем руку мира и предлагаем добрососедские отношения всем соседним государствам и их народам и призываем их к сотрудничеству с еврейским народом, обретшим независимость в своей стране. Государство Израиль готово внести свою лепту в общее дело развития всего Ближнего Востока».

Когда он прочел все 979 ивритских слов, из которых состояла Декларация, он попросил всех встать и «принять акт, устанавливающий создание еврейского государства», так что все мы поднялись еще раз. И тогда произошло нечто очень трогательное и непредвиденное. Рабби Фишман-Маймон встав, дрожащим голосом произнес традиционную еврейскую молитву-благодарение: «Благословлен Ты, Господь Бог наш, Царь вселенной, сохранивший нас в живых и давший нам все претерпеть и дожить до этого дня. Аминь». Часто мне приходилось слышать эту молитву, но никогда она не звучала для меня так, как звучала в тот день.

Но перед тем, как все мы, в алфавитном порядке, стали подходить и подписывать Декларацию, надо

было покончить еще с одним делом, требовавшим нашего внимания: Бен-Гурион прочел первые декреты нового государства. «Белая книга» объявлялась недействительной и отменялась, остальные же распоряжения и правила мандатного правительства, во избежание законодательного вакуума, подтверждались и объявлялись временно действующими. После этого началась церемония подписания Декларации. Когда пришла моя очередь, я заметила Аду Голомб, стоявшую неподалеку. Мне хотелось подойти к ней, обнять, сказать, что я знаю, что вместо меня здесь должны были бы быть Элияху и Дов, но я не могла задерживать движение очереди и потому прямо подошла к столу, за которым сидели Бен-Гурион и Шарет; между ними лежала Декларация. Я плакала открыто, даже не утирая слез. Шарет подвинул ко мне Декларацию, а Давид Пинкас, член религиозной партии Мизрахи, стал меня успокаивать. «Почему ты так плачешь, Голда?» — спросил он.

«Потому что сердце мое разрывается при мысли о тех, кто должен был бы тут быть и кого здесь нет», — ответила я, не переставая плакать.

14 мая Декларацию Независимости подписали только двадцать пять членов Народного Совета. Одиннадцать были в Иерусалиме и один — в Штатах. Последним в тот день подписался Моше Шарет. В сравнении со мной он казался совершенно спокойным и ровным, словно исполнял свои обычные обязанности. Потом, когда мы говорили об этом дне, он сказал, что ему почудилось: он стоит на скале, а вокруг бушует буря, и удержаться не за что — только и было у него, что твердое решение не быть сброшенным в бушующее море. Но ничего этого нельзя было угадать по его лицу.

Палестинский филармонический оркестр сыграл «Ха-Тиква». Бен-Гурион в третий раз постучал своим молотком. «Государство Израиль создано. Засе-

дание окончено». Мы пожимали друг другу руки, обнимались. Церемония окончилась. Израиль стал реальностью.

Как и следовало ожидать, вечер не принес нам успокоения. Я сидела у себя в гостинице и беседовала с друзьями. Открыли бутылку вина и выпили за наше государство. Некоторые из гостей и молодые солдаты Хаганы, охранявшие их, стали петь и плясать, с улицы тоже доносились песни и взрывы смеха. Но мы знали, что ровно в полночь мандат окончится, британский верховный комиссар отплывет на корабле, последние британские солдаты тоже покинут Палестину, и мы не сомневались, что арабские армии перейдут границы государства, которое мы только что основали. Да, мы теперь независимы, но через несколько часов у нас начнется война. Я не только не была весела — я испытывала страх, а другое — не иметь веры, а я была уверена, что хотя еврейское население нового государства и составляет всего 650 тысяч, мы уже росли в него, и никто никогда не сможет опять нас рассеять или переместить.

Но, кажется, я только на следующий день осознала, чем было чревато торжественное заседание в тель-авивском музее. Три как бы не зависевших друг от друга, но в действительности тесно связанных события с предельной ясностью дали мне понять, что все бесповоротно изменилось и для меня, и для еврейского народа, и для Ближнего Востока. Начать с того, что в субботу перед рассветом я увидела в окне фактическое начало Войны за Независимость: четыре египетских «Спитфайра» прожужжали над городом, направляясь бомбить тель-авивскую электростанцию и аэропорт — это был самый первый воздушный налет. Затем, несколько позже, я увидела, как в тель-авивский порт свободно и гордо вошел корабль с еврейскими репатриантами — уже не

«нелегальными». Больше никто не охотился за ними, не гнал их, не наказывал за то, что они приехали домой. Постыдная эра «сертификатов» и счета человеческого поголовья окончилась, и когда я, не прячась от солнца, смотрела на этот корабль (старое греческое судно «СС Тети), я почувствовала, что никакая цена за это не может быть слишком высока. Первый легальный иммигрант, высадившийся на землю государства Израиль, был усталый, бедно одетый старый человек по имени Сэмюэль Бранд, узник Бухенвальда. В руке он держал скомканный клочок бумаги, на котором стояло: «Дано право поселиться в Израиле». Но бумага была подписана «Отделом иммиграции» государства Израиль» — и это была первая выданная нами виза.

И третье событие — прекрасная минута нашего формального вступления в семью наций. 14 мая, через несколько минут после полуночи, мой телефон зазвонил. Он звонил весь вечер; подбегая, я готова была к дурным известиям. Ликующий голос прокричал: «Голда? Ты слушаешь? Трумэн признал нас!» Не помню, что я ответила, что я сделала, но хорошо помню свои чувства. То, что случилось в минуту нашей наибольшей уязвимости, накануне вторжения, показалось мне чудом; я почувствовала облегчение, сердце мое переполнилось радостью. Весь Израиль испытывал эти же чувства, но мне кажется, что для меня то, что сделал президент Трумэн, значило больше, чем для моих коллег, потому что я была «американка» среди них, я больше всех знала о Соединенных Штатах, об их истории, их людях — ведь только я выросла в этой великой демократической стране. И хотя быстрота признания удивила меня не меньше, чем всех прочих, великодушные и добрые побуждения, стоявшие за этим действием, ничуть меня не изумили. Теперь я думаю, что, как и большинство чудес, это чудо было вызвано двумя очень простыми

вещами: во-первых, Гарри Трумэн понимал и уважал наше стремление к независимости, потому что такой человек, как он, при других обстоятельствах сам мог бы стать одним из нас; во-вторых, Хаим Вейцман, которого он принимал в Вашингтоне, так объяснил ему ситуацию и так защищал перед ним наше дело, как никто еще в Белом доме этого не делал — и произвел на него большое впечатление. То, что совершил Вейцман, — бесценно. Признание Америки стало для нас величайшим событием этой ночи.

Признание Советского Союза, последовавшее за американским, имело другие корни. Теперь я не сомневаюсь, что для Советов основным было изгнание Англии с Ближнего Востока. Но осенью 1947 года, когда происходили дебаты в Объединенных Нациях, мне казалось, что советский блок поддерживает нас еще и потому, что русские сами оплатили свою победу страшной ценой, и потому, глубоко сочувствуя евреям, так тяжело пострадавшим от нацистов, понимают, что они заслужили свое государство. Как бы радикально ни изменилось советское отношение к нам за последующие двадцать пять лет, я не могу забыть картину, которая представлялась мне тогда. Кто знает, устояли бы мы, если бы не оружие и боеприпасы, которые мы смогли закупить в Чехословакии и транспортировать через Югославию и другие балканские страны в черные дни начала войны, пока положение не переменялось в июне 1948 года? В первые шесть недель войны мы очень полагались на снаряды, пулеметы и пули, которые Хагане удалось закупить в Восточной Европе, тогда как даже Америка объявила эмбарго на отправку оружия на Ближний Восток, хотя, разумеется, мы полагались не только на это. Нельзя зачеркивать прошлое оттого, что настоящее на него непохоже, и факт остается фактом: несмотря на то, что Совет-

ский Союз впоследствии так яростно обратился против нас, советское признание Израиля 18 мая имело для нас огромное значение. Это значило, что впервые после Второй мировой войны две величайшие державы пришли к согласию в вопросе о поддержке еврейского государства, и мы, хоть и находились в смертельной опасности, по крайней мере, знали, что мы не одни. Из этого сознания — да и из суровой необходимости — мы почерпнули ту, если не материальную, то нравственную силу, которая и привела нас к победе.

Позвольте мне добавить, раз уж я об этом говорю, — что второй страной, признавшей Израиль в день его рождения, была маленькая Гватемала, чей представитель в Объединенных Нациях, Хорхе Гарсиа Гранадос, был одним из активнейших членов Специальной комиссии по Палестине.

Итак, наше государство уже приняли как факт. Оставался один вопрос — который, как это ни невероятно, останется в силе и теперь — как мы сможем выжить. Не «сможем ли мы», но «как». Утром 15 мая Израиль был атакован с трех сторон: Египтом с юга, Сирией и Ливаном — с севера и северо-востока, Иорданией и Ираком — с востока. По газетам складывалось представление, что арабская похвальба уничтожить Израиль за десять дней имеет, возможно, некоторое основание.

Самым серьезным было наступление Египта, хотя в смысле какой бы то ни было выгоды оно сулило ему меньше, чем остальным. У Абдаллы было объяснение, хоть и дурное, и он мог его сформулировать: он хотел всю страну и, в особенности, Иерусалим. Причины для войны были и у Сирии с Ливаном: они рассчитывали разделить между собой Галилею. Ирак желал принять участие в кровопускании и, в качестве дополнительной выгоды, приобрести выход к Средиземному морю, если будет необходимо — че-



рез Иорданию. Но у Египта не было никаких военных целей — только разграбить и разрушить все созданное евреями. Вообще, меня всегда поражало, что арабы так стремились к войне против нас. Почти с самого начала, с первых сионистских поселений и до сегодняшнего дня их сжигает ненависть к нам.

С другой стороны — чем мы когда-либо угрожали арабским государствам? Правда, мы не становились в очередь, чтобы поскорее возвращать территории, выигранные в затеянных ими войнах, но арабская агрессия затевалась вовсе не ради территорий, и, уж конечно, не потребность в территориях толкнула Египет на север в 1948 году, чтобы разрушить Тель-Авив и еврейский Иерусалим. Тогда что же? Иррациональное всепобеждающее стремление физически нас уничтожить? Страх, что мы принесем прогресс на Ближний Восток? Отвращение к западной цивилизации? Кто знает. Что бы это ни было, оно не перестает существовать, — но и мы тоже, — и решение, вероятно, нескоро еще будет найдено, хотя я не сомневаюсь, что придет время, когда арабские государства нас признают и примут. Коротко говоря, мир зависит — и всегда зависел — лишь от одного условия: арабские лидеры должны согласиться с нашим присутствием.

Но в 1948 году было ясно, что арабские государства, как всегда увлекаемые игрой воображения, в своих мечтах за несколько дней проносятся как буря по территории, ставшей ныне Израилем. Прежде всего, войну начали они, что давало им важные тактические преимущества. Во-вторых, у них был легкий, чтобы не сказать — незатруднительный, доступ в Палестину с ее арабским населением, которое долгие годы натравливалось на евреев. В-третьих, у арабов не было проблем передвижения из одной части страны в другую. В-четвертых, арабы контролировали почти все высотные районы Палестины, отку-

да было нетрудно атаковать наши поселения, расположенные в низинах. Наконец, у арабов было абсолютное преимущество в людях и вооружении, причем они разными путями получали прямую и косвенную помощь от англичан.

А что было у нас? Всего понемножку — но и это будет преувеличением. Несколько тысяч винтовок, несколько сот пулеметов, еще кое-какое огнестрельное оружие, но на 14 мая 1948 года — ни одной пушки, ни одного танка, хотя, правда, целых девять самолетов (но только один из них двухмоторный). Благодаря изумленному предвидению Бен-Гуриона, за границей было закуплено оборудование для производства вооружения, но до ухода англичан его нельзя было ввезти в страну, а его еще предстояло собрать и пустить в ход. Судя по статистике, с кадрами офицеров и солдат дело тоже обстояло неблестяще. 45000 мужчин, женщин и подростков в Хагане, несколько тысяч членов в подпольных дисидентских организациях и несколько сот вновь прибывших, прошедших какое-то подобие военного обучения (с деревянными винтовками и игрушечными пулями) в германских лагерях для перемещенных лиц, в кипрских лагерях и в стране, после объявления независимости; еще несколько тысяч еврейских и нееврейских добровольцев из-за границы. Вот и все. Но мы не могли позволить себе роскошь пессимизма, поэтому мы строили совершенно другие расчеты, базировавшиеся на том, что у всех нас — у всех 650000 — была такая сильная воля к жизни, которая даже и не могла быть понята за пределами Израиля; если мы не хотели, чтобы нас столкнули в море, нам оставалось только победить. И поэтому мы победили. Не легко, не быстро и не малой ценой. С того дня, как в Объединенных Нациях была принята резолюция о разделе Палестины (29 ноября 1947 года) и до подписания первого перемирия между Израи-

лем и Египтом (24 февраля 1949 года), было убито 6000 молодых израильтян — 1 % всего населения, и, хотя мы еще не могли этого знать, даже ценой всех этих жизней мы не купили мира.

Трудно выразить, как тяжело было мне покидать страну в момент, когда только что было провозглашено государство. Меньше всего на свете хотелось мне тогда ехать за границу. Но 16 мая пришла телеграмма от Генри Монтора, вице-президента организации Юнайтед Джуиш Аппил (Объединенный Еврейский Призыв). Американское еврейство, говорилось там, глубоко тронуты тем, что произошло. Если я приеду сейчас, даже на небольшой тур, то, по его мнению, мы сможем собрать еще 50 миллионов долларов. Мне ли было не знать, что значат эти деньги для Израиля, как отчаянно мы нуждаемся в оружии, которое на эти деньги можно будет купить, как дорого будет стоить перевозка и устройство 30000 евреев, запертых на Кипре и так долго ожидавших отправки в Израиль! При одной мысли — оторваться от Израиля сейчас — у меня падало сердце, но выбора не было. Обсудив все с Бен-Гурионом, я тотчас телеграфировала, что вылету первым же самолетом. К счастью, готовиться к поездке не приходилось. Вся моя незатейливая одежда была в Иерусалиме, недоступном как луна, так что багаж мой состоял из зубной щетки, щетки для волос и чистой блузки; правда в Нью-Йорке я обнаружила, что покрывало, которое я носила в Аммане, все еще лежало у меня в сумке. Мне удалось немного поговорить с Саррой и сообщить ей, что я вернусь самое большее через месяц, — а также получить наскоро изготовленный пропуск (лессепассэ), первый выездной документ, выданный государством Израиль своему гражданину. После этого на первом же самолете я улетела.

В Штатах меня приветствовали так, как если бы

я была живым воплощением Израиля. Снова и снова я рассказывала, как было провозглашено государство, как началась война, как происходит осада Иерусалима — и снова, и снова заверяла евреев Америки, что с их помощью Израиль выстоит. Я выступала в разных городах Америки, на завтраках, обедах и чаепитиях Объединенного еврейского призыва, на встречах в частных домах. Когда меня смаривала усталость — а это бывало нередко, — мне стоило вспомнить, что я выступаю как посланец еврейского государства, и усталость моя испарялась бесследно. Понадобились недели, чтобы я привыкла к звуку слова «Израиль» и к тому, что теперь у меня новое подданство. Но цель моей поездки была отнюдь не сентиментальная. Я приехала, чтобы собрать деньги, как можно больше, как можно скорее, и говорила об этом в мае так же недвусмысленно, как несколько месяцев назад, в январе.

*«Государство Израиль не может прожить на аплодисменты, — сказала я евреям Америки. — Войну не выиграешь речами, декларациями и даже слезами радости. И главное — это время, а то аплодировать будет нечему».*

*«Мы не можем обойтись без вашей помощи, — повторяла я в десятках публичных выступлений и в частных разговорах. — Мы просим вас разделить нашу ответственность и все, что входит в это понятие — трудности, проблемы, беды и радости. Ведь то, что происходит в еврейском мире сейчас, так серьезно, так жизненно важно, что и вы можете изменить свой образ жизни — на год, на два, на три — пока мы все вместе не поставим Израиль на ноги. Решайтесь же и дайте мне ответ».*

Ответ был дан — невиданно щедрый и скорый, от всего сердца, от всей души. Считалось, что тут не

может быть «слишком много» или «слишком хорошо». И, ответив таким образом, они, как я и надеялась, подтвердили, что они наши партнеры. И хотя в это время еще не было отдельного счета для Израиля, и хотя Израилю досталось менее 50% собранных ОЕП в 1948 году 150 миллионов — остальное было передано Джойнту для помощи евреям в Европе, — эти 50% бесспорно помогли нам выиграть войну. А кроме того, мы узнали, что американское еврейство вовлечено в дела Израиля настолько, что мы вправе на него рассчитывать в дальнейшем.

Во время своей поездки я познакомилась с людьми, позднее ставшими «пропагандистами» Израиля; до 1948 года они не имели особых связей с сионизмом, но теперь Израилю предстояло стать делом их жизни. Когда в 1950 году мы основали организацию займа Израилю, они были моими ближайшими помощниками. Раньше я приезжала в Соединенные Штаты как посланец Гистадрута и почти все время проводила среди сионистов — членов рабочей партии. Теперь же я познакомилась с другими американскими евреями — богатыми, очень деловитыми, полностью преданными делу. Прежде всего назову самого Генри Монтора; резкий, одаренный, одержимый Израилем, он стал чем-то вроде надсмотрщика, беспощадно подгонявшим и себя, и других в попытках сбора новых и новых средств. Но были и жесткие бизнесмены, опытные капиталисты, как Билл Розенвальд, Сэм Ротберг, Лу Бойер, Хэролд Голденберг. Это лишь немногие из тех, с кем я сумела поговорить во время своего стремительного тура и обсудить возможности продажи облигаций займа для Израиля, помимо призывов к филантропии.

Но все время я стремилась домой, хотя и знала, что только что созданное министерство иностранных дел имеет на меня другие планы. За день до моего отъезда мы встретились с Шаретом в гости-

нице, где я жила; он говорил, что трудно набрать людей для посольств и консульств Израиля в странах, которые уже его признали или признают в ближайшие недели.

— У меня никого нет для Москвы, — говорил он, очень озабоченный.

— Ну, слава Богу, этого ты мне предложить не можешь! — сказала я. — Я-то русского языка почти не знаю.

— Собственно говоря, это не имеет значения, — ответил он.

Но он не развивал эту тему, а я постаралась принять это все как шутку. И хоть иногда вспоминала наш разговор в самолетах между американскими городами, но искренно надеялась, что Шарет о нем забыл.

Но однажды из Тель-Авива пришла телеграмма. Я сперва взглянула на подпись — не о Сарре ли это или о Менахеме, уже участвующем в боях со своей бригадой. Но увидев подпись Моше, я поняла, что речь идет о Москве, и мне пришлось взять себя в руки, чтобы прочесть текст телеграммы. Государству не было и месяца. Война не кончилась. Дети не были в безопасности. В Израиле у меня была семья, близкие друзья — мне казалось очень несправедливым, что меня опять просят срочно собраться и отправиться к такому далекому и незнакомому месту назначения. «Почему всегда я?» — пожалела я себя. Многие могли справиться с таким постом не хуже, чем я, и даже лучше. Подумать только — Россия, откуда я уехала маленькой девочкой, которая не оставила у меня ни одного приятного воспоминания! В Америке я занималась реальным, конкретным и практическим делом, а что я знаю о дипломатии? Меньше, чем любой из моих товарищей. Но я понимала, что Шарет заручился согласием Бен-Гуриона, а уж Бен-Гуриона не смягчишь никакими личными

просьбами. К тому же это был вопрос дисциплины. Кто я такая, чтобы послушаться или скромничать, когда ежедневно приходят сообщения о новых потерях? Долг есть долг, и справедливость тут ни при чем. Мне хочется жить в Израиле — ну и что? Другим людям хотелось, чтобы их дети были целыми и невредимыми. И я, после короткого обмена телеграммами и телефонными звонками, ответила Шарету согласием, хоть и без особого энтузиазма. Себе же я обещала: «Когда вернусь в Израиль, постараюсь убедить Моше и Бен-Гуриона, что они сделали ошибку». Но в конце первой недели июня сообщение о моем назначении послом в Москву было опубликовано.

Я взяла выходной день, чтобы повидать старых друзей в Нью-Йорке и проститься с новыми. Я хотела перед отъездом посетить Фанни и Джейкоба Гудмэнов. Ни я, ни дети никогда не теряли контакта с ними; я надеялась, что часок-другой с ними в разговорах о Сарре с Зехарией и Шейниных детях, которых они так давно не видели, поднимет мое настроение. Но я так до них и не добралась. По дороге в Бруклин на мое такси налетела другая машина, и пришла в себя с переломанной ногой, уже положенной в гипс. На ближайшие несколько недель моим адресом оказался не Тель-Авив и не Москва, а нью-йоркский хирургический госпиталь. Вспоминая свое тогдашнее настроение, я думаю, что ничто, даже начавшийся у меня тромбофлебит, не удержало бы меня в госпитале, не подоспей сообщение о том, что 11 июня сражения в Израиле временно закончились.

К 11 июня продвижение арабов было остановлено. Попытка египтян взять Тель-Авив провалилась, несмотря на то, что иорданцы все еще воевали к востоку и западу от Иерусалима, и Еврейский квартал старого города был захвачен арабским легионом Абдаллы. Сирийцы, хоть их продвижение на севере

и было остановлено, все еще удерживали предместное укрепление на реке Иордан, а иракские войска по-прежнему стояли у самой узкой части страны в Самарии. Объединенные Нации уже несколько недель старались добиться перемирия, но пока у арабов оставалась надежда сломить Израиль, они не были в этом заинтересованы. Однако, едва только им, как и нам, стало ясно, что этого не произойдет, они согласились на прекращение огня. Это было первое перемирие, длившееся двадцать восемь дней, давшее нам передышку, возможность перегруппироваться и выработать план наступательных операций, в июле закончившихся ликвидацией угрозы Тель-Авиву и прибрежной полосе, снятием осады Иерусалима и разгромом всех крупнейших арабских баз в Галилее.

Казалось бы, несмотря на боли, я могла бы отдохнуть в госпитале — физически и морально, — но я не имела ни минуты покоя. Прежде всего — из-за телевизионных камер и журналистов. В 1948 году женщина-посол в Москве была для них в новинку, но женщина-посол в Москве, да еще представлявшая крошечное воюющее государство — Израиль, да еще неподвижно лежащая в нью-йоркском госпитале, — это уже была находка. Вероятно, я могла бы отказаться давать интервью, и сегодня, в подобных обстоятельствах, я бы так и сделала. Но тогда я думала, что чем больше «паблисити», тем лучше для Израиля, и потому не считала себя вправе отвергать кого бы то ни было из представителей прессы, хотя моих близких, особенно Клару, просто пугали толпы, набивавшиеся в мою палату.

Но было нечто и похуже — давление, которое на меня оказывали, чтобы я поехала в Москву. Израиль бомбил меня телеграммами: «Когда сможешь уехать из Нью-Йорка?», «Когда сможешь заступить на свой пост?», «Как себя чувствуешь?» В Израиле



носились слухи, что у меня «дипломатическая» болезнь и все дело в том, что я не хочу ехать в Россию. И, словно мало было этого противного шепотка, были признаки того, что советское правительство задето моим промедлением, которое есть не что иное, как тактический прием, чтобы задержать обмен послами, и таким образом американский посол приедет в Израиль первым и станет главой дипломатического корпуса. Несмотря на состояние здоровья, я должна была отнестись к этому со всей серьезностью. И я начала мучить докторов, чтобы они разрешили мне выписаться из госпиталя. Надо ли говорить, что этого делать не следовало. Надо было оставаться в больнице до полной поправки. Оба министерства иностранных дел, и наше, и советское, обошлись бы еще несколько недель без меня, а я бы избежала всяких хлопот со здоровьем и еще одной операции. Но недостаток всякого служебного положения в том и заключается, что человек утрачивает меру вещей, и я была уверена, что если в ближайшее время не явлюсь в Москву, произойдет какой-нибудь ужасный кризис.

Прибыв в Израиль, я сделала еще одну попытку переубедить Шарета, но я сама уже не надеялась на успех. К тому же мне рассказали историю, поднявшую мое настроение: Эхуд Авриэль, член Хаганы, много сделавший для доставки нам оружия из Чехословакии и позже ставший первым послом Израиля в Праге, был приглашен там на беседу с советским послом. В разговоре посол сказал Авриэлю: «Вы, вероятно, ищете человека для посылки в Москву. Не думайте, что он должен свободно говорить по-русски или быть экспертом по марксизму-ленинизму. Ни то, ни другое не обязательно». Через некоторое время, как бы между прочим, он спросил: «Кстати, что с миссис Меерсон? Она остается в Израиле, или у нее другие планы?» Из этого мои

друзья, и Шарет в том числе, заключили, что русские по-своему запросили меня, — и я стала относиться к своему назначению по-другому.

Среди немногих приятных минут, пережитых мною в госпитале, была та, когда я получила из Тель-Авива телеграмму: «Не возражаешь ли против назначения Сарры и Зехарии в московское посольство радистами?» Я была растрогана и преисполнена благодарности. Иметь Сарру и Зехарию в России, рядом — для того чуть ли не стоило покинуть Израиль. Приехав в Тель-Авив, я первым делом спросила Шейну, можно ли обвенчать Сарру и Зехарию в маленьком доме, который они с Шамаем купили много лет назад. Мы решили, что это будет чисто семейное торжество с немногими приглашенными. Отец мой умер в 1946 году — еще один из самых дорогих мне людей, не дождавшийся создания государства, — а бедная мама уже несколько лет как стала совершенно беспомощной — ничего не помнила, плохо видела и так потускнела и изменилась, что почти и следов не осталось от той насмешливой, энергичной, задорной женщины, которой она была. Но Моррис был тут, такой же милый как всегда, и весь лучащийся от гордости, и тут же были родители Зехарии, тоже сияющие. Отец его явился в Палестину из Йемена, когда страной еще правили турки. Он был очень беден, очень религиозен и не получил никакого формального образования — его учили только Торе. Но он вырастил прекрасную и любящую семью — хотя сам Зехария к тому времени и отошел от йеменских обычаев и традиций.

Я опять поселилась в гостинице на набережной. Сарра, приехавшая в Тель-Авив из Ревивима, поселилась на несколько дней у меня, а Зехария, который тяжело болел и несколько недель лежал в больнице под Тель-Авивом, был, наконец, оттуда выписан. Из нашей семьи в саду Шейны, где происходила

свадьба, не было только Менахема и Клары. Конечно, я вспоминала собственную свадьбу и думала, как не похожа эта была на ту, да и начали мы с Моррисом нашу совместную жизнь в совершенно иных условиях. Не стоило думать теперь, кто был виноват и почему наш брак не удался, но я предчувствовала (и в этом не ошиблась), что Сарра и Зехария, хоть и стоят под брачным балдахином в том самом возрасте, в котором стояли когда-то мы, были зрелее и больше подходили друг другу, и то, что не удалось нам с Моррисом, удастся им.

Но в предотъездной суматохе, между партийными собраниями, последними деловыми указаниями и дорожными сборами я сосредоточенно думала: какого типа должно быть наше представительство в Советском Союзе? В каком виде мы хотим показаться за границей? Какое представление о себе хотим внушить миру и, в частности, Советскому Союзу? Что за государство мы создаем, и что нам сделать, чтобы отразить его качества? Чем больше я об этом думала, тем меньше хотела, чтобы наше правительство просто копировало другие. Израиль был мал, беден и все еще находился в состоянии войны. Правительство там все еще было временным (первые выборы в Кнессет состоялись только в январе 1949 года), но большинство в нем, разумеется, представляло рабочее движение. Я была убеждена, что мы должны показать миру свое лицо без всяких прикрас. Мы создали халуцианское государство в осажденной стране, лишенной природных и иных богатств; в это государство уже устремились сотни тысяч беженцев — у которых тоже ничего не было — в надежде для себя построить новую жизнь. И если мы хотим, чтобы нас понимали и уважали другие государства, мы и за границей должны оставаться такими же, как дома. Роскошные приемы, великолепные квартиры, всякого рода потребительство — это не для нас. Мы

можем проявлять лишь строгость, воздержанность, скромность и понимание нашего значения и задач — все остальное будет фальшью.

Какая-то смутная мысль была у меня все время, и, наконец, мне удалось ее сформулировать. Наше посольство в Москве будет управляться самым типичным израильским способом: как киббуц. Мы будем вместе работать, вместе есть, получать равное количество денег на карманные расходы и нести по очереди дежурства. Как в Мерхавии или Ревивиме, люди будут делать ту работу, которой они обучены, и для которой, по мнению нашего министерства иностранных дел, они подходили, но дух и атмосфера нашего посольства будут те же, что и в коллективном поселении; я верила, что помимо всего прочего, русским это должно было особенно понравиться (хотя их собственный коллективизм не вызывал особых восторгов ни тогда, ни потом). Всего нас должно было быть двадцать шесть человек, включая Сарру, Зехарию, меня и советника посольства Мордехая Намира, вдовца с пятнадцатилетней дочерью по имени Яэль. (Потом Намир стал послом Израиля в СССР, затем он был министром труда, а позже, в течение десяти лет — мэром Тель-Авива.) В личные помощницы для себя я выбрала Эйгу Шапиро, которая не только говорила по-русски, но и знала куда больше меня об изящной стороне жизни и которой смело можно было поручить решение страшного для меня вопроса — как обставить помещение и как одеть персонал посольства.

Еще до приезда в Тель-Авив я написала Эйге письмо и просьбой поехать со мной, если я в самом деле отправлюсь в Москву, и, к моей большой радости, она согласилась немедленно. Передо мной лежит записка, которую я от нее получила в конце июня в Нью-Йорке и, по-моему, из нее видно, что надо было предусматривать, посылая на высший

дипломатический пост женщину, особенно такую, как я, не сомневавшуюся, что в России она сможет жить как дома. Она писала:

«Я поговорила с Эхудом. Он говорит, что мы должны быть очень *«comme il faut»*. Так что, Голда, пожалуйста — как насчет мехового пальто для вас? Там, куда вы едете, очень холодно, и зимой там очень многие носят шубы. Норку покупать необязательно, но хорошая персидская цигейка очень пригодится... Вам понадобится несколько вечерних платьев, и еще купите себе всякие шерстяные вещи, ночные рубашки, чулки, белье. И еще, пожалуйста, купите пару хороших зимних ботинок».

Конечно, вопрос туалетов не слишком меня занимал, но тут я пожалела немножко, что у нас нет национального костюма — это бы, по крайней мере, разрешило для меня хоть одну проблему, как для миссис Пандит, которая тоже была дипломатом в Москве, и, разумеется, на всех официальных приемах появлялась в сари. В конце концов мы с Эйгой согласились, что на вручении верительных грамот я буду в длинном черном платье, которое мне сшили в Тель-Авиве, и, если надо, надену на голову маленькую черную бархатную шляпу-тюрбан. Обстановку для посольства Эйга решила покупать в скандинавских странах, как только мы найдем постоянное помещение. В ожидании этого мы устроили свой «киббуц» в гостинице. Кроме всего, надо было найти и привезти в Россию кого-нибудь, в совершенстве владеющего французским языком, поскольку было принято решение, что дипломатическим языком Израйля станет французский. Эйга познакомила меня с умной, забавной, тоненькой, как былинка, Лу Каддар; она родилась в Париже, ее французский был безупречен, она прожила в Иерусалиме все время осады и была тяжело ранена. Она понравилась мне с первого взгляда — и это было очень хорошо, пото-

му что на долгие годы она стала моим ближайшим другом, незаменимой помощницей и почти настоящей спутницей в поездках. Как бы то ни было, она согласилась отправиться с нами в Россию.

Я пробыла в Израиле в то лето достаточно долго, чтобы приветствовать первого посла Соединенных Штатов, восхитительно-искреннего и теплого человека — Джеймса Дж. Макдональда, с которым уже была знакома прежде, и русского посла — Павла Ершова. Государство было новое, подходящих зданий не хватало и — типичная черта этого времени — американское и советское посольство расположились в Тель-Авиве в одном и том же отеле, недалеко от меня; я так и не привыкла к виду обоих этих флагов — со звездами и полосами, и с серпом и молотом, — развивавшихся с разных сторон одной и той же крыши. За первые недели этого «сосуществования» произошло немало инцидентов. Например, во время гала-представления в Израильской Национальной опере оркестр сыграл сначала «Ха-Тиква», потом, в честь Макдональда — «Звездно-полосатый флаг», но «Интернационал» так и не сыграл, хотя советник Ершова тут присутствовал — во всяком случае до той минуты, когда он и сопровождавшие его довольно шумно удалились.

В министерстве иностранных дел все трепетали, пока Ершов лично не дал согласие принять наше объяснение, что если бы он сам присутствовал, то, конечно, был бы исполнен советский гимн. Сегодня эти мелкие несчастья кажутся смехотворными, но тогда мы относились к этому очень серьезно. Все казалось нам важным, а Шарет, от природы щепетильно-точный, считал — как, кстати, и русские, — что протокол имеет огромное значение, хотя я никогда не могла понять, почему.

Второе перемирие началось 19 июля, открыв собой длинную и трудную череду переговоров по

поводу Негева, который, по рекомендации посредника ООН, шведского графа Фольке Бернадота, следовало передать арабам. Учитывая, что он был судьей в этом вопросе, надо признать, что он проявил крайнюю необъективность, и его очень невзлюбили, особенно же когда к нанесенной обиде он прибавил еще и оскорбление, выступив за отрыв Иерусалима от еврейского государства и передачу израильских портов и аэродромов под наблюдение ООН. Конечно же, эти рекомендации были неприемлемы и доказывали только, что Бернадот так никогда и не понял, ради чего было создано еврейское государство. Но тупость — еще не преступление, и я буквально пришла в ужас 17 сентября, всего через две недели после приезда в Москву, узнав, что Бернадота застрелили на тихой улице Иерусалима. И хотя напавшие на него люди так и не были найдены, мы знали: все решат, что это сделали евреи. Мне казалось, что наступил конец света. Чего бы я только не дала за то, чтобы полететь домой и быть там во время неминуемого кризиса! Но в это время я уже была глубоко вовлечена в совершенно новый и не дававший спуска образ жизни.



## ПОСЛАННИК В МОСКВЕ

**М**ы прибыли в Москву через Прагу серым дождливым утром 3 сентября 1948 года. Первым делом чиновники советского министерства иностранных дел, встретившие меня на аэродроме, сказали, что сейчас добраться до гостиницы будет непросто, поскольку хоронят Андрея Жданова, одного из ближайших сотрудников Сталина. Поэтому первым моим впечатлением от Советского Союза были продолжительность и торжественность этих похорон и сотни тысяч — а то и миллионы — людей на улицах по дороге к гостинице «Метрополь». Это была гостиница для иностранцев, и она казалась пережитком другой эпохи. Огромные комнаты со стеклянными подсвечниками, длинные бархатные занавеси, тяжелые плюшевые кресла и даже рояль в одной из комнат. На каждом этаже сидела строгая немолодая дама, которой полагалось сдавать ключи при выходе, но, по-видимому, главное ее дело было доносить госбезопасности о посетителях, хотя вряд ли она была единственным источником информации. Мы так и не обнаружили микрофонов в своих комнатах, хотя систематически их искали, и старые аккредитованные в Москве дипломаты не сомневались, что каждое слово, сказанное в двух комнатах, которые мы занимали с Саррой и Зехарией, было записано.

Прожив в гостинице неделю, я поняла, что если мы немедленно не начнем жить «по-киббуцному», то останемся без копейки. Цены были невероятно



высоки, первый гостиничный счет меня совершенно оглушил. «У нас есть только один способ уложиться в наш тощий бюджет, — сказала я членам миссии, — столоваться в гостинице только один раз в день. Я добуду продукты для завтраков и ужинов, а в пятницу вечером будем обедать все вместе». На следующий день мы с Лу Каддар купили электроплитки и распределили их по номерам, занятым нашей делегацией; посуду и ножи с вилками пришлось одолжить в гостинице — купить это в послевоенной Москве было невозможно. Раза два в неделю мы с Лу нагружали корзинки сыром, колбасой, хлебом, маслом, яйцами (все это покупалось на базаре) и клали все это между двойными рамами окон, чтобы не испортилось. По субботам я готовила что-то вроде второго завтрака на электроплитке — для своей семьи и холостяков, в том числе Эйги и Лу.

Пожалуй, эти походы на базар ранним утром были самым приятным из всего, что мне пришлось делать в течение семи месяцев пребывания в Советском Союзе. Ни я, ни Лу не говорили по-русски, но крестьяне на базаре были с нами приветливы и терпеливы и давали понять улыбками и жестами, что мы можем не торопиться, выбирая. Я, как и почти все, была очарована вежливостью, искренностью и теплотой простых русских людей, хотя, разумеется, меня как социалистку поражало то, что я наблюдала в этом так называемом бесклассовом обществе. Я не верила своим глазам, когда, проезжая по московским улицам, при сорокаградусном морозе, увидела, как пожилые женщины, с тряпками, намотанными на ногах, роют канавы и подметают улицы, в то время как другие, в мехах и на высоких каблучках, садятся в огромные сверкающие автомобили.

С самого начала мои комнаты по пятницам были открыты для посетителей. Я надеялась, что местные люди будут, как в Израиле, заходить на чашку чая с

пирогом, но это была наивная надежда, хотя традиция пятничных вечеров сохранялась долго и после того, как я покинула Москву. Приходили журналисты, приходили евреи и неевреи из других посольств, приходили заезжие еврейские бизнесмены (например, меховщики из Штатов), но русские — никогда. И ни разу, ни разу — русские евреи. Но об этом позже.

Первым моим официальным демаршем было письмо к советскому министру иностранных дел г-ну Молотову с выражением соболезнования по поводу смерти Жданова, после чего я вручила верительные грамоты. Президент СССР Николай Шверник отсутствовал, так что церемония происходила при его заместителе. Не отрицаю, я очень нервничала. А вдруг я сделаю или скажу не то, что нужно? Это может иметь дурные последствия для Израиля. А если я разочарую русских? Мне никогда не приходилось делать ничего в этом роде и меня переполняло чувство ответственности. Но Эйга меня успокоила, уговорила надеть ее ожерелье, и я, в сопровождении Намира, Арье Левави (нашего первого секретаря) и Йоханана Ратнера (военного атташе) более или менее спокойно приняла участие в коротком ритуале, отметившем начало официального существования израильского посольства в СССР. После того, как верительные грамоты были прочитаны, я сказала короткую речь на иврите (предварительно мы послали ее начальнику советского протокольного отдела, чтобы был приготовлен перевод), а потом в мою честь состоялся скромный, довольно приятный официальный прием.

После того как с главными формальностями было покончено, мне страстно захотелось завязать связи с евреями. Я уже сказала членам миссии, что как только я вручу верительные грамоты, мы все пойдем в синагогу. Я была уверена, что уж тут-то мы во

всяком случае встретимся с евреями России; тридцать лет, с самой революции, мы были с ними разлучены и почти ничего о них не знали. Какие они? Что еврейского осталось в них, столько лет проживших при режиме, объявившем войну не только всякой религии, но и иудаизму как таковому, и считавшем сионизм преступлением, наказуемым лагерями или ссылкой? Но в то время как иврит был запрещен, идиш еще некоторое время терпели и даже была создана автономная область для евреев, говорящих на идиш, — Биробиджан, близ китайской границы. Ничего из этого не получилось, и после Второй мировой войны (в которой погибли миллионы русских евреев) советские власти постарались, чтобы большая часть еврейских школ и газет не были восстановлены. К тому времени, как мы приехали в Советский Союз, евреев уже открыто притесняли и уже начался тот злобный, направляемый правительством антисемитизм, который пышно расцвел через несколько лет, когда евреи преследовались широко и беспощадно и еврейские интеллигенты — актеры, врачи, писатели — были высланы в лагеря за «космополитизм» и «сионистский империализм». Положение сложилось трагическое: члены миссии, имевшие в России близких родственников — братьев, сестер, даже родителей, — все время терзались, не понимая, можно ли им увидеться с теми, о встрече с которыми они так мечтали, ибо если откроется, что у них есть родственники-израильтяне, это может закончиться судом и ссылкой.

Трудная это была проблема: бывало, мы несколько дней подряд взвешиваем «за» и «против» — должен ли Икс встретиться со своей сестрой, надо ли передать продукты и деньги старой больной матери Игрека — и, как правило, приходили к выводу, что это может причинить им вред и ради них же лучше не предпринимать ничего. Были, конечно, исключе-

ния, но я и сегодня не решаюсь о них написать, потому что это может быть опасно для евреев, все еще находящихся в России. Теперь весь цивилизованный мир знает, что случается с советскими гражданами, если они игнорируют извращенные правила, с помощью которых руководители стремятся их себе подчинить. Но был 1948 год, время нашей, так сказать, «первой любви», и нам было очень трудно понять и принять систему, в которой встреча матери с сыном, которого она не видела тридцать лет, да который, к тому же, член дипломатического корпуса и «персона грата» в Советском Союзе, приравнивается к государственному преступлению.

Как бы то ни было, в первую же субботу после вручения верительных грамот, все мы пешком отправились в главную московскую синагогу (другие две — маленькие деревянные строения); мужчины несли талесы и молитвенники. Там мы увидели сто-сто пятьдесят старых евреев, разумеется, и не подозревавших, что мы сюда явимся, хотя мы и предупредили раввина Шлифера, что надеемся посетить субботнюю службу. По обычаю, в конце службы было произнесено благословение и пожелание доброго здоровья главным членам правительства — а потом, к моему изумлению, и мне. Я сидела на женской галерее, и когда было названо мое имя, все обернулись и смотрели на меня, словно стараясь запомнить мое лицо. Никто не сказал ни слова. Все только смотрели и смотрели на меня.

После службы я подошла к раввину, представилась, и мы несколько минут поговорили. Остальные члены миссии ушли вперед, и я пошла домой одна, вспоминая субботнюю службу и тех немногих, бедно одетых, усталых людей, которые, живя в Москве, все еще ходили в синагогу. Только успела я отойти, как меня задел плечом старый человек — и я сразу поняла, что это не случайно. «Не говорите ничего, —

шепнул он на идише. — Я пойду вперед, а вы за мной». Немного не доходя до гостиницы, он вдруг остановился, повернулся ко мне лицом, и тут, на прохваченной ветром московской улице, прочел мне ту самую благодарственную молитву — «Шехехиану», ту самую, которую прочитал рабби Фишман-Маймон 14 мая в Тель-Авиве. Я не успела открыть рта, как старый еврей скрылся, и я вошла в гостиницу с полными слез глазами, еще не понимая, реальной была эта поразительная встреча или она мне пригрезилась.

Несколько дней спустя наступил праздник Рош-ха-Шана — еврейский Новый год. Мне говорили, что по большим праздникам в синагогу приходит гораздо больше народу, чем просто по субботам, и я решила, что на новогоднюю службу посольство опять явится в полном составе. Перед праздником, однако, в «Правде» появилась большая статья Ильи Эренбурга, известного советского журналиста и апологета, который сам был евреем. Если бы не Сталин, набожно писал Эренбург, то никакого еврейского государства не было бы и в помине. Но, объяснял он, «во избежание недоразумений»: государство Израиль не имеет никакого отношения к евреям Советского Союза, где нет еврейского вопроса и где в еврейском государстве нужды не ощущается. Государство Израиль необходимо для евреев капиталистических стран, где процветает антисемитизм. И вообще, не существует такого понятия — «еврейский народ». Это смешно, так же, как если бы кто-нибудь заявил, что люди с рыжими волосами или с определенной формой носа должны считаться одним народом. Эту статью прочла не только я, но и все евреи Москвы. И так же, как я, поскольку они привыкли читать между строк, они поняли, что их предупреждают: от нас надо держаться подальше. Тысячи евреев сознательно и отважно решили дать

свой ответ на это мрачное предостережение — и этот ответ, который я видела своими глазами, поразил и потряс меня в то время и вдохновляет меня и теперь. Все подробности того, что произошло в тот новогодний день, я помню так живо, как если бы это было сегодня, и волнуюсь, вспоминая, ничуть не меньше, чем тогда.

В тот день, как мы и собирались, мы отправились в синагогу. Все мы — мужчины, женщины, дети — оделись в лучшие платья, как полагается евреям на еврейские праздники. Но улица перед синагогой была неузнаваема. Она была забита народом. Тут были люди всех поколений: и офицеры Красной армии, и солдаты, и подростки, и младенцы на руках у родителей. Обычно по праздникам в синагогу приходило примерно сто-двести человек — тут же нас ожидала пятидесятитысячная толпа. В первую минуту я не могла понять, что происходит, и даже — кто они такие. Но потом я поняла. Они пришли — добрые, храбрые евреи — пришли, чтобы быть с нами, пришли продемонстрировать свое чувство принадлежности и отпраздновать создание государства Израиль. Через несколько секунд они обступили меня, чуть не раздавили, чуть не подняли на руках, снова и снова называя меня по имени. Наконец, они расступились, чтобы я могла войти в синагогу, но и там продолжалась демонстрация. То и дело кто-нибудь на галерее для женщин подходил ко мне, касался моей руки, трогал или даже целовал мое платье. Без парадов, без речей, фактически — без слов евреи Москвы выразили свое глубокое стремление, свою потребность — участвовать в чуде создания еврейского государства, и я была для них символом этого государства.

Я не могла ни говорить, ни улыбнуться, ни даже помахать рукой. Я сидела неподвижно, как каменная, под тысячами устремленных на меня взглядов.

Нет такого понятия — еврейский народ! — написал Эренбург. Евреям Советского Союза нет дела до государства Израиль! Но это предостережение не нашло отклика. Тридцать лет были разлучены мы с ними. Теперь мы снова были вместе, и, глядя на них, я понимала, что никакие самые страшные угрозы не помешают восторженным людям, которые в этот день были в синагоге, объяснить нам по-своему, что для них значит Израиль. Служба закончилась, и я поднялась, чтобы уйти, — но двигаться мне было трудно. Такой океан любви обрушился на меня, что мне стало трудно дышать; думаю, что я была на грани обморока. А толпа все волновалась вокруг меня, и люди протягивали руки и говорили «наша Голда» и «шалом, шалом», и плакали.

Две фигуры из всех я и теперь вижу ясно: маленького человека, все выскакивавшего вперед со словами: «Голделе, лебн золст ду, Шана това» (Голделе, живи и здравствуй, с Новым годом!) и женщину, которая только повторяла: «Голделе! Голделе!», улыбаясь и посылая воздушные поцелуи.

Я не могла бы дойти пешком до гостиницы, так что, несмотря на запрет евреям ездить по субботам и праздникам, кто-то втолкнул меня в такси. Но такси тоже не могло сдвинуться с места — его поглотила толпа ликующих, смеющихся, плачущих евреев. Мне хотелось хоть что-нибудь сказать этим людям, чтобы они простили мне нежелание ехать в Москву, недооценку силы наших связей. Простили мне то, что я позволила себе сомневаться — есть ли что-нибудь общее между нами. Но я не могла найти слов. Только и сумела я пробормотать, не своим голосом, одну фразу на идиш: «А данк айх вос ир зайт геблибен иден!» («Спасибо вам, что вы остались евреями!») И я услышала, как эту жалкую, не подходящую к случаю фразу передают и повторяют в толпе, словно чудесное пророчество. Наконец, еще через

несколько минут, они дали такси уехать. В гостинице все собрались в моей комнате. Мы были потрясены до глубины души. Никто не сказал ни слова. Мы просто сидели и молчали. Откровение было для нас слишком огромным, чтобы мы могли это обсуждать, но нам надо было быть вместе. Эйга, Лу и Сарра рыдали навзрыд, несколько мужчин закрыли лицо руками. Но я даже плакать не могла. Я сидела с помертвевшим лицом, уставившись в одну точку. И вот так, взволнованные до немоты, мы провели несколько часов. Не могу сказать, что тогда я почувствовала уверенность, что через двадцать лет я увижу многих из этих евреев в Израиле. Но я поняла одно: Советскому Союзу не удалось сломить их дух; тут Россия, со всем своим могуществом, потерпела поражение. Евреи остались евреями.

Кто-то сфотографировал эту новогоднюю толпу — наверное, фотография была размножена в тысячах экземпляров, потому что потом незнакомые люди на улице шептали мне еле слышно (я сначала не понимала, что они говорят); «У нас есть фото!» Ну, конечно, я понимала, что они бы излили свою любовь и гордость даже перед обыкновенной шваброй, если бы швабра была прислана представлять Израиль. И все-таки я каждый раз бывала растрогана, когда много лет спустя русские иммигранты показывали мне эту пожелтевшую от времени фотографию, или ту, где я вручаю верительные грамоты — она появилась в 48-м году в советской печати и ее тоже любовно сохраняли два десятилетия.

В Иом-Киппур (Судный день), который наступает через десять дней после еврейского Нового года, тысячи евреев опять окружили синагогу — и на этот раз я оставалась с ними весь день. Помню, как раввин прочитал заключительные слова службы: «Лешана ха баа б'Ирушалаим» («В будущем году в Иерусалиме») и как трепет прошел по синагоге, и я помо-



лилась про себя: «Господи, пусть это случится! Пусть не в будущем году, но пусть евреи России приедут к нам поскорее!» Но и тогда я не ожидала, что это случится при моей жизни.

Некоторое время спустя я удостоилась чести встретиться с господином Эренбургом. Один из иностранных корреспондентов в Москве, англичанин, заглядывавший к нам по пятницам, спросил, не хочу ли я встретиться с Эренбургом. «Пожалуй, хочу, — сказала я, — мне бы хотелось кое о чем с ним поговорить», «Я это устрою», — обещал англичанин. Но обещание так и осталось обещанием. Несколько недель спустя, на праздновании Дня независимости в чешском посольстве он ко мне подошел. «Г-н Эренбург здесь, — сказал он, — подвести его к вам?» Эренбург был совершенно пьян — как мне сказали, такое с ним бывало нередко — и с самого начала держался агрессивно. Он обратился ко мне по-русски.

— Я, к сожалению, не говорю по-русски, — сказала я. — А вы говорите по-английски?

Он смерил меня взглядом и ответил: «Ненавижу евреев, родившихся в России, которые говорят по-английски».

— А я, — сказала я, — жалею евреев, которые не говорят на иврите или хоть на идиш.

Конечно, люди это слышали и не думаю, чтобы это подняло их уважение к Эренбургу.

Гораздо более интересная и приятная встреча произошла у меня на приеме у Молотова по случаю годовщины русской революции, на который всегда приглашаются все аккредитованные в Москве дипломаты. Послов принимал сам министр иностранных дел в отдельной комнате. После того, как я пожала руку Молотову, ко мне подошла его жена Полина. «Я так рада, что вижу вас наконец!» — сказала она с неподдельной теплотой, даже с волнением. И прибавила: «Я ведь говорю на идиш, знаете?»

— Вы еврейка? — спросила я с некоторым удивлением.

— Да! — ответила она на идиш. — Их бин а идише тохтер (я — дочь еврейского народа).

Мы беседовали довольно долго. Она знала, что произошло в синагоге, и сказала, как хорошо было, что мы туда пошли. «Евреи так хотели вас увидеть», — сказала она. Потом мы коснулись вопроса о Негеве, обсуждавшегося тогда в Объединенных Нациях. Я заметила, что не могу отдать его, потому что там живет моя дочь, и добавила, что Сарра находится со мной в Москве. «Я должна с ней познакомиться», — сказала госпожа Молотова. Тогда я представила ей Сарру и Яэль Намир; она стала говорить с ними об Израиле и задала Сарре множество вопросов о киббуцах — кто там живет, как они управляются. Она говорила с ними на идиш и пришла в восторг, когда Сарра ответила ей на том же языке. Когда Сарра объяснила, что в Ревивим все общее и что частной собственности нет, госпожа Молотова заметно смутилась. «Это неправильно, — сказала она. — Люди не любят делиться всем. Даже Сталин против этого. Вам следовало бы ознакомиться с тем, что он об этом думает и пишет». Прежде чем вернуться к другим гостям, она обняла Сарру и сказала со слезами на глазах: «Всего вам хорошего. Если у вас все будет хорошо, все будет хорошо у всех евреев в мире».

Больше я никогда не видела госпожу Молотову и ничего о ней не слышала. Много позже Герни Шапиро, старый корреспондент Юнайтед Пресс в Москве, рассказал мне, что после разговора с нами Полина Молотова была арестована, и я вспомнила тот прием и военный парад на Красной площади, который мы смотрели накануне. Как я позавидовала русским — ведь даже крошечная часть того оружия, что они показали, была нам не по средствам. И Молотов, словно прочитав мои мысли, поднял свой ста-

канчик с водкой и сказал мне: «Не думайте, что мы все это получили сразу. Придет время, когда и у вас будут такие штуки. Все будет в порядке».

Но в январе 1949 года стало ясно, что русские евреи дорого заплатят за прием, который они нам оказали, ибо для советского правительства радость, с которой они пас приветствовали, означала «предательство» коммунистических идеалов. Еврейский театр в Москве закрыли. Еврейскую газету «Эйникайт» закрыли. Еврейское издательство «Эмес» закрыли. Что с того, что все они были верны линии партии? Слишком большой интерес к Израилю и израильтянам проявило русское еврейство, чтобы это могло понравиться в Кремле. Через пять месяцев в России не осталось ни одной еврейской организации и евреи старались не приближаться к нам больше.

Я в то время наносила визиты другим послам в Москве и ожидала постоянного помещения. Наконец нам предоставили дом, двухэтажный особняк с большим двором, где размещалось несколько маленьких зданий, пригодных для жилья. Трудно мне было не думать о том, что происходит в Израиле, и трудно было рассуждать об обстановке для нового дома на обедах и фэйф о'клоках, которые мне приходилось посещать. Но чем скорее мы переедем, тем лучше! — и я послала Эйгу в Швецию купить мебель, занавеси и лампы. Нелегко было найти то, что нам нужно по тем ценам, которые мы могли себе позволить, по Эйга за несколько недель великолепно с этим справилась и обставила семь спален, приемную, столовую, кухню и все кабинеты — недорого и мило. Кстати, уезжая в Стокгольм, она захватила с собой все наши письма в чемодане, но по дороге решила, что Израилю нужна настоящая «сумка дипкурьера» и заказала ее по спецобразцу в стокгольмском магазине. Купила она для нас и теплую одежду, и консервы.

За семь месяцев, что я была послом в Москве, я

возвращалась в Израиль дважды, и каждый раз с таким чувством, будто возвращаюсь с другой планеты. Из огромного холодного царства всеобщей подозрительности, враждебности и молчания я попала в тепло маленькой страны — все еще воюющей, стоящей перед огромными трудностями, но открытой, преисполненной надежд, демократической и моей собственной — и каждый раз я отрывалась от нее с трудом. В первый же мой приезд — после выборов в январе 1949 года — Бен-Гурион спросил, не войду ли я в кабинет, который он тогда формировал. «Я хочу, чтобы ты была министром труда», — сказал он. Партия труда, Мапай, одержала сокрушительную победу на выборах, завоевав 35% всех голосов (на 20% больше, чем Мапам, ее ближайшая соперница), при том, что в голосовании приняло участие 87% всех имеющих право голоса. Первое правительство государства представляло коалицию, куда вошли: Объединенный религиозный фронт, Прогрессивная партия и сефарды (крошечная партия, представлявшая интересы так называемых восточных евреев).

Религиозный блок восстал было против назначения женщины министром, но через некоторое время пошел на уступки, согласившись, что в древнем Израиле Дебора была судьей — что во всяком случае равнялось министру, если не больше. Религиозный блок возражал против моего назначения (потому что я женщина) и в пятидесятые годы, когда я была кандидатом в мэры Тель-Авива — и в этом случае, в отличие от 49 года, победа осталась за ним. Как бы то ни было, предложение Бен-Гуриона очень меня обрадовало. Наконец-то я буду жить там, где хочу, делать то, что я больше всего хочу, притом на этот раз — то, что я по-настоящему умею. Конечно, ни я, ни другие члены правительства еще не знали, что, собственно, входит в юрисдикцию министерства труда. Но более благодарной и конструктивной

работы, чем эта, в которую, кроме всего прочего, во всяком случае, входило трудоустройство и расселение сотен тысяч эмигрантов, которые уже начали приезжать в Израиль, я и представить себе не могла. Я сейчас же, ни минуты не колеблясь, дала Бен-Гуриону согласие и никогда об этом не пожалела. Те семь лет, что я была министром труда, были, без сомнения, самым счастливым временем моей жизни. Эта работа приносила мне глубокое удовлетворение.

Но перед тем, как окунуться в эту работу, я должна была вернуться в Москву еще на несколько недель. И очень скоро благотворное влияние путешествия домой сошло на нет. Явное социальное неравенство, общий страх, изоляция, в которой пребывал дипломатический корпус, — все это угнетало меня неимоверно, и к этому присоединилось чувство вины, что я-то скоро уеду, а Намир, Левави и все прочие останутся. Сарра и Зехария очень хотели уехать, как и Лу, но им предстояло провести в посольстве еще несколько месяцев. У меня началась серия прощальных приемов. Я простилась с немногими советскими официальными лицами, лично мне известными. Эти люди всегда были вежливы и, в девяти случаях из десяти, всегда уклончивы, отвечая на наши запросы. Однако с нами обходились не хуже (если не лучше), чем с другими дипломатическими миссиями и, как и те, мы постепенно привыкли к полному отсутствию утвердительных ответов — да и ответов вообще. Конечно, больше всего мне хотелось сказать евреям не «прощайте», а «до свидания», — но почти никто не отважился появляться в посольстве, да и в синагоге больше не было толпы.

20 апреля 1949 года я вернулась в Израиль. Пожалуй, тут надо рассказать о том, что там происходило, ибо в течение 1949 года и 1950 годов Израиль пережил нечто такое, чего не пережила ни одна стра-

на: его население за это время удвоилось. Война за Независимость закончилась (если считать, что она закончилась) весной 1949 года, и перемирие — но не мир — было подписано с Египтом, Ливаном, Иорданией и Сирией при помощи и содействии д-ра Ральфа Банча (ставшего посредником от ООН вместо графа Бернадота). Увы, это не означало, что арабские страны примирились с нашим существованием. Это означало лишь, что война с нами, к которой они так стремились и которую проиграли на полях сражений, теперь будет вестись по-иному, так, чтоб она не могла окончиться их поражением и, как они надеялись, привела бы к разрушению еврейского государства. Побитые арабы сменили военное оружие на экономическое. Они бойкотировали компании и частных лиц, торговавших с нами. Они закрыли Суэцкий канал для еврейского судоходства, пренебрегая международной конвенцией о том, что канал должен быть всегда открыт для всех государств.

И они не перестали нападать на евреев. Годами продолжалось проникновение вооруженных арабских шаек на нашу территорию; они убивали и грабили, поджигали поля и сады, уводили скот и вообще превращали жизнь наших пограничных поселений в сплошные невзгоды. Когда мы протестовали или пытались убедить Объединенные Нации, что эти постоянные рейды на нашу территорию являются, в сущности, продолжением войны и полным нарушением условий перемирия, арабские государства кричали, что они к этому не причастны и потому не в силах прекратить подобные «инциденты»; мы же знали, что они поставляют деньги, оружие, и даже могли это доказать. При обычных обстоятельствах, полагаю, они бы довели нас своими вечными коварными и очень опасными вылазками до такого бешенства, что мы бы ответили по-настоящему, как полагается суверенному государству. Но в то время

мы были так озабочены проблемой прокорма, расселения и трудоустройства 684000 евреев, прибывших в Израиль из семидесяти стран между 14 мая 1948 и концом 1951 года, что поначалу только жаловались в Объединенные Нации, надеясь, что они хоть что-нибудь предпримут.

Трудно представить себе сегодня, что являл собой этот человеческий поток. Они были не такие, как иммигранты нашего с Шейной времени — здоровые, крепкие молодые идеалисты; им не терпелось поскорее осесть на земле и все неудобства, они считали, были частью великого сионистского эксперимента, в котором с таким жаром приняли участие. И не такие, как специалисты, коммерсанты и ремесленники, прибывавшие в 30-е годы с собственными сбережениями, которые стали помогать развитию экономики ишува, едва доехали до Палестины. Сотни тысяч евреев, прибывших в Палестину в те первые годы, были совершенно неимущими. У них не было ничего, кроме воли к жизни и желания уйти от своего прошлого. Многие были сломлены, если не духовно, то физически, многие тысячи — и физически, и духовно. Евреи Европы пережили страшную трагедию; евреи арабских стран Ближнего Востока и Северной Африки жили там в бедности, терроризированные в своих гетто самыми угнетательскими режимами мира, и вообще не слишком хорошо представляли себе жизнь в двадцатом веке. Словом, это был поток евреев с разных концов земли; они говорили на разных языках, ничего не знали о чужих традициях и обычаях, ели разную еду и вообще различались, казалось бы, во всем — кроме одного: все они были евреями. А это значило много — в сущности, все.

Я знаю, что статистика — чтение скучное, во всяком случае для меня, но с вашего разрешения я все-таки приведу некоторые цифры, иллюстрирую-

щие круг проблем, которыми нам — и израильскому министру труда, в частности — пришлось заниматься. В 1949 году 25000 европейских евреев приехали в Израиль из кипрских лагерей и 75000 — из немецких и австрийских лагерей перемещенных лиц. Из 80000 евреев, живших в Турции, 33000 к концу 1950 года оказались в Израиле. Чехословакия тоже выпустила своих выживших евреев — по 20000 в год. Осенью 1950 года 37000 болгарских евреев и 7000 югославских — почти все, оставшиеся в живых после Катастрофы, — добрались до Израиля. Известие о создании еврейского государства вызвало иммиграцию 5000 евреев из Шанхая и 35000 из Марокко, Туниса и Алжира — менее чем за три года. Польша и Румыния поначалу не отпускали евреев, но в 1949 году у их правительств — на короткое время — переменялось настроение, и с декабря 1949 по февраль 1951 года из Польши приехало 28000 человек. В 1950-1951 годы присоединилось еще 88000 евреев из Румынии. В 1950 году началось движение венгерских евреев — по 3000 в месяц, и прежний подпольный ручеек эмигрантов из Ирана превратился в целый поток, захвативший тех, кто приезжал ради этого из соседних с Ираном стран. В том же 1950 году в Ираке был принят закон, дававший право на эмиграцию в течение двенадцати месяцев, и 121000 иракских евреев была перевезена в Израиль самолетами, пока еще было время.

Каждая из этих миграций, каждый из этих массовых ответов на создание Израиля имели собственную историю, не похожую на другую. Но, конечно, самой замечательной была переправка на самолетах евреев Йемена. Никто не знает, когда впервые евреи пришли в Йемен. Может быть, в дни царя Соломона, а может быть, были евреи, которые пересекли горы Аравии с римскими войсками, сражавшимися здесь в начале христианской эры. Как бы то ни было,



евреи прожили с мусульманами-йеменитами много столетий, отрезанные от еврейского мира, преследуемые, лишенные политических прав, обедневшие, но не изменившие своей религии и Библии, в течение веков остававшейся единственным источником их знаний и учености. Они жили как рабы, как собственность правителей Йемена; им запрещалось заниматься профессиями, разрешенными для других, им запрещалось даже ходить по той же стороне улицы, что и мусульмане. В этой отсталой, изуверской, бедной стране евреи были самыми бедными, самыми униженными гражданами, но, в отличие от других, они были грамотными. В своих синагогах и школах они учили мальчиков читать и писать на иврите; помню, мое первое впечатление от йеменских евреев было, что они умеют читать «вверх ногами». Книги были так редки, что дети, сидевшие кружком в хатках-мазанках, служивших школами в еврейских кварталах, должны были научиться читать Библию под любым углом.

Как они сохранились? Они стали мастерами-ремесленниками — серебряных и золотых дел мастерами, ткачами, каменщиками. Сегодня вы можете увидеть — и купить — где угодно в Израиле их изящные, экзотические, филигранные работы. Конечно, те, кто не мог поддержать существование семьи ремеслом, становились сезонными рабочими и разносчиками; но жизнь евреев там была не только унижительной, но и опасной. Из 1000 рождавшихся еврейских детей умирало 800, и всех осиротевших мальчиков вынуждали перейти в мусульманство. И все-таки еврейская община в Йемене так и не исчезла никогда; бывало, имам сам кому-нибудь разрешал покинуть Йемен, или они убегали через пустыню в Аден, надеясь оттуда перебраться в Святую землю — хотя это удавалось очень немногим.

И все-таки, когда я приехала в Палестину в 1921

году, там уже были йеменские евреи. Они меня очаровали. Я знала, что они способны на чудеса силы и ловкости, но мне они казались темными хрупкими куколками в своих разноцветных традиционных одеждах (в Йемене им разрешалось одеваться как арабам). Женщины тогда поверх узких великолепно расшитых брюк носили прелестные платья с капюшонами, а мужчины — все поголовно с длинными пейсами — носили полосатые халаты. Во время войны несколько тысяч йеменитов, получивших разрешение англичан уехать из Адена в Палестину, приплыли через Красное море и Суэцкий канал. Но большинство все еще оставалось в западне. В 1947 году, через несколько дней после голосования в Объединенных Нациях по поводу раздела Палестины, в Адене произошли сильные арабские волнения, и положение евреев в Йемене ухудшилось. В отчаянии и ужасе тысячи йеменских евреев, прослышав, что создано, наконец, еврейское государство, взяли свою судьбу в собственные руки и решились бежать. Они побросали свое небольшое имущество, собрали семьи и, как библейские дети Израиля, двинулись из рабства к свободе, веря, что так или иначе достигнут Обетованной страны. О новом движении за создание поселений в Палестине они узнали от Явнеэли, восточноевропейского еврея из Палестины, проехавшего в 1908 году через Йемен. Они шли группами, по 30-40 человек; на них нападали арабы-разбойники, они ели только питты (арабские лепешки), мед и фиги, которые смогли унести, они платили огромные выкупы за каждого мужчину, новорожденного младенца и отдельно за Библию в бесчисленных княжествах пустыни, через которые они проходили. Большая часть их дошла до Адена, где были лагеря для них, организованные Объединенной комиссией по распределению, укомплектованные израильскими врачами и социальными работ-

никами; там они отдыхали, молились и читали свои Библии. Но когда египтяне закрыли Суэцкий канал для израильского судоходства, остался один лишь путь — по воздуху. И ежедневно в Израиль прибывало 500-600 йеменских евреев на огромных транспортных самолетах, перелетавших Красное море. Эта операция вскоре получила название «Ковер-самолет». Переброска шла в течение всего 1949 года. К концу года в Израиль было доставлено 48000 йеменских евреев.

Иногда я приезжала в Лод, видела, как приземляются самолеты из Адена, удивлялась терпению и доверию измученных пассажиров.

— Вы видели когда-нибудь самолет? — спросила я бородатого старика.

— Нет, — отвечал он.

— И не побоялись лететь?

— Нет, — ответил он твердо. — Все это написано в Библии. В книге Йсайи. «Поднимешься ты на крыльях орла».

И тут же, на аэродроме, он прочел мне весь отрывок, и лицо его сияло радостью — от того, что пророчество сбылось и путешествие окончилось. Теперь в Йемене фактически не осталось евреев, и шрамы, нанесенные долгим изгнанием, начинают исчезать. Бен-Гурион говорил, что счастливейшим днем для него будет тот, когда йеменский еврей будет назначен начальником штаба израильской армии, и я думаю, что этот день уже недалек.

Перечитав все это, я опять изумилась количеству иммигрантов, которых мы абсорбировали. Но тогда мы имели дело не с абстрактными цифрами. В Законе о возвращении, принятом в июле 1950 года, по которому все евреи получают право въезда и автоматически израильское гражданство, — нас беспокоила не арифметика. Нас беспокоило, как мы сумеем прокормить, одеть, расселить, дать образование

и вообще — позаботиться об этих людях. Как и на что? Когда я вернулась в Израиль, 200000 человек жило (если это можно так назвать) в палатках, чаще всего — по две семьи в одной палатке. И не обязательно обе семьи были из одной страны или с одного континента. Не говоря уже о том, что все наши службы, созданные второпях, работали не слишком хорошо и что их не хватало на такую массу людей — было множество больных, истощенных, увечных, которые в нормальных условиях еще могли бы кое-как справиться, но тут были совершенно беспомощны. Человек, переживший годы нацистского рабства и лагеря перемещенных лиц, отважившийся на путешествие в Израиль, в лучшем случае — не вполне здоровый, в худшем — с физическими увечьями, которому полагались бы идеальные условия, оказывался — вместе со своей семьей, если она сохранилась, — в невыносимой тесноте, бок о бок с людьми, с которыми у него не было даже общего языка. В девяти случаях из десяти он считал своих соседей дикарями, потому что они никогда не видели ватерклозета. Но при всем том он пришел бы в себя скорее, если бы мы могли сразу же предоставить ему работу, или переселить его в более пригодное жилье, или еще как-нибудь дать ему то чувство стабильности, к которому он стремился, как все беженцы.

Или вообразите неграмотную женщину из Ливии, Йемена или пещер Атласского хребта, которую вместе с детьми сунули в открытую всем ветрам и дождям палатку с польскими или чешскими евреями, которые готовят не так, едят то, от чего ее тошнит, и, по ее представлению, даже и не евреи вовсе — не то неверующие, не то соблюдают другие обряды и молятся по-другому.

Теоретически это не должно иметь значения. Теоретически ни теснота, ни нищета, ни интеллектуальные или культурные различия не должны иметь

значения для людей, переживших Катастрофу или ушедших пешком из Йемена через кишашую разбойниками раскаленную пустыню. Но теория — это для теоретиков. Люди — это люди, а те неудобства и надрывы, которые я сама наблюдала в «палаточных городках» 1949 года, были поистине невыносимы. Их всех надо было немедленно как-то расселить и создать для них рабочие места. О здоровье их и о питании заботились более или менее прилично; с болезнями, которые привезли с собой иммигранты — туберкулез, трахома, глисты, малярия, тифоид, дизентерия, корь, пеллагра, — удавалось справиться, хоть я и не понимаю, как наши измученные доктора и сестры это делали. И во всех «палаточных городках» были какие-то школы, где шло интенсивное преподавание иврита. Но проблема расселения в 1949 году казалась неразрешимой.

Несмотря на замечательную поддержку мирового еврейства, денег у нас всегда было недостаточно. Благодаря соседям, наш военный бюджет оставался самым высоким, да и другие потребности государства надо было как-то удовлетворять. Мы не могли закрыть школы, больницы, общественный транспорт, промышленность (какая бы она ни была), мы не могли каким бы то ни было образом сдерживать государственное развитие. Все надо было делать одновременно. Но были вещи, без которых можно было обойтись — и мы обошлись. Мы ввели карточки на все — на еду, на одежду, на обувь — и это длилось годами, и мы к этому аскетизму привыкли. Недавно я нашла свои карточки — коричневый буклет, выпущенный в 1950 году министерством торговли и промышленности, — и вспомнила часы, которые я проводила в очередях, — за несколькими картофелинами, за тремя яйцами, за мороженой рыбой. Когда мы ее получали, это был настоящий пир.

К счастью, после России у меня осталась одеж-

да. Но большинству израильтян приходилось по-настоящему нелегко. Уровень жизни резко снизился. То, чего в 1948 году хватало на одну семью, теперь надо было разделить между двумя или тремя. Если бы ветераны-израильтяне, только что закончившие тяжкую многомесячную войну, возмутились — их можно было бы понять. Но никто не возмутился. Некоторые говорили, что, возможно, иммигрантам следовало бы переждать на местах и приехать сюда, когда дела пойдут лучше. Но никто, ни один человек, никогда даже не заикнулся, что это бремя нам не под силу и что новорожденное государство может его и не вынести. Мы все туже и туже затягивали пояса — но все-таки дышали. И в одном мы все были согласны: без этих евреев не стоило иметь Израиль.

С чего-то надо было начинать в первую очередь, и мне казалось, что начинать надо с расселения и трудоустройства иммигрантов. Не все коллеги по министерству со мной соглашались. Эксперты встали стеной и подробно, с картами и планами объясняли мне, почему моя идея расселения не годилась. Это все приведет к инфляции, утверждали они. Куда умнее — вложить те небольшие деньги, которыми мы можем распоряжаться, в фабрики или в рационализацию сельского хозяйства. Но я не могла ни принять, ни поддержать никаких рекомендаций, которые бы решали проблемы абсорбции без учета простых человеческих потребностей. И с точки зрения будущего страны, я была уверена, что никакие меры не будут «продуктивнее», чем расселение. Мне было совершенно ясно, что гражданские чувства, ощущение принадлежности, начало интеграции — то есть само создание общества, — главным образом зависят от того, в каких условиях люди живут. Все возвышенные рассуждения о социальной ответственности, образовании и даже здравоохранении ни к

чему, пока мы не вытащим хоть часть иммигрантов из этих страшных палаток и не переселим их в подходящие дома.

Через несколько недель после приезда из Москвы я пришла в Кнессет с планом домостроительства (на 30000 единиц) и провела его, несмотря на возражения. Но строить дома из молока и меда невозможно (и достать молоко и мед — тоже!), и поэтому я поехала в Штаты для сбора средств и опять обратилась к американским евреям с просьбой о помощи. На этот раз «не для того, чтобы выиграть войну, но для того, чтобы поддержать жизнь». Я сказала:

*«Две недели назад, во вторник, я представила нашему парламенту план — построить 30000 домов до конца этого года. Парламент одобрил мое предложение, и в стране очень обрадовались. Но, собственно говоря, я сделала странную вещь: представила план, на выполнение которого у меня нет денег.*

*Мы хотим предоставить каждой семье роскошную квартиру — из одной комнаты; комнаты мы построим из бетонных блоков. Мы даже не будем штукатурить стены. Мы поведем дома под крышу, но не будем делать потолки. Мы надеемся, что, строя свои дома, люди поучатся ремеслу, и закончат их сами, а позже — пристроят к одной комнате другую. Мы будем довольны, и они будут довольны, хотя это значит, что семья из двух, трех, четырех, пяти человек будет жить в одной комнате. Но это все же лучше, чем две или три семьи в одной палатке.*

*Это ужасно — подделывать подпись на чеке, — но я это сделала. Я обещала людям в лагерях, что правительство выстроит тридцать тысяч домов; и мы уже начали строить на те небольшие деньги, что у нас есть. Но на тридцать тысяч домов этих денег не хватит. От вас зависит — держать ли этих людей в лагерях, посылая им продуктовые посылки, или*

*дать им работу, которая восстановит в них чувство собственного достоинства».*

Деньги я собрала, и мы начали строить. Что говорить, поначалу немало мы наделали ошибок, в том числе — и в планировке, и в выполнении. Мы плохо рассчитывали, плохо выбирали места застройки, не поспевали за потоком иммигрантов. Под конец мы научились строить довольно быстро — и довольно хорошо, но к октябрю 1950 года мы выстроили только треть запланированных домов, потому что из-за необычно суровой зимы нам пришлось потратить предназначавшиеся для строительства деньги на покупку тысяч металлических бараков; на зиму они годились, но летом — а лето в Израиле длинное — превращались прямо-таки в духовки. И все же ни одна семья, въехавшая в Израиль, не осталась без крова. Каким-то образом мы находили или изобретали жилье для всех. Когда ржавые металлические бараки пришли в негодность, мы создали десятки тысяч хижин из парусины, прибитой к деревянным рамам; когда и они вышли из строя, мы на некоторое время, вздыхая, вернулись к палаткам. Но никто никогда не спал под открытым небом, и мы продолжали строить.

Однако к концу 1950 года мы поняли, что нельзя считать наши лагеря «временными центрами» абсорбции, которым предстоит прослужить всего несколько месяцев. Ясно было, что пользоваться ими придется в течение нескольких лет, а раз так, то они должны были измениться. Их надо было превратить в рабочие поселки на окраинах городов, чтобы иммигранты жили поблизости от мест, где потребуются их труд. Организовать их следует так, чтобы люди могли обслуживать себя сами: готовить, а не ходить в общественные столовые, и участвовать в системе обслуживания. Мы не могли взимать налоги с со-



вершенно неимущих людей, но могли избавить их от ощущения иждивенчества.

Новые лагеря были названы «маабараот», от ивритского слова «маабара» — транзитный пункт, и к ноябрю 1951 года у нас было 112 маабараот, где жило 227000 иммигрантов. Но, поскольку мы не желали создать в Израиле два класса — сравнительно благополучных «старожилов», с одной стороны, и новых иммигрантов в их перенаселенных и уродливых маабараот — с другой, то думать надо было не только о расселении. Надо было обеспечить людей работой и зарплатой, и я считала, что сделать это можно только создав программу общественных работ.

Это тоже было нелегко. Большая часть так называемых восточных евреев (уроженцев Ближнего Востока и Северной Африки) не имела профессий, применимых в новом государстве. Мы опасались, как бы многие из них не приучились годами жить на подачки, ничего не делая, что расширило бы брешь между нами и ими. Благотворительность, даже просвещенная, ничего тут не решает. Надо было создать рабочие места, и создать их должны были мы; поэтому мы пустили в ход целый ряд проектов, по которым людям, в жизни не державшим в руках сверла или кирпича и даже не знавшим, что такое сельскохозяйственный труд, предоставлялась работа. Министерство труда решило строить дороги по всей стране — и сотни акров каменистой, неудобной земли были очищены, пересыпаны и обсажены лесом вручную. А мы все это время продолжали строить и обучать иммигрантов, хотя волна иммиграции не снижалась до 1952 года.

Но ни трудности в подготовке рабочей силы, ни домостроительство, ни абсорбция тысяч новых иммигрантов в нашу экономику не являлись главной

проблемой. Конечно, это все было важно, но не это заботило нас больше всего. По-настоящему в те дни нас заботило то, что и сегодня заботит в немалой степени мыслящих израильтян, — как объединить людей, у которых по всей видимости так мало общего и которым так трудно понять друг друга. Но опять-таки потому, что у нас не было выбора, нам удавались порой самые безнадежные предприятия. Помню, как пессимистически — чтобы не сказать отрицательно — кое-кто из моих коллег относился к строительству дорог. Не говоря уже о том, что такая дорожная сеть нам вообще не нужна, самый ввоз строительного материала — непозволительная роскошь, да и дороги, в конце концов, плохие, потому что у нас не такие рабочие, какие тут нужны. Я же рассчитывала на три вещи: на преданность и изобретательность старожилков; на возрастающее стремление новых иммигрантов честно зарабатывать свой хлеб вместо того, чтобы быть на содержании у государства или у Еврейского Агентства; на понимание и щедрость мирового еврейства, которое снова и снова отзывалось на наши бесконечные просьбы о помощи.

Надо сказать теперь, что меня очень редко постигало разочарование, хотя вспоминая, как прокладывались в 1949-м и в начале 1950 года эти дороги, я признаю, что посторонним мы могли показаться сумасшедшими. Мы обычно нанимали одного квалифицированного рабочего-строителя из Иерусалима или Тель-Авива, тут же делали его десятником (и он отправлялся строить дорогу где-нибудь на юге, начальствуя над десятком людей из десяти стран), говорящим на десяти разных языках и пробывшим в Израиле каких-нибудь несколько месяцев. Как он с ними договаривался — ему одному известно. Но так или иначе, может быть, и не слишком хорошо и не

слишком дешево, эти дороги (в мою честь их иронически прозвали «золотые дороги»\*) были построены.

В 1952 году, когда иммиграция стала уменьшаться вплоть до 1000 человек в день, мы стали направлять вновь прибывших из маабараот в новые кварталы городов и пограничных деревень по всему Израилю, нажимая более на сельское хозяйство, чем на общественные работы. Мы давали каждой семье не только крошечный дом, но и участок земли, скот и уроки по обработке земли. Тут мы тоже наделали ошибок. Мы, вероятно, слишком рано стали торопиться с нашим «плавильным котлом», создавая деревни как строительные дорожные бригады — из людей очень разных. Между ними было очень мало общего, и им было трудно (а подчас и невозможно) жить вместе в совершенно изолированной части страны; к тому же у них не было никакого земледельческого опыта и никакого желания заниматься земледелием. Многие не подчинились и бежали в города, где поселились в трущобах. Но большинство осталось на месте, превратившись в первоклассных фермеров, и их дети теперь выращивают израильские фрукты, овощи и цветы, которые покупаются во всем мире.

Не уверена, что мои посещения строительных площадок, новых дорог и поселений доставляли большое удовольствие ответственным за строительство инженерам и архитекторам. Не могла я не замечать, заходя в эти крошечные домики, что стена между так называемой столовой и кухней делает домик еще меньше, и что сама кухня спроектирована так, что ее невозможно содержать в чистоте, особенно для женщины, в жизни не готовившей под крышей; что для домика, стоящего на откосе, недостаточно двух ступенек крыльца — нужна третья, особенно для

---

\* Голда — золотая (идиш).

семей, где есть семь-восемь детей, и мать беременна, и есть еще старики. «Но тогда это будет стоить гораздо дороже», — слышала я в ответ на свои пожелания.

Конечно, можно было согласиться, что иммигрантам — особенно из Йемена и Северной Африки — теперь, даже в плохо спроектированных домах, лучше, чем было. «Они не знают, как жить в домах, которые вы хотите для них построить, — говорили мне. — Они не знают, что такое ванные и уборные со сливом. Они превратят их в кладовки для всякого хлама». Это правда, они не знали, что такое ванные и как пользоваться душем, но это не значило, что они не имеют на них права и что их не надо учить, как всем этим пользоваться. Все это, кстати, относилось и к кухням, и к школам, и к самому государству. Но мы и впрямь ничего не могли сделать без денег.

И хотя я терпеть не могла отрываться от Израиля, я снова пускалась в путь — произносить речи и собирать деньги: в Европу, в Соединенные Штаты, в Южную Америку. Но и сбор денег надо было приспособлять к нашим изменившимся обстоятельствам. Объединенный Еврейский Призыв стал великолепным инструментом для сбора средств — но это все еще был «призыв», и деньги нам давали «даром». Уже не один год меня смущал образ еврейского государства, рассчитывающего на благотворительность, которая, не говоря ни о чем прочем, никак не могла соответствовать нашей растущей потребности в капиталовложениях. Я не была ни экономистом, ни инженером-строителем; но чтобы понять, на какой высоте должна находиться кухонная раковина, мне не нужна была рулетка, и чтобы понять, что филантропические деяния будут уменьшаться, мне не надо было быть финансистом.

Однако меня беспокоило не только количество

денег: меня тревожило их происхождение. Я считала, что вечная зависимость от филантропии разрушает основные идеи сионизма — опираться на себя, работать на себя, не говоря уже о национальной независимости. И я стала думать о других источниках средств, источниках, которые сделали бы мировое еврейство партнерами и в наших предприятиях, и в собирании изгнанников. После моей поездки в США в 1948 году я постоянно переписывалась по этому поводу с Генри Монтером, и когда мы встречались — он, я и Элизер Каплан (первый израильский министр финансов), — мы подробно и тщательно обсуждали возможность новых путей, в частности — возможность выпуска израильских облигаций.

Идея выпуска облигаций впервые была высказана публично в сентябре 1950 года в Иерусалиме, на трехдневной конференции, созванной Бен-Гурионом с участием представителей главнейших еврейских общин в США. Вначале она не вызвала энтузиазма. А что если продажа облигаций подорвет усилия Объединенного Еврейского Призыва? И кому придет охота делать деньги в Израиле, или, что более вероятно, — потерять их? Филантропические деяния списываются с налогов — но не облигации. А что если правительство США не отнесется благосклонно к выпуску облигаций? Но под всеми этими явно выражаемыми тревогами и опасениями я чувствовала одну скрытую тревогу, и касалась она изменения характера отношений с Израилем. Никто не сказал напрямик, что рисковать не стоит, но я видела, что сама идея долговых обязательств в настоящее время крайне нежелательна. Однако она нашла мощного защитника, куда более влиятельного, чем Бен-Гурион, Каплан, Монтор и я, вместе взятые. Генри Дж.Моргентау, бывший председатель Объединенного

Еврейского Призыва, в свое время — министр финансов США, с которым я в 1948 году много разъезжала по еврейским общинам, сразу все понял и одобрил. Он сделал больше. Он пошел в Белый дом к Трумэну, и выяснилось, что президент тоже понял и одобрил. Новая конференция была созвана — на этот раз в Вашингтоне — и мне было поручено трудное дело: убедить неверующих и превратить их скептицизм и сопротивление в поддержку и сотрудничество.

И тут я прямо взяла быка за рога. Для того, чтобы Израиль мог развиваться, расти и расцветать, даже для того, чтобы он мог сам себя прокормить, нам нужно было полтора миллиарда в течение предстоящих трех лет. Мы сами — все миллионное население — берем на себя треть этой огромной суммы. Но две трети, разными способами, должны будут обеспечить американские евреи, в частности путем покупки наших облигаций.

*«Часть денег может быть принесена в дар, но часть — большая часть — должна быть вложена нами в доходные предприятия и возвращена с процентами. В помощь широкому и сильному Объединенному Еврейскому Призыву мы хотим получить еще и капиталовложения; хотим продовать облигации; хотим взять у вас деньги взаймы. Не знаю, какое обеспечение мы можем вам предоставить, какого обеспечения вы можете от нас потребовать. Думаю, что от имени правительства Израиля я смогу предложить вам только одно обеспечение. Обеспечение самого лучшего качества: народ Израиля, сотни тысяч евреев, которые еще приедут в Израиль, и десятки тысяч тех, кто уже приехал и живет в палатках. Могу еще предложить и наших детей — детей наших «ватиков», старожилы, и йеменских, иракских, румынских детей, которые растут в Израиле гор-*

*дыми, ничего не боящимися и уважающими себя евреями. Они уплатят этот долг, и честь заставит их выплатить его с процентами».*

Говоря это, я видела этих детей и их родителей, которые каждое утро длинными рядами выходили из палаток, деревянных бараков и парусиновых лагун сажать деревья на холмах и строить дороги. Многие были немолоды, одежда у всех изнасилась, тела казались хрупкими — но ведь всего несколько месяцев назад они, согнувшись и понурившись, ходили по йеменским улицам или, безучастные ко всему, сидели в европейских лагерях перемещенных лиц. Теперь они подняли головы, выпрямились, и в руках у них кирки и лопаты. Я знала, что они — хорошее капиталовложение, и слава Богу, не ошиблась. С мая 1951 года, когда мы начали свою кампанию, по сегодняшней день продано было на миллиарды облигаций, и один миллиард уже выплачен. Влившись в израильскую экономику, в бюджет развития, эти облигации сразу и в очень большой степени помогли ее жизнеспособности.

Но, конечно, я не только работала. Были у меня и личные радости и горести в жизни, как у всех. В 1951 году, когда я была в поездке — в одной из бесконечных поездок по сбору средств, — я получила телеграмму о смерти Морриса. Я немедленно полетела в Израиль — на похороны, и всю дорогу думала, какую жизнь мы бы прожили вместе, если бы я была не такая, какая есть. О своей печали я не могла и не хотела говорить ни с кем, даже с родными. И писать об этом теперь я не могу. Скажу лишь, что над его могилой я снова поняла, какую тяжкую цену я заплатила — и заставила заплатить Морриса — за все, что пережила и совершила в годы нашей разлуки.

И была Саррина беременность, болезнь, мертво-

рожденный первенец, и невыносимая тревога за нее, когда мы с Зехарией старались добиться от врачей заверения, что все будет хорошо, а вместо этого слышали, что надежды очень мало. Я не могла в это поверить, может быть, потому, что много лет назад я уже слышала эти самые слова, а может быть, потому что человек вообще им не верит. Но она выкарабкалась и на этот раз и — уж такая она была! — захотела тут же вернуться в Ревивим и обязательно родить второго ребенка. Несмотря ни на что, страх за нее у меня не проходил несколько месяцев и всякий раз, когда я вспоминала ее страшную болезнь, мне хотелось тут же перетащить ее из Ревивима в Иерусалим, чтобы ухаживать за ней самой. Но я знала, что мне это не удастся, что я должна позволить ей жить своей жизнью, где и как она хочет, несмотря на все мои тревоги.

В дни, когда я была министром труда, больше всего удовольствия мне доставляла моя квартира в Иерусалиме. Меня никогда особенно не интересовала обстановка жилища — было бы чисто, удобно и уютно. Дом — это всего-навсего дом, и я переменила немало домов с тех пор, как было создано государство; резиденцию министра иностранных дел, резиденцию премьер-министра, а теперь — маленький домик в дачном предместье Тель-Авива, в другой половине которого живут Менахем, Айя, их три сына и кокер-спаниель по имени Дэзи, который меня любит куда больше, чем я его. Но ни одно из этих жилищ не значило для меня столько, сколько прелестная квартира, которая была моей с 1949 по 1956 год. Ее история — это не просто рассказ про недвижимость. В конце 1949 года по распоряжению Бен-Гуриона Кнессет и многие министерства переехали из Тель-Авива в Иерусалим. Принять это решение было для Бен-Гуриона непросто, но зато — как типично для него! Несмотря на то, что открытие Кнессета



произошло в Иерусалиме, что доктор Вейцман принес там свою президентскую присягу, казалось, что только израильтяне знают, какое место во все века занимал Иерусалим в сердцах евреев. Остальной мир и внимания не обращал на узы между нами и городом Давида. И комиссия Пиля, и комиссия Организации Объединенных Наций придерживались того взгляда, что Иерусалим не должен быть включен ни в еврейское (предполагавшееся), ни в арабское государство, а Генеральная Ассамблея постановила, что Иерусалим должен быть интернационализирован, управляться специальным советом и своим губернатором и охраняться интернациональными полицейскими силами. Очевидно, все это имело целью защиту святых мест, чтобы «мир и порядок» воцарился в Иерусалиме навеки. Арабы, конечно, отвергли этот план с порога, вместе с планом раздела Палестины. Но мы его приняли, хоть и очень неохотно, и утешали себя обещанием ООН провести через 10 лет референдум, «который может привести к некоторым изменениям». Так как в 1948 году в Иерусалиме было 100 000 евреев и только 65000 арабов, казалось не невероятным, что, в конце концов, Иерусалим будет наш. Мы никогда не собирались изгонять оттуда арабское население (что доказала Шестидневная война), и, конечно, нам было очень обидно предположение, что мы можем нарушить «мир и порядок» в священном для нас городе. Мы-то знали — даже если остальные об этом забыли — историю арабских беспорядков и бесчинств в Иерусалиме с самого 1921 года, и знали, что евреи не спровоцировали там ни одного инцидента.

«Специальный совет» так никогда и не был создан, зато Иерусалим попал под огонь арабов на долгие месяцы. Во время осады Иерусалима, когда город беспощадно обстреливали египтяне и иорданцы,

попечение других государств о святых местах куда-то сразу испарилось. Если не считать нескольких слабеньких резолюций в Объединенных Нациях, никто, кроме евреев, не сказал и не сделал ничего, чтобы остановить арабский штурм города, и никто, кроме евреев, не стал спасать ни население, ни древние памятники. Арабский легион занял Старый город, и каждый еврей, оставшийся там, был оттуда выгнан. В сущности, мы стали единственным народом, кому был запрещен доступ к святым местам, — и опять никто, кроме евреев, не сказал ни слова. Никто даже не спросил: «Да почему это евреям больше нельзя ходить в синагогу в Еврейском квартале Старого города и молиться у Западной стены?» При таком оглушительном молчании мы уже, разумеется, не рассчитывали на чью бы то ни было помощь при защите Иерусалима и не принимали всерьез тревогу христиан или мусульман по поводу святых мест. Мы были вполне готовы охранять их сами, как и другие исторические и связанные с религией места Израиля. Более того — не было причин дожидаться референдума об Иерусалиме. Вместо него мы получили войну, которую нам навязали.

Тем не менее Бен-Гуриону потребовалась большая смелость, чтобы перевести правительство в Иерусалим, учитывая, что резолюция, призывающая к немедленной интернационализации города, была принята в ООН в декабре 1949 года, — и он не стал дожидаться ее проведения в жизнь. Даже в Израиле раздавались голоса против такого опасного — в политическом и военном отношении — действия. Но Бен-Гурион слушался своего внутреннего голоса, и, хотя большинство иностранных представительств (а потому и министерство иностранных дел) остались в Тель-Авиве, мое министерство и многие другие переехали в столицу — в Иерусалим.

Это значило, что мне надо было найти в Иерусалиме жилье. Разумеется, я не хотела жить в гостинице или снимать комнату в чужой семье. И хотя я лучше кого бы то ни было знала, как плохо обстоит там дело с жильем, я упростила сотрудников по министерству поискать для меня комнату в городе. «Мне нужно только одну комнату с отдельным входом», — объясняла я. «Это найти можно».

На это понадобилось время, но, наконец, у меня зазвонил телефон. «Голда, мы нашли комнату с отдельным входом, но вряд ли она тебе подойдет. В общем, приходи, посмотри сама...»

Я, конечно, немедленно пошла посмотреть. Комната была в квартале «Талбие», в доме, где когда-то была штаб-квартира англичан и который назывался «Вилла Харун ар-Рашида» (подумать только!). Дом был двухэтажный, с огромной крышей, на которой была построена уже разрушившаяся комната, всюду была непроходимая грязь. Дом, не говоря уже о комнате на крыше, был не только неподходящий — он был совершенно непригоден. И все-таки я поднялась на крышу. Пять минут я смотрела оттуда на вид Иерусалима, потом спустилась и объявила: «Это то, что надо. Я устроюсь пока в этой комнатухе, а вы построите мне квартирку с другой стороны крыши». Начались протесты. Помещение слишком мало для министра. Слишком близко к границе. Когда еще квартира будет построена — а мне придется, кто знает, сколько прожить в этой ужасной комнатке. Но я только улыбалась и повторяла, что перееду, как только комнату вымоют. Квартиры пришлось ожидать несколько месяцев, но дело того стоило. Из огромного углового окна я видела весь Иерусалим на Иудейских холмах, и зрелищем этим я не могла любоваться, какой бы тяжелый день ни был позади, сколько бы новых поселений, сколько бы заседаний

я ни посетила. Когда я закрывала за собой дверь, заваривала себе чашку чаю и, наконец, усаживалась перед окном и смотрела на бесчисленные рассыпавшиеся передо мной огни, я была совершенно счастлива. Тут я сиживала часами, с друзьями или одна, наслаждаясь красотой Иерусалима. Потом в этой же квартире были обвенчаны Менахем и Ая, и она стала частью нашей семейной истории.

Вспоминая это время, я понимаю, как мне повезло. Ведь я стояла у истоков столь многих событий! Не то, что я влияла на их ход, но я была частью того, что происходило вокруг, — а иногда мое министерство и я даже имели возможность играть определенную роль в строительстве государства. Если, как я вынуждена сделать, ограничиться рассказом только о некоторых случаях, особенно для меня важных и плодотворных, то начать надо с законодательства, за которое министерство труда несло полную ответственность. Для меня оно было символом социального равенства и справедливости, без чего я не мыслила функции государства. В каждом уважающем себя обществе пенсии по старости, пособия вдовам и детям, отпуска и пособия матерям, страхование от несчастных случаев на производстве, по инвалидности, по безработице являются их неотъемлемой принадлежностью, и что бы мы ни отложили на потом, какие бы ни были у нас нехватки, эти основные законы мы провели.

Мы не могли сразу же возвести все завоевания лейбористской партии в ранг законов, но я считала, что мы должны провести как можно больше законов и как можно скорее! И когда в январе 1952 года я впервые поставила в Кнессете вопрос о национальном страховании — в значительной мере основанный на добровольном страховании Гистадрута, — это значило для меня очень много. Это проложило доро-

гу закону о национальном страховании, который вошел в действие весной 1954 года. Конечно, национальное страхование не было панацеей. Оно не отменило бедности в стране, не ликвидировало образовательного и культурного разрыва между гражданами, не решило проблем нашей безопасности. Но оно означало, как я сказала в тот день в Кнессете, что «государство не потерпит у себя бедности постыдной, из-за которой счастливейшие часы материнства омрачены тревогой о том, как прокормить младенца, а люди, достигшие старости, проклинают день, когда они родились на свет». Утечка средств? Конечно. Потому нам и пришлось все делать постепенно. Но это имело не только социальное, но и экономическое значение — способствуя наращиванию капитала и изыманию денег из свободного обращения, а это помогало нам бороться с инфляцией. И главное, финансовое бремя распределялось равномерно, одна возрастная группа несла ответственность за другую и разделяла риск. Было еще одно сопутствующее обстоятельство, весьма, по-моему, важное: в результате пособий по материнству (включавших цену госпитализации) вырос процент детей, родившихся в больничных условиях, и снизилась детская смертность, которая среди новых иммигрантов и арабов была высока. Я сама повезла первый чек первой арабской женщине, родившей ребенка в назаретской больнице, и, кажется, я волновалась больше, чем она.

Другой проект министерства труда, в котором я принимала большое участие, касался профессионального обучения детей и взрослых. Опять-таки, не надо думать, что можно было взмахнуть волшебной палочкой и превратить новых иммигрантов в ремесленников и техников. На обучение людей новым профессиям и ремеслам понадобились годы; сотни

так никогда и не стали полноценными работниками — по старости, по болезни, по психологической склонности к безделью или просто потому, что они не могли приноровиться к требованиям современной жизни. Но тысячи других мужчин и женщин пошли в ремесленные училища, на курсы, научились управляться с машинами, разводить домашнюю птицу, работать водопроводчиками и электриками — и я не переставала дивиться переменам, происходившим у меня на глазах.

Каждый делал, что мог, чтобы обеспечить успех программе профессионального обучения: министерство труда работало вместе с министерством социального обеспечения, министерством образования, армией, Гистадрутом и старейшими добровольными организациями, как ОРТ (организация перевоспитания трудом), Хадасса, ВИЦО (женская международная сионистская организация), которые финансировали евреи из-за границы. Мы двигали это дело все вместе и получили работников, изготовлявших трикотажные изделия, гравивших промышленные алмазы, сидевших на конвейере или водивших тракторы. И все это не считая другого титанического труда: по ликвидации обыкновенной неграмотности и обучению ивриту.

По всему Израилю в это время начали как грибы расти города. Не все они получались такими, какими были на плане, некоторые совсем захирели; но другие выросли и расцвели, делая честь своим строителям и обитателям — и почти все они были построены государством. Один из этих городов — Кирьят-Шмона на севере, в Верхней Галилее: к этому городу я всегда относилась по-особенному — может быть, из-за изумительных по красоте окрестностей, а может быть, потому, что я с самого начала верила, что, несмотря на все препятствия, Кирьят-

Шмона сумеет выстоять. В общем, связи мои с этим городом с 1949 года никак нельзя назвать чисто формальными. Город начался как транзитный пункт, маабара, жестяной городок, «бидонвиль», переполненный удивленными иммигрантами, которых только что свезли сюда с пристаней и аэродромов и которые не понимали, где они и почему. До соблазнов Тель-Авива отсюда было далеко. Поблизости не было ни одного города — только несколько киббуцов со своими полями и садами и болота долины озера Хула, которые мы только начали осушать. Тут-то правительство и решило основать город, центр, который станет сердцем вновь заселяемой области; долгими неделями мы сидели над планами и картами, стараясь предвосхитить будущие его потребности и нужды. На месте маабары стал подниматься город. В Кирьят-Шмона были построены школы, общинный центр, легкая промышленность, даже плавательный бассейн, и все было продумано до последнего гвоздя, кроме одного: как отнесутся новые иммигранты к тому, чтобы им тут жить. Да, ландшафт прекрасен и климат бодрящий, и новенькие домики очень хороши, говорили они, но — очень одиноко тут, и работы не хватает на всех. Европейские евреи говорили, что мы забросили их в сердце пустыни, а восточные — недвусмысленно заявили, что мы слишком торопимся навязать им новые обычаи, разрушая их собственные, и вообще обходимся с ними, как с гражданами второго сорта.

Население в городе все время менялось. Каждый раз я возвращалась оттуда в Иерусалим со списком новых предложений, на осуществление которых, как правило, не было денег. У меня сердце разрывалось при виде домов, построенных нами с таким трудом, которые стояли пустые. Тогда мы увеличили субсидии — прибыли новые группы иммигрантов и

большинство из них осталось на месте. Остались и после Шестидневной войны, когда Кирьят-Шмона превратилась в излюбленную мишень арабских ракетчиков-террористов, действовавших из-за ливанской границы, и после того, как террористы, совсем недавно, вошли в город и стали убивать в самом городе. Как только предоставляется возможность, я отправляюсь в Кирьят-Шмона посидеть в городском сквере со старожилками, вспомнить то время, когда ни они, ни я не думали, что город сможет развиваться. Но и теперь я возвращаюсь оттуда со списком пожеланий — но и теперь не хватает денег на их выполнение.

То, что я сейчас скажу, вероятно, удивит сторонников «конструктивной критики» Израиля, в частности — так называемых «новых левых». В те напряженные семь лет мы, кроме новых зданий и поселений для евреев, строили и для арабов, потому что, говоря о гражданах Израиля, мы имели в виду всех граждан Израиля. Когда у меня возникали споры с жителями Кирьят-Шмона и других поселений, непременно кто-нибудь из толпы кричал, что арабам лучше, чем им. Конечно, это было не так, но неправда — и неправда злобная — то, что мы якобы арабов игнорировали. Правда, мы заняли дома арабов, бежавших из страны в 1948 году, под квартиры для новых иммигрантов, хотя арабское имущество оставалось под специальной охраной. В то же время мы ассигновали 10 000 000 фунтов на новые дома для арабов и предоставили жилье сотням из них, оставшимся в Израиле, но потерявшим кров в результате войны. Но из-за того, что мы поселили новых иммигрантов в домах бежавших арабов, поднялся такой крик — как будто можно было использовать эти дома по-другому! — что в 1953 году мы провели закон о приобретении земли, по которому, по край-



ней мере, две трети арабов, предъявивших претензии, получили за нее компенсацию и получили обратно свое имущество — или равное по стоимости. Притом никто из них не должен был приносить присягу верности перед тем, как его требование выполнялось.

У меня кровь закипает, когда я читаю или слышу об арабах, с которыми мы якобы жестоко поступили. В апреле 1948 года я стояла часами на хайфском побережье и буквально умоляла арабов Хайфы не уезжать. Никогда я этого не забуду. Хагана только что взяла Хайфу и арабы обратились в бегство — потому что их руководство так красноречиво убеждало их, что это будет самое умное, а британцы так щедро предоставили им десятки грузовиков. Что ни делала, что ни говорила Хагана — все было тщетно. И обращения через громкоговорители, установленные на машинах, и листовки на арабском и на иврите, подписанные еврейским рабочим советом Хайфы, которые мы сбрасывали на арабские районы города. В них было написано: «Не убегайте! Вы этим навлечете на себя бедность и унижение. Оставайтесь в нашем и вашем городе!» Британский генерал, сэр Хью Стокуэл, командовавший тогда британскими войсками, сказал: «Первыми убежали арабские лидеры, и никто ничего не сделал, чтобы предупредить начавшееся общее бегство, которое переросло в панику». Они решили уйти. Сотни уехали через границу, но некоторые собрались на берегу — ожидать кораблей. Бен-Гурион позвонил мне и сказал: «Поезжай немедленно в Хайфу, проследи, чтобы с арабами, которые там останутся, обращались как следует. Постарайся уговорить тех арабов, которые собрались на берегу, вернуться. Внуши ты им, что им нечего бояться». Я поехала немедленно. Я сидела там на берегу и умоляла их разойтись по домам. Но

у них был один ответ: «Мы знаем, что бояться нам нечего, но мы должны уехать. Мы вернемся». Я не сомневалась, что они уезжают не потому, что боятся нас, а потому, что до смерти страшатся, как бы их не сочли изменниками арабского «дела». Я говорила и говорила до хрипоты, но тщетно.

Почему мы хотели, чтобы они остались? На то были две причины: прежде всего мы хотели доказать миру, что евреи с арабами могут жить вместе — о чем бы ни трубили арабские руководители, — а, во-вторых, мы прекрасно знали, что если полмиллиона арабов покинет сейчас Палестину, то это вызовет переворот во всей экономике страны. Тут уместно будет высказаться еще по одному вопросу. Я хочу, раз и навсегда, ответить на вопрос — сколько палестинских арабов в действительности покинуло свои дома в 1947-1948 годах? Ответ: максимум — 590 000. Из них 30000 уехало сразу после ноября 1947 года, после резолюции ООН о разделе: еще 200 000 — зимой и весной 1948 года (в том числе большинство из 62 000 хайфских арабов); еще 300 000 — после провозглашения еврейского государства в мае 1948 года и арабского вторжения в Израиль. Это действительно была трагедия, и она имела трагические последствия — но надо посмотреть фактам в лицо, и тогда и теперь. Арабы кричат о «миллионах палестинских беженцев» — и это такая же неправда, как их утверждения, что мы заставили арабов покинуть свои дома. «Палестинские беженцы» появились в результате стремления (и попыток) арабов разрушить Израиль. Это был результат, а не причина. Конечно, в ишуве были люди, говорившие еще в 1948 году, что для Израиля было бы самое лучшее, если бы все арабы уехали, но я не знаю ни одного серьезного израильянина, который бы так думал.

Во всяком случае арабам, оставшимся в Израи-

ле, жилось легче, чем тем, кто уехал. До 1948 года по всей Палестине вряд ли была хоть одна арабская деревня с электричеством и водопроводом — а через двадцать лет не осталось, вероятно, ни одной, не присоединенной к электросети, и ни одного дома без водопровода. Когда я была министром труда, я проводила много времени в этих деревнях, и то, что мы там делали, радовало меня не меньше, чем исчезновение маабараот. Одно дело — слухи и пропаганда; другое дело — факты. Не «новые левые», а я, как министр труда Израиля, открывала новые дороги и посещала новые квартиры в арабских деревнях по всей стране. Кстати, мое любимое воспоминание этого времени — деревня в Нижней Галилее: деревня эта была на холме, а источник, из которого жители брали воду, — внизу, и таскать воду на холм было дело нешуточное. Мы построили для деревни дорогу, и по этому поводу был устроен праздник с угощением, флагами и речами. Неожиданно для всех слово взяла молоденькая женщина — для арабов это необычно. Она была очень хороша в своем длинном лиловом платье, и речь ее тоже была прелестна. Она сказала: «Мы хотим поблагодарить министерство труда и министра за то, что они сняли тяжесть с ног наших мужчин. Но теперь мы хотели бы попросить министра, если он может, снять тяжесть и с голов наших женщин». Этими поэтическими словами она дала понять, что хочет, чтобы провели водопровод и чтобы ей не надо было таскать воду на голове, даже по новой дороге. И через год я возвратилась в эту деревню отпраздновать новое радостное событие — и на этот раз я открыла десятки кранов.

В это время я чуть не лишилась своего поста в министерстве труда. В 1955 году подошло время выборов. Мапай очень стремился иметь мэром Тель-Авива лейбориста, и Бен-Гурион решил, что я — единственный кандидат, имеющий шансы быть из-

бранным. Я была не очень довольна, потому что мне не хотелось покинуть министерство, но, поскольку таково было партийное решение, у меня не было альтернативы.

— Но ты все-таки пойми, что в таком случае я должна буду выйти из кабинета, — сказала я Бен-Гуриону.

— Об этом не может быть и речи, — возразил он. — Мы тебя сделаем министром без портфеля.

— Нет, — сказала я. — Если я буду мэром, то я буду только мэром.

Он очень рассердился, но, к счастью для меня, мы не получили в Тель-Авиве большинства голосов. Поскольку мое избрание на тель-авивском совете зависело от двух мужчин, принадлежавших к блоку религиозных партий, и один из них отказался голосовать за женщину, я не стала мэром, а продолжала работать в министерстве труда, рассчитывая, что останусь там еще много лет.

Хотя я и была довольна таким исходом дела, но была вне себя от того, что блоку религиозников удалось в последний момент использовать в своих целях мою принадлежность к женскому полу, словно женщины Израиля не внесли своего вклада в построение государства. А ведь не было поселения в Негеве или в Галилее, где с самого начала ни трудились бы женщины. И разве представители религиозного блока не сидели в Кнессете вместе с женщинами в эту самую минуту? Разве они ни согласились с участием женщин в Еврейском Агентстве и в Ваад Леуми? Возражать против избрания меня мэром на том основании, что я женщина, — это та политическая тактика, которая внушает мне презрение, — и так я и сказала, не выбирая выражений.

Религиозные вопросы — я имею в виду случаи, когда религиозные партии старались настоять на своем, — возникали несколько раз в течение пяти-

десятих годов. Мы твердо решили не вступать в открытый конфликт с религиозным блоком, если только его можно было избежать: у нас и без этого хватало тревог. Тем не менее, периодически возникали стычки, приводившие к правительственному кризису.

В те дни израильтяне повторяли анекдот. Человек говорит, вздыхая: «Две тысячи лет мы ждали еврейского государства — и надо же, чтоб дождался его именно я!» В эти первые годы все мы порой, хоть и очень мимолетно, испытывали это чувство. И так как в Израиле ничто не стоит на месте, в 1956 году у Бен-Гуриона появились на меня новые планы.



## ПРАВО НА СУЩЕСТВОВАНИЕ

**Н**режде чем рассказывать о том, как эти планы повлияли на мою судьбу, надо объяснить, что в то самое время, когда я была министром труда, Бен-Гурион, изможденный физически и духовно, решил отказаться от поста премьер-министра и министра обороны. Предыдущие двадцать лет довели его до изнеможения, и он просил предоставить ему двухгодичный отпуск. Ему надо было переменить обстановку, и он собирался уехать в небольшой киббуц — Сде-Бокер, в Негеве, недалеко от Беер-Шевы. Там, объяснял он нам, он опять заживет как первопоселенец в коллективе и посвятит свои силы превращению пустыни в плодородную землю. Для нас это было как гром среди ясного неба. Мы умоляли его не уходить. Было еще слишком рано: государству едва исполнилось пять лет; собрание изгнанников далеко еще не было завершено; соседи Израиля все еще были с ним в состоянии войны. Нельзя было Бен-Гуриону бросать руководство страной, которую он столько лет вел и вдохновлял, — и нельзя ему было бросать нас. Мы просто не могли себе этого представить. Но он так решил, и все, что бы мы ни говорили, все было тщетно. Моше Шарет стал премьер-министром Израиля, сохранив портфель министра иностранных дел, и в январе 1954 года Бен-Гурион уехал в Сде-Бокер (он прожил там до 1955 года, когда стал сначала министром обороны, а потом и

премьер-министром, а Шарет остался опять только министром иностранных дел).

На посту премьера Шарет был, как всегда, умен и осторожен. Но я должна сказать, что при всем уважении и симпатии руководства Мапай к Шарету — почти все мы больше любили Шарета, чем Бен-Гуриона, — когда возникали по-настоящему трудные проблемы, мы все — и Шарет в том числе — обращались за советом к Бен-Гуриону. Сде-Бокер внезапно стал одним из знаменитейших мест Израиля; поток писем и посетителей был неистощим — и Бен-Гурион, которому нравилось воображать себя простым пастухом-философом, который полдня пастет киббуцных овец, а другие полдня читает и пишет, если и не держал руку на самом кормиле государственного корабля, никогда не убирал ее прочь. Вероятно, это было неизбежно; плохо было то, что Бен-Гурион и Шарет, несмотря на годы сотрудничества, никогда не ладили. Слишком они были разные — хотя оба были горячими социалистами и горячими сионистами.

Бен-Гурион был деятель, веривший в дела, а не в слова, убежденный, что в конечном итоге значение имеет лишь то, что и как делают израильтяне, а не то, что о них говорят и думают в остальном мире. Первый вопрос, который он задавал себе — и нам: «А это хорошо для государства?» Что означало: «Будет ли это в *гальнейшем* хорошо для государства?» В конце концов, история будет судить Израиль по его делам, а не по его заявлениям, и не по дипломатии, и, уж конечно, не по количеству хвалебных передовиц в международной прессе. Вопрос о том, чтобы нравиться или снискать одобрение, меньше всего интересовал Бен-Гуриона. Он мыслил в категориях суверенности, безопасности, сплочения и реального прогресса, и по сравнению с ними мировое или даже

общественное мнение представлялось ему сравнительно маловажным.

Шарет же был бесконечно озабочен тем, как политические деятели мира относятся к Израилю и что надо сделать, чтобы Израиль выглядел хорошим перед иностранными министрами и Объединенными Нациями. Его критерием был сегодняшний образ Израиля и суд о нем современников, а не истории и историков. Больше всего он, по-моему, хотел, чтобы Израиль считался прогрессивной, умеренной, цивилизованной европейской страной, поведения которой ни одному израильтянину — и, разумеется, ему самому — никогда не пришлось бы стыдиться.

К счастью, долгое время — фактически до самых пятидесятых годов — оба они очень хорошо работали вместе. Шарет умел вести переговоры, он был прирожденный дипломат, Бен-Гурион был прирожденный вождь и борец. Сотрудничество столь непохожих дарований, темпераментов, позиций приносило огромную пользу и сионизму, и рабочему движению. Они не походили друг на друга, они не дружили по-настоящему — но они друг друга дополняли и, конечно, главные цели у них были общие. Однако после провозглашения государства их несовместимость стала бросаться в глаза. Словом, в 1955 году, когда Бен-Гурион вернулся из Сде-Бокера (о причинах я расскажу потом), разногласия между ними и напряженность в их отношениях дошли до предела.

Основной конфликт между ними всегда возникал по вопросу о том, как Израиль должен отвечать на действия террористов. Шарет не хуже, чем Бен-Гурион, понимал, что вечным вылазкам арабских банд из-за границы должен был быть положен конец, но острое расхождение между ними было по вопросу — как это сделать. Шарет не исключал репрессалий. Но он больше, чем кто-либо из нас, верил, что луч-



ший способ — оказывать нажим на власть предержавших, чтобы они, в свою очередь, путем нажима на арабские страны, заставили их прекратить помощь и подстрекательство террористов. Он был уверен, что хорошо написанные протесты в Объединенные Нации, искусные и информативные дипломатические ноты и неустанные разъяснения, в конце концов, окажут действия, в то время как вооруженные репрессалии вызовут бурю неодобрения и еще ухудшат наше и так не слишком благоприятное международное положение. Насчет бури неодобрения он был совершенно прав: это был настоящий смерч. Как только оборонные силы Израиля отвечали на террор — а при этом неизбежно бывали убиты и ранены ни в чем не повинные арабы — Израиль немедленно и очень сурово осуждался за «зверства».

Но Бен-Гурион считал, что он ответственен, в первую очередь, не перед западными государственными деятелями или международным трибуналом, а перед нашими гражданами, живущими в израильских поселениях и подвергающимся постоянным атакам арабов. Он считал, что в любом государстве первейший долг правительства — защищать себя и своих граждан, как бы на это ни смотрели за границей. Было и еще одно очень важное для Бен-Гуриона соображение: граждане Израиля — весь конгломерат людей, языков и культур — должны были твердо усвоить, что за их безопасность отвечает правительство, и только правительство. Куда проще было под шумок сформировать антитеррористические группы, закрыть официально глаза на их частные акты отмщения и громогласно отрицать свою ответственность за «инциденты». Но это нам не подходило. Мы по-прежнему протягивали арабам руку мира, но в то же время дети израильских земледельцев на границе должны были по ночам спокойно спать в

своих кроватях. И если этого можно добиться только нанося беспощадные удары по лагерям арабских разбойников, это должно быть сделано.

В 1955 году были проведены десятки таких израильских рейдов — в ответ на наши все увеличивающиеся потери, на минирование дорог, на нападения из засады на наши машины. Рейды наши не покончили с террором, но установили тяжелейшую расплату за жизнь наших поселенцев, а заодно и израильтян научили полагаться на свои вооруженные силы. Этим подчеркивалось — для новой части населения, по крайней мере, — какая разница между жизнью в стране, где тебя терпят, и в своей собственной стране. Но, к сожалению, в результате этого Бен-Гурион и Шарет еще больше отдалились друг от друга, ибо некоторых репрессалий Шарет не одобрял.

Через некоторое время Бен-Гурион перестал называть Шарета по имени и разговаривал с ним как с чужим человеком. Шарет невыносимо страдал от этой холодности. Он никогда ничего не сказал об этом публично, но дома, по ночам, он заполнял страницы своего дневника гневными анализами Бен-Гурионовского характера и поведения по отношению к нему, Шарету. В 1956 году Мапай стала подыскивать нового генерального секретаря. Бен-Гурион решил, что это — идеальная работа для меня, спросил моего мнения по этому поводу и предложил обсудить это вместе с другими коллегами у него дома в Иерусалиме. Не все отнеслись к его предложению с восторгом; я же, хоть это и означало, что мне придется уйти из кабинета, была готова принять решение партии и слушала возникшую дискуссию с большим интересом. Конечно, мне не хотелось передавать мое министерство кому бы то ни было, но будущее партии Мапай (пострадавшей на выборах 1955 года) меня очень заботило. Я считала, что она должна — и может — вырасти, и что угроза ей, как справа, так и

слева, может быть отведена, если руководство партии, которое до сих пор — по понятным причинам — слишком уж перекадывало свою работу на плечи Бен-Гуриона, сделает необходимое усилие. Тут я услышала, как Шарет пошутил: «Уж не стать ли мне генеральным секретарем партии?» Все рассмеялись — кроме Бен-Гуриона, который прямо-таки вскочил на ноги при этой шутке. Не думаю, что он когда-нибудь сам попросил бы Шарета выйти из кабинета министров, — но тут неожиданно представился удобный случай, и не таков был Бен-Гурион, чтобы этим случаем не воспользоваться.

— Замечательно! — вскричал он. — Чудная мысль! Это спасет Мапай!

Остальные удивились, немного смутились, но, подумавши, решили, что это и в самом деле хорошая мысль, и партия с этим согласилась. Заседания кабинета все больше и больше превращались в арену политических споров между Бен-Гурионом и Шаретом; такое решение вопроса — пусть не слишком элегантное — было, или, по крайней мере, казалось, облегчением всем нам, ибо снимало напряженность, происходившую от постоянных пререканий этих двух людей.

— А тебе разве не кажется, что сделать Моше генеральным секретарем — хорошая мысль? — спросил меня Бен-Гурион пару дней спустя.

— Но кто же будет министром иностранных дел? — поинтересовалась я.

— Ты! — спокойно ответил он.

Я не могла поверить своим ушам. Это уж совсем никогда не приходило мне в голову, и я не думала, что смогу с таким постом справиться, да мне и не хотелось. Только в одном я была уверена: что мне не хочется уходить из министерства труда, и так я и сказала Бен-Гуриону. Сказала также, что мне неохота садиться в кресло Шарета. Но Бен-Гурион не слу-

шал моих возражений. «Так и будет», — сказал он. Так и стало.

Шарет был глубоко потрясен. Думаю, ему всегда казалось, что если бы я не согласилась принять его любимое министерство, Бен-Гурион примирился бы с тем, что он там останется навсегда. Но в этом он ошибался. Их отношения уже не могли улучшиться, для этого было слишком поздно, хотя Шарет долго этого не понимал. Только когда его ближайшие друзья, Залман Аран и Пинхас Сапир, прямо сказали ему, что если он не выйдет из правительства, то Бен-Гурион опять уйдет, Шарет сдался. Однажды Леви Эшкол сказал: «Как премьер-министр Израиля Бен-Гурион стоит, по крайней мере, трех армейских дивизий». И то, что Шарет согласился с этой оценкой, дает понятие о силе и престиже Бен-Гуриона в то время. Конечно, позже противники Бен-Гуриона обвиняли его в том, что он отделался от Шарета специально, ибо тот затруднил бы ему проведение Синайской кампании. Но я уверена, что такого умысла тут не было. История их отношений на этом не закончилась. Шарет на некоторое время ушел от общественной жизни, а потом стал председателем Еврейского Агентства. В 1960 году, когда вспыхнуло так называемое «дело Лавона», Шарет, уже пораженный болезнью, которая его убила пять лет спустя, резче всех критиковал Бен-Гуриона за то, что он не давал этому «делу» умереть естественной смертью.

Раз уж я заговорила о «деле Лавона», то тут я о нем и скажу, хотя и не собираюсь посвящать ему исчерпывающий трактат. Все началось с ошибки, допущенной органами безопасности в связи со шпионажем в Египте в 1954 году (операция была не только плохо проведена, но и очень плохо задумана). В это время Шарет был премьер-министром и министром иностранных дел. Новым министром обороны, ко-

тогого выбрал сам Бен-Гурион, стал Пинхас Лавон, один из самых способных членов Мапай, хотя и не очень устойчивый. Красивый мужчина, интеллектuell со сложной внутрѐнной жизнью, он был всегда в числе голубей, но сразу превратился в хищного ястреба, как только занялся военными делами. Многие из нас считали, что он совершенно не годится для такого щекотливого министерства. У него не было ни необходимого опыта, ни, как мы считали, необходимой рассудительности. Не только я, но и Залман Аран, и Шаул Авигур, и другие коллеги тщетно пытались отговорить Бен-Гуриона от этого выбора. Это не удалось, разумеется. Он уехал в Сде-Бокер, и Пинхас Лавон сменил его в министерстве обороны. Но он не мог сработаться с талантливыми молодыми людьми, верными учениками Бен-Гуриона — среди них был Моше Даян, тогда начальник штаба, и Шимон Перес, генерал-директор министерства обороны. Они не любили Лавона, не доверяли ему и не скрывали этого; он же не скрывал, что не собирается оставаться в тени Бен-Гуриона и наложит на министерство свой собственный отпечаток. Так были посеяны семена грядущих раздоров.

Когда произошел провал в Египте, была назначена комиссия, чтобы разобраться, как и почему все случилось. Я не могу и не хочу входить в подробности. Достаточно сказать, что Лавон заявил, что ничего не знает о провалившейся операции и что начальник разведки задумал ее у него за спиной. Комиссия ничего значительного не обнаружила, но и не освободила Лавона полностью от ответственности за происшедшее. Общественность ничего не узнала об этом совершенно засекреченном эпизоде, а немногие, знавшие о нем, сочли все дело законченным. И все-таки, независимо от того, кто был виноват, тяжелая ошибка была допущена. Лавону оставалось

только подать в отставку, и Бен-Гурион был призван из Сде-Бокера обратно в министерство обороны.

Шесть лет спустя вся эта история дала новую вспышку, превратившуюся в большой политический скандал, имевший трагические последствия внутри партии Мапай. Несколько месяцев израильская общественность переживала это дело; оно же, хоть и не впрямую, послужило причиной моего разрыва с Бен-Гурионом и его второй и окончательной отставки.

В 1960 году Лавон заявил, что на предварительном следствии были предъявлены фальшивые улики и даже документы были подделаны. Поэтому он требовал, чтобы Бен-Гурион публично его реабилитировал. Бен-Гурион отказался: он сказал, что никогда ни в чем не обвинял Лавона и потому не может его оправдать. Это должен сделать израильский суд. Тут же была создана комиссия по расследованию действий армейских офицеров, которых Лавон обвинил в заговоре против него. Но еще до того, как комиссия закончила свою работу, Лавон передал дело на рассмотрение соответствующей комиссии Кнессета и через некоторое время о нем узнала пресса.

Дальнейшая битва Лавона с Бен-Гурионом разворачивалась на виду у всех. Леви Эшкол, как всегда, старался умиротворить участников, но Бен-Гурион не уступал и требовал судебной комиссии. Было ясно, что он готов оскорбить ближайших коллег, партию, которой руководил, — все ради того, чтобы разрешить дело тем способом, какой он считал правильным, — и не позволить никому замарать клеветой армию и министерство обороны. Он продолжал требовать суда, тогда как Эшкол, Сапир и я старались, чтобы конфликт был разрешен на уровне кабинета министров — пристойно и осторожно. Была создана специальная комиссия из семи министров, и все мы были довольны, что Бен-Гурион не возра-

жал против этого. Но министерская комиссия, которая, как Бен-Гурион считал, поддержит его требование передать дело в суд, поработав, пришла к выводу, что больше ничего делать не надо: Лавон не несет ответственности за приказ, приведший к провалу, и нет смысла продолжать заниматься этим делом. Бен-Гурион яростно возражал, что если комиссия уверена, что приказа Лавон не давал, стало быть виной всему военная разведка. Но поскольку доказательств этому нет, то только суд может решить, кто несет ответственность за все. К тому же, сказал он, министерская комиссия повела себя неправильно. Она не сделала того, что должна была сделать, она покрыла Лавона и вообще никуда не годилась. В январе 1961 года Бен-Гурион снова ушел в отставку: по его предложению премьер-министром стал Леви Эшкол, и Бен-Гурион ринулся в новую кампанию за проведение судебного расследования. Но Эшкол не желал больше заниматься «делом Лавона» — и отверг идею суда вообще. Бен-Гурион был вне себя. Он рассчитывал, что Эшкол-то его послушается, — а Эшкол отказался. И бедный Эшкол, а заодно и все, кто поддерживал его в партии, стали первой мишенью для яростных нападок Бен-Гуриона.

Я не могла простить Бен-Гуриону того, как беспощадно он преследовал Эшкола и как он обзывал и третировал всех нас, меня в том числе. И это после того, как мы столько лет проработали вместе! Он видел в нас своих личных врагов и обращался с нами как с таковыми. Мы с ним после этого не виделись в течение многих лет. Когда в 1969 году отмечалось его восьмидесятилетие (на которое Эшкол не был приглашен), я, отдав себе отчет в своих чувствах, решила, что не пойду, хотя меня он приглашал специально. Я знала, что очень обижу его отказом, но я просто не могла принять приглашение. Он слишком оскорбил всех нас, и с этим я не могла примириться.

Если мы в самом деле были такими глупцами, как он говорил, — ну что ж, с этим ничего не поделаешь, видно, такими мы родились. Но коррупция — это не прирожденное свойство, а он обвинял нас в коррупции. Если другие партийные лидеры могли пренебречь тем, что Бен-Гурион считал (или говорил, что считает) их продажными, — ну что ж! Эшкол не мог и я не могла. Я не могла делать вид, что этого не было. Я не могу переписывать историю и не могу себя обманывать. На этот его юбилей я не пришла.

В 1969 году, когда я представляла Кнессету свой первый кабинет, Бен-Гурион — который к этому времени порвал с Мапай и создал РАФИ с Даяном и Пересом — воздержался при голосовании. Но он выступил с заявлением. «Нет сомнения, — сказал он, — что Голда Меир сумеет быть премьер-министром. Но нельзя забывать, что она приложила руку к аморальному делу». И он снова начал рассказывать о «деле Лавона». Но к концу его жизни мы помирились. Я поехала в Сде-Бокер на празднование его восьмидесятилетия, и хотя мы не проделали никаких формальностей, мы снова стали друзьями. В свою очередь, когда Ревивим — Саррин киббуц — устроил празднование моего семидесятилетия в 1973 году, он специально туда приехал. Конечно, это был уже не прежний Бен-Гурион. И все-таки мы ликвидировали ужасный и ненужный разрыв, которого я и сейчас не могу по-настоящему объяснить. Вот, вкратце, «дело Лавона», которое началось еще до того, как в 1956 году я стала вторым по счету министром иностранных дел Израиля.

Обычно передача министерства происходит в присутствии обоих министров, старого и нового, но Шарет распрощался с министерством по-другому. Он пришел туда один, вызвал начальников отделов и простился с ними. Потом он позвал меня к себе и в течение трех дней инструктировал и вводил в курс



дела с такой тщательностью, какой я ни прежде, ни потом ни у кого не встречала. В этом был весь Шарет: он знал о министерстве и о его персонале все, до малейших подробностей — имена, семейное положение, личные неурядицы — все, вплоть до того, как звали детей. Но прийти со мной вместе в министерство в мой первый день он не захотел, сказав, что мне придется пойти одной. И я пришла одна и чувствовала себя ужасно, и отдавала себе отчет в том, что прихожу на смену человеку, не только основавшему это министерство, но и возглавлявшему его с самого 1948 года.

Первые месяцы мои в этом министерстве были не слишком удачны. И не только потому, что я оказалась новичком среди знатоков. Уж очень стиль Шарета отличался от моего, и люди, которых он подобрал — конечно, очень компетентные и преданные своему делу, — были, вероятно, не те, с которыми я привыкла работать. Многие из тех, кто был постарше, получили образование в английских университетах, и их специфическая интеллектуальная утонченность, так восхищавшая Шарета, меня в восторг не приводила. К тому же, откровенно говоря, я не могла не понимать, что кое-кто тут думает, что я не подхожу для этой работы. И то сказать — я не славилась изяществом и тонкостью речей или особой приверженностью к протоколу, да и семь лет в министерстве труда были, по их мнению, не самой подходящей школой для министра иностранных дел. Но через некоторое время мы привыкли друг к другу и, в общем, хорошо сработались, может быть, потому, что от каждого решения зависело столь многое.

Я пришла в министерство иностранных дел летом 1956 года, когда действия арабских террористов — особенно федаинов (вооруженные банды, поддерживаемые и обученные Египтом) — дошли до нестер-

пимого предела. Федаины орудовали, в основном, базируясь в районе Газы, но у них были базы и в Иордании, и в Сирии, и в Ливане, и они убивали евреев в самом центре страны — в Реховоте, в Лоде, Рамле, Яффе. Арабские страны объяснили свою позицию уже давно. «Мы используем право войны!» — заявил в 1951 году египетский представитель, защищая отказ Египта пропускать израильские суда через Суэцкий канал. «Перемирие не прекращает состояния войны. Оно не воспрещает стране использовать некоторые права войны». Мы все очень даже хорошо знали, что эти «права» сохранялись полностью и в 1955, и в 1956 году.

Полковник Гамаль Абдель Насер, который пришел к власти в 1952 году и стал самой могущественной фигурой в арабском мире, открыто приветствовал федаинов. «Вы доказали, — сказал он, — что вы — герои, на которых может положиться вся наша страна. Пусть растет и ширится федаинский дух, одушевляющий вас, когда вы вступаете на вражескую землю». И каирское радио бесконечно прославляло убийц, в выражениях самых недвусмысленных. Его припевом было: «Плачь, о Израиль, день уничтожения близится».

Объединенные Нации не сделали ничего, чтобы прекратить действия федаинов. Секретарь ООН Даг Хаммаршельд весной 1956 года сумел добиться прекращения огня — оно продлилось несколько дней; но когда федаины опять стали переходить нашу границу, он уже не вернулся ни к этому вопросу, ни на Ближний Восток. Я знаю, что теперь вокруг фигуры г-на Хаммаршельда возник некий маленький культ, но я в нем не участвую. Я часто встречалась с ним после того, как они с Бен-Гурионом кончали толковать о буддизме и всяких философских вопросах, их обоих занимавших. Мы с ним толковали о вещах заурядных — например, о параграфе в договоре о

прекращении огня с Иорданией, который нарушался, или об очередной нашей жалобе на Объединенные Нации. Ничего удивительного, что Бен-Гурион казался Хаммаршельду ангелом, а я — человеком, с которым невозможно иметь дело. Я никогда не считала его другом Израиля, и как я ни старалась это скрыть, он, думаю, чувствовал, что я считаю его далеко не беспристрастным в делах Ближнего Востока. Если арабы говорили «нет» — а «нет» они говорили все время, — Хаммаршельд никогда не шел дальше. Не скажу, чтобы У Тан (бирманский государственный деятель, сменивший его в ООН) был намного лучше. Несмотря на годы бирманско-израильской дружбы, несмотря на его личные, по-настоящему теплые отношения с нашей страной и с нами, с тех пор, как У Тан стал генеральным секретарем ООН, для нас наступило тяжелое время. По-видимому, и он не считал возможным проявлять твердость по отношению к русским или к арабам, зато по отношению к Израилю он был чрезвычайно тверд, и это ему было совсем не трудно.

Но все это я говорю просто к слову. Конечно, не генерального секретаря ООН следовало винить за ежедневные убийства, грабежи и акты саботажа, совершаемые феодалами. В одной из таких атак была обстреляна (из Иордании) группа археологов, работавшая в Рамат-Рахел, близ Иерусалима. Четыре человека было убито, многие ранены. Один из четырех был членом моей семьи — тесть Менахема, отец Айки, известный ученый, тихий человек, в жизни мухи не обидевший. Помню, я с горечью размышляла, что мир сошел с ума, спокойно принимая «право войны» и не думая о «правах мира». Винить за это — и не в последний раз! — приходилось русских.

В 1955 году между Чехословакией (читай — Советским Союзом) и Египтом было заключено согла-

шение. В результате Египет систематически снабжался всякого рода оружием, включая подводные лодки, истребители, танки и грузовики. Казалось бы — что вдруг толкнуло Советский Союз поставлять оружие государству, не скрывавшему своего намерения «отвоевать Палестину», как выразился полковник Насер. В том-то и дело, что вовсе не «вдруг». В глобальной схватке пятидесятых годов, известной (применительно к нам это не очень точно!) как «холодная война», и Соединенные Штаты, и Советский Союз старались перещеголять друг друга, потрафляя арабским странам, особенно Египту. Но если Англия и США несколько стеснялись своего ухода за Насером, то Советский Союз не ведал никаких сомнений. То, что Советский Союз помогал Египту осуществить свою мечту о продолжении войны против Израиля, оправдывалось — в той мере, в какой Советский Союз считал нужным оправдываться, — тем, что такая гадкая вещь, как сионизм, должна подавляться повсюду. Для доказательства того, какая это гадкая вещь, в Москве в 1953 году был изобретен «заговор врачей». Русский народ был извещен, что девять врачей (шестеро из них — евреи) пытались убить Сталина и других советских лидеров, и уже инсценировался гнусный процесс, первая часть антиеврейской кампании, которую раздули на весь Советский Союз.

После этого однажды ночью в саду у советского посольства в Тель-Авиве взорвалась маленькая бомба. Русские немедленно обвинили правительство Израиля в том, что оно подстроило этот инцидент, и разорвали дипломатические отношения. Но и несколько месяцев спустя, когда отношения возобновились, антисемитская пропаганда в СССР, с постоянными ссылками на сионизм, продолжалась, и старая песня про «сионистских марионеток импе-

риалистических поджигателей войны» была подхвачена Чехословакией, начавшей собственную антиеврейскую кампанию.

Несмотря на все это, несмотря на нескрываемую советско-арабскую подготовку к следующей войне, США и Англия отказывались продавать нам оружие, как бы часто, как бы громко мы ни стучали в их двери.

Правда, в самом начале 1956 года Соединенные Штаты — по-прежнему отказываясь продавать нам оружие — дали понять Франции и Канаде, что не станут возражать, если это будут делать они. Но Франция не дожидалась американского разрешения. Руководствуясь собственными мотивами, она решила прийти на помощь Израилю, и хотя это нельзя было сравнить с советской «щедростью» к Египту, мы все-таки чувствовали себя не такими беззащитными и одинокими.

Летом 1956 года, когда я стала устраиваться в новом кабинете и привыкать к тому, что меня называют г-жа Меир — Бен-Гурион приказал принять ивритское имя, и «Меир» (на иврите это значит «озаряющий») было всего ближе к привычному «Меерсон», — петля у нас на шее стала затягиваться. Насер сделал знаменитый свой жест — в июле национализировал Суэцкий канал. Никогда еще ни один арабский лидер не совершал такого эффектного поступка, и арабский мир был поражен. Только одно оставалось Насеру совершить, чтобы управляемый им Египет был признан главной мусульманской державой: уничтожить нас. В остальном мире национализация канала с тревогой обсуждалась как политическая проблема для великих держав; нас же в Израиле больше беспокоил рост военной мощи Египта и Сирии, подписавших договор об объединении верховного командования. Не оставалось сомнений, что война неизбежна, что египтяне снова обольсти-

лись мечтой о победе над Израилем — той самопрославляющей мечтой, которую Насер развил в своей «Философии революции».

О Синайской кампании так много написано (кое-что верно, кое-что выдуманно), что сама я могу добавить очень немного. Но должна подчеркнуть: независимо от неудавшейся французско-английской попытки захватить Суэцкий канал, борьба Израиля с Египтом в 1956 году имела одну-единственную цель — предотвратить разрушение еврейского государства. А угроза ему была нешуточная. Как потом я сказала на Ассамблее ООН: «Пусть другие не захотели этого сделать, но мы сами распознали ее симптомы». Мы знали, что страны диктатуры — в том числе и те, которые с обезоруживающей простотой сообщают о своих планах, — обычно сдерживают обещания, а в Израиле никто не забыл ни о крематориях, ни о значении слов «тотальное уничтожение». Если мы не хотели быть перебитыми, по частям или все сразу, мы должны захватить инициативу, хотя, видит Бог, не просто было принять такое решение. И все-таки оно было принято. Мы начали секретно планировать Синайскую кампанию (в Израиле ее имя — операция Кадеш).

Французы предложили нам оружие и стали готовить секретные планы объединенного англо-французского штурма Суэцкого канала. В сентябре они попросили Бен-Гуриона послать во Францию делегацию для переговоров с Ги Молле (возглавлявшим во Франции социалистическое правительство), Кристианом Пино (министр иностранных дел) и Морисом Буржес-Монури (министр обороны). Бен-Гурион попросил меня как министра иностранных дел присоединиться к делегации, куда вошли Моше Даян, Шимон Перес и Моше Кармел, наш министр транспорта (выдающийся военачальник времен Войны за Независимость). Нечего и говорить, что я даже на-

меком не смела дать понять Сарре, что еду за границу. Вообще, тех, кто знал об этом, не считая уезжавших, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Это действительно держалось в секрете. Даже кабинет министров узнал об отношениях с англичанами и французами и разработал детали кампании лишь за несколько дней до понедельника 29 октября, когда она началась, а члены оппозиции были извещены Бен-Гурионом еще позже, чем члены нового кабинета. Словом, это произошло внезапно для всех — не только для Насера!

Мы полетели во Францию с секретного аэродрома на ветхом французском военном самолете, очень плохо освещенном. Мы были молчаливы и напряжены. И настроение не улучшилось, когда Моше Кармел, расхаживавший по самолету, чуть не провалился в плохо закрытое бомбовое отверстие. К счастью, он сумел выкарабкаться, сломав при этом три ребра.

Первая наша остановка была в Северной Африке, где нас поместили в очень симпатичной французской гостинице и чудесно накормили. Наши хозяева не подозревали, кто мы такие, и очень удивились, что в секретную делегацию входит женщина. Оттуда мы полетели на военный аэродром под Парижем, чтобы встретиться с французами. Я вызвала к себе нашего посла Якова Цура. Я даже не решилась съездить в Париж и страшно рассердилась на Даяна, который это сделал — хотя, к счастью, никто его не узнал. Целью переговоров было уточнить детали военной помощи, которую нам обещали французы, особенно в защите нашего воздушного пространства, если мы об этом попросим. Но это была только первая из нескольких конференций, в одной из которых участвовал сам Бен-Гурион.

24 октября мы начали совершенно секретно проводить мобилизацию. Общественность — и, вероят-

но, египетская разведка тоже — решила, что ввиду угрожающего вступления иракских войск в Иорданию (примкнувшую недавно к объединенному египто-сирийскому командованию), мы готовимся отразить нападение: сосредоточение наших войск на иорданской границе придавало вероятность этим слухам. За неделю до Синайской кампании в министерстве иностранных дел была устроена конференция израильских послов, частично для того, чтобы я могла встретиться с важнейшими из наших представителей за границей прежде, чем начнется Генеральная Ассамблея ООН. Они все вернулись на места за четыре дня до начала войны, ничего о ней не подозревали. Только Яков Цур, наш посол в Париже, знал, о чем идет речь. Шарет, отправившийся в Индию как только я приняла министерство, беседовал с Неру, когда пришло известие о том, что началась война, и Неру не мог поверить, что его собеседник ничего не знал заранее. Но полная секретность была жизненно необходима.

Как часто хотелось мне в последние недели перед войной и в министерстве, и в резиденции министра иностранных дел, куда я переехала летом и все еще старалась организовать свой быт, поговорить хоть с кем-нибудь о том, что произойдет 29 октября! Неестественно для человека молчать о том, что, он знает, изменит жизнь всех окружающих, и для того чтобы молчать, нужно делать сверхчеловеческие усилия. Куда бы я ни пошла, что бы ни делала, я ни на минуту не забывала, что через несколько дней мы вступим в войну. Я не сомневалась, что мы победим, но какой бы великой ни была наша победа, предстоят великие страдания и опасности, смотрела на молодых людей в министерстве, на парня, доставлявшего мне газеты, на рабочих-строителей напротив моего дома и думала о том, что будет с ними, когда начнется война. Невеселые это были



мысли, но не было у нас другого способа отделаться от федаинов или заставить Египет понять, что Израиль не проглотить. Последний уик-энд этого длинного жаркого октября я провела в Ревивиме, с Саррой, Зехарией и детьми. Шаулу было тогда шесть месяцев; это был прекрасный ребенок, которого я не видела со дня его рождения. Я старалась не думать о войне по дороге в киббуц, но это было невозможно. Если дела пойдут плохо, то египетская армия будет пробивать себе дорогу в Израиль через Негев, через Ревивим. Я играла с детьми, сидела с Саррой и Зехарией в тени молодых деревьев, которыми Ревивим так гордился, вечером, как все израильтяне, разговаривала с нашими общими друзьями о международном положении — а это в любом году означает: об угрозе существованию Израиля. И все время я думала: «Неужели так будет продолжаться вечно — тревога о детях и внуках, война, убийства и смерть?» Но я даже не могла предупредить их о том, что предстоит.

Когда я уже собиралась уезжать, ко мне подошел молодой человек. Я знала его в лицо (он был в киббуце старожилом), но не могла вспомнить его имя. Он представился, объяснил, что отвечает за безопасность в Ревивиме, и знает, что что-то готовится. Он не произнес слова «мобилизация», но мы прекрасно друг друга поняли. «Знаю, что вы ничего не можете мне сказать, — извинялся он, — и знаю, что я и спрашивать не должен. Но надо ли нам копать траншеи?» Я посмотрела на маленький киббуц — такой уязвимый, такой всему открытый посреди Негева, потом в глаза молодому человеку. «Я на вашем месте, пожалуй, копала бы», — ответила я ему и села в машину. Всю дорогу обратно в Иерусалим я видела признаки того, что призыв резервистов уже начался — устно, по телефону, по телеграфу: на каждой автобусной ос-

тановке стояли очереди мужчин в гражданском, отправлявшихся в свои воинские части.

Согласно плану, Синайская кампания началась после захода солнца 29 октября и закончилась, тоже по плану, 5 ноября. Мenee ста часов понадобилось Армии Обороны Израиля, состоявшей в основном из резервистов, посаженных в какие попало военные и гражданские машины, чтобы пересечь и отнять у Египта район Газы и Синайский полуостров, превосходившие по площади Израиль в два с половиной раза. Мы рассчитывали на внезапность, быстроту и замешательство в египетской армии, но только приехав в Шарм-эль-Шейх — южная оконечность Синайского полуострова — и объехав район Газы на машине, я поняла масштабы нашей победы. Я увидела размеры и запустение этой территории, через которую танки, пикапы, грузовики для мороженого, частные машины и такси промчались за семь дней. Это было полное поражение Египта. Гнезда фedaинов были очищены. Сложная египетская система обороны Синая — крепости и батальоны, скрытые в пустыне, — была полностью выведена из строя. Сотни тысяч единиц всевозможного оружия, миллионы патронов, большей частью русского происхождения, заготовленные против нас, теперь не могли им помочь. Треть египетской армии была разбита. Из 5000 египетских солдат, скитавшихся в песках, 3000 были взяты в плен, чтобы они не погибли от жажды (и впоследствии обменены на одного израильтянина, которого египтянам удалось захватить).

Но мы воевали в Синайскую кампанию не за территорию, не за добычу, не за пленных. Что касается нас, то мы завоевали единственное, чего хотели: мир, или хоть обещание мира на несколько лет — может быть, даже дольше. Хотя потери наши были «невелики», мы отчаянно надеялись, что 172 погиб-

ших израильянина (раненых было около 800) — последние военные потери, которые нам суждено оплачивать. Теперь мы будем настаивать, чтобы наши соседи заключили с нами соглашение — и примирились с нашим существованием.

Конечно, все получилось не так. Мы-то свою войну с Египтом выиграли, но французы и англичане ее проиграли — частью по причине неумелого ее ведения, но в основном из-за бурно-отрицательного отношения английской общественности к тому, что было расценено как империалистическое нападение на ни в чем не повинную страну. Я всегда думала, что будь англо-французская атака Суэца быстрой и эффективной, буря протеста улеглась бы ввиду *fakt assompli* — совершившегося факта. Но наступление провалилось, и французы с англичанами отступили, как только Объединенные Нации, под сильным нажимом США и Советского Союза, потребовали убрать их войска из зоны Суэцкого канала. Они также потребовали, чтобы Израиль отступил из Синая и района Газы.

Так началась дипломатическая битва, которую мы вели в ООН в течение мучительных четырех с половиной месяцев — и проиграли. Мы пытались убедить весь мир, что если мы отступим к линии перемирия 1949 года, то новая война на Ближнем Востоке будет неизбежна. Неплохо бы, если б те самые люди, те миллионы людей, которые и сегодня не вполне поняли, что означает борьба Израиля за свое существование, и с такой готовностью осуждают нас за «недостаточную гибкость» и за то, что мы каждый раз, когда нас ввергают в войну, не отступаем послушно к прежним границам, — неплохо бы, если бы они вспомнили о ходе событий после 1956 года и спросили себя, что хорошего вышло из того, что нам пришлось тогда отступить из Синая и Газы? Да ничего! Только войны, одна кровопролитнее и

дороже другой. Если бы нам позволено было оставаться там, где мы были, пока египтяне не согласятся на переговоры с нами, история Ближнего Востока сложилась бы иначе. Но давление было слишком сильным, и мы, наконец, уступили. Президент Эйзенхауэр оказывал давление на Англию и Францию, и Иден был первым, кто сдался. Президент был разгневан и сказал, что если Израиль не отступит немедленно, Соединенные Штаты поддержат в ООН санкции против него.

Но самое большое давление оказывал Советский Союз. Он не только стал свидетелем полного разгрома Египта, несмотря на всю советскую помощь; он получил возможность затушевать свое вторжение в Венгрию, вопя о заговоре колониалистов против Египта и, особенно, об израильской «необузданной агрессии». Премьер-министр Николай Булганин пригрозил советской интервенцией на Ближний Восток; теперь думается, что это вряд ли привело бы к третьей мировой войне, но тогда именно это прочитывалось в его мрачных предупреждениях. Фактически весь мир был против нас, но я не верила, что мы должны уступить без борьбы.

Когда в декабре 1956 года я поехала на заседание ООН, меня одолевали дурные предчувствия. Но перед поездкой я захотела сама увидеть Синай и Газу, и это было хорошо, ибо иначе я бы не полностью представляла себе, в каком опасном положении мы находились перед Синайской кампанией. В жизни не забуду вида египетских укреплений, воздвигнутых в Шарм-эль-Шейхе с полным пренебрежением к ООН, ради того, чтобы незаконно заблокировать наше судоходство. Район Шарм-эль-Шейха невообразимо прекрасен; вода в Красном море, наверное, самая голубая и прозрачная в мире, а горы вокруг красные, сиреневые и фиолетовые. И в этом мирном пейзаже на пустынном берегу стояла нелепая бата-

рея корабельных орудий, так долго парализовывавшая Эйлат. Эта картина показалась мне символической. Потом я объехала Газу, откуда так много месяцев шли убивать нас федаины и где Египет держал около четверти миллиона людей (60% которых составляли арабские беженцы) в постыдной нищете и лишениях. То, что я там увидела, меня просто испугало: более пяти лет эти несчастные жили в таких невыносимых условиях только для того, чтобы арабские лидеры могли демонстрировать лагеря беженцев посетителям и наживать на них политический капитал. Этих беженцев можно и нужно было немедленно поселить в любую из арабских стран Ближнего Востока — с которыми, кстати сказать, у них были общий язык, традиции и религия.

Не могла я не сравнить все это с тем, что сделали мы — при всех наших ошибках — для евреев, за те же восемь лет прибывших в Израиль. И потому, вероятно, я начала свое выступление на Ассамблее ООН 5 декабря 1956 года не с войны, которую мы выиграли, а с евреев, которых мы у себя устроили.

*«В Израиле люди уходили в пустыню или пускали корни в каменистых горных склонах, чтобы строить новые деревни, дороги, дома, школы и больницы, а арабских террористов посылали из Египта и Иордании их убивать. Израиль рыл колодцы, прокладывал водопроводы; Египет посылал федаинов взрывать колодцы и водопроводы. Евреи из Йемена привезли больных, изнуренных детей, считая, что из пяти двое умрут; мы добились того, что из двадцати пяти умирал один. Пока мы выкармливали и лечили этих детей, федаинов посылали бросать бомбы в синагоги и гранаты — в детские ясли».*

Далее я перешла к знаменитому «праву войны», дикредитированному оправданию «военного стату-

са» против Израиля, под покровом которого полковник Насер тренировал и напускал на нас федаинов.

*«Произошло очень удобное разделение. Арабские государства в одностороннем порядке наслаждаются «правами войны»; Израиль в одностороннем порядке несет ответственность за соблюдение мира. Но состояние войны — это не улица с односторонним движением. Удивительно ли, что народ, работающий в условиях этой чудовищной дискриминации, в конце концов, возмущается и ищет, по крайней мере, способа спасти свою жизнь от опасностей регулярной войны, которая ведется против него со всех сторон?»*

Но не ради привычных, хотя и справедливых обвинений была произнесена эта речь и не для того, чтобы снова объяснить так называемой «семье народов» причины Синайской кампании, и даже не для того, чтобы обнародовать известные нам и тщательно подготовленные планы Египта уничтожить Израиль. Цель речи была другая, гораздо более важная: еще раз попытаться, притом публично, расследовать источники ненависти арабских лидеров к Израилю и сделать конкретные предложения возможного мира. Хочу подчеркнуть, что эта речь была произнесена в конце 1956 года, двадцать лет тому назад. Если она звучит знакомо, то это потому, что с тех самых пор мы повторяли одно и то же — и с тем же успехом, что и тогда.

*«В этой ситуации главная проблема — систематическая, организованная арабская враждебность к Израилю. Эта арабская враждебность не родилась сама собой. Она искусственно выращена и вскормлена. Не Израиль, как здесь говорилось, является орудием колониализма. Это израильско-арабский кон-*

*фликт держит весь Ближний Восток во власти опасно соперничающих сил. Только ликвидировав этот конфликт, народы региона смогут независимо и с надеждой на будущее строить свою судьбу. Только при этом условии возможна надежда на равенство и прогресс для всех этих народов. Если ненависть перестанет быть основой арабской политики — все станет возможным».*

Израильское правительство снова и снова протягивало своим соседям руку для примирения. Но бесполезно. На девятой сессии Генеральной Ассамблеи представитель Израиля предложил, чтобы, если арабские страны еще не готовы к миру, были заключены, в качестве предварительного или переходного шага, договоры, обязывающие к политике неагрессии и мирного урегулирования. Предложение было полностью отвергнуто. Мы не снимаем своего предложения встретиться с представителями всех арабских государств или одного из них. Но ни разу мы не слышали ответа из-за наших границ на наш призыв к миру.

*«Идея уничтожения Израиля — наследие гитлеровской войны против еврейского народа, и не случайно в ранцах насеровских солдат был арабский перерыв «Майн кампф». Вероятно, те, кто искренне предан делу мира и свободы на земле, предпочли бы, чтобы этим людям была предложена для руководства более облагораживающая литература. Но мы думаем, что эти опасные семена еще не отравили арабский народ. Ради самих этих народов арабские руководители должны прекратить свои роковые игры...*

*Что надо сделать теперь? Вернуться к режиму перемирия, который принес все что угодно, кроме мира, и над которым Египет открыто насмеялся?*

*Должна ли Синайская пустыня снова стать гнездом федаинов и плацдармом для агрессивных армий, готовых к нападению? Должна ли снова повториться трагедия на взрывоопасном Ближнем Востоке? Мир в нашем регионе и, возможно, не только в нем, зависит от того, какие ответы будут даны на эти вопросы».*

Не хочет ли Генеральная Ассамблея подумать о будущем «так же настойчиво и упорно», как потребовала от нас отвести войска за границы, которые уже не могут быть «открыты для федаинов, но закрыты для израильских солдат», — спросила я. Конечно, мир не только необходим, он возможен. За несколько дней перед тем я слышала речь представителя Египта с этой же трибуны — может быть, не слишком оригинальную, но зато в ней, для разнообразия, зазвучала невоинственная нотка. Слушая его, я на минуту представила себе Ближний Восток, каким бы он был, если бы рухнули барьеры (превратившиеся в баррикады) между нами и арабами. Я сочла нужным процитировать его слова в своем выступлении:

*«Вместе с огромным большинством народов мира Египет говорит и будет говорить, что все нации могут и должны, для собственного блага, как морального, так и материального, жить в равенстве, свободе и братстве, и с помощью современной науки, служащей человеку, дать ему, вдохновляемому свободой и верой, возможность прожить несравненно более полезную и почетную жизнь...»*

Я, предварительно попросив текст этой речи, прочла Ассамблее эти слова и продолжала:

*«С этим заявлением мы полностью согласны. Мы готовы превратить его в практическую реальность...»*



*Страны Ближнего Востока справедливо зачислены в категорию «слаборазвитых»: уровень жизни, болезни, неграмотность масс, невозделанные земли, пустыни и болота — все это вопиет о необходимости приложить разум, руки, финансовые средства и технику. Вообразите себе, что это было бы, если бы в течение этих восьми лет между Израилем и его соседями был мир. Попробуем представить себе ирригационные сооружения и тракторы вместо самолетов-истребителей, школы и больницы вместо оружейных батарей. Конечно же, сотни миллионов долларов, истраченных на вооружение, могли бы пойти на более конструктивные цели.*

*Смените бесплодную ненависть и страсть к разрушению на сотрудничество между Израилем и его соседями — и вы обеспечите жизнь, надежду и довольство всем народам региона».*

Но, возвращаясь на свое место, я видела, что никто в этом обширном зале не заглянул в возможное будущее вместе со мной — и очень удивилась, когда сидевший позади меня делегат поаплодировал мне, когда я села. В ООН места расположены по алфавиту; на каждой сессии бросают жребий — какая страна займет первое место; остальные же расаживаются в алфавитном порядке. На этой сессии позади меня сидела Голландия. Я с благодарностью кивнула голландскому делегату — голландцы были в числе немногих, не голосовавших против нас, — но чувство опустошенности и неверия меня не покидало. Я обращалась к Объединенным Нациям — и по выражению лиц большинства делегатов можно было заключить, что я прошу луну с неба. А ведь я только предложила — единственное, что всегда предлагал Израиль в Объединенных Нациях, — чтобы арабы, наши сочлены по этой организации, признали наше существование и трудились с нами для достижения

мира. То, что никто не вскочил с места, не сказал: «Ладно, давайте разговаривать, спорить, искать выход», — было для меня ударом — хотя у меня сохранилось не так уж много иллюзий по поводу этой «семьи народов». И все-таки, как бы то ни было, я дала себе обещание — еще до конца сессии еще раз обратиться к арабам непосредственно, ибо, если ничего не будет предпринято в ближайшее время, будущее нам предстоит довольно мрачное.

Это были ужасные месяцы. Наше поэтапное отступление из Газы и Синая осуществлялось, но ничего не было сказано или сделано, чтобы заставить Египет согласиться на переговоры с нами, гарантировать снятие блокады с Тиранского пролива или разрешить проблему Газы. Четыре вопроса, которые мы задали в ноябре 1956 года, в феврале 1957-го оставались без ответа. А я никак не могла довести до сознания американцев — особенно их министра иностранных дел, холодного, серого Джона Фостера Даллеса — что от гарантий — настоящих, зубастых гарантий — зависит самая наша жизнь, и что вернуться к положению, которое было до Синайской кампании, мы не можем. Ничего не помогало. Ни доводы, ни призывы, ни логика, ни даже красноречие нашего посла в Вашингтоне и в ООН Аббы Эвена. Мы говорили на разных языках и ставили во главу угла разные вещи. Даллес был одержим «страхом пропасти», страхом перед призраком мировой войны, и он твердил мне, что Израиль из-за своего неразумия будет виновником этой войны, если она разразится.

Много раз в это время мне хотелось бежать, бежать обратно в Израиль, чтобы кто-нибудь другой поработал над Даллесом или Генри Кабот Лоджем, главой американской делегации в ООН. Все бы я отдала — только бы не присутствовать на очередном раунде переговоров, вечно кончавшихся обви-

нениями. Но я оставалась на месте, и глотала обиды, и подавляла чувство, что нас предали, и в конце февраля мы достигли некоего компромисса. Последние наши части уйдут из Газы и Шарм-эль-Шейха в ответ на то, что Объединенные Нации гарантируют право Израиля на свободу судоходства через Тиранский пролив и что египетским солдатам не разрешено будет вернуться в район Газы. Это было немного и не за это мы боролись — но это было все, чего мы смогли добиться, и все-таки лучше, чем ничего.

3 марта 1957 года, предварительно проверив и уточнив каждую запятую с м-ром Даллесом в Вашингтоне, я сделала заключительное заявление:

*«Правительство Израиля в настоящее время готово объявить свой план скорого и полного отступления из Шарм-эль-Шейха и Газы. Согласно резолюции N 1 от 2 февраля 1957 года, нашей единственной целью было обеспечить, после отступления израильских вооруженных сил, постоянную свободу навигации для израильского и международного судоходства в Акабском заливе и Тиранском проливе».*

Затем, выполняя данное себе обещание, я сказала:

*«Разрешите теперь сказать несколько слов государствам Ближнего Востока и, в частности, соседям Израиля. Не можем ли мы все теперь открыть новую страницу и вместо того, чтобы драться между собой, драться вместе против бедности, болезней, безграмотности? Можем ли мы — возможно ли для нас — обратить все наши силы, всю нашу энергию на улучшение жизни, на прогресс и развитие наших стран и наших народов?»*

Но едва я села на свое место, поднялся Генри Кабот Лодж. К моему изумлению, он заверил Объ-

единенные Нации, что, хотя право судоходства для всех наций через Тиранский пролив будет обеспечено, будущее Газы еще предстоит решить в рамках соглашения о перемирии. Может быть, и не все присутствующие поняли, о чем говорит Кабот Лодж, но мы-то поняли слишком хорошо. Американское министерство иностранных дел выиграло битву с нами, и египетское военное управление со своим гарнизоном вернется в Газу. Я ничего не могла ни сказать, ни сделать. Я просто сидела, кусая губы, и смотреть не могла на красивого м-ра Кабот Лоджа, умиротворявшего тех, кого так беспокоило, что мы не хотим отступить безоговорочно. Это был не лучший день моей жизни.

Но надо было смотреть в лицо действительности; к тому же мы не все потеряли. На сегодняшний день федаины нам больше не угрожали; свобода судоходства через Тиранский пролив получила поддержку; чрезвычайные силы ООН вошли в Газу и в Шарм-эль-Шейх — а мы одержали военную победу, вошедшую в историю и снова доказавшую, что мы умеем, если нужно, защищать себя с оружием в руках.

В октябре того же года я снова, в той же ООН, пыталась найти выход из тупика, в котором уже десять лет пребывали наши отношения с арабскими государствами. Я обратилась к ним без всякой подготовки, без текста, глубоко убежденная, что пришло для нас время разговаривать без посредников:

*«Израиль подходит к своей десятой годовщине. Вы не хотели, чтобы он родился. Вы боролись против решения Объединенных Наций. Вы открыли военные действия против нас. Все мы были свидетелями горя, разрушения, кровопролития и слез. Но Израиль здесь, он растет, развивается, прогрессирует... Мы — старый, упрямый народ, и, как показала*

*наша история, нас нелегко истребить. Как и вы, арабские страны, мы добились национальной независимости, и нас, как и вас, ничто не заставит от нее отказаться. Мы здесь, и мы здесь останемся. История постановила, что Ближний Восток состоит из независимого Израиля и независимых арабских государств. Это решение никогда не будет изменено.*

*В свете этих фактов — реальна ли, справедлива ли политика, основанная на фикции, что Израиль не существует или каким-то образом исчезнет, и какой в ней смысл? Не лучше ли всем нам строить будущее Ближнего Востока, основанное на сотрудничестве? Израиль будет существовать и прогрессировать, даже если не будет мира, но, конечно, мир полезнее и для Израиля, и для его соседей. Арабский мир — десять суверенных государств и 3 000 000 квадратных миль площади — вполне может позволить себе мирное сотрудничество с Израилем. Разве ненависть к Израилю и стремление его разрушить сделает счастливее хоть одного ребенка на вашей земле? Разве эти чувства превратят хоть одну лачугу в дом? Разве может культура расцвести на почве ненависти? Мы не сомневаемся ни минуты, что когда-нибудь между нами будет мир и сотрудничество. В этом — историческая необходимость для наших народов. Мы к этому готовы; мы стремимся, чтобы это время наступило теперь...»*

Я могла бы с тем же успехом и промолчать. Наши немногие друзья на Генеральной Ассамблее вежливо — некоторые даже с энтузиазмом — мне похлопали, но арабы и не взглянули в нашу сторону.

Я часто бывала в здании Объединенных Наций в бытность свою министром иностранных дел. Не реже, чем раз в год, я бывала там в качестве главы израильской делегации на Генеральной Ассамблее, и не было случая, чтобы я не попыталась завязать

контакты с арабами — и, увы, не было случая, когда бы мне это удалось. В 1957 году, увидев издали Насера, я подумала: а что будет, если я просто к нему подойду и начну разговаривать? Он был окружен телохранителями, да и у меня были телохранители, и ничего бы из этого не получилось. Но на той же сессии был Тито, и я подумала, что если мне удастся поговорить с ним, он бы мог что-нибудь устроить. Я попросила члена нашей делегации поговорить с кем-нибудь из югославской делегации, чтобы устроить мне встречу с Тито. Я ждала, ждала, ждала — даже отложила возвращение в Израиль, но ответа не было. Ответ пришел на следующий день после моего отъезда из Нью-Йорка: Тито встретится со мной в Нью-Йорке. Но я была уже дома. Мы сделали еще одну попытку — ответом опять было молчание.

Я обращалась к каждому, в ком видела возможного посредника. На одной из сессий Ассамблеи я познакомилась с женой главы пакистанской делегации, который был послом в Лондоне. Мы стали приятельницами. Однажды она сама подошла ко мне и сказала: «Миссис Меир, если мы, женщины, занимаемся политикой, то мы должны постараться заключить мир». Этого-то мне и нужно было.

— Послушайте, — сказала я. — Речь не о мире. Просто пригласите к себе несколько арабских делегатов, и пригласите меня тоже. Даю вам честное слово, что если арабы не хотят, чтобы о нашей встрече узнали, — никто не узнает. И я не хочу вести с ними мирные переговоры. Я просто хочу с ними разговаривать. Просто находиться в одной комнате.

— Замечательно! — сказала она. — Я это сделаю — и начну сейчас же.

Опять я стала ждать — но ничего не произошло. Однажды я пригласила ее выпить кофе в комнате отдыха для делегатов; мы сидели там, как вдруг вошел министр иностранных дел Ирака (тот самый

джентльмен, который указал на меня пальцем с трибуны Генеральной Ассамблеи и сказал: «Миссис Меир, возвращайтесь в Милуоки — там ваше место»). Она побледнела. «Боже мой, он увидит, что я разговариваю с вами!» — и в панике убежала. Так все это и кончилось.

И так оно и продолжалось, даже при случайных встречах на дипломатических завтраках. Каждый глава делегации очень скоро узнавал, что если он хочет, чтобы у него в гостях были арабы, то не должен приглашать нас. Однажды некий министр, еще не знавший правил игры, пригласил арабов и израильтян вместе. Мало того — он даже посадил делегата Ирака за стол против меня. Тот уселся, принялся за свою копченую семгу, поднял глаза, увидел меня, встал и ушел. Конечно, на большие приемы и коктейль-парти, куда приглашались сотни людей, хозяин мог позвать и арабов, и израильтян, но на обед или завтрак — никогда. Завидев израильтянина, арабский делегат немедленно выходил из комнаты, и мы ничего не могли с этим сделать.

Но были в эти годы и более светлые минуты, и некоторые встречи, которые запомнились навсегда. Самыми интересными — и, вероятно, самыми запомнившимися — были встречи с Джоном Ф.Кеннеди, Линдоном Джонсоном и Шарлем де Голлем. С Кеннеди я встречалась дважды. В первый раз — сразу после Синайской кампании, когда он был сенатором от Массачусетса. Сионисты Бостона устроили внушительную демонстрацию в поддержку Израиля и праздничный обед, на который явились все консульства в полном составе, два сенатора — и министр иностранных дел Израиля. Я сидела рядом с Кеннеди; он был в числе ораторов и произвел на меня сильное впечатление своей молодостью и своей речью, хотя разговаривать с ним было нелегко. Мне он показался очень застенчивым; друг другу мы ска-

зали всего несколько слов. В следующий раз мы встретились с ним незадолго перед тем, как он был убит. Я приехала во Флориду, где он проводил отпуск, и мы беседовали очень долго и очень непринужденно. Мы сидели на веранде большого дома, где он жил. Я как сейчас его вижу — в качалке, без галстука, с закатанными рукавами; он очень внимательно слушал мои объяснения, почему нам так необходимо получать от Соединенных Штатов оружие. Он был такой красивый и такой молодой, что мне приходилось напоминать себе — это президент Соединенных Штатов. Впрочем, он, вероятно, тоже находил, что я не слишком похожа на министра иностранных дел. В общем, это была довольно странная обстановка для такого важного разговора. Присутствовало еще два-три человека, среди них Майк Фельдман, один из тех, кто считался «правой рукой президента», но никто из них в разговоре не участвовал.

Сначала я стала описывать сегодняшнее положение на Ближнем Востоке. И тут мне пришло в голову, что этот умнейший молодой человек может и не слишком хорошо разбираться в евреях и в том, что для них значит Израиль, и я решила, что попробую объяснить ему это прежде, чем начать разговор про оружие. «Разрешите, господин президент, — сказала я, — рассказать вам, чем Израиль отличается от других стран». Пришлось мне начинать издали, потому что еврей очень уж древний народ.

*«Евреи появились больше трех тысяч лет назад и жили рядом с народами, которые давно исчезли — то были аммонитяне, моавитяне, ассирийцы, вавилоняне и прочие. Все эти народы в древние времена попадали под иго других государств, в конце концов, смирились со своей судьбой и становились частью главенствовавшей тогда культуры. Все народы, —*



за исключением евреев. И с евреями бывало, как с другими народами, что их землю оккупировали чужеземцы. Но судьба их была совершенно иной, потому что только еврей, в отличие от всех прочих, твердо решили остаться тем, что они есть. Другие народы оставались на своей земле, но теряли свое национальное лицо, а еврей, потерявшие свою страну и рассеянные среди народов мира, никогда не изменяли своему решению оставаться евреями — и своей надежде вернуться к Сиону. И вот теперь мы вернулись — и на руководство Израиля это накладывает совершенно особую ответственность. Правительство Израиля во многом ничем не отличается от всякого другого порядочного правительства. Оно заботится о благосостоянии народа, о развитии государства и так далее. Но к этому присоединяется еще одна величайшая ответственность — ответственность за будущее. Если мы опять потеряем самостоятельность, то те из нас, кто останется в живых — а таких будет немного, — будут рассеяны снова. Но у нас уже нет того огромного резервуара религии, культуры и веры, какой был раньше. Мы многое из этого запаса утратили, когда шесть миллионов евреев погибли во время Катастрофы».

Кеннеди не отрывал от меня внимательных глаз, и я продолжала:

«В Соединенных Штатах пять с половиной или шесть миллионов евреев. Это прекрасные, щедрые, добрые еврей, но, думаю, они первые согласятся, если я скажу, что вряд ли в них есть та стойкость, которой отличались шесть миллионов погибших. А если так, то на нашей стене огненными буквами написано: «Остерегайтесь снова потерять независимость, ибо на этот раз вы можете потерять ее навсегда». И если это случится, то мое поколение сойдет под

*своды истории как поколение, которое снова сделало Израиль независимым, но не сумело эту независимость сохранить».*

Кеннеди наклонился ко мне, взял меня за руку, посмотрел прямо в глаза и сказал, очень торжественно: «Я понимаю, миссис Меир. Не беспокойтесь. С Израилем *ничего* не случится». И я думаю, что он в самом деле все понял.

Я встретила с Кеннеди снова, когда он приветствовал глав делегаций, но там мы только поздоровались — и я больше никогда его не увидела. Но я пошла на похороны и вместе с другими главами делегаций подошла пожать руку г-же Кеннеди. Я ее тоже никогда не встречала потом, но не могу забыть, как она, бледная, со слезами на глазах, все-таки находила, что сказать каждому из нас. Тогда же, на похоронах Кеннеди — точнее, вечером того дня, на обеде, который давал новый президент, — я увидела Линдона Б.Джонсона. Я видела его раньше, на Генеральной Ассамблее 1956-1957 года, когда он был лидером демократического большинства в сенате; он энергично выступил против санкций, которыми президент Эйзенхауэр пригрозил Израилю, так что я уже знала, как он к нам относится. Но в этот вечер, когда я подошла к нему, он на минуту обнял меня и сказал: «Знаю, что вы потеряли друга, но, надеюсь, вы понимаете, что я тоже ваш друг!» — что он впоследствии и доказал.

Не раз после Шестидневной войны, когда президент Джонсон поддержал наш отказ вернуться к границам 1967 года, пока не будет заключен мир, — и оказал нам военную и экономическую помощь, чтобы мы могли удержаться на этой своей позиции, — я вспоминала его слова в тот вечер, после похорон Кеннеди, когда ему самому пришлось взвалить на себя такой тяжкий груз дум и забот. С ним тоже я

никогда не встретила больше, но ничуть не удивилась, что он так поладил с Леви Эшколом, когда тот стал премьер-министром. Они во многом походили друг на друга — оба открытые, горячие, контактные. Я знаю, как непопулярен стал потом Джонсон в Соединенных Штатах — но он был верным другом, и Израиль ему многим обязан. Думаю, что он был в числе тех немногих зарубежных лидеров, кто понимал, какую ошибку допустила эйзенхауэровская администрация после Синайской кампании, заставив нас отступить, ни о чем не договорившись с египтянами.

Когда в 1973 году Джонсон умер, я была премьер-министром и, разумеется, послала письмо-соболезнование госпоже Джонсон. Передо мной лежит ее ответ. Он очень меня расстрогал, особенно потому, что я была уверена в его искренности.

«Дорогая миссис Меир, — писала она. — Я хочу, чтобы вы знали, что мой муж очень ждал вашего предстоящего приезда. Он сам часто говорил о том, что когда-нибудь поедет в Израиль. Он принимал близко к сердцу дела вашей страны и глубоко уважал ваш народ...»

Среди лиц, с которыми я встретила на похоронах Кеннеди, имевших большое влияние на то, как сложилось будущее Израйля, был и генерал де Голль. Впервые я его увидела в 1958 году, когда французский посол в Израиле Пьер Жильбер (личность замечательная) решил, что я должна нанести визит генералу. Жильбер был таким же пламенным голлистом, как и сионистом, и отговорить его от этого плана не было никакой возможности, хотя, признаться, я этой встрече побаивалась. Все, что я слышала о де Голле — включая его уверенность в том, что все должны знать французский в совершенстве, в то время, как я не знала ни слова, — приводило меня в трепет. Но раз уж делом занялся Жильбер, то ходу

назад не было, и я на несколько дней отправилась в Париж. Сперва я встретилась с министром иностранных дел Морисом Кув де Мюрвиллем, очень хорошо говорившим по-английски и похожим на англичанина. Ему довелось служить в разных арабских странах. Держался он очень корректно, холодно и, в общем, недружелюбно — что не очень меня воодушевило перед будущей встречей с де Голлем. Приняли меня в Елисейском дворце, со всей полагающейся помпой. Когда я поднималась по лестнице, мне казалось, что я делаю смотр всей французской армии. Интересно, что думали обо мне ослепительные французские гвардейцы в красных плащах, когда я тащилась по этой лестнице в генеральский кабинет. Чувствовала я себя при этом неважно. Но вот и он, легендарный де Голль, во весь рост, во всей своей славе. Яаков Цур, тогда наш посол во Франции, явился со мной вместе, и с его помощью, а также с помощью переводчика при де Голле мы стали беседовать. Генерал проявил доброту и сердечность. Через несколько минут я почувствовала себя свободно, и между нами состоялась очень хорошая беседа по поводу проблем Ближнего Востока, причем де Голль заверил меня в своей вечной дружбе к Израилю.

На похоронах Кеннеди я увидела его снова, сначала в соборе (по-моему только три человека там не стояли на коленях: де Голль, Залман Шазар, который был тогда президентом Израиля, и я), а потом на обеде, о котором я уже упоминала. Еще до того, как мы сели за стол, я заметила де Голля на другом конце комнаты — что было нетрудно, настолько он возвышался над всеми остальными. Я размышляла, надо ли подойти к нему или нет, но тут он сам двинулся ко мне. Началось волнение. К кому направляется де Голль? «Он никогда ни к кому не подходит сам: людей всегда к нему подводят, — объяснил мне

кто-то. — Видимо, он собирается поговорить с очень важной особой». Люди расступались перед ним, словно волны Красного моря перед сынами Израиля. Я чуть не упала, когда он остановился передо мной и — уж совсем беспрецедентный случай! — заговорил по-английски. «Я счастлив, что вижу вас здесь, хоть и по столь трагическому поводу», — сказал он, поклонившись. Это произвело огромное впечатление на всех, особенно же — на меня. С течением времени мы с Кувом де Мюрвиллем стали добрыми друзьями, и он говорил мне, что де Голль питает ко мне дружбу. Хотелось бы мне, чтобы это всегда продолжалось, но в 1967 году мы не сделали того, что он хотел (а он хотел, чтобы мы не делали ничего), и он так и не простил нам непослушания. В тяжкие дни перед Шестидневной войной он сказал Аббе Эвену, что Израиль должен запомнить две вещи: «Если вы будете в настоящей опасности, можете рассчитывать на меня: но если вы сделаете первый шаг, вас разгромят и вы навлечете катастрофу на весь мир». Ну что ж, де Голль ошибся. Нас не разгромили, и мировой войны не произошло; но наши отношения с ним — и французским правительством — после этого изменились. Тот же де Голль, который в 1961 году провозглашал тост «за Израиль, нашего друга и союзника», после Шестидневной войны выразил свое отношение к евреям, назвав их «избранным, самонадеянным и высокомерным народом».

Думаю, однако, что мой главный вклад как министра иностранных дел проявился в совсем иной сфере. Речь идет о роли, которую Израиль стал играть в развивающихся странах Латинской Америки, Азии и, может быть, в особенности — Африки. Это и в моей жизни открыло новую страницу.



## ДРУЖБА С АФРИКОЙ И ДРУГИМИ СТРАНАМИ

**В** моем личном отношении к Африке и африканцам — возможно, как толчок — большую роль сыграло то душевное состояние, которое мы все испытывали после Синайской кампании — когда остались почти одинокими, весьма непопулярными и совершенно непонятыми. Франция осталась другом и союзником, кое-кто из европейских стран нам сочувствовал, — но с Соединенными Штатами отношения у нас были натянутые, с советским блоком — более чем натянутые, а в Азии, несмотря на все наши усилия добиться признания, мы в большинстве случаев наталкивались на каменную стену. Правда, у нас были представительства в Бирме, Японии и Цейлоне, консульства на Филиппинах, в Таиланде и в Индии; но хотя мы были в числе первых, признавших Народный Китай, китайцы совершенно не были заинтересованы в том, чтобы иметь израильское посольство в Пекине, а Индонезия и Пакистан, мусульманские государства, проявляли к нам открытую враждебность. Третий мир, в котором важнейшую роль играл, с одной стороны, Неру, а с другой — Тито, смотрел в сторону Насера и арабов — и отворачивался от нас. И в 1955 году, когда в Бандунге состоялась конференция афроазиатских стран, на которую мы очень надеялись, что нас пригласят, арабы пригрозили бойкотом, если Израиль примет в ней участие, и из этого «клуба» мы тоже были исключе-

ны. В 1957 и 1958 годах я смотрела вокруг себя, сидя на заседании Объединенных Наций и думала: «Мы тут чужие. Ни с кем у нас нет ни общей религии, ни общего языка, ни общего прошлого. Весь мир, все страны группируются в блоки, потому что география и история определили для каждой группы общность интересов. Но наши соседи — естественные союзники — не хотят иметь с нами дела, и у нас нет никого и ничего, кроме самих себя. Мы были первенцами Объединенных Наций — но обращались с нами, как с нежеланными пасынками, и, надо признаться, это причиняет боль.

Но все-таки мир состоял не только из европейцев и азиатов. Существовала Африка, страны которой вот-вот должны были получить независимость, и юным государствам черной Африки Израиль мог и хотел дать очень многое. Как и они, мы сбросили иностранное владычество, как и им, нам пришлось учиться поднимать неудобные земли, увеличивать урожайность, проводить мелиорацию, разводить птицу, жить вместе и обороняться. Нам, как и им, не поднесли независимость на серебряном блюде, она была завоевана годами борьбы, и нам пришлось — иногда на собственных ошибках — узнать, как дорого обходится право на самоопределение. В мире, четко разделенном на имущих и неимущих, опыт Израиля казался единственным в своем роде, потому что мы были вынуждены разрешать такие проблемы, какие никогда не стояли перед большими, богатыми, мощными государствами. Мы не могли предложить Африке ни денег, ни оружия, но, с другой стороны, мы не были запятнаны, как колониялисты-эксплуататоры, ибо единственное, чего мы хотели от Африки, была дружба. И тут я хочу предупредить возможные замечания циников. Обратились ли мы к Африке, потому что нам были нужны голоса в Объединенных Нациях? Да, конечно, был и

этот мотив — вполне почтенный, кстати, — и я никогда его не скрывала ни от самой себя, ни от африканцев. Но он не был главным, хоть и не был, разумеется, пустячным. Главной причиной нашего африканского «предприятия» было то, что мы чувствовали — у нас есть что передать странам, которые еще моложе и неопытнее, чем мы.

Теперь, после Войны Судного дня, когда большинство африканских стран разорвали дипломатические отношения с Израилем, в общий хор циников включились и разочарованные израильтяне. «Это была пустая трата денег, времени и сил, — говорят они, — неуместное, бессмысленное, мессианское движение, к которому Израиль отнесся слишком серьезно и которое было обречено на провал, стоило только арабам решительно нажать на африканцев. Нет ничего дешевле, легче, разрушительнее такой критики задним числом, и в данном случае она ничего не стоит. С государствами все бывает, как и с людьми. Никто не безупречен, случаются отступления, и некоторые оказываются болезненными и трудными; но не всякий план возможно осуществить быстро и полностью. Более того — неосуществившиеся надежды не означают полного провала, и я не сторонница политики, требующей сиюминутной выгоды. По правде говоря, то, что мы делали в Африке, мы делали не из политики разумного эгоизма — «я тебе, ты мне» — а потому, что это — одна из самых ценных наших традиций, выражение наших глубочайших исторических инстинктов.

Мы пришли в Африку учить, и то, чему мы учили, было воспринято. Никто горше меня не сожалеет, что на сегодняшний день африканские страны — или большинство из них — от нас отвернулись. Но по-настоящему важно лишь то, что нам — и им — удалось совершить вместе то, что с 1958 по 1973 годы сделали в Африке израильские специалисты по сель-



скому хозяйству, гидрологии, районному планированию, здравоохранению, строительству, коммунальному обслуживанию и многим другим областям: то, что увезли с собой на родину тысячи африканцев, обучавшихся в эти годы в Израиле. Такая прибыль не пропадет, и наши свершения — это тоже не мелочь. Они не падают в цене и их не вычеркнешь, даже если теперь мы на время лишились политических или иных выгод, которые нам давали связи с африканскими государствами. Конечно, их правительства проявили неблагодарность, и нелегко им будет заставить нас забыть, как они бросили нас в критический момент. Но надо ли из-за этого забывать или умалять чрезвычайные по значению, чтобы не сказать — беспрецедентные деяния маленькой страны, которая старалась облегчить жизнь людей в других странах? Программой международного сотрудничества и технической помощью, которую мы оказали народам Африки, я горжусь больше, чем любым другим нашим проектом.

Для меня эта программа прежде всего воплощает стремление к социальной справедливости, перестройке и исправлению мира, которое и есть сердце социалистического сионизма — и иудаизма. Жизненная философия, толкнувшая в 20-е годы пионеров Мерхавии на создание кооперативного поселения, заставившая в 40-е годы мою дочь и ее товарищей продолжать этот нелегкий путь в Ревивиме, отразившаяся в каждом киббуце, создаваемом в Израиле сегодня, — то же самое жизненное мировоззрение на целые годы забросило израильтян в Африку, чтобы разделить с ее людьми практические и теоретические знания, которые только и могли быть им полезны в меняющемся мире, где они наконец-то стали хозяевами своей судьбы. Конечно, не все, принявшие участие в передаче африканцам нашего национального опыта, были социалистами. Далеко

не все. Но для меня, во всяком случае, эта программа была логическим раскрытием принципов, в которые я всегда верила, которые определили цель моей жизни. И я не могу считать эту программу бесполезной, и не верю, что хоть один африканец, помогавший в ее выполнении или пожинавший ее плоды, сочтет ее таковой.

И еще одно: нас с африканцами сближала не только необходимость быстрого развития, но и память о вековом страдании. Угнетение, дискриминация, рабство — для евреев и африканцев это не просто слова. Они говорят о муках и унижениях, пережитых вчера. В 1902 году Теодор Герцль написал роман, в котором описывал еврейское государство будущего, каким он себе его представлял. Роман назывался «Альтнойланд» («Старо-новая страна»), и на титульном листе стояли слова, ставшие вдохновляющим лозунгом сионистов: «Если вы этого захотите — это уже не сказка». В этом романе есть слова об Африке, которые я часто цитировала африканским друзьям и которые хочу вспомнить сейчас:

«... Есть еще один вопрос, возникший из национальных страданий, до сих пор неразрешенный, трагизм которого только евреи могут себе представить. Это африканский вопрос. Только вспомните о страшных эпизодах работорговли, о людях, которых воровали как скот, захватывали, заточали, продавали только потому, что они были черные. Их дети вырастали в чужих землях, их ненавидели и презирали за то, что у них другой цвет кожи. Пусть смеются надо мной, но я не побоюсь сказать, что теперь, когда я увидел освобождение моего народа — евреев, — я хотел бы увидеть и освобождение африканцев».

Думаю, эти слова говорят сами за себя.

Однако, хотя я думаю и надеюсь, что несу ответственность за изначальный размах и интенсив-

ность более чем 200 программ развития, которые Израиль осуществлял в восьми десятках стран Африки, Азии, Латинской Америки, а потом и Средиземноморского бассейна, на чистом энтузиазме, упорстве и талантах пяти тысяч израильских советников, я не могу претендовать на то, что идея принадлежит мне. Первым израильтянином, изучившим такую форму международного сотрудничества, был мой добрый друг Реувен Баркатт; будучи главой Политического отдела Гистадрута, он привез в Израиль несколько африканцев и азиатов, чтобы они своими глазами увидели, как у нас разрешаются некоторые проблемы. Когда я стала министром иностранных дел — это было накануне того, как Гана получила независимость, — молодой израильский дипломат, назначенный Шаретом, Ханан Явор, уже укладывался, собираясь ехать туда, чтобы представлять Израиль. Когда в 1957 году Гана получила независимость, послом Израиля в Гане и в Либерии был назначен Эхуд Авриэль; он предложил мне приехать на первую годовщину независимости Ганы в 1958 году, а также посетить Либерию, Сенегал, Берег Слоновой Кости и Нигерию. Я стала планировать путешествие, в котором, как мы решили, меня, кроме Эхуда, будет сопровождать Яков Цур, тогдашний посол во Франции.

Конечно, я и раньше встречалась с африканцами, большей частью на всякого рода заседаниях социалистов — но в самой Африке я не бывала никогда и даже представить ее себе не могла по-настоящему. Укладывая вещи для поездки (мой недостаток как путешественника — что я всегда беру больше, чем нужно!), я начинала грезить об Африке и о роли, которую мы можем сыграть в пробуждении этого великого континента. У меня не было никаких иллюзий — я понимала, что роль эта будет маленькой, но я загоралась при мысли, что мне предстояло уви-

деть часть света, для которой мы такая же новинка, как и она для нас. От предвкушения этого я волновалась, как ребенок.

Первой остановкой была Монровия — столица Либерии; я была гостьей президента Уильяма Табмена. Социальная и экономическая элита Либерии жила в невероятной, почти фантастической роскоши; остальное население — в нищете. Но я ехала в Африку не за тем, чтобы проповедовать, вмешиваться или обращать в свою веру. Я приехала, чтобы встретиться с африканцами. Я знала, что президент Табмен — преданный друг евреев, и потому еще, что, насколько помню, во весь долгий период его сложных отношений с США к нему дружески отнесся конгрессмен-еврей, прелестный человек Эммануэль Селлер, единственный из всех знакомых Табмена в Вашингтоне понявший одиночество черного лидера, хотя считаться с чувствами черного в те времена не было ни модно, ни необходимо. Либерия была первым черным государством мира; импульс, определивший его появление, был сродни импульсу, определившему рождение Израиля; любовь Табмена к Израилю была очевидна, убеждение, что у наших стран много общего, — тоже; я не могла не отвечать на такие чувства. Но по-настоящему меня заинтересовала и очаровала не Монровия и не Либерия, а Африка, которую я там увидела.

Мы путешествовали по Либерии. Я разговаривала с сотнями людей, отвечала на тысячи вопросов об Израиле (и чаще всего — об Израиле, стране Библии). Меня сопровождала очень милая молодая женщина из либерийского министерства иностранных дел. Когда наступил мой последний день в Либерии, она смущенно сказала: «У меня есть старушка-мать, я ей объяснила, что всю неделю буду занята с гостями из Иерусалима. Моя мать сделала большие глаза. «Ты что же, не знаешь, что нет такого места — Иеру-

салим? Иерусалим — это на небе. Не можете ли вы, г-жа Меир, встретиться с ней на минутку и рассказать ей об Иерусалиме?»

Конечно же, я встретила с ее матерью в тот же день, и взяла с собой на эту встречу бутылочку с водой из Иордана. Старушка только ходила вокруг меня, но не отважилась ко мне прикоснуться.

— Вы — из Иерусалима? — повторяла она. — Вы хотите сказать, что это *реальный* город, с домами и улицами, где живут *реальные* люди?

— Да, я там живу, — отвечала я. Думаю, она мне не поверила.

Вопрос, который она мне задала, я потом слышала в каждом городе Африки и отвечала на него одинаково: «Небесного в Иерусалиме только то, что он до сих пор существует».

Самым эффектным моментом моей поездки в Либерию была церемония моего посвящения в верховные вожди племени Гола. Женщинам редко оказывается такая честь. В Израиле же, когда я рассказала эту историю, все обратили внимание на знаменательное совпадение: «Гола значит на иврите «диаспора». Пожалуй, это было самое удивительное, что когда-либо со мной происходило. Признаться, когда я стояла под палящим солнцем, а вокруг плясали и пели все мужчины племени, я не могла поверить — неужели это мне, Голде Меир из Пинска, Милуоки, из Тель-Авива, оказывают такие высокие почести? У меня было еще две мысли: «Надо вести себя так, словно церемония посвящения в вожди в самом центре Африки для меня вещь совершенно привычная» и «Если б только меня видели мои внуки!» После того, как танец закончился, двести женщин племени отвели меня в крошечную, душную соломенную хижину, где меня облачили в яркие одежды верховного вождя и произвели надо мной обряд тайного посвящения, о котором я распростра-

няться не буду. Но в жизни не забуду ужаса в глазах моих израильских телохранителей (включая Эхуда), когда я, под дробь африканских барабанов и монотонное пение женщин, исчезла в темной хижине, и выражение великого облегчения, когда я вышла оттуда невредимая и очень довольная собой. По поводу церемонии я могу сказать, что была поражена и обрадована ее яркостью, естественностью и искренностью. Вообще, людям в Африке присуще быть радостными и сердечными, и в Африке я всегда чувствовала себя дома — чего не испытывала в такой степени нигде больше, и всего меньше в Азии.

Из Либерии мы отправились в Гану, первое африканское деколонизованное независимое государство, где я познакомилась с Кваме Нкрума — прекрасным полубогом африканского национализма в те дни. Не восхищаться Нкрумой было просто невозможно, но после долгого разговора с ним в Аккре, я не получила уверенности в его надежности и искренности. В его риторике, его стремлении остаться единственным символом африканского освобождения было что-то нереалистичное и даже несимпатичное. Судя по тому, что он говорил, единственное, что было для него важно, — это формальная независимость; развитие природных ресурсов, даже повышение жизненного уровня населения интересовали его гораздо меньше. Мы с ним говорили о разных вещах. Он говорил о свободе и славе, я — об образовании, здравоохранении и необходимости для Африки создавать собственных учителей, врачей и техников. Мы разговаривали часами — но ни один из нас не убедил другого.

Я вела себя как чистый прагматик и все говорила о технике и квалификации, а Нкрума не мог перестать ораторствовать. Он так объяснял, например, почему он велел воздвигнуть себе огромный памятник перед зданием парламента в Аккре и почему

новые ганские деньги украшены его портретом: «Для людей в джунглях слово «независимость» ничего не значит, они его не понимают. Но когда им даешь монету, и они видят на ней портрет Нкрумы вместо портрета английской королевы — тогда они понимают, что такое независимость». Эта точка зрения была прямо противоположна моей, но тем не менее между Израилем и Ганой сложились очень близкие отношения; десятки образовательных программ были осуществлены в обеих странах, многое в Гане было спроектировано и выстроено израильянами, при нашей помощи была создана и введена в действие судоходная компания «Черная звезда».

Потом я встретила с другими африканскими лидерами — например, с президентом Берега Слоновой Кости Уфуэ-Буаньи, по своим взглядам он был ко мне ближе. Кстати, он происходил из того же племени, что и Нкрума, и разговаривать они могли только на языке этого племени, потому что Нкрума не знал французского, а Уфуэ-Буаньи — английского. Уфуэ-Буаньи в 1958 году считал, что развитие не менее важно, чем независимость. Он гораздо яснее, чем Нкрума, видел сложности, ожидавшие африканцев, если они будут напирать на независимость без соответствующей подготовки — мусульманский экстремизм; зловещее сочетание ислама с коммунизмом — русским или китайским; возвращение в Африку прежних хозяев под слегка изменившейся личиной; ослабление умеренно-прогрессивных сил на всем континенте. Он много лет держался и сумел устоять против лести и угроз Насера. Правда, в ноябре 1973 года даже Уфуэ-Буаньи сдался и порвал отношения с нами, грустно поясняя, что ему пришлось выбирать между арабскими «братьями» и израильскими «друзьями». Но тогда, в 1958 году, все это еще таилось в будущем.

Хотя первая встреча с Нкрумой и омрачила мое

настроение, посещение Ганы оказалось не только поразительно интересным, но и чрезвычайно важным для всего нашего африканского предприятия. По случаю празднования годовщины, Гана еще и принимала у себя первую всеафриканскую конференцию, где были представлены все африканские освободительные движения.

Мне уже приходилось встречаться с д-ром Джорджем Падмором, блестящим экс-коммунистом из Вест-Индии, важнейшим идеологом «прогрессивного» панафриканизма, автором идеи развития Африки при финансовой поддержке негритянской общины США — как он выражался, «по образу и подобию Еврейского Призыва». Он чрезвычайно интересовался Израилем и настоял, чтобы я встретилась с другими африканскими лидерами, собравшимися в Аккре. «Сам Бог послал и вам, и им такой случай!» — сказал он. Конференция должна была начаться в одном из новейших отелей Ганы — в отеле «Амбассадор», в 4 часа дня, но на три часа было созвано специальное заседание, и когда я вместе с Падмором вошла в залу заседания, шестьдесят человек уже сидели за огромным столом, ожидая меня.

Это было интересно и не лишено драматизма. Мы встретились здесь, в первой африканской стране, добившейся независимости (не считая Либерии и Эфиопии); я, министр иностранных дел еврейского государства, которому всего десять лет от роду, и шестьдесят человек, чьи страны получают свободу через два-три года. Мы все столько пережили, столько боролись за свою свободу — и они, представляющие еще несосчитанные миллионы африканцев на обширных равнинах этого континента, и мы, в нашей крошечной стране, которую столько веков осаждали и брали штурмом. Мне казалось, что это та историческая встреча, которую представлял себе Герцль. Я не всех тут знала по имени, но Падмор



объяснил мне, кто они: лидеры борющегося Алжира и других французских колоний, Танганьики, Северной и Южной Родезии. Атмосфера в комнате была очень наэлектризована. Я это почувствовала, и слова, которыми Падмор открыл собрание, не слишком помогли делу. «Я устроил эту встречу для того, — сказал он, — чтобы вы все увидели министра иностранных дел молодого государства, которое только что добилось независимости и уже сделало огромный шаг по пути прогресса во всех областях человеческой деятельности».

Наступило неловкое молчание. Встал представитель Алжира. Ледяным голосом он задал самый провокационный — и самый важный — из всех вопросов. «Миссис Меир, — сказал он, — вашу страну вооружила Франция, злейший враг тех, кто сидит за этим столом, государство, ведущее жестокую и беспощадную войну против моего народа, терроризирующее моих черных братьев. Как вы можете оправдать свою близость с государством, которое является главным врагом самоопределения африканских народов?» Он сел. Меня удивил не вопрос — меня удивило то, что с него началось заседание. Я ожидала больше фраз и большего времени. Но я была рада, что мы не пустились во взаимные любезности и схватки с мнимыми врагами — а времени на подготовку мне не нужно было.

Я закурила, оглядела стол. Потом ответила. «Наши соседи, — сказала я всем шестидесяти африканским лидерам, смотревшим на меня с холодной враждебностью, — готовятся уничтожить нас с помощью оружия, которое они получают бесплатно от Советского Союза и по очень низким ценам из других источников. Единственная страна в мире, которая готова — за немалые деньги, притом — продавать нам оружие, необходимое для самозащиты, — это Франция. Я не разделяю вашей ненависти к де

Голлю, но скажу вам чистую правду: если бы де Голль был сам дьявол во плоти, я все равно покупала бы у него оружие и считала бы это долгом своего правительства. А теперь я хочу задать вопрос вам: «Что бы вы делали на моем месте?»

Я почти расслышала вздох облегчения. Напряжение прошло. Африканцы поняли, что я говорю правду, не стараюсь пустить пыль в глаза, и успокоились. Посыпались вопросы об Израиле. Они жаждали информации о киббуцах, о Гистадруте, об армии; вопросам не было конца. Они тоже повели себя откровенно. Молодой человек из Северной Нигерии (почти целиком мусульманской) встал и заявил: «У нас в Северной Нигерии евреев нет, но мы знаем, что должны их ненавидеть».

Диалог с африканскими революционерами продолжался все время, пока я оставалась в Гане, и заложил основы нашей программы международного сотрудничества. Я завоевала уважение и дружбу африканских лидеров, и теперь они стремились встретиться и поработать с другими израильянами. Они не привыкли, чтобы белые люди работали своими руками, чтобы специалисты выходили из кабинетов и работали на строительном участке, и то, что мы, как они это называли, «не различали цветов», было необычайно важно. То, что для меня было вполне естественно, совершенно изумляло африканцев — будь то мои не слишком грациозные, но чистосердечные попытки научиться африканским танцам, или увлечение, с которым я учила чопорных молодых сотрудников ганского министерства иностранных дел танцевать израильскую хору. А главное, они не могли не чувствовать, как они все мне нравятся. Помню, я сидела однажды утром под огромным манговым деревом и расчесывала волосы, как вдруг, откуда ни возьмись, появились маленькие девочки — не меньше десяти: они, кажется, никогда не видели длин-

ных волос. Одна из них, похрабрее, подошла ко мне. Я поняла, что ей хочется потрогать мои волосы: следующие полчаса все они причесывали меня по очереди. Я даже не заметила, что позади меня собралась толпа потрясенных африканцев.

Думаю, что благодаря нашей манере себя вести — не похожей на то, как вели себя другие иностранцы, мы создали нечто более важное, чем фермы, заводы, гостиницы, полицейские войска и молодежные центры: мы помогли тому, чтобы у африканцев создавалась уверенность в себе. Мы доказали им, работая с ними вместе, что они тоже могут быть хирургами, пилотами, лесничими, садовниками и общественными работниками и что владение техникой не есть вечная привилегия белой расы, как их учили верить в течение многих десятилетий.

Конечно, арабы и тогда делали все, что могли, чтобы убедить африканцев, что мы ничем не отличаемся от других «колонизаторов», но африканцы, в большинстве своем, не давали себя одурачить. Они прекрасно видели, что в Замбии, где работали израильские птицеводы, куры не становятся «империалистическими», а в Мали, где израильтяне учили население обработке рыбы, рыба не становится «колонизаторской». Знали они и что сотни африканцев, учившихся в Израиле сельскому хозяйству, учатся не эксплуатации. У нас было три критерия для нашей программы, и, думаю, не будет нескромностью сказать, что даже эти критерии были новшеством. Мы задавали себе и африканцам три вопроса по каждому новому проекту: желателен ли он, есть ли в нем реальная нужда, и в состоянии ли Израиль оказать в этом помощь. И мы пускали в ход только те проекты, которые получали утвердительный ответ на все три вопроса, из чего африканцы видели, что мы не считали себя способными автоматически разрешить все их проблемы.

Я снова и снова возвращалась в Африку и уже привыкла, что мне каждый раз говорят, что я себя «переутомляю». Я приучила себя к жаре, к недостаточной чистоте, к тому, что надо чистить зубы кипяченой водой (а если ее нет, то годится и кофе), и к тому, чтобы тратить время на такие вещи, которые мне и не снились — например, председательствовать на избрании королевы красоты на празднике в честь Дня независимости Камеруна, или слушать в Абиджане (Берег Слоновой Кости), во время парадного обеда с африканскими лидерами, как африканские музыканты играют собственную трогательную версию «Ди идише маме» в мою честь. Чем больше я путешествовала по Африке, тем больше ее любила, и, к счастью, африканцы платили мне взаимностью. Я до сих пор переписываюсь кое с кем из множества африканцев-родителей, назвавших дочерей моим именем. Совсем недавно я получила письмо от человека из Риверс Стейт (Нигерия). «Благодарю вас за ваше милое письмо, куда вы вложили ожерелье для маленькой Голды, — пишет он. — Пожалуйста, примите прилагаемую здесь фотографию маленькой Голды в залог нашей высокой оценки вашей деятельности, направленной на помощь человечеству». Африканцы не скупались на выражения своей симпатии — и мне это было необыкновенно приятно.

В декабре 1959 года я посетила Камерун, возвратилась в Гану, впервые отправилась в Того (где, кроме всего прочего, мы помогли создать национальную юношескую организацию и кооперативное хозяйство в одной деревне), снова навестила президента Либерии Табмена и объездила Гамбию и Сьерра-Леоне. Ездила я и по Гвинее и встретила там с Секу Туре. Однако, тут не было все так гладко. Он был одним из немногих африканских лидеров, с которыми мне не удалось завязать личные отношения,

хотя он и произвел на меня большое впечатление своим интеллектом. Секу Туре, как и Нкрума, как и, в меньшей степени, танзанийский Ньерере, больше думал о международном положении своей страны, чем о ее благосостоянии. По-видимому, у него, хотя он и был левый радикал, вообще не было никаких социальных концепций, и потому мы мало что могли ему предложить — хотя мы оказывали помощь и Гвинее, и в Конакри существует великолепная профшкола, созданию которой мы помогли. Но Гвинея никогда не относилась к Израилю по-настоящему дружески, и, когда после Шестидневной войны она, единственная из африканских стран, порвала отношения с нами, я была не слишком удивлена. Я не хочу сказать, что отношение к Израилю — пробный камень качеств государственного руководителя, но факт тот, что чем больше африканский лидер думал о развитии страны, а не о политических заигрываниях с могущественными блоками, тем сильнее его государство желало нашей помощи и тем лучше у нас складывались отношения.

Я частично выразила свои чувства в речи на Генеральной Ассамблее в конце 1960 года, когда там уже были представлены шестнадцать независимых африканских государств. Перед глазами моими, когда я говорила, стояли все эти мужчины, женщины и дети, которых я повидала в Африке, с которыми я зачастую не могла говорить без переводчика, но с которыми, я чувствовала, меня связывают узы братства и общих устремлений; видела я перед своим умственным взором и бесправных, плохо образованных, лишенных всяких привилегий евреев, которые сотнями тысяч приезжали в Израиль, надеясь найти там земной рай. Я говорила о западне нереалистических ожиданий и политического фантазирования, как о прошлом, так и будущем, которому и мы были подвержены — и потому я говорила «мы», а не «они».

*«Две опасности подстерегают тех из нас, которые появились в качестве новых самостоятельных государств: во-первых, опасность засидеться в прошлом; во-вторых, иллюзия, что политическая независимость немедленно разрешит все наши проблемы.»*

*Что значит «засидеться в прошлом»? Естественно, многие новые нации сохранили неприятные, иногда горькие воспоминания. Естественно, они имеют зуб на своих прежних правителей и склонны считать свои, сегодняшние трудности наследием прошлого. Они видят жестокий парадокс в том, что некоторые страны озабочены проблемами перепроизводства и излишков, в то время как они влачат нищенское существование. Глядя на свою землю, полную минеральных и растительных богатств — золота и бриллиантов, бокситов, железа и меди, какао и хлопка, сахара и каучука, — они не могут не прийти к выводу, что голодают не по Божьей воле.»*

*Как могут африканцы восхищаться чудесами космического века, если их собственные народы до сих пор еще неграмотны? Не может мать в африканской деревне радоваться успехам медицины в мире, если ее дети страдают от трахомы, малярии и туберкулеза. Все это надо понять. Вполне естественно, что вновь возникшие свободные нации должны помнить о прежних страданиях и унижениях. Народ не может строить свое будущее, если он забыл о прошлом. Но жить, продолжая размышлять только о прошлом, невозможно: всю свою энергию, все способности следует вложить в будущее».*

Потом я заговорила о будущем.

*«Мы, новые страны, получили независимость в эру величайших достижений человечества. В некоторых частях света уровень жизни и развития до-*

*стиг невероятной высоты. Не следует говорить нам, чтобы мы не торопились со своим развитием; не нужно рассказывать нам, что развитым странам понадобились столетия и множество поколений, чтобы достигнуть теперешних высот. Мы не можем ждать. Мы должны развиваться быстро. Как сказал один груг из Конакри, недавно посетивший Израиль: «Неужели я должен в эпоху сверхзвуковых самолетов ходить пешком только потому, что те, кому эти самолеты сегодня принадлежат, много поколений назад ходили пешком?»*

*Это относится не только к новым нациям, но и ко всему миру. Многие было сказано и сделано в отношении, я бы сказала, «первой помощи» — стали делиться с неимущими едой, отдавать голодным свои излишки. Хочу сказать, однако, что мы не будем по-настоящему свободны, пока наших детей будут кормить другие. Мы будем по-настоящему свободны лишь тогда, когда научимся получать то, что нам нужно для пропитания со своей собственной земли. Из Азии и Африки доносится крик: делитесь с нами не только продуктами, но и вашим умением их производить. Самая жуткая пропасть в сегодняшнем мире лежит между теми, кто буквально достиг луны, и теми, кто не знает, как достичь плодородия собственной почвы, чтобы она удовлетворяла насыщенные человеческие потребности».*

Мы не только создали израильскую программу международного сотрудничества и открыли (это сделал Гистадрут при поддержке АФЛ) Афро-Азиатский институт; мы приняли участие в работе многочисленных специализированных агентств ООН, которые занимаются развивающимися странами. Существовали — и существуют — два рода деятельности, которую проводит Израиль и которые мне особенно по душе; притом они до некоторой степени дают

ответ на тот вопрос, который я когда-то задала в Объединенных Нациях. Летом 1960 года под руководством Аббы Эвена, только что возвратившегося после нескольких лет успешной службы в качестве посла Израиля в Вашингтоне и при Объединенных Нациях (в 1966 году он сменил меня на посту министра иностранных дел), состоялась в Реховоте в прекраснейшем кампусе Вейцмановского института Первая международная конференция о роли науки в развитии новых государств. Целью конференции было навести мосты между развитыми и развивающимися странами, разведав эффективнейшие способы использования науки и техники в странах, только что получивших независимость. Половина участников состояла из африканцев и азиатов, другая половина — из ведущих европейских и американских ученых. Не я одна — все участники были растроганы и воодушевлены этим первым в своем роде замечательным сборищем.

Что говорить, некоторые речи были слишком длинны, некоторые ученые доклады — слишком трудны для понимания, некоторые вопросы, да и ответы, прозвучали неуместно — но это был гигантский шаг к настоящему международному сотрудничеству, который в чем-то был даже важнее формального равенства в Организации Объединенных Наций. В Реховоте встретились представители двух культур, чтобы сообща проложить путь, на котором одна половина человечества всего эффективнее сможет помочь другой. Я не могла наглядеться на африканских государственных деятелей (многие были в национальной одежде), с которыми я так недавно встречалась в Африке, — на новых министров образования, здравоохранения, технологии, поглощенных беседой с нобелевскими лауреатами и другими всемирно прославленными членами научной братии, с которыми они постепенно находили общий язык.



Первая реховотская конференция положила начало традиции. С тех пор в кампусе Вейцмановского института каждые два года собираются подобные конференции — по здравоохранению, по экономике, по образованию, по сельскому хозяйству... Каждая из этих конференций дала участникам то, чего за деньги не купишь: чувство, что когда все сказано и сделано — мир в самом деле един.

Другой наш проект, который все так же мне дорог, как и в первые дни его осуществления (1960 год), — это Кармелский центр. Его официальное название — Международный центр подготовки работников коммунального обслуживания. Здесь женщины развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки готовятся к новому для них роду деятельности. Уже пятнадцать лет я наблюдаю, как сотни женщин в этом центре учатся играть производительную роль в своих странах — будь то руководительница детского сада из Непала, диетсестра из Лесото, работник социального обеспечения из Кении или учительница из Малайи. Для всех этих женщин Израиль был как бы живой лабораторией, потому что, как сказала мне студентка из Кении, «если бы я поехала учиться этому в США, то я выучила бы историю развития, а в Израиле я вижу, как это развитие происходит».

Этот центр занимает особое место в моем сердце не только потому, что я вместе со шведкой Ингой Торсон и израильянской Миной Бен-Цви помогала его основать, но и потому, что меня восхищают все эти женщины, оставившие свои насиженные места в городах и деревнях, свои семьи и приехавшие в далекую чужую страну, чтобы получить специальность, которая когда-нибудь поможет их народу жить богаче и лучше. Есть что-то героическое — а я нечасто употребляю это слово! — и в усилиях, которые делают эти женщины, вступая на долгий и труд-

ный путь самообразования во имя лучшей жизни для себя, своих детей и внуков. Помню особенно ясно поразительную женщину — судью из Ганы; скромную молоденькую акушерку из Свазиленда, пожилого врача, возглавлявшую семейное планирование в Нигерии и преданную делу, дисциплинированную диетсестру-эфиопку. Все это были жены и матери, и каждая стала пионером в своей области, и каждая надеялась, что африканские женщины займут в африканском обществе надлежащее место как равные строители будущего — подобное тому, какое, они видели, занимают в еврейском государстве женщины-израильтянки. Пожалуй, я больше не встречала таких тружениц, таких энтузиасток, таких привлекательных созданий, как женщины этой группы, с которыми я, бывало, часами беседовала в Хайфе. Иногда казалось, что наш жизненный опыт совершенно различен — а в действительности мы боролись примерно за одно и то же.

Но наше участие в обучении африканцев не ограничивалось тем, что мы делали в Израиле. В 1963 году, когда я впервые посетила Восточную Африку, пролетев на маленьких самолетах тысячемильные расстояния над Кенией, Танганьикой, Угандой и Мадагаскаром, главной целью моей поездки было посещение школы для социальных работников, открытой сообществом Кенией и Израилем (при поддержке Кармелского центра) в Мачакосе. Не раз нам случалось приземляться в маленьких деревушках — потому что там трудился, не покладая рук, какой-нибудь израильский советник; я проводила часок-другой с ним и его семьей и видела своими глазами любовь и доверие, которые выражали им африканцы, и восхищалась решимостью и увлеченностью молодых израильтян, добровольно живущих и работающих в таких непривычных примитивных условиях.

Нельзя сказать, что все они справлялись с делом

успешно и что кругом все шло как по маслу. Нередко требовались месяцы, чтобы израильская семья привыкла к климату, к пище, к традиционной африканской медлительности; поняла, что кроется под африканской чувствительностью и суеверностью, научилась сдерживать нетерпение и заносчивость, которые в два счета могли свести на нет все добрые дела. Бывали ссоры, обиды, неосуществившиеся планы. Но в большинстве случаев сотрудничество приносило плоды, ибо и африканцы, и израильтяне по-настоящему понимали, как ценно то, что они стараются делать. Не было для меня большей радости, чем встречаться с африканцами, прошедшими подготовку в Израиле, которые показывали мне свои клиники, фермы и школы, весело давая пояснения на иврите; и повсюду я видела африканских «сабр», черных малышей, родившихся в Израиле, чьим первым языком был иврит. Какими бы «крайними» ни стали потом эти дети и что бы они потом ни говорили, они никогда, я знаю, не будут в душе считать своими врагами тех, с кем подружились в Беер-Шеве, Хайфе или Иерусалиме — да и меня тоже.

Кстати, во время этой поездки я поняла, что нам, в Израиле, надо переменить развлечения официальных гостей. Африканцы, как и израильтяне, непременно хотели, чтобы гости часов по двенадцать осматривали достопримечательности, а потом, без всякого снисхождения, волокли их на банкет с речами, состоявшими из бесконечных взаимных поздравлений. Я сидела на этих банкетах и в изнеможении думала, что через несколько часов опять предстоит поездка под палящим солнцем, которая завершится таким же банкетом с речами. И я поклялась себе, что когда вернусь в Израиль, то сделаю что-нибудь, чтобы унять наше рьяное гостеприимство; правда, не могу сказать, чтобы мне это до конца удалось.

В конце концов, я все-таки заболела, и поездки пришлось сократить, хотя я была вынуждена отменить прием у Милтона Оботе — умного и уравновешенного президента Уганды, которого потом так безжалостно убрал Иди Амин. Пожалуй, Оботе и Иди Амин — две крайности африканской дилеммы. Оботе был полной противоположностью Амину — это был разумный, серьезный и работающий человек. Боюсь, что прогресс в Уганде задержался на много лет оттого, что к власти пришел Иди Амин, которого погубила бесконтрольная власть над только что получившей независимость страной. Я не знала Иди Амина, когда он проходил в Израиле парашютную подготовку (израильские «крылышки» гордо носит не только он, но и многие другие африканские лидеры, например, президент Заира Мобуту), но и в те времена, когда ему казалось, что на Израиле свет сошелся клином, его считали, мягко выражаясь, очень эксцентричным. Я в последний раз увидела его в Иерусалиме, в бытность мою премьер-министром, и убедилась, что он просто сумасшедший. Право же, нашу беседу мог бы поставить Чарли Чаплин.

— Я пришел к вам, — сказал он очень серьезно, — потому что хочу получить от вас несколько «Фантомов». — «Фантомов»? Мы не производим «Фантомов»! — ответила я. — Мы их покупаем, когда можем, у США, — а можем мы далеко не всегда. Это не то, что можно покупать и продавать. А зачем вам «Фантомы»?

— Да против Танзании! — мягко сказал он.

Потом он передал мне сообщение: «Мне срочно нужно десять миллионов фунтов стерлингов». Но и этого я ему дать не могла. Он покинул Израиль, пылая гневом, отправился в Ливию к полковнику Каддафи — и, в 1972 году, за полтора года до Войны Судного дня, Уганда порвала с нами дипломатические отношения. Но Иди Амин не Уганда, и даже он

не может остаться диктатором навсегда — что все-таки несколько утешает.

Вспоминая таких африканских лидеров, как кенийский изумительный старик Джомо Кениата и Том Мбоиа, замбийский Кеннет Каунда, поэт-президент Сенегала Сенгор и президент Заира Мобуту Сесе Секо, я должна сказать, несмотря на трагедию нашего разрыва, что они делают честь своим народам и африканскому освободительному движению. Мы с ними так хорошо ладили (хоть и не на все и не всегда смотрели одинаково) — думаю, потому, что я делала то, к чему призывала, и они это видели. В 1964 году, например, по случаю годовщины Дня независимости Замбии (прежде — Северной Родезии) все почетные гости отправились на водопад Виктория, находящийся частично в Замбии, частично — в Южной Родезии (как она тогда еще называлась). Нас повезли к водопаду в автобусах; на границе между странами южнородезийская полиция имела наглость не разрешить черным пассажирам моего автобуса выйти, хотя все они занимали высокие посты и были личными гостями президента Каунды. Я не могла поверить своим ушам, когда услышала слова полицейского: «Только белые!» Я сказала: «В таком случае я, к сожалению, тоже не могу выйти в Южной Родезии». Родезийцы перепугались. Они всячески старались убедить меня выйти, но я об этом и слышать не хотела. «Не хочу, чтобы меня отделяли от моих друзей!» — повторяла я. После чего наш автобус благополучно возвратился в Лусаку, где президент Каунда принял меня так, словно я была Жанна д'Арк, а не просто женщина, которая не принимает расовой дискриминации ни в каких формах.

И еще один был случай, показавший африканцам, что у нас слово не расходится с делом — чего вообще за европейцами, по их мнению, не водилось. По дороге из Замбии в Израиль я должна была посе-

тить Нигерию. Я остановилась в Найроби, откуда специально зафрахтованный самолет должен был доставить меня в Лагос — иначе мне пришлось бы пролететь над арабским государством, а может быть — и приземлиться там. В Найроби меня ожидал наш посол в Нигерии, очень обеспокоенный. Он сказал, что в Лагосе меня встретят антиизраильской демонстрацией. Жены всех арабских послов объединились, чтобы организовать протест против моего визита. Пожалуй, поездку лучше было бы отменить. Вообще, это не самое подходящее время для поездки туда: Нигерия находится накануне выборов и большинство министров сейчас не в Лагосе. А если со мной что-нибудь случится? Я чувствовала глубокую усталость и перспектива подвергнуться нападению на улице самого большого африканского города мне не улыбалась. Но позволить запугать себя арабским послам, которые прячутся за юбками своих жен, я тоже не могла. «Навязываться нигерийскому правительству я не буду, — сказала я, — но если они не отменят своего приглашения, я приеду».

В аэропорту я увидела огромную толпу ожидающих. «Вот оно! — подумала я. — И это будет очень неприятно!», но это были не вопящие в иступлении демонстранты — это были сотни мужчин и женщин, которые прошли обучение в Израиле или у израильтян здесь же, в Нигерии. Все они пели «Хевейну шалом Алейхем» — «Мы несем вам мир!» — израильский гимн международного сотрудничества, который я слышала миллион раз, но которым ни разу не была до такой степени растрогана. «Мы чтим и приветствуем вас как посла настоящей доброй воли», — как бы говорим слова гимна. Поездка в Нигерию оказалась, в конце концов, очень успешной.

В Азии я проводила меньше времени, хотя и там меня всегда принимали хорошо. Но там мне не хватало живости, зрелищности, в моем представлении

всегда ассоциировавшихся с Африкой. Может быть, мешало и то, что я никак не могла усвоить сложного дальневосточного этикета, а может быть, и другое: еврейское наследие, еврейская этика в Азии менее известны, чем в Африке, куда христианство принесло хорошее знакомство с Библией. Даже названия израильских городов (Галилея, Назарет, Вифлеем) для образованного африканца полны значения, а Моисеев, Самуилов и Саулов я в Африке встречала не реже, чем дома. Но Азия — это нечто совсем другое. Традиции Ветхого Завета ей неизвестны, и там приходится объяснять, кто мы и откуда мы явились. Даже такой культурный человек, как бывший президент Бирмы У Ну рассказывал нашему послу в Рангуне Давиду Хакохену, что ровно ничего о нас не знал до тех пор, пока «случайно в руки ему не попала книга» — и только тогда, уже взрослым, прочитав эту книгу, оказавшуюся Библией, он узнал о существовании евреев. Подозреваю, что теплоте отношений между ним и Бен-Гурионом способствовало то, что и Бен-Гурион довольно поздно познакомился с буддизмом.

Прежде чем пуститься в описания своих поездок по Дальнему Востоку, я хочу повторить то, что уже говорила: единственным народом Азии, с которым мы, увы, так и не сумели завязать отношения, были китайцы. Некоторые израильтяне — и Давид Хакохен в том числе — считают, что мы не приложили для этого достаточно усилий. Мне же кажется, что мы сделали все, что могли. В 1955 году мы послали в Китай торговую миссию с Хакохеном во главе и, разумеется, предложили Китаю послать такую же миссию к нам. Китайцы даже не ответили на наше приглашение. В том же году (на Бандунгской конференции) началось сближение Китая с Египтом. Потом Китай яростно осудил Синайскую кампанию, потом открыто поддержал арабский ан-

тиизраильский террор. Китайское правительство полностью поддерживает арабскую войну против Израиля; Арафат и его друзья постоянно получают оружие, деньги и моральную поддержку от Пекина — причины этого мне все еще непонятны. Признаться, я долго питала иллюзию, что если бы мы могли поговорить с китайцами, то до них бы дошло истинное положение вещей.

Когда я думаю о Китае, две картины встают перед моими глазами. Первая: я в ужасе держу в руках мину, сделанную в далеком Китае, оборвавшую жизнь шестилетней девочки из израильского пограничного поселения. Я стояла у маленького гроба, среди плачущих и разгневанных родных. «Что Китай может иметь против нас? — думала я. — Ведь китайцы нас даже не знают!» И вторая картина: на празднике независимости Китая мы с Эхудом Авриэлем за столом, а рядом — стол китайской делегации. Обстановка была непринужденная, праздничная, и я подумала: что, если подойти и сесть около них? Может, мы сможем поговорить? Я попросила Эхуда представиться китайцам. Он подошел к ним, протянул руку главе делегации и сказал: «Наш министр иностранных дел находится здесь и хотела бы встретиться с вами». Китайцы просто отвернулись. Они даже не дали себе труда ответить: «Нет, спасибо, мы не хотим с ней встречаться».

Но израильяне не любят принимать отказ за окончательный ответ, и меньше всего это люблю я. Не так давно мой добрый друг, тоже социалист, итальянский государственный деятель Пьетро Ненни был приглашен в Китай. Перед этим он навестил меня в Иерусалиме. Мы сидели на веранде, пили кофе и разговаривали, как все старые социалисты — о будущем. В этой связи мы заговорили о Китае. «Китайцы тебя послушают, — сказала я Ненни. — Пожалуйста, попытайся поговорить с ними об Израиле».



Так он и сделал. Он старался объяснить нескольким китайским деятелям, что за страна Израиль, как она управляется, что защищает — но они не проявили никакого интереса. Правда, они не сказали Ненни того, что обычно говорят «Израиль — это марионетка Соединенных Штатов». Просто кто-то заметил, что если каждая группа в 3 миллиона человек захочет иметь свое государство, то куда же это заведет мир?

Не раз пыталась я уговорить кого-нибудь из моих детей совершить поездку со мной вместе, но Сарра не хотела покидать Ревивим, а Менахем не хотел расставаться с Айей и мальчиками (их к тому времени было трое — Амнон, Даниель и Гидеон) и со своей виолончелью. Я привозила из Африки полные корзинки деревянных фигурок, масок, рукодельных тканей; я бесконечно рассказывала о виденном и слышанном — но то ли дело было увидеть все это вместе с ними! До чего же мне хотелось хоть раз совершить путешествие по Африке вместе с детьми — и не потому, что они мало поездили (все мы напутешествовались достаточно!), а потому, что я хотела, чтобы они увидели хоть часть того, что увидела я, и встретились хоть с кем-нибудь из тех, с кем я познакомилась. В те годы, и потом, когда я была премьер-министром, я не раз задумывалась — как, собственно, они, да и мои внуки тоже — относятся к моему образу жизни? Мы об этом особенно не разговаривали, но, по-моему, никто из них не был в восторге от того, что был «родственником Голды Меир». Мы очень свободно и много говорили о политике — и внутренней, и международной — при внуках, даже когда они были маленькие. У меня можно было достать ценные автографы для одноклассников; то, что они слышали за моим столом, нельзя было нигде повторять — а в остальном они ни в чем не отличались от других детей. Во всяком случае обращались со мной, как с самой обыкновенной бабушкой. Моих

посетителей всегда изумляло, что сыновья Менахе-ма совершенно свободно носятся по моему дому, и забавляло, что их гораздо больше интересует содержимое моего холодильника, чем мои всемирно знаменитые гости. Я же, как всякая бабушка, тряслась — и трясусь! — над ними больше, чем следовало бы, но пятеро внуков — самая большая радость в моей жизни, и я хотела бы сделать для них все, что могу. Больше всего я хотела бы, чтобы на их веку не было войн — но этого обещать им я не в состоянии.

Нелегко было мне так часто их всех покидать — и, в конце концов, я добилась, по очереди — и от Менахема, и от Сарры — обещания совершить одну поездку со мной вместе. В 1962 году Сарра поехала со мной в Кению и в Эфиопию, где я представила ее Хайле Селассие, и посетила с ней большую израильскую общину. Израильяне тут работали в области сельского хозяйства, рыболовства и транспорта; помогали в обучении полиции и армии; преподавали в университете Аддис-Абебы. Да, даже Эфиопия, с которой у нас были такие особые отношения в течение многих лет, порвала с нами в 1973 году — но в те годы связи между нами были еще крепки, хотя эфиопы не делали их достоянием гласности — и мы, разумеется, тоже. Для меня Хайле Селассие был почти что сказочной фигурой. Человек из дальней экзотической страны вдруг, в 1936 году, осмелился встать во весь рост и призвать равнодушный мир противостоять вторжению в Эфиопию итальянцев! Во время итальянской оккупации он со своей семьей прожил год в Иерусалиме, и я иногда видела его на улице: темнокожий, бородатый, маленький человек с огромными печальными глазами шел рядом со своей императрицей, а впереди бежали его обожаемые маленькие собачки. Это был не просто еще один беженец от фашизма; это был потомок эфиопских царей, утверждавших, что они происходят от сына

царя Соломона и царицы Савской и потому приходится нам дальними родственниками. Лев Иудейский всегда был символом эфиопской монархии, и связи между евреями и Эфиопией были единственными в своем роде.

Но Эфиопия, хотя она и христианская страна, является частью Африки и потому подвергалась долгому и упорному антиизраильскому арабскому давлению. Хайле Селассие долгое время балансировал на острие ножа: связи между ним и Израилем держались в секрете, и только в 1961 году мы направили в Эфиопию своего посла. После Синайской кампании, в результате того, что для нас открылся Тиранский пролив, отношения между двумя странами стали еще теснее, израильские суда и самолеты обеспечили регулярный торговый обмен. В то же время мы немало способствовали развитию образования в Эфиопии; некоторые израильские профессора провели в Аддис-Абебе несколько лет. Сарра была, вероятно, слишком молода, чтобы испытывать к Хайле Селассие те же чувства, что я. Для нее он был просто правителем удивительной страны, для меня же этим дело не ограничивалось. Не могу сказать, что мы сразу же стали друзьями, но когда я увидела его на его собственном месте и вспомнила одинокого изгнанника, которого встречала на улицах Иерусалима в 30-е годы, я почувствовала, что хоть на этот раз справедливость восторжествовала. И когда даже Хайле Селассие, с его огромным опытом умиротворения, отступился от нас, я испытала горькое разочарование. Снова, и в который раз, я убедилась, что рассчитывать можно только на самого себя.

В том же 1962 году, к великой моей радости, и Менахем согласился отправиться со мной в поездку, и мы вместе побывали на Дальнем Востоке. Они с

Айей в самом деле проявили великодушие, потому что у них только что родился Гидеон. Мы провели больше недели в Японии, где меня приняли император, премьер-министр и министр иностранных дел. Не знаю, каким я представляла себе Хирохито, но уж во всяком случае не тем скромным, очень приятным джентльменом, с которым мы обменивались учтивыми словами, не очень уверенные, что они дойдут до собеседника. Японцы показались мне очень учтивыми и очень уклончивыми. В своих отношениях с нами они были очень осторожны, я это знала, и мне казалось, что для них Ближний Восток — нечто вроде икебаны, где все элементы должны находиться в строгом равновесии.

Там, в Японии, случилась забавная вещь: японские официальные лица очень обеспокоились по поводу моего желания посетить домик с гейшами. Еще по дороге в Японию, в самолете, Яков Шимони (тогда начальник нашего дальневосточного отдела) сказал Менахему, что «поскольку Голда министр иностранных дел — женщина, японцы не предложили устроить традиционный прием с гейшами, который обычно делается для важных иностранных гостей. Они считают, что в данном случае это будет неуместно». В Токио я попросила Менахема растолковать японцам, что я очень хочу побывать на приеме с гейшами и вообще ничего против гейш не имею. В конце концов, в Киото губернатор с женой устроили для меня прелестный прием с гейшами, и все были очень довольны, хотя Шимони, по-моему, чуть не заболел при виде меня на подушках и сонма гейш, порхающих, как бабочки, вокруг.

Меня, как и всех людей, поразила красота Японии, особенно же — умение японцев создавать красоту в своем повседневном окружении. И, разумеется, мы встретили там и евреев, и нескольких

японцев из числа тех, кто принял иудаизм (включая, к моему изумлению, и члена императорской семьи, разговаривавшего на иврите). В последние годы, кстати, в Израиль регулярно приезжают группы очень произраильски настроенных японцев, и теперь я уже не так удивляюсь, когда вижу толпу японцев, исполняющих песню «Золотой Иерусалим» на отличном иврите около Западной Стены.

Из Японии мы полетели на Филиппины, где я получила звание почетного доктора Манильского католического университета. Я шла по залу, полному церковных деятелей в парадных рясах, по обе стороны от меня шли священники с крестами — и я думала, что католический университет оказывает большую честь еврейской женщине из еврейского государства, и что не во всех университетах евреев принимают с распростертыми объятиями, и даже в свободном мире есть высшие учебные заведения, в которых терпят только немногих из нас. Когда я выступила с речью, я уже не в первый раз вспомнила, как однажды Шейна, вечно опасавшаяся, как бы у меня не закружилась голова, написала мне: «Не забывай, кто ты такая». Она могла не беспокоиться. Я никогда не забывала, что происхожу из бедной семьи и никогда не обольщалась мыслью, что меня повсюду — и в Маниле, в частности — чествуют за мою красоту, мудрость или эрудицию.

Манила, Гонконг, Таиланд, Камбоджа — о людях и природе этих стран я могла бы рассказывать долго, но основным в этой дальневосточной поездке было посещение Бирмы, страны, с которой у нас завязались прочные связи еще в 1952 году, когда делегация бирманских социалистов впервые посетила Израиль. Через год Шарет поехал в Рангун на первый всеазиатский социалистический конгресс и к 1955 году между Израилем и Бирмой уже существ-

вовали дипломатические отношения в полном объеме. Давид Хакохен открыл в Рангуне израильское посольство, а премьер-министр Бирмы У Ну приехал в Израиль как личный гость Бен-Гуриона.

Пожалуй, не было другой такой развивающейся страны в мире, с которой у нас был бы такой роман, как с Бирмой, — даже Гана, даже Кения тут не шли в сравнение. Не было в Израиле ничего, что бы не вызывало у бирманцев восхищения и желания сравняться и превзойти. Это была единственная в Азии социалистическая страна — и потому она, естественно, интересовалась нашим вариантом социализма; Гистадрутом, киббуцным движением, созданием народной армии, которая стала важным органом просвещения, где тысячи обездоленных иммигрантских детей (а зачастую — и их матери) учились читать и писать. Бирманцев восхищали наши методы комбинирования военной службы с «подниманием целины» — первичной обработкой земли, и они переняли у нас почти без изменений идею, что люди могут заниматься земледелием и в то же время проходить оборонную подготовку. Для Бирмы ее китайская граница была вечным источником беспокойства, а содержать большую регулярную армию она была не в состоянии — и потому израильский «НАХАЛ» (слово из заглавных ивритских букв, означающих «борющаяся пионерская молодежь») был для нее образцом. Молодым идеалистам это давало возможность получить одновременно сельскохозяйственную и военную подготовку в уже существующих киббуцах, после чего они могли организовать собственные коллективные поселения. Я посоветовала бирманцам создавать пограничные поселения наподобие наших и предложила прислать в Израиль большую группу демобилизованных солдат с семьями, чтобы они с годик поработали в наших киббуцах и мошавах (мо-

шав — кооперативная деревня) и приучились к коммунальному или кооперативному образу жизни; мы же пошлем в Бирму израильтян, чтобы помогали планировать мошавы в бирманском стиле. Так и было сделано. Мошавы, по-видимому, подошли к бирманскому характеру лучше.

Было и много других бирмано-израильских предприятий, в том числе создание в Бирме фармацевтической промышленности, обучение бирманских врачей и медицинских сестер, создание обширных ирригационных схем — но меня лично больше всего волновали мошавы на севере Бирмы, в районе Намсанга. Я с огромным интересом следила за их развитием, и все-таки глазам своим не поверила, когда на бирманском северном аэродроме увидела женщин и детей, побывавших в Израиле, которые встретили меня израильскими флагами и ивритскими песнями. Не забуду, как я подошла к маленькому дому в Намсанге и спросила на иврите молодого человека, стоявшего у входа: «Шалом, ма нишма?» (шалом, как дела?) и услышала в ответ: «Беседер, авал эйп маспик маим!» (все в порядке, только воды не хватает). Могло показаться, что я в Ревивиме.

Я путешествовала по Бирме с Не Вином, тогда бирманским начальником штаба. Через несколько недель он устроил в Бирме переворот и начал эру новой политики — просоветской, антиамериканской, подчеркнута не вовлеченной в чуждые Бирме интересы. Отношения между Бирмой и Израилем не прекращались, но роман закончился.

Мне бирманцы очень нравились, и я чувствовала себя с ними свободно, хотя бирманские деликатесы не соответствуют моему представлению о вкусной пище. В 1963 году я на все была готова ради Бирмы — только не есть рыбную пасту, которой они питаются, или жареного леопарда, которым нас уго-

щали в Намсанге, или пить бульон из птичьих гнезд, который мы сами подавали на обеде в Рангуне, устроенном в честь У Ну. Менахем объяснил мне все тонкости дальневосточной кухни, но мне показалось, что бирманско-израильские отношения не пострадают, если я, чтобы не умереть на месте, оставлю тысячетелное яйцо на тарелке несъеденным. Конечно, и для бирманцев понять нас было непросто. Когда Бен-Гурион вез У Ну через молоденький, только что посаженный лесок между Тель-Авивом и Иерусалимом, который так трудно было посадить на этой каменистой земле и которым мы поэтому так гордились, — У Ну, приехавший в Иерусалим впервые, очень встревожился. «Берегитесь! — сказал он Бен-Гуриону. — Эти деревья *разрастутся*, поверьте мне! Следите за ними!» Задача бирманцев — задержать наступающие джунгли, и они представить себе не могли, что мы дорожим каждым деревом как жемчужиной.

К тому времени, как мы возвратились в Израиль, я на всю жизнь насмотрелась на рисовые поля и на рикш — и больше всего на свете нуждалась в отдыхе; но следующие три года — 1964, 1965, 1966 — я опять была на орбите. Я ездила по Европе, по Африке, по Латинской Америке — и часто болела. Я устала от непрерывных путешествий, я была вечно в пути — или больна. Да к тому же я уже была немолода, в 1963 году мне исполнилось шестьдесят пять лет. Я не чувствовала ни старости, ни слабости, но ловила себя на мысли — как славно было бы иметь в своем распоряжении целый день, или пойти к старым друзьям без того, чтобы по пятам шел телохранитель; дети и мой врач твердили, что пришло время поберечь себя; я очень старалась, но так и не научилась делать это. Всегда было что-то очень срочное — то за границей, то в Израиле — и как бы рано я ни



начала свой день, кончался он перед рассветом следующего. Я иногда устраивала себе праздник — делала только то, что хотела — но очень редко.

Такой праздник я устроила в июле 1961 года и пригласила друзей, с которыми приехала в Палестину на пароходе «Покаонтас» сорок лет назад. Не помню, как пришло мне в голову отметить эту годовщину, но мне очень захотелось увидеть их всех, узнать, кто остался, а кто вернулся в Штаты, увидеть их детей. В те дни мы с моими коллегами по партии Мапай часто рассуждали, почему так мало евреев эмигрирует из западных стран. Одно из объяснений было — «им там слишком хорошо. Они приедут к нам только когда столкнутся в другом месте с настоящим атисемитизмом». Я считала, что это несправедливо, что они упрощают, и подолгу спорила с Бен-Гурионом по поводу незначительных цифр, которые давала эмиграция из США, Канады и Англии. «Если мы будем терпеливы, они приедут, — говорила я. — Теперь перебраться с семьей не так просто, как было когда-то. Да и люди теперь другие — не такие романтики, не такие идеалисты, не такие самоотверженные. Сколько мужества, сколько решимости нужно теперь сионисту из Питтсбурга, Торонто или Лидса, чтобы окончательно переселиться в Израиль! Это не то, что просто переехать из одной страны в другую. Тут и новый язык надо выучить, и принять другой уровень и другой образ жизни, и привыкнуть к нашим трудностям и опасностям. Я не меньше, чем Бен-Гурион, хотела, чтобы сотни тысяч, даже миллионы западных евреев переехали к нам; но я не так нетерпимо относилась к их колебаниям и, уж конечно, в этот момент израильской истории не собиралась потребовать от евреев, поддерживающих государство Израиль, но туда не переезжавших, чтобы они называли себя не сионис-

тами, а «друзьями Сиона» (эту расплывчатую формулу предложил рассерженный Бен-Гурион).

Но те 19 мужчин и женщин, которые приехали на пароходе «Покаонтас» со мной и с Моррисом в 1921 году, приняли это трудное решение — и мне вдруг страстно захотелось их повидать. Адресов у меня не было — я поместила объявление в газете: «Министр иностранных дел приглашает на вечер к себе домой всех, прибывших на судне «Покаонтас», — не только их, но и их мужей, жен, детей и внуков».

Большая часть тех, кто проделал вместе со мной это страшное путешествие, не явилась. Одни умерли, другие были слишком немощны, один вернулся в США. Но семь или восемь членов той группы пришли и привели с собой детей и внуков. Это был прекрасный вечер — все мы вспоминали о прошлом, пели песни, ели пироги и фрукты в моем саду. Не было официальных речей, и представителей прессы я не пустила — хотя журналисты и умоляли пустить их «только на несколько минут». Но это я лично отмечала свою личную годовщину — и хотела, чтобы этот праздник был лишен всякого налета официальности.

Вероятно, нашим детям наши песни (те самые, которыми мы старались подбодрить себя на нашем кошмарном корабле) показались наивными, сентиментальными, может быть, и банальными. Все они были про строительство нашей страны. Но нам они напоминали те дни, когда мы верили, что все в наших руках, и все мы можем сделать — и мы пели, долго и много. Когда гости ушли, я осталась в темном саду одна, сидела и думала об этом сорокалети и о том, как хорошо было бы, если бы Моррис мог быть тут с нами. В одном меня убедила эта ночь: никто из нас никогда ни на минуту не пожалел, что

не оставил «Покаонтас», пока он не отплыл из Бостона, чтобы проделать главную часть пути до Палестины.

Но к концу 1965 года даже я стала понимать, что надо отдохнуть. Предвыборная кампания летом этого года меня совершенно измучила. Мне всегда была тяжела жара, и в этом году мои мигрени, от которых я всегда страдала, стали страшнее. Я не могла не почувствовать, что ответственность, которую я несу более тридцати лет, начинает тяжело давить на мои плечи. Я не хотела жить вечно — но стать полуинвалидом я не хотела тоже. Притом, меня беспокоило не только здоровье — мне нужно было и эмоционально перезарядиться, настолько я устала. А внутреннее положение Израиля было не блестящим. Была тяжелая экономическая депрессия, была эмиграция из страны (мы называли ее «иерида», спуск, в отличие от «алии» — подъема), и были последствия «дела Лавона», деморализовавшие общество, и вносившие смятение в партийные ряды. Да и мои собственные схватки с Бен-Гурионом немало мне стоили. Я решила, что ничего ужасного не случится, если я отойду от политической жизни: партия залечит свои раны, а помочь израильской экономике (немало пострадавшей от того, что немецкие репарации кончались, а арабский бойкот — нет, и расходы на оборону не уменьшались) я все равно не смогу.

А тут еще стала сдавать Шейна. Она тоже старела, и, как наша мама, старела, и телом, и духом. Эшкол, в 1963 году ставший премьер-министром, и Пинхас Сапир, министр финансов, мужественно старались заставить меня отказаться от моего намерения — но я знала, что за кулисами уже дожидается назначения Абба Эвен, и я не видела смысла цепляться за министерство. Эшкол предложил мне стать заместителем премьер-министра, но меня это не

привлекало. Я решила, что лучше быть полностью бабушкой, чем полуминистром, и сказала Эшколу, что в самом деле хочу уйти в отставку. «Политической монашкой я не сделаюсь, — заверила я, — но я хочу иметь возможность читать книжку, не испытывая угрызений совести, или пойти на концерт, когда мне захочется, и вообще, в ближайшие несколько лет я не желаю смотреть на аэропорт».



## МЫ ОДИНОКИ

**Ж**а «организацию» моей отставки мне понадобилось несколько месяцев. Начать с того, что пришлось переехать из Иерусалима в маленький домик в тихом, обсаженном деревьями тель-авивском предместье, рядом с Менахемом и Айей. Это был не просто переезд из одного города в другой. Часами приходилось сортировать вещи, решать, что мое, а что принадлежит правительству, что я хочу взять и что оставить. Я так много путешествовала за последние двадцать пять лет и скопила столько памятных сувениров, что разобраться в них была настоящая работа, притом меня не радовавшая. Но тут приехала из Америки Клара, и вместе с ней и с Луми все сделали. К счастью, я по натуре не коллекционер, и жизнь в музее меня не соблазняет, так что мне нетрудно было расстаться с большей частью своих владений и подарков, сохранив лишь те книги, картины, наброски и ключи от городов, которые имели для меня особое значение. Конечно, я тогда была уверена, что мне никогда не придется перебирать вещи, распаковываться и упаковываться, — горькое чувство окончательности немало мне помогало.

Мой новый дом — в котором я живу и сейчас — примерно в четыре раза меньше министерской резиденции, которую я занимала в течение девяти лет; но это было именно то, чего я хотела, и с первого же дня я почувствовала себя там удобно. Я сама проектировала его для себя: комбинированная гостиная-

столовая, уставленная книжными полками, которая выходит в сад, общий с Менахемом и его семьей; достаточно большая кухня, где можно удобно хозяйничать, и две комнаты на втором этаже: спальня и кабинет, он же — комната для гостей. Я надеюсь в этом году пристроить, наконец, еще одну комнату, но и без нее дом всегда был для меня достаточно велик, а в 1965 году я испытывала восхитительное чувство, что поселяюсь тут навсегда.

Боюсь, что даже члены моей семьи не верили, что меня удовлетворит уход в частную жизнь, — а между тем я была очень довольна. Впервые за долгие годы я могла сама ходить за покупками, ездить в автобусе, не думая о том, что в любую погоду на улице меня ожидает шофер, а главное — я сама располагала своим временем. Право же, я чувствовала себя как узник, выпущенный на свободу. Я делала списки книг, которые должна была прочесть, приглашала старых друзей, которых уже много лет не видела, планировала поездки в Ревивим. И я готовила, я гладила, я убирала — и все это с огромным удовольствием. Я ушла в отставку вовремя, по собственному желанию, раньше, чем кто-нибудь мог бы сказать: «Господи, когда же эта старуха поймет, что пора ей уходить». Я по-настоящему воспрянула духом.

Люди вокруг привыкли к моей новой ипостаси почти так же скоро, как я, хотя иной раз, признаться, мне оказывали привилегии. Хозяева ближних магазинов доставляли мне заказы на дом, полагая, что нехорошо бывшему министру иностранных дел таскать домой сумки с продуктами; шоферы автобусов иной раз делали лишнюю остановку поближе к моему дому, раза два меня даже подвезли до самой двери. Но мне самой ничуть не трудно было носить сумки и ходить пешком — свобода от обязательных встреч и официальных приемов все еще была для

меня ежедневным чудом. И ни на минуту я не чувствовала себя изолированной от того, что происходит в стране. Я осталась членом Кнессета и членом центрального комитета Мапай и работала и тут, и там — столько, сколько хотела, и не больше. В общем, я была очень довольна своей судьбой.

Но мне следовало бы понимать, что покой, которым я так наслаждалась, не продлится долго. Он нарушался, и не раз, особенно же когда коллеги по партии стали уговаривать меня возвратиться «на полный рабочий день» — хоть временно, чтобы помочь объединению партии, которую так потрясло «дело Лавона». Что и говорить, партии теперь как никогда было необходимо единство. Экономическое положение и настроение в Израиле были таковы, что впервые показалось, что руководству рабочей партии наступит конец, если как можно скорее не будет создан единый рабочий фронт. Мапай была ослаблена расколом: откололась партия Рафи, которую возглавили Бен-Гурион и Даян; по правде говоря, она так и не оправилась после раскола 1944 года, когда от нее откололась Ахдут ха-авода, и еще через четыре года партия Мапам, которую поддерживали радикальные киббуцы и молодые интеллектуалы, все еще лелеявшие мысль о советско-израильском сближении, которого можно добиться, если как следует захотеть.

Но не так велики были разногласия между Мапай, Рафи и Ахдут ха-авода, чтобы нельзя было думать о создании объединенной рабочей партии. Нужен был человек, который бы взялся за наведение мостов, примирение разных точек зрения и разных людей, заживление старых ран без нанесения свежих, создание новых, жизнеспособных структур. Кто бы это ни был, он во всяком случае должен всей душой верить в необходимость рабочей коалиции и представлять себе единую рабочую партию, способ-

ную охватить политические фракции, годами враждовавшие между собой. Только один такой человек существует — утверждали мои коллеги, по очереди приходившие меня обрабатывать, — только один, у которого есть все необходимые качества — и время. Если я из-за своих эгоистических соображений за это не возьмусь, то объединения не произойдет. А от меня им нужно только одно: чтобы я стала генеральным секретарем Мапай, пока не будет осуществлено и обеспечено это объединение. Как только оно станет реальностью — пожалуйста, я могу опять пойти на покой.

Против такого призыва я не могла устоять. Не потому, что я была уверена в удаче, не потому, что мне хотелось опять оказаться в самом центре борьбы, не потому, что я заскучала, как вероятно, думали многие — но по гораздо более простой и важной причине: я действительно считала, что на карту поставлено будущее рабочего движения. И как ни мучительно мне было пожертвовать, даже на несколько месяцев, впервые обретенным спокойствием, я не могла отказаться ни от своих принципов, ни от своих коллег. Я согласилась и снова стала работать, разъезжать, выступать на митингах, встречаться с разными людьми — но дала обещание себе и своим детям, что это моя последняя работа.

В это время на Ближнем Востоке произошли такие события, которые угрожали Израилю куда больше, чем отсутствие рабочего единства в стране. В 1966 году арабы закончили подготовку к новой стадии войны. Симптомы уже были известны. Прелюдия к Шестидневной войне была похожа на прелюдию к Синайской кампании: банды террористов — при ободрении и поддержке президента Насера — как и федаины 50-х годов, проникали на территорию Израиля из Газы и Иордании. Среди них была и новая, созданная в 1965 году организация Эль-Фат-



тах, которая под руководством Ясира Арафата стала самой могущественной и самой разрекламированной из всей «Организации освобождения Палестины». Было создано объединенное сирийско-египетское командование, и арабская конференция в верхах ассигновала крупные суммы на накопление оружия против Израиля; Советский же Союз, разумеется, снабжал арабские государства и деньгами, и оружием. Сирийцы склонны были, по-видимому, к эскалации конфликта: они не переставали бомбить израильские поселения у подножия Голанских высот, и израильские рыбаки и фермеры каждый день рисковали быть подстреленными подстерегавшими их снайперами. Мне приходилось бывать в этих поселениях и наблюдать, как жители отправляются на работу будто ни в чем не бывало — словно пахота под военным прикрытием или детские спальни в бомбоубежищах были самым обычным делом. Я не могла поверить, что они «привыкли» жить под огнем. Не верю, чтобы мои родители могли привыкнуть к мысли, что их детям грозит смертельная опасность.

И вдруг осенью 1966 года Советский Союз стал обвинять Израиль, что он готовится напасть на Сирию. Это было абсурдное обвинение, но Объединенные Нации, тем не менее, подвергли его тщательной проверке, и, разумеется, нашли, что оно лишено всякого основания. Однако русские продолжали обвинять Израиль в «агрессии», которая вызовет третью арабо-израильскую войну, тем временем сирийцы, которым Советский Союз оказывал военную и финансовую помощь, продолжали свои рейды против наших пограничных поселений. Когда террор сирийцев становился невыносимым, израильская авиация предпринимала ответные действия против террористов, и поселенцы получали передышку на несколько недель. Но весной 1967 года эти передышки становились все реже и короче. В апреле посланные

для ответных действий израильские самолеты приняли воздушный бой и сбили шесть МиГов. Тут Сирия, как всегда подстрекаемая Советским Союзом, опять завопила об израильских военных приготовлениях, и советский посол в Израиле г-н Чувахин даже передал премьер-министру официальную жалобу от имени Сирии. Это само по себе нелепое происшествие способствовало тому, что в июне разразилась война.

«Нам известно, — очень нелюбезно сказал Чувахин Эшколу, — что, несмотря на все ваши официальные заявления, происходит большая концентрация израильских войск вдоль всей сирийской границы». Эшкол на этот раз не ограничился отрицанием. Он предложил Чувахину отправиться на север и посмотреть все самому: он даже предложил его сопровождать. Но Чувахин тут же отказался от приглашения, заявив, что у него другие дела, хотя речь шла всего о нескольких часах поездки в машине. Конечно, ему пришлось бы, если бы он поехал, доложить Кремлю и сирийцам, что никакого скопления израильских войск на границе нет и что так называемая сирийская тревога совершенно неоправдана. Отказавшись от поездки, он сумел вдохнуть новую жизнь в ложные обвинения, что привело к выступлению Насера и, таким образом, вызвало Шестидневную войну.

В начале мая Насер, чтобы поддержать Сирию в ее, как он выразился, «отчаянном положении», отдал приказ сконцентрировать египетские войска и бронечасты в Синае. Чтобы никто не усомнился в его намерениях, каирское радио резко заявило, что «Египет, со всей своей мощью... готов к тотальной войне, которая станет концом Израиля».

16 мая Насер сделал новый шаг — только на этот раз он отдал приказ не своим войскам, а Объединенным Нациям. Он потребовал, чтобы чрезвычай-

ные силы ООН, с 1956 года стоявшие в Шарм-эль-Шейхе и Газе, немедленно оттуда убрались. Он имел на это легальное право, потому что международные полицейские силы были расположены на египетской земле только с разрешения самого Египта, но я уверена, что Насер не рассчитывал, что Объединенные Нации так смиренно выполняют его приказ. Убирать войска, специально поставленные сюда, чтобы следить за соблюдением условий перемирия, убирать их по просьбе одной из воюющих сторон и в тот момент, когда перемирие находится под угрозой, — это не лезло ни в какие ворота: Насер наверняка ожидал долгих дискуссий, споров и случаев поторговаться. Во всяком случае он ожидал, что Объединенные Нации будут, по крайней мере, настаивать на постепенных действиях. Но по каким-то никому, и мне особенно, непонятным причинам генеральный секретарь ООН У Тан уступил Насеру немедленно. Он ни с кем не посоветовался. Он не запросил мнения Совета Безопасности. Он даже не попросил дать отсрочку на несколько дней. Он согласился, на собственный страх и риск, немедленно убрать войска ООН. Они стали уходить из Шарм-эль-Шейха и из Газы на следующий же день, и 19 мая, под оглушительные аплодисменты египтян, ушло последнее соединение, и египтяне остались единственными стражами своей границы с Израилем.

Не могу описать, до чего болезненно меня поразила смехотворная капитуляция У Тана. Господи, конечно же, не одна я понимала, что на самом деле происходит. Но мне опять мучительно вспомнились невыносимые месяцы в Нью-Йорке после Синайской кампании, когда весь мир навалился на нас, чтобы мы ушли из Синая и Газы, несмотря на то, что мы знали, мы предупреждали, к чему это приведет. Снова и снова я вспомнила то, что происходило тогда: трудные и бесплодные разговоры с Даллесом, такие же

трудные и бесплодные закулисные переговоры с представителями других могущественных государств, наши постоянные, безуспешные старания объяснить, что мир на Ближнем Востоке может быть достигнут не постоянным задабриванием арабов за наш счет, а другим единственным путем: нужно настаивать на пакте о ненападении между арабскими государствами и Израилем, на разоружении региона, на прямых переговорах. Почему для нас все это было так просто и очевидно, почему всем остальным это казалось совершенно недостижимым? Разве мы недостаточно ясно объясняли реальное положение вещей? А может быть, я допустила какую-нибудь ужасную ошибку и не сказала чего-то главного? Чем больше я думала о прошлом, тем яснее видела, что ничего не изменилось, арабам снова позволяют помечтать о том, что они могут стереть нас с лица земли.

22 мая эти мечтания получили подкрепление: опьяненный своим успехом Насер решил еще раз проверить, какова будет реакция мира, если он начнет настоящую войну против Израиля. Он объявил, что Египет возобновляет блокаду Тиранского пролива, несмотря на то, что ряд стран (в том числе США, Англия, Канада и Франция) гарантировали Израилю право судоходства через Акабский залив. Конечно, это был сознательный вызов, и Насер ждал реакции. Ждать ему пришлось недолго. Никто ничего особенного не собирался предпринимать по этому поводу. Ну, конечно, были и протесты, были и сердитые заявления. Президент Джонсон заявил, что блокада «незаконна» и «потенциально разрушительна для дела мира», и предложил, чтобы конвой судов, включая и израильские, прошел через пролив и не поддавался запугиванию. Но даже он не мог уговорить англичан и французов присоединиться к нему. Совет Безопасности собрался на чрезвычайное заседание, но тут уж постарались русские: никакого

вывода не последовало. Английский премьер-министр, мой добрый друг Харолд Вильсон, полетел в США и в Канаду и предложил создать международные морские силы, которые бы наблюдали за Тиранским проливом, но его предложение не имело последствий. Даже У Тан, наконец сообразивший, какую страшную ошибку он допустил, побеспокоился и съездил в Каир, чтобы поговорить с Насером, но было уже слишком поздно.

Насер сделал свои собственные выводы. Если так называемые гарантии, которые морские державы дали Израилю после Синайской кампании, оказались пустым клочком бумаги, то что и кто теперь остановит египтян, кто помешает им одержать славную, решительную, окончательную победу над еврейским государством, которая сделает Насера главной фигурой в арабском мире? Если у него и были какие-либо сомнения перед тем, как кинуться самому и ввергнуть свой народ в эту авантюру, то их развеяли русские. Советский министр обороны привез Насеру в последнюю минуту ободряющее напутствие Косыгина: Советский Союз поддержит Египет в предстоящей схватке. Действие было, значит, подготовлено. Что же касается целей войны, в той мере, в какой Насер собирался объяснять их народу, уже охваченному первыми приступами военной истерии, то тут достаточно было повторять:

«Наша цель — уничтожить Израиль». Египетскому национальному собранию достаточно было сказать, как он сказал в последнюю неделю мая: «Речь идет об Акабе, не о Тиранском проливе, не о войсках ООН... Речь идет об агрессии, совершенной против Палестины в 1948 году. Иными словами, война, которая сейчас готовится, должна, стать *последней* арабской войной против нас, и внешне все выглядело так, что у Насера были все основания рассчитывать на победу.

К 1 июня 100 000 египетских солдат и больше 900 египетских танков было сконцентрировано в Синае: на севере 6 сирийских дивизий и 300 танков стояли наготове. Поколебавшись несколько недель, король Иордании Хуссейн решил рискнуть и прикнуться к великому делу Насера. И хоть мы все время передавали ему заверения, что если он не влезет в войну, с ним ничего не случится (последнее предупреждение — от Эшкола — было передано через ООН для наблюдения за перемирием утром того дня, когда началась война) — соблазн участвовать в победе — и страх вызвать гнев Насера — были так велики, что Хуссейн им покорился и тоже связал свою судьбу с Египтом. Это обогатило арабскую сторону еще семью бригадами, 270 танками и хоть и небольшими, но хорошо обученными военно-воздушными силами. Последним в антиизраильскую коалицию вступил Ирак, подписавший с Египтом договор о совместной обороне за день до начала войны. Это была, конечно же, огромная армия, и так как Запад казался то ли парализованным, то ли совершенно равнодушным, а русские на все сто процентов поддерживали арабов, то, в общем, нельзя особенно упрекать Насера за то, что он вообразил, что теперь, наконец, он в состоянии нанести Израилю смертельный удар.

Все это — арабские настроения и арабские мечты. А мы? Что произошло с нами? Не хочу и не считаю необходимым пересказывать историю Шестидневной войны, о которой столько уже было написано. Но думаю, что никто, живший в Израиле перед ее началом, не забудет, как мы встретили страшную опасность. И израильскую реакцию нельзя постигнуть, не поняв того, что мы поняли насчет самих себя, насчет арабских государств и всего остального мира в течение тех страшных трех недель, которые получили на иврите название «коненут»

(«готовность»). Я, конечно, уже не была членом кабинета, но, естественно, меня не могли не позвать, когда кабинет принимал решения о жизни или смерти, и, думаю, все понимали, что я не стану прятаться от ответственности.

Вначале все как один считали, что войны надо избежать — чуть ли не любой ценой. Конечно, если придется сражаться, мы будем сражаться — и победим, но сначала надо испробовать все прочие пути. Эшкол, посеревший от тревог и забот, стал искать чьего-нибудь дипломатического вмешательства. Вот и все, о чем он просил; надо ли добавлять, что мы никогда не просили о военной помощи людьми? Эвен был отправлен с этой миссией в Париж, Лондон и Вашингтон; в это же время Эшкол подал знак народу, что он должен, в третий раз за девятнадцать лет, готовиться защищать свое право на существование. Эвен вернулся — и привез самые безотрадные новости. Самые серьезные наши опасения подтвердились: Лондон и Вашингтон были обеспокоены и очень нам сочувствовали, но и теперь не были готовы предпринять что бы то ни было. Очень жаль, конечно, но, может быть, арабская ярость как-нибудь пройдет. На всякий случай они рекомендовали терпение и самообладание. Поживем — увидим, другой альтернативы у Израиля нет. Де Голль был менее уклончив. Что бы ни случилось, сказал он Эвену, Израиль не должен сделать первого шага, пока арабы не нападут. Когда это произойдет, Франция выступит и спасет положение. «А если некого будет спасать?» — спросил Эвен. На это де Голль предпочел не отвечать, но дал ясно понять Эвену, что дружба с Францией целиком зависит от того, будем мы его слушаться или нет.

Вопрос о самом нашем существовании за несколько дней был поставлен на карту.

Мы были одиноки — в самом буквальном смысле этого страшного слова. Западный мир, частью которого мы всегда себя считали, нас просто выслушал, выслушал и нашу оценку положения, как крайне опасного; правда, народ и на улицах и на любом собрании нас поддерживал. И мы начали готовиться к неизбежной войне. Армия стала готовиться согласно плану. Эшкол объявил всеобщую мобилизацию. Старики, женщины и дети Израиля принялись энергично очищать подвалы и погреба, подходящие для бомбоубежищ, набивать песком мешки, которыми устилали самодельные, выкопанные отцами и дедами траншеи во всех садиках и школьных двориках страны, и вообще брали на себя обычные дела гражданской жизни, пока войска, под камуфляжными сетками в песках Негева ждали, тренировались и снова ждали. Казалось, будто где-то тикают для всех нас гигантские часы, хотя никто, кроме Насера, не знал, когда пробьет решающий час.

Та обычная жизнь, к которой мы приспособились за предшествующие месяцы, кончилась вместе с маем. День, казалось, насчитывал двойное количество часов, и каждый час длился бесконечно. Стояла жара, начиналось лето, я сделала то же, что и все: упаковала самое необходимое, что могло понадобиться в бомбоубежище, в мешочек и положила так, чтобы при первом звуке сирены его можно было схватить. Я помогла Айе сделать клеенчатые номерки для детей, затемнила по комнате в каждом доме, чтобы там можно было зажигать по вечерам свет. Я поехала в Ревивим повидаться с Саррой и с детьми. Я видела, как знакомый мне с самого рождения киббуц, спокойно готовится к арабскому нападению, которое может превратить его в груду развалин; я встретила, по их просьбе, с некоторыми из Сарриных друзей и мы поговорили о том, что может



случиться. Но больше всего они хотели узнать, когда же кончится ожидание, и на это я ответить не могла. И часы тикали, а мы ждали и ждали.

Были и другие зловещие приготовления, которые держались в секрете: парки во всех городах были освящены, на случай, если они будут превращены в массовые кладбища; гостиницы освобождены от постояльцев — на случай их превращения в гигантские пункты первой помощи; неприкосновенный запас заготовлен на случай, если снабжение населения придется централизовать, перевязочные материалы, лекарства, носилки были получены и распределены. Но главное всего были военные приготовления, потому что, хоть мы уже и усвоили окончательно, что мы можем надеяться только на себя, не было, по моему, человека в Израиле, не понимавшего, что в этой навязанной нам войне у нас нет альтернативы. Только выиграть. Первое, что вспоминается, когда думаешь о тех днях, — это поразительное ощущение единства и целеустремленности, в несколько дней превратившее нас из небольшой общины, нелегко переживающей всякие экономические, политические и социальные неприятности, в 2 500 000 евреев, каждый из которых чувствовал личную ответственность за то, чтобы государство Израиль выжило, и каждый из которых знал, что противостоящий нам враг поклялся нас уничтожить.

Таким образом, для нас вопрос стоял не так, как иногда для других стран — как бы не слишком пострадать в неминуемой войне; для нас вопрос был в том — как выжить народу. Ответ ни у кого не вызывал сомнения. Только победа позволит нам выжить. Все мелочи, все разногласия от нас отлетели; мы, проще говоря, стали одной семьей, твердо решившей: ни шагу назад. Ни один еврей не уехал из Израиля в тяжкие недели ожидания. Ни одна мать не бежала с детьми из поселений у подножия Голан-

ских высот. Ни один узник нацистских лагерей (а среди них многие потеряли в газовых камерах детей) не сказал: «Я не могу больше страдать». И сотни израильтян, которые были за границей, вернулись, хотя никто их не призывал. Они вернулись, потому что не могли оставаться в стороне.

Более того. Мировое еврейство смотрело на нас, видело опасность, видело нашу изоляцию и, может быть, впервые, задалось вопросом: а что, если государство Израиль перестанет существовать? Только один ответ был на это: если будет уничтожено еврейское государство, ни один еврей на земле уже никогда не почувствует себя свободным. После войны, точнее, в последние ее дни — я полетела в США и выступила на огромном митинге, который Объединенный Еврейский Призыв организовал в Мэдисон Сквер Гарден. В моем расписании не оставалось зазора, и я очень торопилась домой — но мне хотелось увидеть кого-нибудь из тех тысяч молодых американских евреев, которые осаждали израильские консульства по всей Америке, добиваясь возможности быть в этой войне вместе с нами. Я хотела понять, что заставляет их — и других, например, английских евреев, поднявших шум в лондонском аэропорту из-за того, что Эл-Ал (единственная авиакомпания, летавшая во время войны в Израиль) не может взять всех желающих, — что заставляет их соваться в петлю, которая так крепко затянулась у нас на шее? В Израиле их ожидала не романтическая пограничная стычка. Огромный механизм, созданный, чтобы убивать, калечить и уничтожать нас, был собран на наших границах и с каждым днем придвигался все ближе и ближе. Как и мы, они видели по телевизору отвратительное зрелище — истерические толпы по всему арабскому миру, требующие устроить кровавую баню, которая прикончит Израиль. Министерство иностранных дел доброволь-

цев остановило, да и война закончилась за шесть дней — но мне необходимо было понять, что именно значит для них Израиль, и я попросила друзей устроить мне встречу с кем-нибудь из тех 2500 молодых нью-йоркцев, которые во время войны хотели поехать в Израиль.

Нелегко было устроить это за одни сутки, но это было сделано, и более тысячи юношей пришло поговорить со мной. «Скажите, — спросила я, — почему вы хотели приехать? Из-за воспитания, которое получили? Или потому, что вам казалось, что это будет интересно? Или потому, что вы сионисты? Что вы думали, когда стояли в очередях и просили разрешения уехать в Израиль?»

Ответы, конечно, были разные, но мне кажется, что общие чувства выразил один молодой человек, сказавший: «Не знаю, как это вам объяснить, миссис Меир, но я понял одну вещь. Моя жизнь уже никогда не будет прежней. Шестидневная война и то, что Израиль чуть не уничтожили, изменили для меня все: отношение к себе, к семье, даже к соседям. Теперь уже никогда и ничто не будет для меня таким, как было».

Это был не слишком членораздельный ответ, но он шел от сердца, и я понимала, что он хочет сказать. Он понял, что он еврей, и понял, что, несмотря на все разногласия, он принадлежит к большой семье — еврейскому народу. Угроза, вставшая перед нами, была угрозой прекращения рода — и на это все евреи, ходят ли они в синагогу или нет, и живут ли в Нью-Йорке, Буэнос-Айресе, Париже, Москве или Петах-Тикве, отвечают одинаково. Это была угроза народу, и когда Насер с подручными ее произнес, он произнес смертный приговор своей войне, потому что мы — все мы — решили: повторения гитлеровского «окончательного решения», повторения Катастрофы не будет.

В каком-то смысле это объединение нации перед общей угрозой подготовило поднявшееся в Израиле требование «всеобщей коалиции всех политических партий (кроме коммунистов) и передачи портфеля министра обороны человеку, более опытному в военном деле, чем Леви Эшкол. Надо сказать, что я не сочувствовала ни одному из этих требований. Национальная коалиция — и в свое время я узнала, что это такое, на собственном опыте — хороша при нормальных условиях, когда есть время на длинные споры, выражающие разные точки зрения; но тогда, когда надо принимать роковые решения, она не помогает, а мешает, ибо только общность идеологии, предпосылок и позиций способствует эффективной и гармоничной работе правительства. Если и была нужда, в чем я лично сомневаюсь, в те последние дни перед войной укреплять правительство Эшкола, это можно и нужно было сделать без особых замен. Я-то знала — чего в Израиле тогда не знали многие, — что Эшкол, без фанфар и развернутых знамен, в тишине, сделал как премьер-министр и министр обороны все, что нужно, для того, чтобы наши оборонные силы могли справиться со своей задачей. Он знал армию, понимал ее нужды и умел их удовлетворять — это никому не внушало сомнений.

Я не слепая, и, конечно, я, как и все, видела какую-то робость в его манере держаться. В самые трудные дни «коненут» он раза два обращался к нации и сказал все, что сказал бы любой другой на его месте; но сказал как-то нерешительно, без понимания аудитории — а страна в это время нуждалась в более энергичном руководителе. Я-то не думала — да и теперь не думаю, что это имеет значение. Эшкол был мудрый и преданный делу человек, сознававший, что на него возложена самая тяжелая для государственного деятеля ответственность, и тяжесть

этой ответственности его подавляла. Только безумец мог бы испытывать при этом другие чувства, и то, что Эшкол слегка заикался, говоря о том, чтобы послать свой народ на войну, делает ему честь.

Я впоследствии тоже узнала, что это значит, и не раз вспоминала Эшкола во время Войны Судного дня, когда мрачная, как смерть, я выступила по телевизору, ибо то, что я должна была сказать — и никто кроме меня сказать не мог, — было так серьезно, что мне было не до выбора слов. Но опять-таки: кто никогда там не побывал, тот вряд ли может себе представить, как было дело. У израильтян нервы были натянуты до предела, выступления Эшкола их разочаровали, отчаянные попытки найти другой, невоенный, выход из положения — тоже. К чему заставлять Аббу Эвена стучать еще в одну дверь? Сколько же еще продлится неизвестность? Что ж мы, так и будем дальше — отомобилизовались, и сидим, ждем? Эшкол казался слишком нерешительным, слишком пассивным. Времена были героические — но где же герой?

Все критиковали Эшкола, но никто не требовал, чтобы он ушел в отставку, просто нарастало всеобщее, хоть и неоправданное недовольство им, вылившееся в настоятельное требование назначить нового, более смелого и более популярного в народе министра. К концу мая ясно было, что тысячи израильтян считают Моше Даяна подходящим выразителем решительности нации все вытерпеть и победить. Словно бы израильтяне — не все, но очень многие — ожидали, что Даян привнесет что-то такое, чего у Эшкола не было. Я и теперь не могу в точности определить, чего они искали. Возможно, уверенности, что в такое трудное время их поведет боец, а возможно, им импонировало известное всем даяновское бесстрашие. Как бы то ни было, сопротивляться такому напору было невозможно. В конце концов,

Эшкол, оскорбленный до глубины души, не понимавший, что главное — это сохранять единство, сдался, а я перестала спрашивать себя, как же это получилось: если Даян такой явный кандидат на пост министра обороны, почему же Бен-Гурион так никогда и не вручил ему этого портфеля?

Даян оставался министром обороны Израиля до 1974 года; в моем кабинете не было другого министра обороны, и мы с ним очень хорошо работали вместе. Однако, я надеюсь, он простит мне, если я скажу, что и теперь не верю, будто его назначение в 1967 году особенно изменило ход Шестидневной войны и будто он — главный создатель нашей победы. Армия Обороны Израиля не дожидалась 1 июня, чтобы разработать стратегический план и обучать своих солдат. И герои этой война — люди Израиля. Не думаю, что исход войны был бы иным, если бы Даян не вошел в правительство. Но как бы то ни было, скажу здесь, что хоть я и считала, что с Эшколом поступили несправедливо, израильское общество получило, наконец, энергичного и эффективного военного руководителя, которого оно так добивалось и в котором, может быть, даже нуждалось, и я была довольна, что вопрос этот, наконец, решился.

Еще два замечания по поводу Шестидневной войны. Первое само собой разумеется, и все-таки я уже знаю, что надо снова и снова повторять, ибо есть люди, не понимающие, что мы провели эту войну столь успешно не только потому, что вынуждены были это сделать, но и потому, что всей душой надеялись одержать такую полную победу, после которой больше не придется воевать. Если нам удастся нанести собранным против нас арабским армиям тотальное поражение, то, может быть, наши соседи, наконец, откажутся от «священной войны» против нас и поймут, что мир нужен им так же, как и нам, что жизнь их сыновей не менее дорога, чем жизнь

наших. Мы ошибались. Арабы были разбиты наголову, они понесли тяжелейшие потери — но и это не помогло им осознать, что Израиль не исчезнет с карты мира просто для того, чтобы оказать им услугу. И второе, о чем я бы хотела напомнить читателям: в июне 1967 года и Синай, и Газа, и Цисиордания — на запад от Иордана, и Голанские высоты, и Восточный Иерусалим — все находилось в руках арабов; поэтому смешно сейчас говорить, что причины напряженности на Ближнем Востоке и причины Войны Судного дня — присутствие на этих территориях Израиля — с 1967 года! Когда арабские государственные деятели настаивают, чтобы Израиль отошел к границам, существовавшим до 1967 года, можно спросить: если эти границы для арабов священны, то зачем было затевать Шестидневную войну, чтобы их нарушить?

Война началась рано утром в понедельник 5 июня. Как только мы услышали вой сирены, мы поняли, что ожидание кончено, хотя о размахе сражений нация узнала только поздно ночью. Весь день наши самолеты, волна за волной, летели через Средиземное море бомбить египетские аэродромы с заготовленными против нас самолетами — и весь день мы, припав к транзисторам, ждали новостей. Но новостей не было — только музыка, ивритские песни и шифровки — призывы еще не мобилизованных резервистов. Только после полуночи жители Израиля, сидевшие в своих затемненных комнатах, услышали от командующего военно-воздушными силами официальный, почти невероятный отчет об этом первом дне: за шесть часов, которые понадобились военно-воздушным силам для уничтожения более 400 вражеских самолетов (в том числе и базировавшихся на сирийских и иорданских аэродромах) и завоевания полного господства в воздухе от Синая до сирийской границы, народ Израиля был спа-

сен. И хотя меня весь день информировали о ходе событий, я тоже не вполне понимала, что произошло, пока не услышала радиопередачи. Несколько минут я простояла одна у дверей своего дома, вглядываясь в безоблачное, бестревожное небо, и тут только уразумела, что нам больше не надо бояться воздушных налетов, которых мы боялись так много лет. Да, война только началась, и будут и смерть, и траур, и горе. Но самолеты, которые должны были бомбить нас, валялись на земле, изуродованные, и аэродромы, с которых они должны были взлететь, лежали в обломках. Я вдыхала ночной воздух так глубоко, словно мне много недель не удавалось вздохнуть по-настоящему.

Но мы одержали решающую победу не только в воздухе. В тот же день наши наземные силы, поддержанные авиацией, мчались по трем, взятым в 1956 году дорогам: они уже углубились в Синай, побеждая в танковом бою, где сражалось больше машин, чем было в Западной пустыне во время Второй мировой войны; они уже шли к Суэцкому каналу. Протянутая для примирения рука Израиля сжалась в кулак, и остановить наступление израильской армии уже было невозможно. Но Насер был не единственный арабский правитель, чьи планы были вдребезги разбиты в день 5 июня.

Был еще Хуссейн, который взвешивал: на одной чаше весов обещание Эшкола, что Иордании ничего не грозит, если она не влезет в войну, на другой — полученное им утром от Насера сообщение, что египтяне бомбили Тель-Авив (хотя к тому времени у Насера практически уже не было самолетов). Как когда-то его дед, Хуссейн долго примеривался — и сделал ошибку. 5 июня он отдал приказ своим войскам начать обстрел Иерусалима и еврейских поселений на Иордане — израильской границе. Его армия должна была стать восточной половиной



задуманных клещей, но ей это не удалось. Как только Иордания начала обстрел, Армия Обороны Израиля ударила и по Хуссейну, и хотя битва за Иерусалим стоила жизни многим молодым израильтянам, дравшимся врукопашную на узких улочках, чтобы танками и снарядами не разрушать города и священных для христиан и мусульман мест, — уже этой ночью стало ясно, что жадность Хуссейна будет стоить ему по меньшей мере Восточного Иерусалима. Не боясь повториться, я опять подчеркиваю, что как в 1948 году арабы били по городу, нисколько не заботясь о сохранности церквей и святых мест, так и в 1967 году иорданские войска без колебаний использовали церкви и даже минареты собственных мечетей под огневые точки. Потому-то мы возмущаемся, когда кое-кто выражает опасения за святой Иерусалим под израильским управлением, не говоря уже о том, что открылось нам, когда мы впервые вошли в Восточный Иерусалим. Еврейские кладбища были осквернены, старые синагоги Еврейского квартала сравнены с землей, еврейскими надгробными камнями с Масличной горы были вымощены иорданские дороги и армейские уборные. Так что не стоит и пытаться убедить меня, что Иерусалиму лучше быть в арабских руках или что нам нельзя доверить заботу о нем.

Египет был побит за три дня, Хуссейн в два дня расплатился за свою ошибку. В четверг 8 июня сдался губернатор Газы, израильские войска вышли на восточный берег Суэцкого канала и закрепились там. Тиранский пролив снова находился под контролем Израиля; восемьдесят процентов, если не более, египетской военной техники было уничтожено. Даже Насер не слишком точный в подсчетах, допускает, что погибло 10000 египетских солдат и 1500 офицеров: к нам в плен попали 6000 египтян или около того. К Израилю опять попал весь Синай и Газа, а

также Восточный Иерусалим, Старый город и практически половина иорданского королевства. Но мы еще не знали, сколько наших ребят погибло в боях, и нам надо было управиться еще с одним агрессором. 9 июня Армия Оборона Израиля обратила внимание на Сирию и решила доказать ей, что она ошибается, считая непобедимыми орудия, без конца обстреливающие еврейские поселения с Голанских высот. Должна признаться, что для такой ее самоуверенности были некоторые основания. Когда после войны я поехала на Голанские высоты и увидела своими глазами растянувшиеся на много километров бетонные бункеры, щетинящиеся колючей проволокой, набитые антитанковыми пушками и артиллерийскими орудиями, я поняла, почему сирийцы были так самоуверенны и почему Армии Оборона Израиля понадобилось два дня и целая ночь кровопролития, чтобы совершить, дюйм за дюймом, подъем на эти высоты и пробиться в бункеры. Но благодаря армии, авиации, парашютистам и бульдозеристам, это было сделано, и 10 июня сирийцы стали просить Объединенные Нации устроить прекращение огня. Командующий Северным флотом, генерал Давид Элазар (будущий начальник штаба во время Войны Судного дня), когда сражение закончилось, послал телеграмму поселенцам в долине: «Только с этих высот я увидел, какие вы великие люди».

Все кончилось. Арабские государства и их советские патроны проиграли войну. Но теперь мы потребуем за свое отступление высочайшую цену. Этой ценой будет мир, постоянный мир, по мирному договору, основанному на оговоренных и надежных границах. Война была недолгая, но жестокая. По всей стране шли военные похороны, и нередко хоронили ребят, чьи отцы или старшие братья пали в Войне за Независимость или какой-нибудь стыч-

ке, которыми нас так часто мучили. Мы сделаем все, чтобы не подвергаться снова этому ужасу. Мы не будем больше слушать льстивых похвал израильскому народу. Замечательный народ! Каждые десять лет выигрывают войну! И опять выиграли! Изумительно! А теперь пусть возвращаются на свое место, чтобы сирийские стрелки могли стрелять с Голанских высот по киббуцам, а иорданские легионеры — с башен Старого города, и чтобы Газа опять превратилась в гнездо террористов, а Синай — в плацдарм для насеровских дивизий.

— Есть тут кто-нибудь, — спросила я на том самом митинге в Нью-Йорке, — кто осмелится сказать нам: идите по домам! Начинайте готовить ваших восьми-и девятилетних мальчиков к будущей войне! Я уверена: что каждый порядочный человек скажет на это «нет!» И самое главное, простите за откровенность, то, что «нет!» говорим мы сами.

Мы в одиночестве сражались за свое существование и безопасность, и большинству из нас уже казалось, что вот-вот забрезжит новый день, что арабы, побитые в войне, согласятся, наконец, сесть за стол переговоров и обсудить наши разногласия, среди которых нет и не было неразрешимых.

То был не триумф, то был новый подъем надежд. И тут, в сознании заслуженного облегчения после победы, радости, что мы живы и сравнительно невредимы, надежды на мир — весь Израиль позволил себе каникулы, которые продолжались почти все лето. Не было, пожалуй, семьи — и моя собственная не исключение, — которая бы после Шестидневной войны не предприняла бы поездки по новым местам. Иностранцам это казалось чем-то вроде массового туризма, в действительности это было паломничество к тем местам Святой земли, от которых мы были оторваны в течение двадцати лет. Прежде всего, конечно, евреи стремились в Иерусалим;

ежедневно тысячи людей толпились в Старом городе, молились у Стены; пробирались через развалины бывшего Еврейского квартала. Но мы ездили в Бет-Лехем, Иерихон, Хеврон, Газу, Шарм-эль-Шейх. Учреждения, фабрики, киббуцы, школы выезжали на экскурсии; сотни битком набитых легковушек, автобусов, грузовиков, даже такси пересекали страну в северном направлении к горе Хермон и в южном — к Синаю. И везде, куда мы приезжали в то радостное, почти беззаботное лето, мы встречали арабов, живших на территориях, которыми мы отныне управляли, улыбались им, покупали у них продукты, разговаривали, разделяя с ними, пусть и не на словах, надежду на то, что мир станет реальным, и стараясь сообщить им нашу радость по поводу того, что отныне мы сможем нормально жить рядом.

Буквально все в то время были на колесах, потому что арабы управляемых территорий ездили не меньше, чем мы. Они неслись в Тель-Авив, к морю, в зоосад, толпились у витрин Западного Иерусалима и сидели в кафе на всех центральных улицах. Большинство переживало те же волнения, то же любопытство, что и мы, и всматривались в ландшафты, которые взрослые успели позабыть, а дети никогда не видели. Все это сегодня похоже на сказку. Я во все не хочу этим сказать, будто арабы пять раз в день поворачивались лицом к Мекке, дабы возблагодарить за то, что их разбили, или что не было евреев, предпочитавших сидеть дома, а не участвовать в непристойном, как им казалось, праздновании мира в то время, когда раны войны еще не затянулись. Но каждый, кто побывал в Израиле летом 1967 года, может подтвердить, что настоящая эйфория охватила евреев и даже передалась арабам. У людей было чувство, словно им отменили смертный приговор — и, в сущности, так оно и было.

Если бы надо было выбирать самый эффектный

момент для иллюстрации общей атмосферы тех дней, то я выбрала бы разрушение бетонной баррикады и проволочных заграждений, с самого 1948 года разделявших Иерусалим на две части. Эти отвратительные баррикады больше, чем что-нибудь, символизировали ненормальность нашей жизни, и когда бульдозер срыл их прочь и Иерусалим за одну ночь опять стал единым городом — это и было знаком и символом, что наступила новая эра. Человек, впервые в жизни приехавший в Иерусалим именно тогда, сказал мне: «Город словно светился изнутри», — и я поняла, что он имеет в виду. И внукам я говорила: «Скоро солдаты разойдутся по домам, наступит мир, мы сможем ездить в Иорданию и Египет и все будет хорошо». Я в это верила — но так не случилось.

В августе 1967 года на Хартумской конференции в верхах арабы рассмотрели положение вещей и пришли к совершенно противоположному выводу. Они произнесли свои три знаменитые «нет»: нет — миру с Израилем, нет — признанию Израиля, нет — переговорам. Нет, нет, нет! Израиль должен полностью и безоговорочно покинуть территории, занятые в Шестидневной войне; террористы, приглашенные на конференцию, сделали от себя еще одно полезное добавление: «Израиль должен быть разрушен — даже в границах 1967 года». Таков был ответ на призыв израильского правительства: давайте встретимся не как победители и побежденные, но как равные, чтобы обсудить мир — без всяких предварительных условий. Неважно, кто начал войну и кто ее выиграл. Но у арабов ничего не изменилось, и все так называемые плоды победы пошли прахом, не успев созреть, и увяла мечта о немедленном мире. Но если арабы ничему не научились, то кое-чему научились мы. Мы не собирались повторять маршировки 1956 года. Дискутировать, обсуждать, искать компромисс, уступать — пожалуйста. Но не отхо-

доть к линии 4 июня 1967 года. Эта любезность была нам не по средствам, и мы не могли себе ее позволить даже ради того, чтобы Насер сохранил лицо и Сирия не так страдала от того, что ей не удалось нас уничтожить. Очень жаль, что арабы, проиграв ими самими затеянную войну, чувствовали себя до того посрамленными, что даже не могли заставить себя разговаривать с нами, но, с другой стороны, и от нас не нужно было ожидать, что мы их вознаградим за попытку сбросить нас в море. Мы были горько разочарованы, но ответ мог быть только один: Израиль не уйдет с завоеванных территорий до тех пор, пока арабские государства раз и навсегда не положат конец конфликту. Мы решили — и, поверьте, нелегкое это было решение, — что останемся на линии прекращения огня, несмотря ни на какое давление, чего бы нам это ни стоило в смысле общественного мнения, затрат энергии и денежных затрат. Мы решили ждать, пока арабы примирятся с фактом, что единственной альтернативой войне является мир, а единственным путем к миру — переговоры.

В то же время арабы, живущие на контролируемых нами территориях — около 1 000 000, из них более 600 000 — на Западном берегу Иордана, около 365 000 — в Синае и Газе, друзы-феллахи, которые решили оставаться на Голане после отступления сирийской армии, — будут жить так же, как жили до Шестидневной войны. Не велико удовольствие жить под управлением военной администрации, и никому из арабов на территориях не нравилось, что там ходят израильские патрули, но армия старалась не слишком бросаться в глаза, а военная администрация — в значительной степени благодаря Даяну — почти не вмешивалась в каждодневную жизнь. Сохранялись местные законы, сохранялись и местные руководители. Мосты через Иордан были открыты, арабы Западного берега продолжали по-прежнему

торговать с арабскими государствами, учиться там, посещать своих родственников; их родственники тоже могли посещать их — и приходили тысячами. Конечно, все это было временно; ни один нормальный израильтянин не считал, что все территории останутся под управлением Израиля. Конечно, Иерусалим останется единым, но можно прийти к соглашению о мусульманском контроле над мусульманскими святыми местами. Между Иорданией и Израилем должны быть проведены новые границы; маловероятно, что Голан будет целиком возвращен Сирии и весь Синай сразу — Египту; Газа тоже является собой нелегкую проблему. Но, пока все это не было обсуждено с единственными людьми, кого это касалось, то есть с нашими соседями, нечего было намечать будущую карту Ближнего Востока, и даже обсуждать между собой, кому какие территории возвращать. Не по почте же их возвращать! Мы приготовились ждать ответа на наши повторные призывы к переговорам.

В это время Совет Безопасности принял резолюцию — знаменитую резолюцию 242, предложенную англичанами, намечавшую рамки мирного урегулирования «арабо-израильских разногласий» и назначившую специального представителя для наблюдения за «мирным и приемлемым» урегулированием — д-ра Гуннара В. Ярринга. Об этой резолюции 242 столько писалось и говорилось, ее так коверкали и арабы, и русские, что, пожалуй, я тут ее приведу, тем более, что, она не длинная:

Резолюция 242  
от 22 ноября 1967 года

*Совет Безопасности,*

*выражая свое продолжающееся беспокойство по поводу серьезного положения на Ближнем Востоке,*



Голда Меир во время работы в киббуце Мерхавия, 1921 год

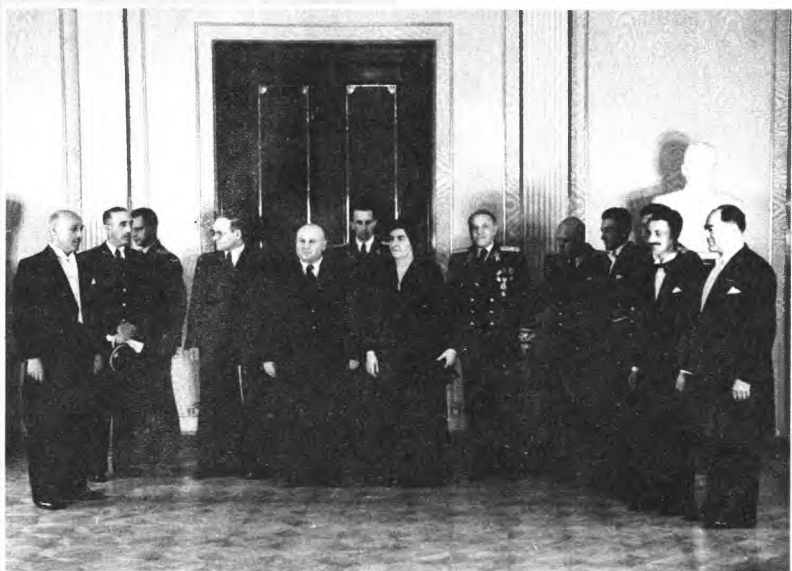


Голда Меир, посол Израиля в СССР, вручает верительные грамоты заместителю председателя Президиума Верховного Совета СССР И. А. Власову. 10 сентября 1948 г. Кремль





Голда Меир, посол Израиля в СССР, при вручении верительных грамот. Кремль, 10 сентября 1948 года



Г. Меир, посол Израиля в СССР, после вручения верительных грамот. Слева от нее — заместитель председателя Верховного Совета СССР И. А. Власов, на заднем плане — секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин, справа — заместитель министра иностранных дел СССР Сорин. 10 сентября 1948 года



Голда Меир — министр труда, октябрь 1949 года



Голда Меир, министр иностранных дел Израиля, член Кнессета от партии Мапай. Сентябрь 1956 года



Голда Меир, секретарь партии Авода, на автобусной остановке.  
Февраль 1968 года



Справа налево: Г. Меир, премьер-министр Израиля; М. Даян, министр обороны Израиля и Х. Бар-Лев, начальник генерального штаба Армии Обороны Израиля. Иерусалим, 23 апреля 1969 года



Американские школьники приветствуют Голду Меир, премьер-министра Израиля, на аэродроме в Милуоки (США).  
3 октября 1969 года



Голда Меир, премьер-министр Израиля, обходит строй почетного караула на аэродроме в Лодэ после возвращения из США.  
7 октября 1969 года



Голда Меир в киббуце Эйн-Геди. 20 января 1971 года



Голда Меир, премьер-министр Израиля, и Давид Элазар, начальник генерального штаба Армии Обороны Израиля, в Нахал-Нааран. 28 ноября 1972 года



Г. Меир, премьер-министр Израиля, на приеме у Римского папы Павла VI в Ватикане. Рим, 15 января 1973 года



Г. Меир на приеме у президента США Р. Никсона в Белом доме. 1 марта 1973 года



Голда Меир на пресс-конференции. Тель-Авив, 30 апреля 1973 года



Голда Меир и Мстислав Ростропович во время гастролей артиста в Израиле. Январь 1975 года

*подчеркивая недопустимость приобретения территории путем войны и необходимость добиваться справедливого и прочного мира, при котором каждое государство в данном районе может жить в безопасности,*

*подчеркивая далее, что все государства — члены Организации Объединенных Наций, принимая Устав Организации Объединенных Наций, взяли на себя обязательство действовать в соответствии со статьей 2 Устава,*

1. *Утверждает, что выполнение принципов Устава требует установления справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке, который должен включать применение обоих нижеследующих принципов:*

i) *вывод израильских вооруженных сил с территорий, оккупированных во время недавнего конфликта;*

ii) *прекращение всех претензий или состояний войны и уважение и признание суверенитета, территориальной целостности и политической независимости каждого государства в данном районе и их права жить в мире в безопасных и признанных границах, не подвергаясь угрозам силой или ее применению;*

2. *Утверждает далее необходимость:*

a) *обеспечения свободы судоходства по международным водным путям в данном районе;*

b) *достижения справедливого урегулирования проблемы беженцев;*

c) *обеспечения территориальной неприкосновенности и политической независимости каждого государства в данном районе с помощью мер, включающих установление демилитаризованных зон.*

Следует отметить, что в ней не говорится, что Израиль должен отступить со *всех* или с *таких-то* территорий. Но в ней говорится, что каждая страна



в регионе имеет право мирно жить в «безопасных и признанных границах», и в ней говорится о конце состояния войны. Далее, там не говорится о палестинском государстве, а говорится о проблеме беженцев. Но не только резолюция 242 была неверно истолкована — неверно истолкована была и наша позиция. Известный израильский сатирик Эфраим Кишон и карикатурист Дош выпустили после Шестидневной войны книгу под названием «Просим прощения, что мы победили». Звучало это горько, но для израильских читателей вполне понятно. Собственно говоря, это название выражало довольно точно наше самочувствие в начале 1968 года — если хочешь улучшить представление мира об Израиле, то забудь про мирный договор. По-видимому, наша вина была в том, что мы снова и снова говорили арабам: «Давайте приступим к переговорам». Предполагалось, что нам скажут: «Вот вам новая карта, подпишитесь вот тут» — и мы так и сделаем. А вместо этого мы призываем к переговорам!

По каким-то таинственным причинам это превратило нас в злодеев. Хотя вы меня режьте, не могу понять, почему Вилли Брандт, признавший границу по Одере-Нейсе, поскольку пришло время исправить зло, которое Германия причинила Польше во время Второй мировой войны, получил (и вполне заслуженно) Нобелевскую премию и был всюду прославлен как великий государственный деятель и поборник мира, а Эшкол, и, впоследствии, я, желавшие точно такого же урегулирования границ между Израилем и его соседями, были заклеены как экспансионисты. И не только это: наши друзья все время осведомлялись, не тревожит ли нас, что Израиль превращается в милитаристскую страну (тогда только и слышалось: «маленькая Спарта»), которая поддерживает закон и порядок на контролируемых террито-

риях с помощью «грубой силы» — оккупационных войск. И эпитет «непреклонная» прирос ко мне навсегда. Но ни Эшкол, ни я, ни подавляющее большинство израильтян не скрывали, что мы не хотим прекрасного, либерального, антимилитаристского и умершего еврейского государства, или такого «урегулирования», которое принесет нам лавры умных-разумных людей — и поставит нашу жизнь под угрозу. Доктор Вейцман говаривал, что стал президентом государства, где все президенты; Израиль — это живая демократия, и голубей там столько же, сколько ястребов, но я еще не встречала израильтянина, который считал бы, что ради того, чтобы внушать симпатию, нам надо навсегда превратиться в глиняных голубков.

Я была занята объединением рабочих партий всю зиму 1967-1968 годов. И, конечно, Эшкол всегда находил у меня поддержку при каждом очередном кризисе — то на контролируемых территориях усиливалась деятельность Эль-Фаттах и прочих маленьких террористических групп, объявивших себя единственными истинными представителями арабского народа; то в очередной раз делались попытки использовать резолюцию 242, чтобы заставить Израиль отступить со всех контролируемых территорий в неприемлемое для нас время и неприемлемым образом. В январе 1968 года была создана израильская Лейбористская партия, объединившая Мапай, Ахдут ха-Авода и Рафи, а в феврале я была избрана ее генеральным секретарем. Это было только частичное объединение: в таком виде это была скорее федерация трех партий, и лишь в следующем году было создано более широкое объединение — Маарах, как его называют на иврите, — куда вошла и Мапам. Но хотя узы были не слишком тесными, все-таки отныне все три партии находились под одной политиче-

ской крышей, чего я и хотела добиться. Теперь, добившись этого, я могла снова уйти в отставку — что я и сделала в июле месяце.

Мне было семьдесят лет. Семьдесят — это не грех, конечно, но и не шутка. Я опять болела в 1967 году и, как вы понимаете, Шестидневная война и формирование Маараха не слишком согласовывались с врачебными предписаниями. Я чувствовала, что мне действительно необходим покой и отдых, и тут никто уже не мог меня отговорить. Я поехала в Штаты по делам израильского займа, навестила в Коннектикуте Менахема, Айю и детей: Айя получила стипендию в университете, Менахем преподавал игру на виолончели. Я даже провела несколько недель в Швейцарии — это были первые настоящие каникулы в моей жизни, и когда я вернулась домой, я почувствовала себя как будто только что родилась.

Однако положение дома не слишком улучшилось. Несмотря на прекращение огня, на Суэцком канале шло нечто вроде войны. Египтяне, зная, что русские уже поставили им новые пушки, танки и самолеты вместо тех, что были потеряны в Шестидневной войне, расхрабрились и то и дело устраивали настоящую бомбовую завесу. «Придет время — мы нанесем удар!» — гремел Насер и повторял так называемые «принципы египетской политики»: ни переговоров, ни мира, ни признания Израиля. Весной 1969 года он начал «войну на истощение».

Тем, кто наблюдал все это издали, постоянный обстрел позиций израильской армии на канале казался, вероятно, просто одним из «инцидентов», которые происходят на Ближнем Востоке с незапамятных времен; ну, еще одно доказательство невозможности сосуществования между арабами и евреями; по-видимому, никто за границей не относился серьезно к постоянному нарушению Египтом договора о прекращении огня. Но мы относились вполне

серьезно, потому что знали, что эти нарушения обещают в будущем, и потому начали строить оборонительную линию — линию Бар-Лева — чтобы защищать наши войска по обоим берегам канала.

В это же время арабские террористические организации, которым не удалось спровоцировать серьезные антиизраильские действия на контролируемых территориях — если не считать спонтанного, хоть и выражавшего глубокие чувства марша протеста в Хевроне или забастовки в Дженине, — решили перейти к террористическим действиям за тысячи миль от Израиля. Разумеется, для них это было куда безопаснее, и куда эффективнее тоже, да и выбор мишеней был широкий, в том числе гражданская авиация и ни в чем не повинные пассажиры на чужих аэродромах. К тому же террористы в то время вовсе не собирались ограничиться одними евреями. Саудовская Аравия следила за тем, чтобы Эль-Фаттах не нуждался в деньгах; Насер снова послал ей официальное благословение («Эль-Фаттах, — сказал он, — выполняет важнейшую задачу, пуская кровь врагу»); король Хуссейн опять блеснул искусством канатоходца. Но, как и в Шестидневную войну, и тут просчитался, с энтузиазмом поддержав террористов, которые скоро начали отчаянную борьбу с ним за господство в Иордании и стали для него много опаснее, чем для нас. Когда в 1970 году ему пришлось худо от палестинских террористических организаций и он, как затравленный, стал озираться по сторонам в поисках помощи, мне пришло в голову, что он похож на человека, убившего отца и мать, который просит о милосердии на основании того, что он сирота.

На севере мира не было тоже. Южный Ливан постепенно превращался в игровую площадку для террористов. Города, поселки и фермы Израиля, даже школьные автобусы с детьми постоянно подверга-

лись обстрелу из мест, получивших название «Фаттахландии», а ливанское правительство проливало крокодиловы слезы, заявляя, что ничего не может сделать с террористами и с тем, что Ливан стал базой для их операций и местом их тренировок.

Но мы решили оборонять линию прекращения огня, не обращая внимания ни на Насера, ни на Фаттах; более того мы решили продолжать поиски путей к миру, хотя и не радовало сердце это занятие. Мы привыкли не терять надежды в любой обстановке, в основном благодаря тому, что наши молодые люди ради будущего Израиля соглашались неделями сидеть на Хермоне, в Синае и в Иорданской долине, удерживая линию прекращения огня, что не доставляло им удовольствия. Надо понять, какие жертвы они приносили. Это была армия резервистов — фермеров, официантов, студентов, владельцев химчисток, врачей, шоферов и так далее — мало было среди них профессиональных военных, получающих приличную зарплату за свою военную службу. Эти люди пошли по призыву, великолепно исполнили свой долг и теперь больше всего на свете хотели вернуться домой. У них были свои дела и свои обязанности и, право же, никогда еще свет не видел такой грустной армии победителей, ибо война, которую они выиграли, так никогда и не кончилась. Резервисты возвращались по домам на несколько недель или месяцев, а потом их призывали снова. Они ворчали, бурчали, но принимали необходимость стоять на линии прекращения огня, пока не будет достигнут постоянный мир.

26 февраля 1969 года мой дорогой друг Леви Эшкол, с которым я столько лет проработала и которого так любила и уважала, умер от сердечного приступа. Я узнала об этом дома и несколько минут сидела у телефона, оглушенная настолько, что даже не могла собраться с силами и попросить кого-нибудь

отвезти меня в Иерусалим. Казалось невозможным, что Эшкола нет больше. Ведь я только вчера с ним разговаривала, ведь мы условились о встрече на завтра. Я не могла вообразить, что теперь будет, и кто станет премьер-министром вместо него. Приехав в Иерусалим, я сначала пошла к Эшколу домой. Потом министры собрались на чрезвычайное заседание, а я сидела в чьем-то кабинете, ожидая конца заседания, чтобы узнать насчет похорон. И тут вошел израильский журналист.

— Я понимаю, что ты сейчас переживаешь, — сказал он. — Но я прямо из Кнессета. Все говорят одно: Голда должна вернуться.

— Не понимаю, о чем ты говоришь, — ответила я гневно. — Пожалуйста, не тревожь меня сейчас. Сейчас не время говорить о политике. Пожалуйста, пожалуйста, уходи!

— Ладно, — сказал он. — Но мой редактор хочет знать, где ты будешь сегодня вечером. Он хочет с тобой поговорить.

— Слушай, — сказала я. — Я никого не хочу видеть. Я ничего не знаю и не хочу ничего знать. Я только хочу, чтобы ты оставил меня в покое.

Заседание кабинета закончилось. Игал Аллон — заместитель премьер-министра — стал временно исполняющим обязанности премьера. Я вместе с министрами опять пошла к Мириам Эшкол. Вечером я возвратилась в Тель-Авив. В 10 часов вечера явился редактор газеты. «Пришел сообщить тебе, — сказал он, — все решили, что ты должна занять место Эшкола. Ты — единственный человек в партии, по общему мнению, достаточно для этого авторитетный, опытный и уважаемый».

Если бы я была в другом настроении, я бы напомнила ему, что при недавнем опросе общественного мнения — кто должен стать премьер-министром? — я получила как раз три процента голосов;

что никак не назовешь подавляющим большинством, хоть я ничуть не огорчилась. Больше всех голосов получил Моше Даян, да и Игал Аллон получил немало. Но не то у меня было настроение, чтобы все это обсуждать. «Эшкола еще не похоронили, — сказала я редактору, — а ты уже приходишь об этом со мной разговаривать?» И отправила его домой.

Но через несколько дней партия начала нажимать. «В октябре будут всеобщие выборы; надо назначить премьер-министра на это время; это же всего на несколько месяцев! И больше назначить некого!» Сам Аллон меня уговаривал — ради партии, которая только что объединилась, ради страны, которая все еще в опасности, сослужить еще эту последнюю службу. Не вся партия, конечно, так стремилась иметь меня премьер-министром. Бывшая фракция Рафи, возглавляемая Даяном и Пересом, ничуть об этом не мечтала, и я вполне понимала людей нашей страны, не уверенных, что семидесятилетняя бабушка — подходящий кандидат для того, чтобы возглавить двадцатилетнюю страну.

А я никак не могла решиться. С одной стороны, я понимала, что если я не соглашусь, то начнется отчаянная борьба между Даяном и Аллоном, а это Израилю совсем не было нужно. Хватало и войны с арабами; война между евреями может подождать, пока закончится эта. С другой стороны, я в самом деле не хотела ответственности и вечного напряжения своих сил, которые связаны с постом премьер-министра. Хотелось посоветоваться с родными. Я позвонила Менахему и Айе в Коннектикут; потом позвонила в Ревивим Сарре и Зехарии, сказала, что хочу их увидеть, но не могу приехать в гости — очень устала: не приедут ли они сами? В полночь они прибыли на грузовике — и мы до утра просидели вместе; разговаривали, пили кофе и курили. Наутро Сарра сказала, что они с Зехарией приняли решение:

они согласны с Менахемом и Айей, у меня нет выбора. «Има, мы понимаем, как тебе будет трудно, труднее, чем кто-нибудь может себе представить. Но тут просто нет другого выхода — ты должна согласиться». И я согласилась. 7 марта центральный комитет Лейбористской партии проголосовал за мое назначение премьер-министром: семьдесят — за, ни одного — против, фракция Рафи — воздержалась. Меня часто спрашивают, что я чувствовала в эту минуту, и мне хотелось бы найти для ответа поэтическую форму. Но я только помню, что у меня по щекам текли слезы, что я закрыла лицо руками, когда голосование закончилось — а из своих чувств помню лишь изумление. В мои планы никогда не входило сделаться премьер-министром; собственно, я вообще никогда не думала о должностях, у меня было в плане поехать в Палестину, отправиться в Мерхавию, принимать активное участие в рабочем движении, но никогда я не задумывалась о том, какой пост займу. А тут я поняла, что теперь мне придется принимать решения, от которых будет зависеть жизнь миллионов людей, и, вероятно, потому я и плакала. Однако на размышления времени не было, и раздумья о пути, который довел меня из Киева до кабинета премьера, надо было отложить на потом. Да и сейчас, когда времени хватает, эти мысли и раздумья меня не занимают. Стала премьер-министром — и стала, точно так же, как мой молочник стал командиром нашего аванпоста на горе Хермон. Ни мне, ни ему особого удовольствия работа не доставляла; и он, и я старались выполнить ее как могли лучше.





## ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

**И** опять я переехала, на этот раз в обширную, не слишком уютную резиденцию премьер-министра в Иерусалиме, где до меня жили Бен-Гурион, Шарет и Эшкол, — и стала приучать себя к постоянному присутствию полицейских и телохранителей, к шестнадцатичасовому рабочему дню, к почти полной невозможности уединения. Конечно, выпадали дни полегче, покороче, посвободнее — я вовсе не хочу, чтобы думали, что все пять лет моего премьерства я была какой-то великомученицей и что у меня не было радостей. Но мое премьерство с войны началось и войной закончилось, и было что-то символическое в том, что первой моей инструкцией военному секретарю Исраэлю Лиору было немедленно сообщать мне о каких-бы то ни было вооруженных столкновениях, будь то даже среди ночи.

— Я хочу знать, когда мальчики вернутся и как, — сказала я ему.

Слова «потери» я не употребила, но Лиор хорошо меня понял — и ужаснулся.

— Не хочешь же ты, чтобы я тебе звонил в три часа ночи? — спросил он. — Ты же все равно ничего не сможешь сделать, если будут потери. Обещаю, что позвоню рано утром.

Но я знала, мне будет невыносима мысль, что я буду спать спокойно, а в эту минуту будут умирать солдаты, и я заставила бедного Лиора покориться. Конечно, когда новости были плохие, я уже не мог-

ла заснуть; немало ночей я провела без сна, расхаживая по огромному пустому дому в ожидании утренней, более подробной информации. Телохранители у дома иногда и в 4 часа утра видели свет на кухне, и кто-нибудь один тогда заходил, чтобы убедиться, что все в порядке. Я заваривала чай для нас обоих и мы рассуждали о том, что происходит на канале или на севере, пока я не чувствовала, что теперь смогу заснуть.

Египетская война на истощение началась в первых числах марта 1968 года и продолжалась, становясь все более ожесточенной, до лета 1970-го. Советский Союз не только не старался удержать Насера от убийств, но напротив — срочно отправил в Египет тысячи инструкторов для переучивания побитой египетской армии и оказания ей помощи в войне против нас, а также огромное количество военных материалов, скромно оцениваемых в 3,5 миллиарда долларов.

Не только Египет пользовался советскими щедротами: они доставались и Сирии, и Ираку, но главным получателем был все-таки Насер. Две трети всех танков и самолетов, которыми Советский Союз заградил регион сразу после Шестидневной войны, предназначались для него, в надежде, что под постоянным огнем, терпя вечные потери, мы не выстоим на канале, и, сломленные телом и духом, отступим, не добившись ни мира, ни окончания конфликта.

Вероятно, теоретически и Насеру, и русским все это казалось очень просто. Они будут продолжать обстреливать наши укрепления на канале, это будет настоящий ад для наших воинских частей, и рано или поздно (скорее рано), мы оттуда уберемся. Ни для Египта, ни для Советского Союза не было тайной, что каждый убитый, каждые военные похороны (а они все время происходили), каждая осиротевшая еврейская семья — это был нож в сердце

нации, и я понимаю, почему Насер и его хозяева были уверены, что мы сдадимся. Но мы не сдались — просто потому, что не могли себе этого позволить. Мы не стремились бороться ни со всеми подряд, ни с египтянами, а особенно, с русскими, но у нас не было никакой альтернативы. У нас был только один способ предотвратить тотальную войну, которой, как Насер со всех крыш провозгласил, окончится война на истощение — наносить жесточайшие удары по египетским военным объектам не только на линии прекращения огня, но и в самом Египте: если понадобится — у самого крыльца египтянина, глубоко на его территории. Нелегко было принять такое решение, особенно потому, что мы понимали — это может вызвать еще большую вовлеченность Советов. (Кстати, то была первая советская интервенция за пределами советской сферы влияния со времен Второй мировой войны). И мы без особого желания начали стратегические рейды «в глубину», используя самолеты как летающую артиллерию и рассчитывая, что египтяне, слушая гул наших самолетов над каирским военным аэродромом, поймут, что они не смогут наслаждаться миром, если будут вести войну против нас. Ибо война — оружие обоюдоострое.

Много чего произошло с того самого времени; и война на истощение уже не очень свежа в памяти людей. Даже ужасная история советских кораблей, тайно доставлявших в Египет ракеты «земля-воздух» СА-3, которые советские специалисты должны были установить и обслуживать в зоне канала, уже не вызывает большого интереса, хотя все мы знаем, как они были использованы против Израиля осенью 1973 года. Но для нас это была настоящая война, и понадобились решительность, мужество, сила и подготовка наших солдат и летчиков для того, чтобы удержать линию прекращения огня и любой ценой задерживать продвиже-

ние вперед ракетных установок, которые египтяне со своими русскими друзьями так старательно устанавливали у самой этой линии. Но нашему умению делать все в одиночку тоже был предел. Нам нужны были помощь и поддержка, самолеты и оружие, и как можно скорее.

Только одна была страна, к которой мы могли обратиться: Соединенные Штаты, традиционный великий друг, который продавал нам самолеты, но, как мы опасались, не вполне понимал наше положение и мог приостановить эту продажу в любую минуту. Президент Никсон относился к нам более чем дружелюбно. Но его, как и его министра иностранных дел Вильяма Роджерса, сердил наш отказ принять любое навязываемое нам другими странами решение ближневосточного вопроса, а также мое категорическое неприятие идеи м-ра Роджерса, заключавшейся в том, чтоб русские, американцы, французы, англичане уселись где-нибудь поудобнее и выработали «выполняемый» компромисс для нас и арабов. Как я неоднократно объясняла м-ру Роджерсу, такой компромисс, возможно, будет очень хорош для американо-советской разведки, но никаких гарантий для безопасности Израиля он не создаст. Да и как бы он мог? Все военные приготовления Египта направлялись и снабжались русскими; французы в своем проарабизме почти не отставали от русских, а англичане — от французов; только американцы были хоть как-то заинтересованы в выживании Израиля. В лучшем случае окажется, что трое будут против одного, а при таких условиях никакого осуществимого решения принять нельзя. Но с другой стороны, если все время вызывать неудовольствие президента Никсона и м-ра Роджерса, то мы можем лишиться оружия вообще. Что-то надо было предпринять, чтобы вырваться из тупика.

Надо сказать, что мне лично Роджерс всегда

нравился. Это очень милый, вежливый и терпеливый человек, и, в конце концов, именно он предложил и осуществил прекращение огня в августе 1970 года. Но боюсь — и надеюсь, что он простит мне эти слова, — что он никогда по-настоящему не понимал ни того, что лежит в основе арабских войн против Израиля, ни того, что верность своему слову арабские лидеры понимают совсем не так, как он сам. Помню, с каким восторгом он рассказывал мне о своих первых поездках в арабские страны и о том, как «жаждет мира» король Фейсал. Как многие известные мне джентльмены, Роджерс считал — и к сожалению, ошибочно, — что весь мир состоит только из джентльменов.

Все мои попытки завязать прямые контакты с арабскими руководителями провалились — в том числе и призыв, с которым я обратилась к ним в первый же день вступления в должность. Я заявила, что «мы готовы вести мирные переговоры с нашими соседями в любой день и по всем проблемам», а через 72 часа прочла ответ Насера: «Нет голоса, который мог бы заглушить звуки войны... нет призыва более святого, чем призыв к войне». Не более вдохновляющими были отклики из Дамаска, Аммана или Бейрута. Вот выдержка из статьи в ведущей иорданской газете (июнь 1969), иллюстрирующая арабскую реакцию на мое предложение немедленно вступить в переговоры:

«... Г-жа Меир готова ехать в Каир беседовать с президентом Насером, но, к ее огорчению, ее туда не пригласили. Она верит, что в один прекрасный день на Ближнем Востоке родится мир без пушек. Голда Меир ведет себя, как настоящая бабушка: перед сном рассказывает внукам сказки».

Мы были словно в тисках. Пока шла война, люди за границей спрашивали, не входит ли в наши намерения низложить Насера — словно мы его назнача-

ли, а теперь думаем, кем его заменить. Бесило меня и то, что нас спрашивают, в самом ли деле необходимы наши бомбежки «в глубину», и самооборона ли это, словно надо дожидаться, чтобы убийца подошел к твоему дому, чтобы иметь моральное право помешать ему убивать, особенно когда — как в случае с Насером — его намерения не внушают никаких сомнений.

В общем, это был тяжелый период, затруднявшийся еще и тем, что я унаследовала от Эшкола правительство национального единства, куда входил оппозиционный блок Гахал (объединявший правую экстремистскую партию Херут и значительно более умеренную, но маленькую Либеральную партию), возглавляемый Менахемом Бегинем. Не говоря уже о глубоких, основных разногласиях по идеологическим вопросам, всегда существовавших в Израиле между правыми и левыми, мы по-разному смотрели на положение, в котором оказался Израиль. В июне американский министр иностранных дел Роджерс предложил, чтобы Израиль начал, под покровительством д-ра Ярринга, переговоры с Египтом и Иорданией с целью достичь справедливого и прочного мира. Переговоры должны были быть основаны на «взаимном признании суверенитета, территориальной целостности и политической независимости» и на «отступлении Израиля с территорий, оккупированных в результате конфликта 1967 года», согласно резолюции 242. Он предложил также, чтобы прекращение огня, нарушенное во время войны на истощение, было бы возобновлено снова, хотя бы на 90 дней. Гахал, однако, стоял на том, что в 1967 году правительство решило сохранять Армию Оборона Израиля на линии прекращения огня до тех пор, пока не будет заключен мир, и Гахал выполняет это решение. Формально они были правы. Я знала, что мне придется обращаться в Кнессет за разрешением из-

менить политику. Но сколько я ни объясняла Гахалу, что ситуация сейчас изменилась, они, принимая предложение о прекращении огня, отказывались вести какие бы то ни было переговоры об отступлении, пока не будет заключен мир.

«Но мы не получим прекращения огня, если не примем некоторых менее удобных условий, — повторяла я г-ну Бегину. — Более того, мы перестанем получать оружие от Америки». «Что значит — перестанем получать? — спрашивал он. — Мы *потребуем* его от американцев». Я так и не смогла ему внушить, что, хотя Америка, конечно, верна взятому на себя обязательству по отношению к Израилю, мы нуждаемся в м-ре Никсоне и в м-ре Роджерсе куда больше, чем они в нас, и мы не можем строить свою политику на том, что американское еврейство сумеет или захочет заставить Никсона поступать не так, как он хочет или считает правильным. Но Гахал, опьяненный собственной риторикой, убедил себя, что нам достаточно заявить Соединенным Штатам, что не уступим никакому давлению, и если будем повторять это все время, то в один прекрасный день давление исчезнет. Это была какая-то мистическая вера, потому что на реальности она во всяком случае не зиждилась, и меня дрожь берет как подумаю, что случилось бы в октябре 1973 года, если бы мы в 1969 и 1970 годах вели себя так вызывающе и самоубийственно, как того хотел Гахал. Американская помощь могла бы прекратиться еще в 1970 году, и Война Судного дня кончилась бы по-другому.

И когда в августе 1970 года четыре министра Гахал вышли из правительства на том абсурдном основании, что, принимая прекращение огня, правительство по сути дела начинает безоговорочное отступление со своих позиций, — я не слишком удивилась. Чтобы не возникло новых трудностей, мы

попросили их остаться. Но они были непоколебимы и ушли.

Еще одно обстоятельство отравляло мне жизнь в бытность мою премьер-министром, хотя и не так сильно — и к нему я так никогда и не привыкла: неограниченное доверие министров к прессе (тут я стараюсь выразаться очень вежливо). Меня приводила в бешенство утечка информации после каждого заседания кабинета, и хоть, я и подозревала, кто именно снабжает так называемых дипломатических корреспондентов сенсационными откровениями, которыми меня часто приветствовали утренние газеты, доказательств у меня не было, и я фактически оказалась бессильна. А мои сотрудники вскоре привыкли к тому, что на следующий день после заседания кабинета я прихожу мрачная, как туча, потому что за завтраком прочла в газете в искаженном виде то, что вообще не должно было туда попасть. Но, разумеется, не утечка информации была главной моей заботой, а выживание и мир — именно в этой последовательности.

Через несколько месяцев после моего вступления в должность я приняла решение. Я поеду в Вашингтон, чтобы, если удастся, поговорить с президентом Никсоном, с конгрессменами и сенаторами и выяснить, как относится к нам американский народ, что о нас думает, что собирается сделать, чтобы нам помочь. Я не обольщалась иллюзиями, будто обладаю волшебным даром убеждения. Ведь как я ни старалась, я не сумела разубедить м-ра Роджерса, считавшего необходимым участие русских в ближневосточном урегулировании. И не надеялась, что мне удастся добиться большего, чем удалось нашим талантам — министру иностранных дел Аббе Эвену или новому послу в Вашингтоне генералу Ицхаку Рабину. Но мне необходимо было раз навсегда лич-



но для себя установить, в каком положении наши отношения с Соединенными Штатами, — и кабинет министров решил, что мне следует поехать. Как только было получено официальное приглашение из Белого дома, я начала готовиться к поездке.

Конечно, я совсем не была уверена в успехе. Я никогда не встречалась с Ричардом Никсоном и не знала почти никого из его окружения. Я понятия не имела, что именно рассказали президенту обо мне; вполне возможно, он считал меня таким премьер-министром «на затычку», который не имеет большого веса в собственной стране и вряд ли будет переизбран. Я была уверена только в одном: какое бы впечатление я ни произвела на президента, я должна буду чистосердечно выложить перед ним все наши проблемы и трудности и не оставить у него никаких сомнений, что мы готовы пойти на множество компромиссов, сделать множество уступок, только не отказаться от мечты о мире — и не уберем ни одного солдата ни с одной пяди земли, пока между нами и арабами не будет достигнуто соглашение. Но это было не все. Нам до зарезу нужно было оружие, и я понимала, что просить об оружии должна я сама. Как будто все довольно просто, но я человек, а не машина, и потому страшно нервничала, думая о том, как все это выскажу.

Подготовка гардероба была много проще. Я купила два вечерних платья (в том числе бежевое бархатное с кружевом, в котором я была на обеде в Белом доме), вязаный костюм, две шляпки (которые ни разу не надела) и перчатки (чтобы держать их в руках). С заботливостью, характерной для его будущего отношения ко мне, президент Никсон дал указание, чтобы Клару и Менахема с семьей пригласили на обед, который Белый дом дал в первый вечер моего приезда в Вашингтон, и мы договорились, что встретимся 24 сентября в Филадельфии (по каким-

то — вероятно историческим — причинам, Филадельфия — первый город, где обычно останавливаются иностранные гости президента). Из Филадельфии нас на вертолете доставили на лужайку Белого дома. Перед отъездом из Израиля у меня было несколько недель для того, чтобы подработать с моими советниками — особенно с Даяном и начальником штаба Хаимом Бар-Левом — «закупочный список» для Вашингтона. Помимо специальной просьбы о 25-ти «Фантомах» и 80-ти «Скайхоках» я собиралась просить президента, чтобы США в течение пяти лет ссужали нам под низкие проценты 200 000 000 в год для оплаты самолетов, которые мы надеялись еще закупить. Должна пояснить тут, что первым президентом, разрешившим продажу «Фантомов» и «Скайхоков» был Джонсон, которого Эшкол посетил в Техасе и который обещал «отнестись с пониманием» к его просьбе. Но потребовалось некоторое время, пока эти первые «Скайхоки» были нам переданы, почему я и думала, что даже если президент Никсон и согласится продать нам «Фантомы», мы получим их не скоро, если я не сумею объяснить, в какой крайности мы находимся и как неравномерно снабжается оружием Ближний Восток. Деньги, полагала я, мы получим (хотя в деньгах никогда нельзя быть слишком уверенным), хотя бы потому, что у нас была отличная репутация — Израиль никогда не опаздывал с платежами. Я с удовольствием вспомнила, как в 1956-1957 годах, после Синайской кампании, когда надо было возвращать Американскому импортно-экспортному банку большой заем, который мы от него получили (а в это время официальная Америка относилась к Израилю очень холодно), нам очень хотелось попросить об отсрочке платежа. В Израиле продолжался экономический спад, и нам было очень трудно наскрести необходимые деньги. Но мы взвесили все «за» и «против» и решили не задерживать

выплату ни на один день, как это ни было трудно. Не забуду, как Эвен описывал изумление на обычно непроницаемых лицах сотрудников импортно-экспортного банка в Вашингтоне, когда он, точно в назначенный день и час, вошел туда и предъявил наш чек.

В общем, сидя в самолете, летевшем в США, я думала только о предстоящей встрече и гадала, сумеем ли мы поладить друг с другом. Да и вообще, я не была уверена, какой прием мне окажет Америка. После Шестидневной войны американское еврейство приветствовало меня с горячностью, любовью и гордостью; но прошло более двух лет и, вполне возможно, этот энтузиазм к израильскому делу за это время поостыл. Как выяснилось, все мои волнения были напрасны.

На филадельфийском аэродроме меня ожидала тысячная толпа; сотни школьников пели «Хевейну шалом Алейхем», потрясая флажками и лозунгами. На одном было написано: «Ты нам своя, Голда!», и я подумала, что это самое прелестное выражение поддержки Израилю — и, возможно, лично мне! — которое я когда-либо видела. Но я не знала, как дать понять этим ребятам, если не ограничиваться улыбками и приветственными жестами, что они для меня — тоже свои. И я махала руками и улыбалась и очень обрадовалась, разглядев среди встречающих и моих собственных родных. На Индепенденс Сквер меня встречала еще большая толпа — 30 000 американских евреев, которые ради того, чтобы меня увидеть, простояли тут несколько часов. Я не могла оторвать глаз от этих людей, напиравших на полицейский заслон и аплодировавших. Я обратилась к ним с очень короткой речью, но, как кто-то сказал: «Ты могла просто прочесть страницу из телефонной книги — толпа все равно кричала бы «ура!»»

Мы переночевали в Филадельфии и отправились

в Вашингтон на следующее же утро. Всю ночь шел дождь, и серое облачное небо обещало дождь и на сегодня. Но — казалось, что и это устроил Белый дом — за те две минуты, что я добиралась в лимузине от вертолета до зеленой лужайки, где происходил прием, выглянуло солнце. Президент Никсон сразу же снял всякую натянутость. Он помог мне выйти из машины, госпожа Никсон подала мне огромный букет красных роз — и я с самого начала, благодаря такому приему, почувствовала себя как дома, за что была очень благодарна им обоим.

Официальная часть была и в самом деле очень официальной, с полным соблюдением всех формальностей. Президент и я стояли на возвышении, покрытом красным ковром, военный оркестр играл наши национальные гимны; я слушала «Ха-Тиква», стараюсь выглядеть спокойной, но глаза мои наполнились слезами. Это я, премьер-министр еврейского государства, которое родилось и выжило, несмотря ни на что, стою рядом с президентом Соединенных Штатов и принимаю воинские почести, оказываемые моей стране. Я подумала: «Если бы ребята на канале могли это видеть!» Но я знала, что сегодня вечером тысячи людей в Израиле увидят все это по телевизору и будут так же растроганы и воодушевлены, как я. Возможно, другие нации к этим церемониям привыкли, но мы еще не успели. Это было похоже на наши мечты, на то, как много лет назад мы с подругами мечтали о том, как у нас будет не только государство, но и все аксессуары, которые к нему полагаются.

Речь Никсона была короткой и деловой. Он сказал о заинтересованности США в мире на Ближнем Востоке и сделал мне несколько комплиментов. Одна встреча, и даже несколько встреч не могут разрешить все вопросы, сказал он, но борьба за мир — это вопрос первостепенной важности. Я тоже гово-

рила недолго. У меня было написано несколько слов — тоже о мире и дружбе — и я их прочла. Но не за речами я ехала в Белый дом и даже не для того, чтобы принимать военный парад — хотя с этим, учитывая все обстоятельства, я справилась недурно.

Мои встречи с президентом были такие же теплые, как этот первый прием. Мы проводили вместе часа по два и говорили обо всем прямо и откровенно, так, как я и надеялась. Мы совершенно согласились, что Израиль должен не уступать, пока не будет заключено приемлемое соглашение с арабами, а также — что великая держава, которая обещает малой стране оказывать помощь в случае затруднений, должна держать свое слово. Говорили мы и о палестинцах, и я и по этому поводу высказалась так же откровенно, как и по другим. «Между Средиземным морем и границами Ирака, — сказала я, — там, где раньше была Палестина, существуют теперь два государства, одно — еврейское, другое — арабское, и для третьего там места нет. Палестинцы должны разрешить свою проблему с другим арабским государством, Иорданией, потому что «палестинское государство» между нами и Иорданией неизбежно превратится в базу, с которой будет удобно атаковать и разрушать Израиль». Г-н Никсон очень внимательно прислушивался ко всему, что я говорила о Ближнем Востоке, словно ему только и дела было, что беседовать с Голдой Меир о проблемах Израиля; но он все еще был очень заинтересован в продолжении разговоров между «большой двойкой» и «большой четверкой», несмотря на то, что, по-видимому, признал справедливыми мои доводы о невозможности для России принять хоть что-нибудь, против чего возражают ее арабские клиенты. В это же время в Нью-Йорке происходила встреча между советским министром иностранных дел Андреем Громыко и Роджерсом, узнав об этом, я испытала некоторое

удовольствие. Подумать только, как раздосадован должен был быть г-н Громыко таким совпадением!

Что же касается более существенных вещей, о которых мы говорили с Никсоном, то я не рассказывала о них тогда и не буду рассказывать теперь. Пресса замучила меня до полусмерти, но я повторяла одно: по моим впечатлениям и оценкам, в результате наших бесед «американская администрация собирается по-прежнему следовать своей политике поддержки равновесия военных сил в регионе». Официального коммюнике не было, и кое-кто из журналистов сделал из этого вывод, что я уехала с пустыми руками. Но дело в том, что я вообще не видела смысла в этих коммюнике (которые очень редко что-нибудь сообщают), и президент Никсон тоже, почему мы и решили никакого коммюнике не выпускать. Что же касается моего «закупочного списка», то он был переправлен дальше, что и требовалось.

Вечером президент и г-жа Никсон давали обед мою честь. Потом вашингтонцы говорили, что это был один из самых приятных праздников в Белом доме времен Никсона, хотя никто не мог объяснить, почему. Для меня это был один из прекраснейших вечеров в моей жизни, частью, вероятно, потому, что я встретила со стороны Никсона такое понимание, частью потому, то я убедилась — Соединенные Штаты нас не покинут; впервые за многие месяцы я позволила себе перевести дух. Да и все было спланировано так, чтобы доставить мне удовольствие — от присутствия моей семьи до «шарлотки по-ревивимски» на десерт, — деликатный намек на то, что Сарра и Зехария тоже участвуют в празднике. Из 120 приглашенных, принадлежавших к обеим политическим партиям, многие были моими старыми друзьями, в том числе посол США в Объединенных Нациях Артур Гольдберг и сенатор Джейкоб Джавез. Ну, и, разумеется, м-р Роджерс, д-р Киссинд-

жер, Эвен и Рабин и много других высших представителей администрации тоже находились здесь. Во время обеда исполнялась израильская музыка, а потом нас угостили выступлением Леонарда Бернштейна и Айзика Стерна, которые снова и снова играли на бис. Я видела, я слышала, как растроганы они были, а я пришла в такой восторг от их музыки и их присутствия, что совершенно забыла, где я, и когда они кончили играть, вскочила с места, чтобы обнять их обоих.

Перед обедом Никсоны и я сделали друг другу подарки. Они подарили мне золотую копию закрытой греческой урны с прекрасной резьбой и восхитительную вазу для цветов из голубых и золотых овальных пластин. Я привезла им в дар израильские древности: ожерелье XI века до н.э. из агатовых бусин в форме лотоса для г-жи Никсон, древнюю еврейскую масляную лампу для президента, серебряные подсвечники для Джули и Дэвида Эйзенхауэров, серебряное йеменское ожерелье и серьги для Триши Никсон. После обеда провозглашались тосты. И снова президент был очень добр к Израилю и ко мне.

— Народ Израиля, — сказал он, — заслужил мира, не того хрупкого мира, который записан на никого не интересующем документе, но настоящего прочного мира. Мы надеемся, что результатом нашей встречи будет большой шаг вперед к этому миру, который значит так много для людей Израиля, для людей Ближнего Востока, для людей всей земли.

Я чувствовала, что он говорит от всего сердца. И я, тоже от всего сердца, сказала: «Господин президент, благодарю вас не только за гостеприимство, не только за замечательный сегодняшний день и за каждую минуту сегодняшнего дня, но больше всего за то, что вы дали мне возможность сказать дома моему народу, что у нас есть друг, большой друг в Бе-

лом доме. Это нам поможет. Поможет справиться со многими трудностями».

В 11 часов ночи президент, г-жа Никсон и я ушли; около моей машины мы с г-жой Никсон поцеловались на ночь, словно много лет были подругами. Остальные гости еще танцевали далеко за полночь.

Всего я провела в Вашингтоне четыре дня. Шагая в ногу со звенящим медалями американским генералом (что было мне довольно-таки нелегко!), я возложила венок из синих и белых цветов на могилу Неизвестного солдата на Арлингтонском Национальном кладбище. Я посетила м-ра Роджерса в министерстве иностранных дел и была приглашена им на ленч; видела м-ра Мелвина Лэрда в министерстве обороны, встретила с членами комиссии по иностранным делам конгресса и «появилась» в Национальном пресс-клубе, где встретила с самыми жестокими и опытными американскими журналистами; сперва у меня было такое чувство, какое, наверное, бывает у боксера на ринге. Но они были со мной очень милы и, по-видимому, были довольны, что я отвечаю на их вопросы очень коротко и очень просто — хотя, признаться, они не задали мне ни одного вопроса, которого бы мне раз двадцать уже не задавали прежде.

Правда, два раза я услышала нечто новое. Один газетчик спросил: «Применит ли Израиль ядерное оружие, если его существование будет под угрозой?» На это я правдиво ответила, что, по моему мнению, мы не так плохо справляемся и с обыкновенным оружием. Мой ответ был встречен смехом и аплодисментами. А президент пресс-клуба обратился ко мне с просьбой, которая рассмешила меня. «Ваш внук, Гидеон, говорит, что вы готовите самую лучшую фаршированную рыбу в Израиле, — сказал он. — Не дадите ли нам своего рецепта?»

«Я сделаю другое, — ответила я. — Обещаю, что



в следующий раз я приеду на три дня раньше и приготовлю фаршированную рыбу на ленч для вас всех.» Через несколько месяцев во время интервью в Лос-Анджелесе меня спросили, умею ли я готовить хороший куриный суп.

— Конечно, — ответила я.

— Не пришлете ли нам рецепт?

— С удовольствием, — сказала я, не подозревая, что через неделю интервьюер получит 40000 требований на этот рецепт. Надеюсь, что, в конце концов, было сварено сорок тысяч кастрюль хорошего еврейского супа. Но не о моих поварских талантах шла речь в Вашингтоне; речь шла о дружеских связях между США и Израилем и об отношении Соединенных Штатов к той политике, которую мы проводили в ответ на войну на истощение. Перед моим отъездом г-н Никсон сделал заявление для прессы от своего и моего имени, в котором подводились итоги моему визиту, хотя кое-какие детали там отсутствовали.

— Думаю, — сказал он, — что вы прекрасно понимаете позицию, которую мы оба занимаем, и что после нашей встречи может начаться некоторый прогресс в решении труднейших проблем, с которыми мы сталкиваемся на Ближнем Востоке. Не думаю, что они могли быть разрешены молниеносно. С другой стороны, мы должны стараться — и мне было очень приятно встретить полное сочувствие премьер-министра и ее коллег по этому вопросу — искать и найти путь к миру. Мы не можем сообщить, что собираемся предпринять нечто новое, но мы полагаем, что достигли лучшего понимания, как двигаться в этом направлении в дальнейшем.

Из Вашингтона я отправилась в Нью-Йорк, где дела сменяли друг друга с такой быстротой, что я даже не успела ощутить усталость. Меня замечательно встретили в Сити-холле, я завтракала с У Таном,

провела ряд встреч в своих апартаментах в отеле «Уолдорф-Астория», посетила дипломатический прием у Эвена и колоссальный банкет, устроенный ОЕП, израильским акционерным обществом и еще пятьюдесятью еврейскими организациями — все это в первый же день. Потом я отправилась в Лос-Анджелес, потом в Милуоки, после чего возвратилась на Восточное побережье. Я рассчитывала вернуться домой 5 октября, но было одно приглашение, от которого я не могла отказаться, — и я осталась еще на один день, чтобы выступить на съезде АФТ-СИРМ в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси. Американская федерация труда и Союз индустриальных рабочих мира проводят съезды каждые два года. Много лет эта организация была очень близка с Израилем, особенно с Гистадрутом, и ее председатель, мой старый добрый друг Джордж Мини, был почетным председателем Совета американских профсоюзов по Гистадруту. Впервые после отъезда из Израиля я, обращаясь к этой огромной аудитории профсоюзных деятелей, почувствовала себя как дома. Говорила я о том же, о чем и в Филадельфии, Вашингтоне, Милуоки, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, о чем и теперь постоянно говорю — о мире между нами и арабами. «Это будет великий день, — сказала я своим друзьям, рабочим и профсоюзным лидерам Америки, — когда арабские фермеры перейдут Иордан не на танках, а на тракторах, и протянут руку дружбы — как фермер фермеру, как человек человеку. Может быть, это и мечта, но я уверена, что в один прекрасный день она сбудется».

Когда я возвратилась в Израиль, я уже знала, что мы «Фантомы» получим, хотя еще и не могла об этом объявить, и поэтому на сердце у меня полегчало. Но война на истощение продолжалась, террористы продолжали действовать, число советских военных в Египте росло не по дням, а по часам, включая

летчиков и обслугу ракет «земля — воздух». Словом до мира было так же далеко, как и всегда. Собственно, почти ничего не изменилось с тех пор, как я вступила в должность. Каковы бы ни были причины, по которым я стала премьер-министром, они, к несчастью, продолжали существовать и накануне всеобщих выборов — седьмых со времени основания государства. За истекшие месяцы, однако, мои, так сказать, «оценки» улучшились, и хоть я не могла бы победить в конкурсе на популярность, все-таки приятнее получить оценку «семьдесят пять» или «восемьдесят», чем «три». Так или иначе, нельзя сказать, чтобы результаты выборов были непредсказуемы. Маарах получила 56 из 120 мест в Кнессете, и я представила свой «всеохватывающий» кабинет без партии Гахал, которая покинула правительство.

Теперь, когда я стала премьер-министром как бы по закону, я очень надеялась приступить к разрешению растущих социальных и экономических трудностей Израиля, которые уже стали создавать настоящие трещины между разными слоями населения. Я уже много лет заявляла и в Гистадруте, и в партии, что ввиду невозможности для нас не поддерживать огромный военный бюджет, нам надо по крайней мере постараться всем вместе что-то предпринять, чтобы сократился все увеличивающийся разрыв между людьми, у которых есть все необходимое — если не все желаемое, — и теми десятками тысяч, которые все еще живут в плохих помещениях, плохо одеваются, иногда даже плохо питаются и недостаточно образованны. В основном, это была та часть нашего народа, которая прибыла к нам в 1948, 1950 и 1951 годах из Йемена, Ближнего Востока и Северной Африки, и чей жизненный уровень в конце 1960-х и начале 1970-х годов еще оставлял желать лучшего, выражаясь осторожно. Да, мы могли поздравлять друг друга с тем, что с 1949 по 1969 год мы

построили более 400 000 общественных зданий и что в любом, даже самом глухом уголке страны, теперь имеется школа, детский сад, а часто — и ясли. Но сколь законно мы бы ни гордились нашими свершениями, оставались и другие, менее приятные факторы. В Израиле были и богатство, и бедность. Ни то, ни другое не было чересчур велико, но и то, и другое существовало.

Были и есть еще израильтяне, живущие вдесятером в двухкомнатном домике, их дети бросают школу (хотя они были бы, вероятно, полностью освобождены от оплаты за обучение в средней школе), становятся преступниками (в значительной степени из-за своего происхождения) и, считая, что им угрожает опасность превратиться навсегда в непривileгированных второстепенных граждан, смотрят на новых иммигрантов как на людей, из-за которых их положение станет еще хуже. Есть и другие израильтяне, хоть их и немного, которые живут в сравнительной роскоши, ездят в больших машинах, устраивают большие приемы, одеваются по последнему слову моды и вообще усвоили себе заграничный стиль жизни, который не имеет никакого отношения ни к экономическим возможностям страны, ни к условиям нашей национальной жизни. Между этими двумя группами находятся массы квалифицированных рабочих и белых воротничков, с трудом сводящих концы с концами, не имеющих возможности сохранить свой, отнюдь не высокий, жизненный уровень на одну зарплату, в течение десятилетий доказывавших свою способность к самодисциплине, самопожертвованию и патриотизму, и тем не менее, как я считала, отвечавших за наш бич — забастовки, и виновных в том, что каждый раз, когда повышалась зарплата низкооплачиваемым, они требовали, чтобы она повышалась на всех уровнях.

С ними-то я, хотя не слишком успешно, и стала

обсуждать сложившееся положение. Что-то происходило с профсоюзными массами, основой Гистадрута; что-то происходило со здравым смыслом израильских рабочих, и я не могла и не хотела об этом молчать. Никто сильнее меня не верил, что профсоюз не только может, но и обязан защищать права рабочих и призывать к забастовке, если переговоры затягиваются или соглашение не может быть достигнуто. Но когда соглашение подписано, то его надо выполнять, а не предъявлять немедленно новые требования, и тем, кто не находится в самом низу национальной экономической лестницы, нужно понимать, что повышение зарплаты в первую очередь должны получать наиболее нуждающиеся. Принцип дифференциации вовсе не должен быть для нас священным. Я боролась против него в Гистадруте много лет назад и готова была начать эту борьбу и теперь. Все-му должен быть предел. Да, израильским врачам, медсестрам и учителям приходится нелегко экономически, но все-таки они могут продержаться, тогда как низкооплачиваемые при постоянном росте инфляции и дороговизны без повышения зарплаты не выживут. Что может быть проще этого рассуждения?

Особенно несочувственно я относилась к забастовкам жизненно важных служб в стране, находящейся в состоянии войны. Вряд ли я должна объяснять, как нелегко было мне решиться запретить забастовку больничного персонала. Но не было другого способа избежать возможных в случае забастовки смертей, и я стиснула зубы и издала приказ о запрещении.

— Правительство не может сделать все сразу, — повторяла я народу. — У него нет волшебной палочки, при помощи которой можно выполнить все требования: уничтожить бедность, но не вводить налогообложения, выигрывать войны, продолжать

абсорбцию иммигрантов, развивать экономику и давать каждому, что ему полагается. Никакое правительство не может сделать все это одновременно.

Но дело было не только в деньгах. Социальное равенство достигается не просто с помощью материальных ресурсов. Чтобы уничтожить бедность и ее последствия, нужно, чтобы усилие было сделано с обеих сторон, и тут я тоже высказывалась без обид.

— Прежде всего те из нас, кто беден, не должны позволить себе превратиться в объект забот для других. Они тоже должны проявлять активность. А более устроенные и обеспеченные слои населения должны включиться в добровольное движение, имеющее целью социальную интеграцию. Разрыв между теми, кто получил образование и квалификацию, и теми, кто их не получил, во всяком случае не менее трагичен, чем разрыв между теми, кто может и кто не может экономически справиться.

Кое-что было достигнуто, но далеко не достаточно. Я сформировала комиссию при премьер-министре, занимающуюся проблемами молодежи. Туда входили выдающиеся педагоги, психологи, врачи, полицейские, инспекторы-наблюдатели за поведением условно осужденных и т.д. Все они работали бесплатно. Хоть им и понадобилось два года, а не несколько месяцев, как я надеялась, чтобы выработать рекомендации, но мы воспользовались некоторыми рекомендациями до того, как они были опубликованы. Когда нам приходилось поднимать цены на основные продукты питания, мы снимали налог с низкооплачиваемых; мы строили, сколько могли, дома для низкооплачиваемых, а я вела свою собственную войну, не имевшую конца, за строительство домов, где бы квартиры сдавались внаем; строительство, которое можно было бы субсидировать в случае необходимости. Все это приходилось делать или во время

военных действий, или в разгар терроризма, и денег всегда не хватало даже для самых неотложных нужд. И этого, не говоря обо всем прочем, я никогда не могла простить нашим соседям. Был бы мир — мы могли бы построить, пусть не идеальное, но, во всяком случае, куда лучшее общество. Но где тот мир?

В августе 1970 года осуществилось, наконец, роджерсово прекращение огня. Насер сказал, что он принимает его на три месяца, но время сказало свое слово, и в сентябре Насер умер, а президентом Египта стал Анвар Садат. Садат производил впечатление более благоразумного человека, способного трезво оценить преимущества, которые прекращение войны сулит его собственному народу; мало того, были признаки, что он не слишком ладил с русскими. В Иордании же король Хуссейн, с такой радостью предложивший приют палестинским террористам, внезапно понял, что они являются для него серьезной угрозой, и в сентябре расправился с ними. Для Эль-Фаттах это, может быть, был «Черный сентябрь»; мне же стало казаться, что, чего доброго, у мирной инициативы США и д-ра Ярринга появились некие слабые шансы на успех. Арабские лидеры ничуть не изменили свои заявления по поводу Израиля и по-прежнему требовали полного отвода наших войск, но речь уже шла о том, чтобы восстановить судоходство по Суэцкому каналу, отстроить египетские города на его берегах, дабы там началась нормальная жизнь — и все это порождало в Израиле некоторый оптимизм. Прекращение огня вошло в силу, мы по-прежнему оставались где были, арабы отказывались встретиться с нами и вступать в переговоры, и оптимизм постепенно выдохся, но не окончательно, и войны не было ни в 1971-м, ни в 1972 году, и мира не было тоже, и арабский терроризм становился все ожесточеннее и бесчеловечнее.

Конечно, никто в цивилизованном мире на одоб-

рял расстрела католических паломников из Пуэрто-Рико в аэропорту в Лоде, где вместе с ними погиб и один из самых выдающихся израильских ученых; или похищения и убийства израильских спортсменов на Мюнхенской олимпиаде; или убийства израильских детей, запертых в школьном здании в городке Маалот. Никто не одобрял, и после каждого злодеяния я получала потоки официальных соболезнований и выражений сочувствия. Тем не менее считалось (и считается до сих пор), что мы должны прийти к соглашению с убийцами, как это сделали другие государства, и позволить фанатикам-самоубийцам шантажировать нас и поставить нас на колени. Давно уже доказано, что уступки террористам только порождают новый террор. Но никто никогда не узнает, чего стоит правительству Израиля отвечать «нет!» на требования террористов и понимать, что, ни один из израильских представителей, работающих за границей, не застрахован от бомбы в письме, не говоря уже о том, что любой тихий пограничный городок Израиля может быть (и это бывало) превращен в бойню при помощи нескольких безумцев, возвращенных в ненависти и в убеждении, что они смогут выдавить из Израиля его умение оставаться непоколебимым перед лицом страдания и печали.

Но мы научились противостоять террору, охранять наши самолеты и наших пассажиров, превращать посольства в маленькие крепости, патрулировать школьные дворы и городские улицы. Я шла за гробом жертв арабского терроризма, я посещала их семьи, и я испытывала чувство гордости, что принадлежу к нации, которая сумела вынести все эти подлые и трусливые удары и не сказать: «Хватит! С нас хватит. Отдайте террористам то, чего они добиваются, потому что мы больше не можем». Другие правительства подчинялись террористам, отдавали в их распоряжение самолеты, выпускали их из тюрь-



мы, а новые левые и иностранная печать называла их «партизанами» и «борцами за свободу». Для нас, во всяком случае, они остались преступниками, а не героями, и хотя каждые похороны были для меня мукой, закладка мин в супермаркеты и автобусы, убийство семи старых евреев в мюнхенском доме для престарелых и прочие «славные» дела священной войны не поражали мое воображение. Меня буквально физически стошнило, когда через шесть недель после мюнхенских убийств 1972 года убийцы были освобождены с огромной рекламой и отправлены в Ливию. Арабские государства продолжали снабжать террористов оружием и деньгами, предоставляя им базы, и начинали вопить изо всех сил, когда, бомбя базы террористов в Сирии и в Ливане, мы давали понять, что считаем эти страны ответственными за происходящее.

Единственным решением вопроса был мир — не только почетный, но и прочный мир. И единственным способом добиться мира было убедить наших друзей, поскольку наши враги не хотят с нами разговаривать — что наша позиция правильна и надо исследовать все возможности, которые могут привести к переговорам.

О целом ряде моих поездок и бесед рассказывать еще нельзя, но об одной из них я сегодня уже могу написать. В начале 1972 года помощник министра иностранных дел Румынии приехал в Израиль с целью встретиться с людьми в нашем министерстве иностранных дел. Но он попросил, чтобы ему была предоставлена возможность встретиться со мной, причем с глазу на глаз: больше никто не должен был присутствовать при нашей беседе. У нас с Румынией были очень хорошие отношения. Это была единственная восточно-европейская страна, не порвавшая с нами дипломатических отношений после Шестидневной войны, отказавшаяся принять участие в гнус-

ной советской антиизраильской пропагандистской кампании и обличать, вместе с советским блоком, нашу «агрессию». У нас с Румынией были заключены взаимовыгодные торговые договоры, мы обменивались выставками, музыкантами, театральными коллективами, и из Румынии шла некоторая иммиграция. Я в 1970 году встречалась с энергичным и привлекательным румынским президентом Николае Чаушеску; он мне понравился и вызвал мое восхищение тем, что не уступил арабскому нажиму и сумел сохранить дипломатические связи и с нами, и с арабскими государствами. Я знала, что Чаушеску очень хотел бы способствовать заключению мира на Ближнем Востоке, и потому не слишком удивилась, когда заместитель министра иностранных дел, оставшись с глазу на глаз со мной, сказал, что явился в Израиль специально, чтобы сказать мне следующее:

«Мой президент просил меня передать вам, что во время недавнего посещения Египта он видел президента Садата и в результате этой встречи имеет для вас важное поручение. Он хотел бы передать его вам лично, но так как он сюда приехать не может (он отправлялся в Китай), он предлагает, чтобы вы приехали в Бухарест инкогнито, или, если хотите, он может прислать вам официальное приглашение».

Я не согласилась, что предстоящая поездка в Китай автоматически исключает поездку в Израиль, но сказала, что, разумеется, поеду в Бухарест при первой же возможности. Не инкогнито — я считала, что такой способ не подходит премьер-министру Израиля (если только это не совершенно необходимо), — а как только получу официальное приглашение. Приглашение от Чаушеску вскоре пришло, и я полетела в Румынию.

Всего в два приема я провела с Чаушеску четырнадцать часов. Он сказал мне, что со слов Садата

понял — Садат готов встретиться с израильтянином — может быть, со мной, может быть и не со мной; может быть, встреча будет происходить не на самом высшем уровне. Во всяком случае, встреча возможна. «Господин президент, — сказала я, — это самое приятное известие, какое мне пришлось услышать за много лет». Это была правда. Мы говорили об этом часами, и Чаушеску был почти так же взволнован, как и я. У него не было сомнений, что он передал исторические и совершенно подлинные слова. Он даже стал разрабатывать детали. «Мы не будем сноситься через послов и иностранных представителей, — сказал он, — ни через моих, ни через ваших». Он предложил, чтобы уже известный мне заместитель министра иностранных дел поддерживал контакты со мной через Симху Диница, в то время моего политического секретаря, вместе со мной приехавшего в Бухарест.

Казалось, что после стольких лет лед все-таки будет сломлен. Но этого не произошло. После моего возвращения в Израиль мы стали ждать — но ждали напрасно. Продолжения не было. То, что Садат говорил Чаушеску — а он, конечно, что-то говорил, — не имело никакого значения, и я полагаю, что Чаушеску никогда больше не упоминал о своей встрече с Садатом потому, что не мог признаться даже мне, что Садат его надул.

Для народа и для прессы, и в Израиле, и в Румынии, это был обычный визит; Чаушеску дал в мою честь завтрак, премьер-министр — обед, я тоже дала им обед. Единственным значительным результатом моей поездки в Бухарест, на которую я возлагала столько надежд, было посещение пятничной службы в Хоральной синагоге, где я встретила с сотнями румынских евреев; и хотя они были — и есть — гораздо свободнее, чем евреи Москвы, они были почти так же взволнованы моим присутствием сре-

ди них. Они приветствовали меня с таким жаром, что я физически почувствовала силу их любви к Израилю, и, пожалуй, я никогда не слышала более прекрасного и более нежного исполнения ивритских песнопений, чем в тот вечер. Когда я направлялась к своей машине, я увидела, что огромная толпа ожидает меня в полном молчании: десять тысяч евреев прибыли со всех концов Румынии, чтобы меня увидеть. Я повернулась к ним и сказала: «Шаббат шалом!» И услышала в ответ десять тысяч голосов: «Шаббат шалом!» Ради одной этой встречи стоило совершить путешествие. А единственным вещественным воспоминанием об этой поездке оказалась (хоть тогда я этого и не знала) огромная медвежья шкура, которую подарил мне премьер-министр Румынии (прославленный охотник) и которую я потом «одолжила» детям Ревивима. Они ее обожали, и у них с ней не были связаны грустные воспоминания, как у меня.

Были и другие поездки, и мне пришлось даже пережить приключение, после которого мне стало ясно, что ни одно мое действие больше никогда не пройдет незамеченным. Весной 1971 года я предприняла десятидневное путешествие по Скандинавии (Дания, Финляндия, Швеция и Норвегия). Между Хельсинками и Стокгольмом как раз выдался уик-энд и редкая возможность, если все правильно спланировать, оказаться вне пределов достижимости для телефона, телекса, телеграмм и репортеров. Но не так-то легко найти место для отдыха, которое бы отвечало всем условиям безопасности, с которыми все больше приходилось считаться, куда бы я ни отправилась. Иерусалим попросил израильского посла в Стокгольме подобрать мне место для отдыха недалеко от столицы и своевременно об этом нас предупредить. Перед самым моим вылетом из Израиля по телефону позвонил один из министров, который

сказал, что очень жалеет, что не имеет возможности меня проводить, но должен сказать мне теперь же кое-что очень интересное. Мы поболтали минуты две, и я уехала в аэропорт.

В Хельсинки мне сообщили из нашего посольства в Стокгольме, что им не удалось ничего найти и лучше всего будет для меня провести эти два дня в Стокгольме и отдохнуть там в отеле, пока официально визит мой не начался. И тут я вспомнила о том телефонном разговоре в последнюю минуту перед отъездом и спросила Лу Кадар, к ее изумлению, не возражает ли она против уик-энда в Лапландии. «Лапландия!» Ей казалось, что я пошутила.

«Ну, — объяснила я, — я совершенно забыла раньше, а теперь вспомнила: нас приглашали пожить в прекрасном охотничьем домике, в сердце финской Лапландии. Домик принадлежит преданному другу Израиля, он обещал, что нам там будет очень хорошо, и я бы хотела туда поехать».

Посыпались возражения. Мои телохранители находили, что дом слишком изолирован и находится слишком далеко; Лу сказала, что у нас нет подходящей одежды, и мы там заоченеет и умрем; финская и шведская службы охраны пришли в ужас при мысли, что я еду в дом, который всего в 100 км от советской границы; все согласилось, что для двухдневного отдыха отправляться за 1 200 миль — чистое безумие. Но я хотела поехать — и мы поехали.

Разумеется, поездка была засекречена. Мы отправились в Стокгольм, а оттуда полетели в Лапландию на маленьком самолете и прибыли в Рованиеми, столицу финской Лапландии, днем, при ярком солнечном свете. Аэропорт там не больше теннисной площадки; и там нас ожидало несколько такси и мэр Рованиеми с женой. Ему сказали только, что приезжают важные гости, но не сказали, кто. Оказалось, что тут еще находился и местный газетчик,

который попал сюда случайно и заметил, что жена мэра держит розу. А кто в Лапландии видит розы? Он присмотрелся к выходящим из самолета, поглядел на низенькую женщину в тяжелом пальто — видимо, ту самую особу, которой предназначалась бесценная роза, сказал себе «не может быть!», но когда мы уже пробирались по снегам в охотничий домик, внезапно понял, что то была я, и немедленно послал телеграмму своему редактору.

Я чудесно отдохнула в Рованиеме, а когда, отдохнувшая, вернулась в Стокгольм, то узнала, что весь мир хочет выяснить все подробности моей тайной встречи с русскими. Зачем бы еще Голде Меир понадобилось ездить в финскую Лапландию? О чем мы с русскими говорили? С кем именно я встречалась? Никто в Скандинавии, да и во всем мире, не желал знать правду. Только когда, за день до моего отъезда, в Осло приехал замминистра иностранных дел СССР г-н Царапкин и со мной не встретился, прессе пришлось признать, что все сорок восемь часов в Лапландии я только спала, ела, покупала сувениры из меха северного оленя для внуков и каталась по дивным и безмолвным замерзшим озерам.

Не раз за эти пять дней мне хотелось сбежать прочь, не потому, что мне изменяли силы, и не потому, что темп жизни был не по мне, а потому, что я устала повторять одно и то же снова и снова, без всякого результата. И мне надоело слушать про мои комплексы от людей, считавших, что вести себя следует определенным образом, — что, в конце концов, привело бы к передаче Израиля Садату, а еще лучше — Арафату. То есть, довольно мне вспоминать уроки прошлого; надо уговорить население Израиля, что поскольку в наш дом врывались уже один, два, три раза, то надо оттуда уезжать и отправляться куда-нибудь еще, а не ставить крепкие замки на двери и железные решетки на окна. Да, у меня были

комплексы. Они зародились если не в Киеве, то на конференции в Эвиане в 1938 году, и все, что с нами произошло потом, не могло их ослабить. Даже в самом Израиле находились люди, считавшие — и говорившие об этом громко, — что правительство «недостаточно» старается найти общую почву для разговора с арабами, хоть им и не удавалось предложить что-нибудь такое, чего бы мы уже не испробовали.

Была, кроме того, сравнительно небольшая, но очень шумная группа нашего населения, выступавшая, например, против правительственного решения после Шестидневной войны, по которому евреям позволялось селиться в Хевроне. Хеврон — город на Западном берегу Иордана (в 35 км на юг от Иерусалима), в котором, согласно еврейскому преданию, погребены библейские патриархи и который был столицей царя Давида перед тем, как он перенес столицу в Иерусалим. Крестоносцы изгнали евреев из Хеврона, но при Османской империи некоторые евреи туда вернулись, и в городе была еврейская община до самого 1929 года, когда произошла страшная арабская резня и избежавшие ее евреи покинули Хеврон. После 1948 года иорданцы не разрешали евреям даже посещать гробницу патриархов, чтобы там помолиться. Но Хеврон остался для евреев священным, и накануне Пасхи 1968 года, когда он попал под контроль израильской администрации, группа молодых и активных ортодоксальных евреев не подчинилась военному запрету селиться на Западном берегу, вступила на территорию, занятую хевронской полицией, и осталась там без разрешения. Конечно, их поведение никуда не годилось и очень вредило репутации Израиля. Арабы сразу же подняли крик по поводу «еврейской аннексии» Хеврона, а мнение израильской общественности разделилось. С одной стороны, будущие поселенцы хотели создать

«совершившийся факт» и принудить правительство Израиля к преждевременному решению судьбы Западного берега и израильских поселений там. С другой стороны, я, хотя и не одобряла их самоуправства, напоминавшего времена дикого Запада, думала, что главное — не то, что они сделали или даже как, а нечто более серьезное.

Логично ли, спрашивала я себя и своих коллег, чтобы мир, и наши голуби в том числе, требовали от еврейского правительства такого законодательства, которое бы формально запрещало евреям селиться где бы то ни было?

Что произойдет с Хевроном в дальнейшем — я не знаю и знать не могу, как и никто не может. Но допустим, что с Божьей помощью мы когда-нибудь заключим мир с Иорданией и «вернем» Хеврон. Значит ли это, что мы согласимся, чтобы там никогда не жили евреи? Конечно же, никакое правительство Израиля не может взять на себя обязательство навсегда запретить евреям селиться в любой части Обетованной земли. А Хеврон не обычный торговый город: для верующих евреев он многое значит.

Много месяцев мы обсуждали и дебатировали этот вопрос, рассматривая все «за» и «против», и наконец в 1970 году разрешили построить ограниченное количество домов для евреев на окраине Хеврона, которую поселенцы назвали «Кирьят-Арба» (другое древнееврейское название Хеврона, означающее «Город четырех»). Буря по этому поводу утихла. Но другие попытки нелегальных поселений пресекались более твердой рукой — хотя правительству было мучительно трудно приказывать израильским солдатам изгонять евреев из тех мест на Западном берегу, где они хотели поселиться. Кое-где мы селиться разрешали, но только если новые поселения соответствовали нашим политическим и военным интересам.



И еще, внимание всего мира было приковано к святым христианским местам на Западном берегу и в Иерусалиме. И потому я была очень рада поехать в Ватикан в январе 1973 года, где я получила восьмидесятиминутную аудиенцию у папы Павла VI. Впервые премьер-министр Израиля получил аудиенцию у папы, хотя в 1964 году, когда Павел VI совершил однодневное паломничество в Святую землю, он встретился с президентом Шазаром, Эшколом и, в сущности, со всем кабинетом министров. Это была не слишком приятная встреча. Папа подчеркнул, что его визит вовсе не означает признания государства Израиль; штабом его на три дня стал не Израиль, а Иордания, и прощальное послание с борта самолета было предусмотрительно адресовано не в Иерусалим, а в Тель-Авив.

Отношения между Ватиканом и сионистским движением всегда были щекотливы, еще с тех пор, как Пий X, давший в 1904 году аудиенцию Теодору Герцлю, сказал ему: «Мы не можем помешать евреям отправиться в Иерусалим, но никогда не сможем это санкционировать... евреи не признали господина нашего; мы не можем признать евреев». Другие папы были более дружелюбны. Пий XII дважды принимал Шарета — один раз даже как министра иностранных дел Израиля. Папа Иоанн XXIII относился к Израилю с сочувствием и даже с теплотой, и наш представитель был приглашен на его похороны и на коронацию Павла VI. В 1969 году Павел VI официально принял Аббу Эвена, и наши послы в Риме всегда поддерживали довольно близкие контакты с высокопоставленными особами в Ватикане. Ватикан, признавший все арабские государства, до сих пор не признал Израиль, и отношение Ватикана к проблеме Иерусалима все еще неясно. Но мне думается, что, в конце концов, Ватикан примирился с реальным существованием еврейского государства.

История моей аудиенции у папы началась не в Риме, а в Париже. Много лет я приезжала на заседания Социалистического интернационала (вице-председателем которого я являюсь), где бы они ни проходили. В 1973 году встреча социалистического руководства была назначена в Париже — за полтора месяца до всеобщих выборов во Франции. Я, разумеется, собиралась поехать, как и главы других государств, где социалисты были у власти — например, Австрии, Дании, Финляндии и Швеции, так же, как главы социалистических партий, находящихся в оппозиции. И тут, ко всеобщему изумлению, Жорж Помпиду обвинил меня в том, что я приезжаю в Париж для того, чтобы переманить «еврейские голоса» (понятие, которого во Франции нет) на сторону социалистов. Во Франции поднялась буря, в результате которой Социалистический интернационал, на который обычно обращают, к сожалению, мало внимания, получил неслыханную рекламу — не меньшую, чем непобедимая враждебность французского правительства к Израилю. Словом, так как я отправлялась во Францию, наш посол в Риме Амиэль Наджар предложил мне воспользоваться случаем и выполнить рекомендацию, которую не раз давали его друзья в Ватикане, — встретиться с папой. Я сказала, что сделаю это с удовольствием, и через некоторое время нам предложили испросить аудиенцию. Еще через несколько дней письмо, адресованное мне, пришло в наше посольство в Риме. Оно было из префектуры Ватикана и в нем стояло: «Ваше превосходительство, имею честь сообщить Вам, что Святой Отец предоставит Вам аудиенцию в понедельник 16 января 1973 года».

На меня огромное впечатление произвел — да иначе и не могло быть! — не только и даже не столько Ватикан, сколько сам папа, простотой и приятностью своих манер и пронизательным взглядом своих глу-

боко посаженных темных глаз. Думаю, что я бы куда больше нервничала, если бы папа не начал разговора с того, что ему трудно понять, как это евреи, которые должны быть больше других народов расположены к милосердию, поскольку они так жестоко страдали, могут действовать с такой жестокостью в собственной стране. Этого разговора я просто не переношу, особенно потому, что неправда, будто мы дурно обращались с арабами на территориях. В Израиле по-прежнему нет смертной казни, и вот самое большее, что мы делали: мы сажали террористов в тюрьмы, мы взрывали дома арабов, которые укрывали террористов, несмотря на неоднократные предупреждения, и иногда, когда другого выхода не было, мы высылали из страны арабов, открыто поддерживавших и подстрекавших террористов. И пусть те, кто нас упрекает, укажет мне точно, где и когда были проявлены жестокость и грубость. Мне очень хотелось спросить папу, какие у него источники информации, ибо его сведения слишком разительно отличались от моих, но я этого не сделала. Вместо этого я сказала, чувствуя, что мой голос дрожит от гнева: «Ваше святейшество, знаете ли вы, какое мое самое первое воспоминание? Ожидание погрома в Киеве. Разрешите заверить вас, что мой народ знает о жестокости все, что возможно, и о настоящем милосердии мы тоже все узнали, когда нас вели в нацистские газовые камеры».

Вероятно, с папой так говорить не принято, но я чувствовала, что говорю от имени всех евреев мира, и живых, и тех, кто погиб, когда Ватикан сохранял нейтралитет во время Второй мировой войны. Я чувствовала, что это историческая минута. Мы смотрели друг на друга. Думаю, его удивили мои слова, но он ничего не сказал. Он просто смотрел мне прямо в глаза, и я не опускала глаз. Потом, очень почтительно, но твердо и немножко пространно, я сказала,

что теперь, когда у нас есть свое государство, мы больше никогда не будем зависеть от «милосердия» других. «Это в самом деле историческая минута», — сказал он, словно прочитав мои мысли.

Затем мы перешли к другим вопросам, в частности к статусу Иерусалима и Ближнего Востока. Надо было оговорить специальные условия для святых мест, и для этого надо было «продолжать диалог» между церковью и нами, о чем он говорил с энтузиазмом. Он также не жалел слов, говоря о том, как высоко ценит заботу Израиля о христианских святых местах. Я, со своей стороны, заверила папу, что мы сделаем все, что от нас потребуется, для охраны не только христианских, но и мусульманских святых мест в Израиле, но что столицей Израиля останется Иерусалим. Я попросила папу использовать свое влияние, чтобы добиться урегулирования на Ближнем Востоке, а также сделать все возможное, чтобы израильские военнопленные, томившиеся в египетских и сирийских тюрьмах со времен войны на истощение, которых арабские государства отказывались отпустить, были возвращены.

После напряженных первых минут атмосфера стала приятной и дружелюбной. Мы сидели в личной библиотеке папы на втором этаже папского дворца и непринужденно беседовали — и потому особенно трудно было мне понять неприятный эпизод, непосредственно за этим последовавший. Профессор Алессандрини, папский пресс-атташе, кроме предварительно оговоренного обычного коммюнике, передал прессе необычное «устное сообщение». Это была явная попытка предупредить тревогу, которая могла возникнуть у арабских государств из-за моей встречи с папой. Объявив, что тут не было «оказано предпочтение или предоставлены особые привилегии», профессор Алессандрини сказал: «Папа исполнил просьбу г-жи Меир о встрече, потому что

считает своим долгом воспользоваться любой возможностью, чтобы действовать ради мира и защищать религиозные интересы всех людей, особенно самых слабых и беззащитных, а прежде всего — палестинских беженцев».

Наджар немедленно позвонил в Ватикан и выразил энергичный протест против вводящего в заблуждение коммюнике. Я тоже не смолчала. В конце концов, я не врывалась в Ватикан, о чем и сказала на пресс-конференции, которую провела в тот же день в израильском посольстве в Риме. Независимо от того, хотел или не хотел Ватикан принизить значение моей аудиенции у Павла VI, сказала я, «и я, и мой народ высоко ее оценили... По вопросам стремления к миру и доброй воле между папой и евреями существует полное единство взглядов».

На следующий день я получила из Ватикана прекрасные подарки: серебряного голубя мира с надписью «Премьер-министру Израиля от папы», прекрасную Библию и — я истолковала это как примирительный жест, искупающий «неточность» профессора Алессандрини, — каталог древнееврейских изданий в Ватиканской библиотеке и по медальону для Лу и Симхи. Как бы то ни было, для меня эта встреча была чрезвычайно интересна и полна значения, и я надеюсь, что в результате ее Ватикан чуть-чуть ближе подошел к пониманию Израиля, сионизма и того, как относятся к Ватикану такие евреи, как я.

Надо сказать, что я вспоминаю весну и лето 1973 года без всякого удовольствия. Бывало, я падала в постель в два часа ночи и лежала без сна и повторяла себе, что я — сумасшедшая. В семьдесят пять лет я работала больше, чем когда-либо в жизни, и ездила по Израилю и за его пределами больше, чем это здорово для кого бы то ни было. Я в самом деле очень старалась уменьшить число встреч и сокра-

тить количество работы, но себя переделывать было уже поздно. Несмотря на добрые советы близких — детей, Клары (которая регулярно приезжала теперь из Бриджпорта ко мне на две-три недели), Галили, Симхи, Лу — я могла, раз уж мне пришлось, быть премьер-министром только по собственному покрою. А это означало — разговаривать с людьми, желавшими со мной разговаривать, и выслушивать людей, которые имели, что мне сказать.

Я не могла выступить на симпозиуме учителей, например, не подготовившись к нему хорошенько и задолго, а читать по бумажке было не в моих привычках. Заранее подготовленное и написанное выступление всегда оставляет у меня нерешенными вопросы, которые зачастую оказываются самыми важными. Меня очень беспокоило, что в новых городках много детей бросает школу, не окончив ее, и так как учителя попросили меня выступить у них на симпозиуме, я думала, что это и станет моей главной темой. Но я никак не могла получить точных цифр — ни от председателя профсоюза учителей, ни от министерства просвещения — и это меня озадачивало. Как это так — никто не знает, сколько детей бросило школу в каждом городе? Если учителя сообщают директору, что такие-то больше не посещают школу, а директор докладывает об этом в министерство просвещения, почему же нет точных цифр? Чем больше я расспрашивала, тем яснее понимала и положение вещей, и то, как работают школы и министерство, и, главное, что такое жизнь в новых городах и каков там уровень преподавания. Поэтому, придя на симпозиум, я имела что сказать и о чем спросить и могла рассчитывать на ответы, которые подскажут необходимые меры для решения проблемы, жизненно важной для будущего Израиля.

И я не собиралась становиться недоступной для кого бы то ни было. Когда я приглашала евреев, толь-

ко что эмигрировавших из Советского Союза после месяцев, а иногда и лет, преследований и страданий, которые хотели и заслуживали общения с премьер-министром, я старалась провести с ними как можно больше времени. И когда по вечерам ко мне приходили партийные лидеры поговорить по политическим вопросам, я вовсе не стремилась сократить наши беседы. Одно из двух: или я глава лейбористской партии, — или нет, но если да, то я ею являюсь не для украшения. И я не собиралась сокращать время, которое я проводила с делегацией «восточных» евреев, или со студентами, или с домохозяйками, или с кем угодно, кто хотел сказать мне, как плохо (а иногда даже как хорошо) я веду дела нации. Были и гости из-за рубежа, которые справедливо считали, что имеют право провести со мной полчаса. Среди них были американские евреи, много лет оказывавшие Израилю моральную и финансовую поддержку, европейцы, возможные инвесторы, в которых мы остро нуждались, люди, которых присылали другие люди, помогавшие нам в Соединенных Штатах, Африке и Латинской Америке.

Я с удовольствием встречалась с людьми и знавала, что встречаться с людьми мой долг, но чем больше людей я принимала в своем кабинете и дома, тем больше всевозможных бумаг и почтовых поступлений оставалось мне на просмотр ночью. Как только предоставлялась возможность, я ездила обедать домой: порой это бывал официальный ленч, но иногда я часа в два уезжала вместе с Лу на машине, торопливо обедала и возвращалась в три, для нового тура встреч и телефонных разговоров. В хорошие дни, когда ничего не было назначено на вечер, я уезжала из министерства часов в семь-восемь, приезжала домой, принимала душ, переодевалась и ужинала. У меня, конечно, была домработница. Она уходила, перебив тарелки, сразу после обеда (если

это был официальный ленч, тс ей в подмогу присылали людей), но обычно оставляла в холодильнике что-нибудь мне на ужин. Бывало, что я по вечерам оставалась дома и кто-нибудь с работы являлся с кучей корреспонденции, в которой надо было разобраться. А иногда — но действительно очень редко — я просто сидела в кресле, смотрела старый фильм по телевизору или возилась по мелочам, например, прибирала полки, что всегда меня успокаивает.

Часто заходил кто-нибудь из членов кабинета поговорить о серьезных проблемах в спокойной и непринужденной обстановке. Разумеется, это бывало неофициально, и никакие решения тут не принимались. Но я убеждена, что эффективности работы правительства очень помогало то, что мы могли обсуждать важные вопросы за кофе и закуской вокруг моего кухонного стола. Каждые две-три недели Пинхас Сапир, мой министр финансов (потом председатель Еврейского Агентства) приходил ко мне домой, чтобы основательно обсудить предложения, которые он собирался внести на заседания кабинета. Сапир — человек невероятной работоспособности, и к тому же самый удачливый в Израиле и окрестностях сборщик средств. Когда Сапир встречается за границей еврея, он спрашивает: «Сколько у тебя денег?» И самое забавное: тот ему это сообщает. Главная его забота — улучшение жизни, и, особенно, образования в новых городках, и для этого он сделал больше, чем кому-нибудь известно. Мы всегда работали дружно, несмотря на то, что по ряду политических вопросов находились на разных полюсах, и я просто вообразить не могу, как могла бы я без него возглавлять кабинет.

Другой совершенно необходимый член моего кабинета был Исраэль Галили, министр без портфеля, советам которого я всецело доверяла. Галили не только мудрый и необычайно скромный человек: он



обладает талантом постигать суть самого запутанного вопроса и формулировать ее с предельной ясностью. Подозреваю, что я еще долго буду спрашивать Галили, что он думает, когда речь пойдет о важных вещах.

Вообще говоря, мне очень повезло, что вокруг меня были такие хорошие люди. Генеральный директор моего министерства, покойный Яков Герцог, был один из самых образованных людей, кого я знала. И ни у кого не было более преданных помощников, чем Мордехай Газит, принявший дела после безвременной кончины Герцога, Исраэль Лиор, Эли Мизрахи и, конечно, Симха Диниц и Лу.

В 1973 году произошло нечто, очень приятное для меня: Сарра решила взять в киббуце годичный отпуск и изучать английскую литературу в Еврейском университете, а это означало, что ночью я уже не была одна. Но платить за это приходилось тем, что мы по ночам разговаривали, главным образом о том, должна ли я снова возглавить партийный список на предстоящих выборах, назначенных на осень. Я очень даже подумывала об отставке, но отовсюду раздавались все те же аргументы, которых я наслушалась еще в 1969 году; проблема с моим «наследием» будет ничуть не менее острой, чем с наследием Эшкола; три элемента, составившие лейбористскую партию, все еще плохо сочетаются; военная ситуация — хотя после войны на истощение стало довольно спокойно — может ухудшиться в любую минуту; мои отношения с президентом Никсоном очень полезны и вряд ли кто-нибудь сумеет за короткое время установить такие же; и т.д. и т.п. Я терпеть не могу быть предметом пересудов — согласится? не согласится? — но мне нечем было отразить эти аргументы, кроме того, что я чувствовала — я должна уйти в отставку ради себя самой. Всю весну шли

переговоры с моими коллегами по партии, и пресса жадно следила за ними, словно у Израиля не было других забот. В конце концов, я сказала: «Ладно. Нет смысла оттягивать решение, нам и без этого есть о чем подумать». Потом я с горечью соображала, что даже если бы тогда отказалась, я все еще была бы в октябре премьер-министром, потому что выборы были назначены только на ноябрь 1973 года.

В марте я опять посетила Вашингтон. Перед тем произошел несчастный инцидент, который мог бы бросить тень на мой визит: воздушные силы Израиля сбили ливийский Боинг-727, заблудившийся над Синайским полуостровом, и погибло 106 человек. Это — одна из трагедий, которых не избежать, когда страна днем и ночью начеку. Нас предупредили, что готовится действие «камикадзе» против Израиля: где-нибудь на его территории будет посажен самолет, груженный взрывчаткой, — и мы не могли рисковать — хотя если бы нам был сделан хоть намек, что на самолете есть пассажиры, мы все-таки пошли бы на риск. Но летчик игнорировал все наши попытки опознать самолет, как было доказано потом, когда был найден «черный ящик». И президент Никсон, и комитет по иностранным делам палаты общин сочувственно выслушали мое объяснение, как и почему все это случилось, и за те девяносто минут, что я провела с президентом, он снова горячо заверил меня, что американская помощь Израилю будет продолжаться и США будут поддерживать наши требования переговоров с соседями. Но мне хотелось объяснить нашу позицию и народам Европы, и когда председатель Европейского совета пригласил меня выступить на консультативной ассамблее в Страсбурге, я сказала, что охотно туда приеду. В Париж я на этот раз не заехала. Я попросила нашего посла просто известить министерство иностранных дел, что

я буду во Франции, но ни в коем случае, ни прямо, ни косвенно, не создавать у французов впечатления, что я хочу, чтобы меня пригласили в Париж. И я поехала прямо в Страсбург.

Но перед самым отъездом из Израиля я получила чрезвычайно неприятное сообщение. Арабским террористам удалось «убедить» австрийское правительство закрыть транзитный лагерь Еврейского Агентства в замке Шенау, неподалеку от Вены. В течение ряда лет Шенау был необходимой остановкой на пути из Советского Союза в Израиль. Но прежде чем рассказывать историю о том, как уступили шантажу и что я пыталась этому противопоставить, я хочу объяснить, как функционировал Шенау. Как теперь известно уже многим, храбрые советские евреи, отважившиеся подать заявление на выезд в Израиль, как правило, ждут разрешения годами. И когда его, наконец, дают, то никакого предварительного извещения не бывает. Приходит повестка, что получатель должен выехать из СССР в течение недели, или, самое большое, десяти дней. Были, разумеется, и исключения: некоторым евреям говорилось, что если они хотят уехать, то они должны сделать это в течение нескольких часов. Но обычно будущим эмигрантам дается несколько дней на сборы и они должны за это время: уложить, провести через таможенный досмотр и отправить то, что им разрешается увезти в Израиль; купить билеты; отказаться от советского гражданства... И еще пройти через кучу формальностей, да еще найти время, чтобы попрощаться с людьми, с которыми уже, вероятно, не придется встретиться никогда в жизни. Обычные эмигранты из других стран уезжают не так; это бесчеловечно и непорядочно — но только так, лишь как высылаемые преступники, могут советские евреи покинуть Советский Союз.

Первая остановка поезда, который увозит их на

свободу — обычно через Прагу, — маленькая станция на границе Чехословакии и Австрии, где австрийские власти тут же на месте ставят транзитные визы, дающие возможность эмигрантам въехать в свободный мир, а представителям Еврейского Агентства, встречающим эмигрантов в Австрии, дающие возможность узнать имена и число евреев в данном поезде. От границы поезда — со специальными купе для еврейских эмигрантов — направляются в Вену, где уже ждут автобусы, чтобы отвезти эмигрантов в транзитный лагерь. Шенау, маленький белый замок, нанятый Еврейским Агентством у австрийской графини, был не просто местом, где эмигранты могли отдохнуть и понять, что они находятся, наконец, на пути в еврейское государство. Это было место, где эмигранты, измученные и растерянные, получали первую информацию об Израиле; там выяснялись их профессии, там они получали самую первичную подготовку к новой жизни в новой стране.

Никто не задерживался в Шенау надолго. Обычные средние эмигрантские семьи проводили там два-три дня перед тем как автобус доставлял их в аэропорт, откуда на самолетах Эл-Ал они прибывали к нам, усталые, но счастливые. За год перед тем я побывала в Шенау, видела своими глазами, в каком физическом и душевном состоянии прибывали из Советского Союза эти люди, и поняла, до чего необходимо это преддверие свободы. Знала я и то, что у советских евреев нет другого пути, кроме пути через Австрию, и знала, что для миллионов евреев, все еще находящихся в Советском Союзе, Шенау — символ свободы и надежды.

Но и арабские террористы все это знали тоже, и в конце сентября 1973 года два бандита ворвались в поезд, когда он пересек австрийскую границу, захватили семерых советских евреев, в том числе семидесятилетнего старика, больную женщину и трех-

летнего ребенка, и нагло известили австрийское правительство, что если оно немедленно не прекратит оказывать помощь советским евреям-эмигрантам и не закроет Шенау, то не только будут убиты заложники, но и жестокие репрессалии будут приняты против Австрии. К нашему изумлению и ужасу, австрийское правительство, возглавляемое канцлером Бруно Крайским, тут же уступило, к восторгу обеих бандитов (немедленно переправленных в Ливию) и всей арабской прессы, которая с плохо сдерживаемым ликованием расписывала «успешный удар, нанесенный командос по эмиграции русских евреев в Израиль».

Я знала Крайского давно и довольно хорошо. Он несколько лет был министром иностранных дел Австрии и мы встречались в Объединенных Нациях. Он также был социалистом, и последний раз я его видела на съезде Социалистического интернационала в Вене за два года перед тем. Помню, я как-то пригласила его приехать в Израиль, и он начал экать и мекать и имел при этом очень несчастный вид. «Я понимаю, что вы хотите сказать, — догадалась я. — Вы хотите сказать, что если ехать в Израиль, то перед этим вам надо поехать в Египет и другие арабские страны. Пожалуйста. Мы не имеем ничего против, пусть каждый едет сначала туда, а потом сюда — но приезжайте к нам!» Я увидела, что ему стало гораздо легче, когда я все это сказала за него.

«Хорошо, я приеду», — сказал он. Он приехал. Как еврей господин Крайский не проявил к Израилю никакого интереса, хотя в 1974 году и посетил нашу страну в качестве главы делегации европейских социалистических лидеров.

В Австрии было много социалистов, евреев и неевреев, с которыми у нас были гораздо более близкие отношения. Но я хотела поговорить с Крайским, лично объяснить ему, что значит закрыть Шенау и

каковы будут последствия не только для Австрии, но и для русских евреев. Я попросила нашего посла в Вене выяснить, могу ли я встретиться с Крайским по дороге в Страсбург.

Для вящей справедливости надо отметить, что хоть, по-моему, уступать террористам вообще непростительно, решение Австрии не было совсем уж неразумным. Во-первых, Шенау стал уж слишком хорошо известен, хотя мы все очень старались отбить у посетителей охоту туда ходить, а у прессы — охоту писать о нем слишком часто, потому что слухи о том, что террористы готовят нападение на Шенау, никогда не прекращались. Служба безопасности в Австрии была в самом деле хорошо поставлена: каждый поезд встречали; каждый автобус с эмигрантами по дороге в Шенау имел сопровождающих и эскорт; сам замок хорошо охранялся. Австрийцы прекрасно и эффективно нам помогали. Но если сейчас закрыть Шенау, то любое место, которое нам вместо него предоставят, окажется под угрозой такого же шантажа. Мне казалось, что если мне удастся обсудить все это с Крайским, то, может быть, удастся его переубедить. Я напряженно ждала ответа. В конце концов, мне сообщили, что Крайский не сможет встретиться со мной, когда я буду по дороге в Страсбург, но сможет встретиться со мной, когда я поеду обратно.

Я приготовила речь для выступления на Европейском совете, в которой благодарила Совет в целом и отдельные парламенты и политические партии Европы за то, что они подняли голос в поддержку требования разрешить эмиграцию советским евреям; я касалась и разных других вопросов, в частности — отказа арабских государств от переговоров с нами и перспектив еврейско-арабского сосуществования, как мы себе его представляли. Речь кончалась призывом помочь Ближнему Востоку «превзой-

ти тот образец, который явил нам Европейский парламент», и цитатой из Жана Моннэ, великого европейского государственного деятеля: «Мир зависит не только от договоров и заверений. В основном он зависит от создания таких условий, которые, хоть и не меняют человеческую природу, по крайней мере, направляют поведение людей по отношению друг к другу в сторону миролюбия». Эти слова, считала я, лучше всего выражают то, чего Израиль хочет от арабов — и от остального мира.

Но когда я приехала в Страсбург, мне стало ясно, что читать эту речь — глупо. Теперь у меня были более срочные сообщения.

— Речь моя написана, — сказала я. — Вероятно, она лежит перед вами. Но в последнюю минуту я решила не помещать между вами и мной бумагу, на которой она написана, особенно в свете того, что произошло в последние два-три дня.

И я заговорила о решении австрийского правительства.

*«Провалившись в Израиле, арабские организации при поддержке арабских правительств перенесли террор в Европу... Я понимаю чувства премьер-министра и других членов его кабинета, которые говорят: «Этот конфликт не имеет к нам никакого отношения. Почему это для подобных действий была избрана наша территория?» Я понимаю, что правительство может прийти к заключению, что единственное средство освободиться от этой напасти — сделать свою страну недоступной или для евреев (и, стало быть, для израильтян), или для террористов. Каждое государство сейчас стоит перед таким выбором... Но нельзя идти на сделку с террористами. В Вене впервые правительство пошло на соглашение с террористами. Основной принцип сво-*

*боги передвижения для людей — во всяком случае для евреев — оказался под вопросом, что само по себе большая победа для терроризма и террористов. Поверьте, мы глубоко благодарны австрийскому правительству за все, что оно сделало для десятков тысяч евреев, проехавших через Австрию из Польши, Румынии и Советского Союза. Но если оно, вместо того, чтобы разделаться с терроризмом, решило отпустить террористов на свободу и предоставить им то, чего они хотят, то тем самым оно поставило на повестку дня вопрос: может ли любая страна позволить себе предоставить евреям право транзита через свою территорию?..»*

Я провела в Страсбурге два дня и приняла участие во всех завтраках и обедах; но думала я только о Шенау и, приехав в Вену, я прямо пошла в кабинет премьер-министра. Крайский перечислил причины, по которым его правительство капитулировало перед арабами, и спросил, почему это только Австрия должна отвечать за русских евреев? Почему не Голландия? Она тоже может стать транзитным пунктом для эмигрантов. Я сказала, что Голландия готова разделить с его страной это бремя. Но это зависит не от голландцев; это зависит от русских. А русские согласились выпускать евреев через Австрию. И тогда Крайский сказал то, чего я проглотить не могла. «Мы с вами принадлежим к двум разным мирам», — сказал он мне. При нормальных обстоятельствах я бы на этом прекратила разговор; но я была тут не ради себя, и мне пришлось его продолжать.

По вопросу о закрытии Шенау Крайский был непоколебим.

— Я не хочу отвечать за кровопролитие на австрийском вокзале, — повторял он. — Надо придумать что-нибудь другое.



— Но если вы закроете Шенау, вы дадите русским прекрасный повод не отпускать евреев. Они скажут: раз нет транзитных возможностей, мы не будем отпускать эмигрантов.

— С этим, — сказал Крайский, — я ничего поделать не могу. Пусть ваши люди принимают евреев сразу из поездов.

— Невозможно, — сказала я. — Ведь мы никогда не знаем, сколько в данном поезде людей. К тому же я не думаю, что безопаснее держать десятки людей на аэродроме в ожидании самолета Эл-Ал, который за ними прилетит.

Но я уже видела, что все бесполезно, что все мои разговоры ничего не могут изменить. Крайский прежде всего не желал неприятностей с арабами. Я поблагодарила его за прием и ушла.

Была назначена пресс-конференция, на которой я и Крайский должны были отвечать на вопросы. Но когда Крайский провел меня в комнату, где ожидали корреспонденты, и я их увидела, — я покачала головой.

— Нет, — сказала я, — мне нечего сказать пресесе. Я сюда не войду.

Я и по сей день не знаю, отменил ли он пресс-конференцию или ответил на все вопросы сам; знаю только, что у меня было такое чувство, будто я наелась пепла и праха. «Мы с вами принадлежим к двум разным мирам». Снова и снова я вспоминала эти слова. Но, разумеется, я и не подозревала, что ожидает меня в Израиле.



## ВОЙНА СУДНОГО ДНЯ

**И**з всех событий, о которых я здесь рассказала, труднее всего мне писать об октябрьской войне 1973 года, о Войне Судного дня. Но она имела место в действительности, и потому должна стать частью этой книги — не как военный отчет, этим пусть занимаются другие, но как едва не происшедшая катастрофа, кошмар, который я пережила и который навсегда останется со мной.

Даже рассказывая свою личную историю, я должна умалчивать о многом, и потому история эта не полна. Но тут рассказана правда о моих переживаниях и чувствах во время этой войны — пятой, навязанной Израилю за двадцать семь лет существования государства.

Есть два обстоятельства, о которых я хочу сказать сразу же. Во-первых, мы Войну Судного дня выиграли, и я убеждена, что в глубине души политические и военные лидеры Сирии и Египта сознают, что они потерпели поражение, несмотря на первоначальные успехи. Во-вторых, пусть знает весь мир, и враги Израиля в частности, что обстоятельства, стоившие жизни 2 500 израильтян, погибших в Войне Судного дня, никогда больше не повторятся.

Война началась 6 октября, но теперь, когда я о ней думаю, я вспоминаю, что еще в мае мы получили сведения о необычайно большом скоплении египетских и сирийских войск на наших границах. Наша разведка считала крайне маловероятным, что может

разразиться война; тем не менее мы решили отнестись к этому сообщению серьезно. Я поехала в главный штаб. И министр обороны, и начальник штаба, Давид Элазар (известный всей стране под своим уменьшительным именем — Дадо), тщательно проинформировали меня по поводу боевой готовности армии, и я пришла к заключению, что армия готова к любым неожиданностям, в том числе и к войне. Успокоили меня и по вопросу своевременного раннего предупреждения. По каким бы то ни было причинам, общая напряженность ослабела тоже.

В сентябре стали поступать сведения о скоплении сирийских войск на Голанских высотах; тринадцатого сентября произошел воздушный бой с сирийцами, в результате которого было сбито тринадцать сирийских МиГов. Несмотря на это, наша разведка давала очень успокоительную информацию: никакой серьезной реакции со стороны Сирии ожидать не приходится. На этот раз напряженность не ослабела и даже передалась Египту. Разведка, однако, не меняла своего тона. Скопление сирийских войск на границе она объясняла страхом сирийцев, что мы на них нападём, и весь этот месяц, до самого кануна моего отъезда в Европу, это объяснение передвижений сирийских войск повторялось снова и снова.

В понедельник 1 октября Израэль Галили позвонил мне в Страсбург. В числе прочих сообщений он сказал, что они беседовали с Даяном и решили, как только я вернусь, серьезно обсудить вместе со мной положение на Голанских высотах. Я сказала, что вернусь во вторник, и на следующий день мы встретимся.

Я встретила с Даяном в среду, поздним утром. На встрече были Аллон, Галили, командующий военно-воздушными силами, начальник штаба, и, поскольку начальник разведки был в тот день нездо-

ров, — начальник военной контрразведки. Даян открыл заседание; начальник штаба и начальник военной контрразведки подробно рассказали о положении на обоих фронтах. Кое-что их беспокоило, но общая оценка оставалась прежней: нам не угрожает объединенное сирийско-египетское нападение, и маловероятно, что Сирия решится выступить одна. Передвижения египетских войск на юге вызваны, скорее всего, маневрами, которые всегда тут происходят в это время года, а наращивание и передвижение войск на севере объяснялось так же, как и раньше. Переброска нескольких сирийских воинских частей с сирийско-иорданской границы за неделю перед тем объяснялась как результат детанта между Сирией и Иорданией и дружественный жест Сирии по отношению к Иордании. Никто тут не считал, что надо призвать резервистов, и никто не думал, что война неизбежна. Но решено было продолжить обсуждение создавшегося положения на воскресном заседании кабинета министров.

В четверг я, как обычно, поехала в Тель-Авив. Много лет я проводила четверг и пятницу в своем тель-авивском кабинете, субботу — у себя дома в Рамат-Авиве, а в субботу вечером или рано утром в воскресенье возвращалась в Иерусалим, и, казалось, что нет нужды менять расписание и в эту неделю. То была короткая неделя, потому что Судный день начинался в пятницу вечером и большинство израильтян устраивало себе длинный уик-энд.

Думаю, что теперь, до некоторой степени благодаря той войне, даже неевреи, никогда прежде не слышавшие ничего о Судном дне, знают, что это самый торжественный и самый священный день еврейского календаря. Это тот единственный день в году, когда евреи всего мира, даже не слишком верующие, объединяются, как-то его отмечая. Верующие не едят, не пьют, не работают и проводят Суд-

ный день (который, как все еврейские праздники, в том числе и суббота, начинается вечером предыдущего дня и вечером следующего кончается) в синагоге, в молитве и покаянии, раскаиваясь в грехах, которые они могли совершить за истекший год. Другие евреи, даже те, что не постятся, находят свой собственный способ отметить этот день: не ходят на работу, не едят публично и идут в синагогу, хоть на часок, чтобы услышать великую вступительную молитву Кол Нидре в канун Судного дня или звук шофара (бараний рог, в который трубят), извещающего о конце поста. Словом, для большинства евреев, как бы они его ни отмечали, Судный день непохож на все другие.

В Израиле в этот день вся жизнь останавливается. Для евреев нет ни газет, ни телевидения, ни радио, ни транспорта: на двадцать четыре часа закрыты школы, магазины, рестораны, кафе и учреждения. Но так как всего дороже для евреев, даже дороже Судного дня, сама жизнь, то, чтобы не подвергать жизнь опасности, главные коммунальные услуги продолжают работать, с минимальным количеством obsługi. В Израиле, к сожалению, главная служба жизни — это армия, но в этот день выдается обычно больше всего отпусков, чтобы солдаты могли провести Судный день дома, с семьей.

В пятницу 5 октября мы получили сообщение, которое меня обеспокоило. Семьи русских советников в Сирии торопливо укладывались и покидали страну. Мне это напомнило то, что происходило перед Шестидневной войной и очень даже не понравилось. Что за спешка? Что такое знают эти русские семьи, чего не знаем мы? Возможно ли, что их эвакуируют? Из всего потока информации, достигавшего моего кабинета, именно это маленькое сообщение пустило корешок в моем сознании. Но так как никто вокруг не стал волноваться по этому по-

воду, то и я постаралась не поддаваться наважде-  
нию. К тому же интуиция — хитрая штука: иногда  
ее надо слушаться тут же на месте, а иногда это толь-  
ко симптом тревоги, который может далеко завести.

Я спросила министра обороны, начальника шта-  
ба, начальника разведки: не кажется ли им, что это  
сообщение очень важно? Нет, оно несколько не  
меняло их оценки положения. Меня заверили, что в  
случае тревоги мы будем вовремя предупреждены, а  
кроме того, на фронты посланы достаточные под-  
крепления, чтобы удержать линию прекращения  
огня, если это понадобится. Все необходимое сдела-  
но, армия, особенно авиация и танковые части, на-  
ходится в готовности номер один. Начальник раз-  
ведки, выйдя из моего кабинета, встретил в коридоре  
Лу Кадар. Потом она рассказала, что он погладил ее  
по плечу, улыбнулся и сказал: «Не волнуйтесь. Вой-  
ны не будет». Но я волновалась; кроме того, я не  
понимала его уверенности, что все в полном поряд-  
ке. Что, если он ошибается? Если существует малей-  
шая возможность войны, мы, по крайней мере, дол-  
жны призвать резервистов. Я решила созвать хоть  
тех министров, которые останутся на конец недели  
в Тель-Авиве. Оказалось, что таких очень мало. Мне  
не хотелось накануне Судного дня вызывать в Тель-  
Авив двух министров — членов Национальной ре-  
лигиозной партии, которые жили в Иерусалиме, а  
несколько других министров разъехались по своим  
киббуцам, находившимся довольно далеко отсюда. В  
городе оставалось только девять министров, и я по-  
просила своего военного секретаря назначить сроч-  
ное заседание кабинета на пятницу днем.

Мы собрались в моем тель-авивском кабинете.  
Кроме членов правительства на встрече присутство-  
вали начальник штаба и начальник разведки. Мы  
снова выслушали все донесения, в том числе и о  
спешном — все еще для меня необъяснимом! — отъ-

езде русских семейств из Сирии, но и на этот раз оно никого не встревожило. Я все-таки решилась высказаться. «Послушайте, — сказала я. — У меня ужасные чувства, что все это уже бывало прежде. Мне это напоминает 1967 год, когда нас обвиняли, что мы наращиваем войска против Сирии — именно это сейчас пишет арабская пресса. По-моему, это что-то значит». В результате, хотя обычно для принятия правительственного решения нужен кворум, мы приняли предложенную Галили резолюцию, что в случае необходимости решение можем принять мы вдвоем — я и министр обороны. Я сказала также, что следует войти в контакт с американцами — дабы они сказали русским в недвусмысленных выражениях, что Соединенные Штаты не собираются смолчать в случае чего. Заседание прекратилось, но я еще некоторое время оставалась в своем кабинете и думала, думала...

Почему я продолжаю с таким ужасом ждать войны, когда три начальника штаба — один нынешний и два бывших (Даян и Хаим Бар-Лев, в моем кабинете — министр промышленности и торговли), а также начальник разведки вовсе не считают, что война неизбежна? Они ведь не просто солдаты, они опытные генералы, не раз воевавшие, не раз приводившие людей к победам! У каждого из них доблестное военное прошлое, а наша разведка считается одной из лучших в мире. Да и иностранные источники, с которыми мы поддерживали постоянную связь, совершенно согласуются с нашими в их оценках. Откуда же мое беспокойство? В чем я хочу себя убедить? Я не могла ответить себе на эти вопросы.

Теперь я знаю, что я должна была сделать. Я должна была преодолеть свои колебания. Я не хуже других знала, что такое всеобщая мобилизация и сколько денег она стоит, и я понимала, что несколько месяцев назад, в мае, у нас была ложная тревога,

и мы призывали резервистов — а ничего не произошло. Но ведь я понимала и то, что, вполне возможно, войны в мае не было именно потому, что мы призывали резервистов. В то утро я должна была послушаться собственного сердца и объявить мобилизацию. Вот о чем я никогда не смогу забыть и никакие утешения, никакие рассуждения моих коллег тут не помогут.

Неважно, что диктовала логика. Важно то, что я, привыкшая принимать решения, и принимавшая их на всем протяжении войны, не смогла сделать это тогда. Дело не в чувстве вины. Я тоже умею рассуждать и повторять себе, что при такой уверенности нашей военной разведки и почти полном согласии с нею наших выдающихся генералов было бы неразумно с моей стороны настаивать на мобилизации. Но я знаю, что должна была это сделать, и с этим страшным знанием я должна доживать жизнь. Никогда уже я не стану той, какой была перед Войной Судного дня.

В тот день я сидела и мучилась в своем кабинете, пока не почувствовала, что больше не могу тут сидеть, и уехала домой. Менахем и Айя пригласили нескольких друзей заглянуть после обеда. Накануне Судного дня евреи обедают рано — это их последняя трапеза перед двадцатичетырехчасовым постом, который начинается с первыми вечерними звездами. Мы сели обедать. Но я не находила себе места, аппетита у меня не было, и хоть дети просили меня побыть с их друзьями, я извинилась и ушла спать. Но заснуть я не могла.

Это была тихая, жаркая ночь и через открытое окно до меня доносились голоса гостей, негромко разговаривавших в саду. Раза два залаяла собака, но в остальном это была типичная для такого кануна безоблачная ночь. Вероятно, я задремала. В четыре часа утра телефон у моей постели зазвонил. Это был



мой военный секретарь. Была получена информация, что Египет и Сирия предпримут совместное нападение на Израиль «во второй половине дня». Сомнений больше не оставалось, — сведения были получены из авторитетного источника. Я сказала Лиору, чтобы он вызвал Даяна, Дадо, Аллона и Галили в мой кабинет к семи часам утра. По дороге туда я увидела старика в талесе с маленьким мальчиком: они шли в синагогу. Они показались мне символом иудаизма. Скорбно подумала я о молодых людях Израиля, которые будут сегодня поститься в синагогах и прервут молитвы, услышав призыв к оружию.

Заседание началось в восемь. Даян и Дадо не соглашались по вопросу о размахе мобилизации. Начальник штаба советовал мобилизовать все военно-воздушные силы и четыре дивизии, говоря, что если провести призыв немедленно, то на следующий день, то есть в воскресенье, они смогут быть введены в действие. Даян же считал, что призвать надо военно-воздушные силы и только две дивизии — одну на Северный фронт, другую — на Южный, потому что, если мы объявим всеобщую мобилизацию прежде чем будет сделан хоть один выстрел, мир получит повод назвать нас «агрессорами». И вообще он считал, что воздушные силы и две дивизии могут справиться с положением, а если к вечеру оно ухудшится, то мы сможем призвать остальных за несколько часов. «Таково мое предложение, — сказал он, — но если вы с ним не согласитесь, я в отставку не подам». «Господи! — подумала я. — И я должна решить, кто из них прав?» Но вслух я сказала, что у меня только один критерий: если это действительно война, то у нас должны быть все преимущества. «Пусть будет так, как сказал Дадо». Но это был единственный день в году, когда наша легендарная способность быстро отмобилизоваться не сработала полностью.

Дадо считал, что надо нанести превентивный удар. Поскольку ясно было, что война все равно неизбежна.

— Ты должна знать, — сказал он, — что наша авиация может нанести удар уже в полдень, но мне нужно, чтобы ты дала мне «добро». Если мы сумеем нанести такой удар, у нас будет большое преимущество.

— Дадо, — сказала я, — я знаю все, что говорится, о преимуществах превентивного удара, но я против. Никто из нас не знает, что готовит нам будущее, но, возможно, что нам понадобится помощь, а если мы нанесем первый удар, то никто ничего нам не даст. Я бы очень хотела сказать «да», потому что понимаю, что это означало бы для нас, но с тяжелым сердцем я вынуждена сказать «нет».

После этого Даян и Дадо ушли каждый к себе, а я сказала Симхе Диницу (нашему послу в Вашингтоне, который тогда как раз находился в Израиле), чтобы он немедленно летел обратно в Штаты, и позвонила Менахему Бегину, чтобы сказать ему, что случилось. Я также назначила правительственное заседание на 12 часов и позвонила тогдашнему американскому послу Кеннету Китингу, чтобы он пришел повидаться со мной. Я сказала ему две вещи: что, по данным нашей разведки, на нас нападут во второй половине дня, и что мы не нанесем удара первыми. Может быть, еще возможно предотвратить войну, если США свяжется с русскими или даже прямо с Египтом и Сирией. Как бы то ни было, превентивного удара мы не нанесем. Я хотела, чтобы он это знал и как можно скорее сообщил в Вашингтон. Посол Китинг много лет был добрым другом Израиля и в американском сенате, и в самом Израиле. Это был человек, к которому я хорошо относилась и которому доверяла; и в это ужасное утро я была ему благодарна за поддержку и понимание.

На полуденном заседании правительство получило полное описание положения и узнало о решении провести призыв резервистов, а также о моем решении — не наносить превентивного удара. Никто не высказал никаких возражений. И в то время, когда мы еще заседали, мой военный секретарь ворвался в комнату с сообщением, что перестрелка началась, и почти сразу же мы услышали, как завывали в Тель-Авиве сирены воздушной тревоги. Война началась.

Мы не только не были своевременно предупреждены. Мы вынуждены были воевать одновременно на двух фронтах с врагами, которые несколько лет готовились напасть на нас. У них было подавляющее превосходство в артиллерии, танках, самолетах и живой силе, и к тому же мы и психологически находились в невыгодном положении. Мы были потрясены не только тем, как началась война, но и тем, что не оправдались наши основные предположения: маловероятность того, чтобы атака на нас была предпринята в октябре, уверенность, что мы будем о ней знать заблаговременно, и убеждение, что мы не позволим египтянам форсировать Суэцкий канал. Это было самое неблагоприятное стечение обстоятельств. В первые два-три дня только горстка храбрецов стояла между нами и катастрофой. И нет у меня слов, чтобы выразить, сколь многим обязан народ Израиля этим мальчишкам на канале и на Голанских высотах. Они дрались и умирали, как львы, но вначале у них не было никаких шансов.

И никогда я даже пытаться не буду рассказывать, чем для меня были те дни. Достаточно сказать, что я не могла плакать, даже когда была одна. Но мне редко случалось быть одной. Я почти все время сидела у себя в кабинете, только иногда выходя в комнату военного штаба; иногда Лу увозила меня домой и заставляла лечь, пока телефон не призывал

меня обратно. Заседания шли днем и ночью под беспрестанные звонки из Вашингтона и дурные вести с фронтов. Представлялись, анализировались и обсуждались планы. Я не могла отлучиться из кабинета более, чем на час, потому что Даян, Дадо, люди из министерства иностранных дел и разные министры то приходили с докладом о последних событиях, то спрашивали моего мнения.

Но даже в самые худшие минуты, когда мы уже знали, какие несем потери, я беззаветно верила в наших солдат и командиров, в дух Армии Обороны Израиля, в ее способности отразить любое нападение и никогда не теряла веры в нашу победу. Я знала, что рано или поздно мы победим; но каждое сообщение о том, сколько человеческих жизней приходится отдавать за эту победу, было для меня как нож в сердце. Я никогда не забуду о дне, когда услышала самый пессимистический в моей жизни прогноз.

Во второй половине дня 7 октября Даян вернулся с фронта и сообщил, что хочет увидеть меня немедленно. Он сказал, что положение на юге такое, что мы должны сильно отойти назад и создать новую линию обороны. Я слушала его с ужасом. В комнате находились Аллон, Галили и мой секретарь по военным делам. Я вызвала Дадо. У него было другое предложение: начать на юге контрнаступление. Он спросил, можно ли ему отправиться на Южный фронт самому и там принимать самостоятельные решения на месте. Даян согласился, и Дадо уехал. Вечером я собрала заседание правительства и получила одобрение плана предпринять 8 октября контратаку на юге. Оставшись одна, я закрыла глаза и минуту просидела неподвижно. Думаю, если бы я за все эти годы не научилась быть сильной, я бы рассыпалась тут же. Но я выдержала.

Египтяне форсировали канал и в Синае наноси-

ли сильные удары по нашим войскам. Сирийцы далеко продвинулись на Голанских высотах. На обоих фронтах мы несли большие потери. Жгучим вопросом было — должны ли мы сказать народу уже сейчас, какое тяжелое сложилось положение? Я была уверена, что с этим следует подождать. По крайней мере, на несколько дней мы могли попридержать известия, ради наших солдат и их семей. Однако какое-то заявление было необходимо сделать, и в этот первый день я обратилась с речью к гражданам Израиля. Ничего труднее этого мне не приходилось делать в жизни, потому что я знала, что ради всех и каждого я не могу сказать всего.

Обращаясь к народу, который еще не знал, какие страшные потери он несет на севере и на юге и в какой опасности находится Израиль, пока не все резервы отобилизованы и введены в действие, я сказала:

*«Мы не сомневаемся, что победим. Но мы убеждены также и в том, что эта новая агрессия Египта и Сирии — безумие. Мы сделали все, что могли, чтобы это предупредить. Мы обращались к странам, имеющим политическое влияние, с просьбой употребить его, чтобы сорвать гнусные планы египетских и сирийских лидеров. Пока еще было время, мы информировали гружественные страны о полученных нами сведениях насчет планов нападения на Израиль. Мы призвали их сделать все, что в их силах, чтобы предотвратить войну, но все-таки Египет и Сирия начали наступление».*

В воскресенье Даян вошел в мой кабинет. Он закрыл дверь и остановился передо мной. «Хочешь, я уйду в отставку? — спросил он. — Если ты считаешь, что я должен это сделать, я готов. Я не могу действовать, если ты мне не доверяешь». Я сказа-

ла — и никогда об этом не пожалела, — что он должен оставаться министром обороны. Мы решили послать на север Бар-Лева, чтобы он определил и оценил положение. Затем мы начали переговоры с США о военной помощи. Решения — и правильные решения — надо было принимать очень быстро. На ошибки уже не было времени.

В среду, на пятый день войны, мы отодвинули сирийцев за линию прекращения огня 1967 года и начали собственное наступление; положение в Синае стабилизировалось настолько, что правительство могло обсудить вопрос о форсировании канала. Но что, если наши войска форсируют канал и попадут в ловушку? К тому же я должна была учитывать, что война затянется и мы можем оказаться без самолетов, танков и снаряжения. Мы отчаянно нуждались в оружии, а оно вначале событий поступало медленно.

Я звонила Диницу в Вашингтон в любой час дня и ночи. Где воздушный мост? Почему он еще не действует? Как-то, когда позвонила в три часа утра по вашингтонскому времени, Диниц сказал: «Мне не с кем сейчас разговаривать, Голда, тут еще ночь». Но мне было все равно. Я знала, что президент Никсон обещал нам помочь, и уже знала по собственному опыту, что он не подведет. Позвольте повторить то, что я говорила неоднократно — и чем огорчала многих американских друзей. Как бы ни судила Никсона история — возможно, она вынесет ему жестокий приговор, — но следует помнить то, что он никогда не нарушил ни одного данного нам обещания. Почему же сейчас такая задержка? «Мне все равно, который у вас час! — вопила я в ответ Диницу. — Звони Киссинджеру немедленно, среди ночи. Нам нужна помощь сегодня. Завтра может быть слишком поздно».

История этой задержки — как министерству обо-

роны США не хотелось посылать нам военное снаряжение на американских самолетах, какие затруднения мы испытали, лихорадочно пытаюсь закупить самолеты в других странах, — теперь уже опубликована. А в это же время по морю и по воздуху в Египет и Сирию шли огромные поставки советского оружия, и мы теряли самолеты каждый день, не в воздушных боях, а под снарядами советских ракет. Час длился для меня как столетие — но ничего другого не оставалось, кроме как держаться и надеяться, что следующий час принесет лучшие новости. Я позвонила Диницу, что готова, если он сумеет устроить мне встречу с Никсоном, приехать в Вашингтон инкогнито. Но все обошлось. В конце концов, сам Никсон отдал приказ, и на девятый день войны, наконец, прибыли гигантские «Галакси» (С-5), 14 октября воздушный мост стал неоценим. Он не только поднял наш дух, но и прояснил позицию американцев для Советского Союза, а это в свою очередь, сделало возможной нашу победу. Услышав, что «Галакси» приземлились в Лоде, я заплакала, в первый, но не в последний раз после того Судного дня. И в этот день мы опубликовали первый список наших потерь. Шестьсот пятьдесят шесть израильтян, погибших в бою, вошли в этот первый список.

Но даже «Галакси», доставившие нам танки, снаряды, одежду, медицинскую помощь и ракеты «воздух-воздух», не могли обеспечить нас всем необходимым. А самолеты? «Фантомы» и «Скайхоки» надо было заправлять по дороге; их заправляли в воздухе. И они прибыли — так же как «Галакси», приземлявшиеся в Лоде в иные дни по одному каждые четверть часа.

Весной, когда все уже кончилось, американский полковник, отвечавший за воздушный мост, возвратился в Израиль со своей женой, и они навестили меня. Это были прелестные молодые люди, относив-

шиеся с энтузиазмом к нашей стране и восхищавшиеся нашими отрядами наземной службы, которые за одну ночь научились управляться со специальным оборудованием для разгрузки этих гигантов. Я однажды специально побывала в Лоде, чтобы на них посмотреть. С виду это были огромные доисторические чудовища. Я подумала: «Слава Богу, я была права, не согласившись нанести превентивный удар. Это могло бы спасти жизнь бойцов вначале, но мы наверняка не получили бы этого воздушного моста, который спасет столько жизней теперь».

В это время Дадо сновал челноком между фронтами. Бар-Лев возвратился с севера, и мы отправили Дадо на юг, чтобы уладить разногласия, возникшие там между генералами по вопросам тактики. Его попросили оставаться там столько, сколько понадобится. В среду он позвонил с Синая, сразу после колоссального танкового сражения, в котором наши войска наголову разбили египетские танковые части; египетское наступление было раздавлено. Дадо всегда говорит медленно, обдумывая каждое слово, и когда я слышала: «Го-ол-да, все будет в порядке. Мы — опять мы, а они — опять они», — я поняла: ветер переменился, хотя предстоят еще кровавые бои, в которых потеряют жизнь сотни молодых и молодых людей. Недаром люди потом с горечью говорили, что эта война должна войти в историю не как «Война Судного дня», а как «Война отцов и сыновей», ибо нередко сыновья и отцы бок о бок сражались на обоих фронтах.

Долго меня мучил страх, что откроется и третий фронт и на нас нападет и Иордания. Но, видимо, в Шестидневную войну король Хуссейн усвоил урок, и его вкладом на этот раз, к счастью, оказалась только танковая бригада, отправленная в помощь сирийцам. Но мы уже бомбили стратегические объекты на территории Сирии, а наша артиллерия доставала



пригороды Дамаска, и потому танки Хуссейна так и негодились.

15 октября, на десятый день войны, Армия Обороны Израиля начала форсировать Суэцкий канал с тем, чтобы создать предмостное укрепление на другом берегу. Эту ночь я провела в своем служебном кабинете, и казалось — она никогда не кончится. Форсирование должно было начаться в 7 часов вечера; я решила созвать министров на час раньше, чтобы информировать их о происходящем. Тут мне сообщили, что начало операции перенесено на 9 часов, и мы перенесли заседание кабинета на восемь. Но форсирование отложили опять — на этот раз на 10 часов, и потом опять, потому что возникли неполадки с мостом. Министры уже собрались в моем кабинете и оставались там всю ночь, ожидая сообщений о ходе операции. Каждые десять минут кто-нибудь входил и говорил: «Теперь уже скоро, всего через четверть часа». В таком безумном напряжении прошла вся ночь. Парашютисты уложились вовремя, но пехота, артиллерия и танки задержались, потому что им пришлось выдержать жестокую схватку. Но я не могла уйти, пока не узнала, что операция успешно завершена.

На следующий день я выступила перед Кнессетом. Я очень устала, но речь моя продолжалась 40 минут, ибо мне было что сказать (в основном — вещи неприятные). Но я смогла сказать Кнессету, что в эту самую минуту на Западном берегу канала уже действуют наши войска. Еще я хотела обнародовать нашу благодарность президенту и народу Америки и наше возмущение правительствами — в частности, французским и английским, которые нашли нужным наложить эмбарго на поставку нам оружия как раз тогда, когда мы боролись за самую свою жизнь. А больше всего хотела я, чтобы мир представил себе, что произошло бы с нами, отступи мы перед войной

на линию 1967 года — на ту линию, которая не предотвратила Шестидневной войны, хотя этого никто, по-видимому, не помнит.

Я никогда ни на минуту не сомневалась, что истинной целью арабских государств было и есть полное уничтожение государства Израиль и потому, даже если бы мы далеко отступили от линии 1967 года, они все равно старались бы стереть с лица земли и государство, и нас. Я не настолько наивна, чтобы воображать, будто речи могут убедить кого угодно в чем угодно. Но 16 октября 1973 года, когда Израиль все еще находился в опасности, я сочла своим долгом напомнить государствам — членам ООН и арабам, почему мы так крепко и так упорно — в ожидании мирных переговоров — держимся за то, что взяли в 1967 году. Я сказала:

*«Не нужно особенного воображения, чтобы представить себе, что было бы с государством Израиль, оставайся мы на линии 4 июня 1967 года. Тот, кто не может нарисовать себе эту кошмарную картину, пусть вспомнит, что произошло на Северном фронте — на Голанских высотах — в первые дни войны. Не кусочка земли хочет Сирия, а возможности снова направить свои орудия с Голанских высот на поселения в Галилее и свои ракеты против наших самолетов, чтобы под их прикрытием сирийские дивизии ворвались бы в сердце Израйля.*

*Не нужно особенного воображения, чтобы представить себе судьбу государства Израиль, если бы египетские армии сумели победить израильтян в Синайской пустыне и двинуться к израильским границам... Снова война должна была покончить с нами — как с государством и как с нацией. Арабские правители делают вид, что их цель — выйти на линию 4 июня 1967 года, но мы знаем, какова их истинная цель: полное покорение государства Израиль. Наш*

*долг — сознать истину; наш долг — открыть ее всем людям доброй воли, которые стараются ее игнорировать. Мы должны полностью осознать эту истину, как она ни сурова, чтобы мобилизовать все наши внутренние ресурсы, все ресурсы еврейского народа, чтобы победить наших врагов, и драться, пока не разобьем тех, кто нападает на нас».*

Мне хотелось подчеркнуть вину Советского Союза и отрицательную роль, которую он снова играет на Ближнем Востоке.

*«Рука Советского Союза видна и в военной технике, и в тактике, и в военных доктринах, которые арабские армии стараются усваивать и имитировать. Всесторонняя поддержка, которую Советский Союз оказывал врагам Израиля во время войны, выразилась в огромном количестве самолетов, приземлившихся на их аэродромах, и кораблей, вошедших в их порты. Они везли военную технику, в том числе ракеты разных типов; можно полагать, что самолеты, кроме вооружения, доставляют сюда и советников, и военных специалистов.*

*До 15 октября из Советского Союза прибыло: в Сирию — 125 самолетов АНТ-12; в Египет — 42 АНТ-12 и 16 АНТ-22, в Ирак-17 АНТ-12.*

*По данным разведки, Советскому Союзу удалось вовлечь в эти поставки Египту и Сирии и другие страны советского блока. Такое поведение Советского Союза выходит за пределы недружелюбной политики. Это — политика безответственности не только по отношению к Израилю, но и по отношению к Ближнему Востоку и всему миру».*

После этого выступления я вернулась в свой кабинет, чтобы исполнить самую печальную свою обязанность — встретиться, и уже не в первый раз,

с обезумевшими от тревоги родителями наших солдат, пропавших без вести. Самое ужасное в той войне было, что мы в течение ряда дней не могли выяснить судьбу солдат, которые не имели никакой связи с семьями после открытия военных действий. Израиль очень маленькая страна и, как всем известно, его армия — это армия граждан, состоящая из ограниченного постоянного контингента и резервистов. Мы никогда не сражались вдали от своих границ, и солдаты всегда поддерживают тесную связь с домом. Но эта война длилась уже дольше, чем все другие войны, которые нам довелось вести, за исключением Войны за Независимость, и нас застигли врасплох.

По всей стране резервистов вызывали из синагог и из квартир. В спешке многие не успели захватить свои номерки, другие не сумели найти свою часть. Резервисты бронетанковых частей присоединялись к тут же создававшимся танковым экипажам, перескакивали из одного горящего танка в другой. А война велась страшным оружием: русские снабдили египтян и сирийцев противотанковыми ракетами, которые поджигали танки, и погибший экипаж невозможно было опознать. Армия Обороны Израиля гордится своей традицией — никогда не оставлять врагу ни мертвых, ни раненых; но в первые дни этой войны альтернативы зачастую не было, и сотни родителей были вне себя от беспокойства. «Погиб? Но где же его тело? В плену? Тогда почему никто этого не знает?»

Я уже пережила эти мучения родителей ребят, попавших в плен во время войны на истощение, и зимой 1973 года бывали дни, когда я еле заставляла себя встретиться еще с одной группой родителей: ведь мне нечего было им сказать, а египтяне и сирийцы не только отказывалась дать Красному Кресту списки пленных израильтян много месяцев после

прекращения огня, но даже не позволяли нашим армейским раввинам искать павших евреев на местах сражений.

Но могла ли я сказать «нет!» родителям и женам, считавшим, что если они добрались до меня, то у меня будет для них готовый ответ, — хотя я знала, что в глубине души некоторые из них обвиняют меня за эту войну и за то, что мы оказались к ней не подготовлены. И я их принимала, и обычно они храбро держались. От меня они хотели только информации, хоть малюсенькой, хоть два-три факта, пусть безрадостных, чтобы им было за что ухватиться, — это помогло бы им справиться со своим горем. Но шли недели — а мне нечего было сказать. После одной такой встречи я стала думать о родителях этих родителей — в 1948 году, в Войне за Независимость, когда пало 6 000 человек. Один процент всего ишува погиб в течение восемнадцати месяцев.

Я провела с бедными родителями десятки часов, хотя в первые дни я могла сказать лишь, что мы делаем все возможное, чтобы найти их ребят, и не пойдем ни на какое соглашение, если оно не будет включать обмен пленными. Но сколько же было пленных? В жизни я ничего так не хотела, как этого списка военнопленных, которым нас так долго и так жестоко заманивали. Много есть такого, чего я лично никогда не прощу египтянам и сирийцам, но прежде всего вот этого: так долго, из чистой злобы, они придерживали информацию, стараясь использовать горе родителей как козырную карту в борьбе против нас.

После прекращения огня, после переговоров, длившихся месяцами и, наконец, закончившихся разъединением войск, когда наши военнопленные, наконец, возвратились из Сирии и Египта, мир узнал то, что мы знали уже много лет: никакие тон-

кости, вроде Женевской конвенции не принимаются в расчет, когда евреи попадают в руки арабам — особенно сирийцам. Может быть, даже весь страх за судьбу попавших в плен стал, наконец, более понятен. Сколько раз я, слушая этих отчаявшихся родителей, жен и сестер, собравшихся предпринять новую демонстрацию, подать новую петицию, и в который раз отвечая им, что мы делаем все возможное, чтобы получить списки, думала, что пытки, которым подвергают людей наши враги, — хуже смерти.

19 октября, на тринадцатый день войны, хотя бои еще не прекратились, господин Косыгин предпринял спешную поездку в Каир. «Клиенты» проигрывали войну, начатую с его помощью, поэтому «спасти лицо» приходилось не только Египту, но и Советскому Союзу. Мало того, что египтянам не удалось разрушить предмостное укрепление израильтян на Западном берегу, — им пришлось докладывать своему покровителю, что Армия Обороны Израиля находится западнее канала, в ста километрах от Каира, уже в Африке. Положение другого подшефного — Сирии — было еще хуже. И русские, как всегда, начали кампанию за немедленное прекращение огня. Неважно, кто начал войну и кто ее проиграл. Важно было вытащить арабов из ямы, которую они сами себе выкопали, и спасти египетские и сирийские войска от полного разгрома.

Но хотя не мы хотели и начали Войну Судного дня, мы ее провели и победили, и у нас собственная цель — мир. На этот раз **мы** не собирались тихонько погребать своих мертвых, пока арабы и их сторонники будут утешаться в Объединенных Нациях. На этот раз арабам придется встретиться с нами не только на полях сражений, но и за столом переговоров, и вместе с нами искать решения проблемы, уже унесшей за три десятилетия тысячи молодых жизней.

Годами мы вопили: «Мир!» — и эхом к нам возвращалось: «Война!» Годами мы видели смерть наших сыновей и терпели почти невероятное положение: арабы признавали существование государства Израиль только когда нападали на него, чтобы стереть его с лица земли.

В один из вечеров, когда в Москве шли переговоры Киссинджера с Брежневым о прекращении огня, я возвращалась из министерства по затемненным улицам Тель-Авива и клялась себе, что сделаю все, что от меня зависит, чтобы эта война кончилась мирным договором, который навсегда зачеркнет тройное арабское отрицание (на наше предложение сесть за стол переговоров арабы ответили в Хартуме: «Ни признания, ни переговоров, ни мира»). Я ехала мимо темных окон и думала — за которым из них семья сидит «шиву» (первая неделя траура), а за которым — старается жить как обычно, хотя все еще нет ответа на вопрос: *где он?* Погиб в Синае? На Голанах? В плену? Я клялась себе, что сделаю все, что смогу, чтобы наступил мир, в котором арабы нуждались не меньше, чем мы, и который мог быть обеспечен только путем переговоров.

За несколько дней перед тем, 13 октября, я дала пресс-конференцию, и один журналист спросил: согласится ли Израиль на прекращение огня на линии, существовавшей до 5 октября, то есть до арабского нападения?

— Нет смысла рассуждать, — сказала я, — о том, на что согласится или не согласится Израиль, пока наши южные, северные соседи не выразили желания прекратить войну. Когда дойдет дело до предложения о прекращении огня, мы рассмотрим его со всей серьезностью, ибо мы хотим закончить войну как можно скорее. Но, — добавила я, — хоть мы и очень маленький народ и численно наша ар-

мия не идет ни в какое сравнение с армией любой из воюющих против нас стран, и хоть мы не так богаты оружием, как они, у нас есть перед ними два преимущества — наша ненависть к войне и к смерти.

Теперь, когда надо было ожидать особенного нажима по поводу прекращения огня, я особенно сильно чувствовала, что мы не должны идти ни на какие уступки по вопросу о прямых переговорах — выбор времени и места предоставлялся арабам. Я не пренебрегала, разумеется, нефтяным эмбарго, которым шантажировали весь Запад, включая США, такие просвещенные арабские государства, как Саудовская Аравия, Ливия, Кувейт и другие, — но нашей стоворчивости тоже должен был быть положен предел.

В конце концов, говоря напрямик, судьба малых стран всегда связана со сверхдержавами, а им приходится охранять собственные интересы. Нам хотелось бы, чтобы прекращение огня произошло на несколько дней позже, чтобы поражение египетской и сирийской армии стало бы еще более очевидным, 21 октября казалось, что еще немного — и так оно и будет. На север от Исмаилии мы напирали на Вторую египетскую армию. К югу от Суэца мы завершали окружение Третьей египетской армии. На Голанских высотах наши войска овладели сирийскими позициями на горе Хермон. На обоих фронтах у нас было полное превосходство в воздухе — и мы захватили тысячи пленных. Но, разумеется, в дипломатии позиция Садата была гораздо сильнее нашей, и приманка, которой он завлекал США, была очень соблазнительна: возвращение США на Ближний Восток и снятие нефтяного эмбарго. Да и у Советского Союза были свои способы убеждения — слишком многое Москва поставила на карту. И потому я ничуть не удивилась, когда рано утром 22 октября Совет Безопасности, собравшийся на чрезвычайное



заседание, принял, как можно было предвидеть, резолюцию, призывающую объявить в течение двенадцати часов прекращение огня.

Ясно было, что эта резолюция 338, принятая с такой неприличной поспешностью, имела целью предотвратить полный разгром египетских и сирийских войск, хотя эта горькая пилюля и была подслащена. В резолюции говорилось о том, чтобы «начались переговоры между заинтересованными сторонами под соответствующей эгидой, с целью установления справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке» — но не говорилось, как это будет сделано. Министр иностранных дел США прилетел из Москвы в Иерусалим уговаривать меня, чтобы мы согласились на прекращение огня, и мы изъявили согласие. Но сирийцы отказались начисто, а египтяне, хоть и объявили согласие, не перестали стрелять 22 октября. Война продолжалась, мы завершили окружение Третьей армии и взяли под контроль часть города Суэц.

23 октября я сделала в Кнессете заявление по поводу прекращения огня. Я хотела, чтобы народ Израиля узнал, что мы соглашаемся на него не из-за военной слабости и что мы о нем не просили. Если египтяне не подчинятся ему, сказала я, то и мы не смолчим. Наше положение на обоих фронтах лучше, чем было перед началом войны. Правда, Египет продолжает удерживать узкую полосу на Восточном берегу канала, но Армия Обороны Израиля прочно закрепилась на Западном его берегу: на севере, на Голанских высотах, мы заняли всю территорию, находившуюся под нашим контролем перед войной, и вступили на территорию Сирии. Но тем не менее, сказала я совершенно чистосердечно, «Израиль желает, чтобы мирные переговоры начались немедленно и одновременно с прекращением огня. Он может

проявить внутреннюю силу, необходимую для достижения почетного мира в надежных границах». Однако до тех пор, пока египтяне и сирийцы не будут испытывать таких же стремлений и не поведут себя соответственно, эти слова останутся только словами.

На девятнадцатый день войны наступил новый кризис. Зная, что мы этого требования не примем, Садат попросил, чтобы войска СССР и США наблюдали за соблюдением прекращения огня, и русские уже активно готовились вступить в этот район. Не мое дело рассказывать о сигнале тревоги в США в связи с этим. Хочу лишь сказать одно: многие в США в то время полагали, что тревога была выдумана президентом Никсоном, чтобы отвлечь внимание от Уотергейтского дела. Я не верила в это тогда, не верю и теперь. Я никогда не претендовала на особую проникательность, но мне кажется, что с годами я научилась понимать, когда человек говорит искренно.

Одно из моих живейших воспоминаний о президенте Никсоне — наш разговор в Вашингтоне в те дни, когда террористы убили в Хартуме, столице Судана, двух американских дипломатов. Накануне их убийства я обедала в Белом доме. Мы — президент Никсон, миссис Никсон, Ицхак Рабин (тогда наш посол в Вашингтоне) и я — перед тем, как сесть за стол, стояли и говорили о том, что происходит в Хартуме, и президент сказал мне очень спокойно: «Знайте, г-жа Меир, что я никогда не уступлю шантажистам. Никогда. Если я пойду на компромисс с террористами сегодня, то рискую потерять гораздо больше людей в будущем». Он был верен своему слову. Потом, когда в 1974 году он посетил Израиль — мы только что пережили ужас убийства детей террористами в Маалоте, — Никсон вернулся к этой теме. «Меня воспитали, — сказал он, когда пришел ко мне в гости в Иерусалиме, — в ненависти к смер-

тной казни. Мои предки были квакерами. Но с террористами иначе поступать нельзя. Нельзя уступать шантажу».

В обоих случаях я была совершенно уверена, что человек, говоривший со мной — не для прессы, не для телевидения, — говорит совершенно искренно, и я совершенно уверена, что 24 октября 1973 года президент Никсон скомандовал боевую тревогу потому, что не собирался уступать советскому шантажу, будь то хоть трижды разрядка. Думаю, это было опасное, мужественное и правильное решение.

Но оно вызвало эскалацию кризиса, и кто-то должен был заплатить за ослабление напряженности. Плата — которую потребовали — разумеется, с Израиля, — включала наше согласие на доставку снабжения окруженной Третьей египетской армии и согласие на новое прекращение огня, которое войдет в силу под наблюдением войск ООН. Требование, чтобы мы кормили и поили Третью египетскую армию и помогали 20 000 ее солдат оправиться от понесенного поражения, не являлось вопросом гуманности. Мы с радостью предоставили бы им все это, если бы египтяне согласились сложить оружие и отправиться по домам. Но именно этого хотел избежать президент Садат. Он больше всего волновался, как бы в Египте не узнали, что Израиль опять победил — тем более, что в течение нескольких октябрьских дней египтяне были опьянены своими мнимыми победами. Опять все пошло по стандарту — щадить нежные чувства арабских агрессоров, а не тех, кто явился их жертвой, и нас заставили пойти на компромисс во имя «мира во всем мире».

— Давайте, наконец, называть вещи их истинными именами, — сказала я кабинету министров. — Черное — черным, белое — белым. Есть лишь одна страна, к которой мы можем обращаться, и иногда нам приходится ей уступать, хотя мы и понимаем,

что не должны бы. Но это наш единственный друг, и очень могущественный. Мы не должны на все отвечать «да», но будем же называть вещи своими именами. Ничего нет позорного, что в такой ситуации маленькая страна — Израиль — вынуждена иногда уступать Соединенным Штатам. И когда мы говорим «да», то, ради Бога, не будем делать вид, что это не так, и что черное — это белое.

Мы согласились не на все. У нас были собственные минимальные требования, которые я представила Кнессету 23 октября:

*«Мы собираемся, среди прочего, подчеркнуть и обеспечить, чтобы прекращение огня было обязательно для всех регулярных войск, расположенных на территории государства, его принявшего, в том числе и для иностранных войск, как, например, иракских и иорданских войск в Сирии, а также и войск других арабских государств, принимавших участие в конфликте.*

*Прекращение огня должно быть обязательно и для нерегулярных войск, действующих против Израиля с территории государств, принявших прекращение огня.*

*Прекращение огня должно обеспечить претворение блокады и помех свободному судоходству, в том числе продвижению танкеров в Баб-эль-Мандебском проливе, направляющихся в Эйлат.*

*«Переговоры между сторонами» следует толковать как «прямые переговоры», и все процедуры, карты, планы и цели прекращения огня должны будут определяться соглашением.*

*Очень важное дело... Освобождение военнопленных. Правительство Израиля решило требовать немедленного обмена военнопленными. Мы обсудили это с правительством Соединенных Штатов, которое было одним из инициаторов прекращения огня».*

В этом списке не было ничего нового, ничего лишнего, ничего такого, что бы нам не полагалось по любому критерию.

К этому времени важным человеком на Ближнем Востоке стал не президент Садат, не президент Асад, не король Фейсал и даже не миссис Меир. Главным человеком стал американский министр иностранных дел доктор Генри Киссинджер; усилия, которые он приложил, чтобы добиться мира в регионе, следует назвать сверхчеловеческими. Мои отношения с ним бывали и лучше, и хуже: иногда они становились сложными; бывало, что я ему надоедала, а может и сердила его; бывало, что роли менялись. Но я восхищалась его интеллектуальной одаренностью, терпение и настойчивость его были безграничны, и, в конце концов, мы стали добрыми друзьями. В Израиле я познакомилась и с его женой, мы проводили время вместе, и она меня очаровала. Пожалуй, из всех замечательных качеств Киссинджера самое замечательное — его умение входить в мельчайшие тонкости проблемы, за решение которой он взялся. Как-то он сказал мне, что года два назад слыхом не слыхал о таком месте — Кунейтра. Но теперь, когда он принял участие в переговорах о размежевании сирийских и израильских войск на Голанских высотах, во всем районе не было дороги, дома, даже дерева, о которых бы он не знал все, что нужно. Я сказала ему: «Не считая бывших генералов, которые теперь члены израильского правительства, по-моему, нет у нас ни одного министра, который знал бы о Кунейтре столько, сколько Вы».

Когда он только вступил на длинный и тернистый путь, приведший к размежеванию войск на Голанских высотах, и услышал, что мы не можем оставить позиции на холмах близ Кунейтры, потому что это поставит под удар находящиеся внизу еврейские поселения, он отнесся к нам скептически:

— Вы говорите об этих холмах, словно они Альпы или Гималаи, — сказал он мне. — Я побывал на Голанах и Альп там не заметил.

Но, как всегда, он слушал очень внимательно, изучил топографию местности во всех подробностях, и, убедившись, что мы говорим дело, стал проводить с Асадом день за днем, убеждая его, что в таком-то и таком-то пункте сирийцы должны отступить. Под конец они так и сделали. А Киссинджер все это время продолжал свои челночные операции, и казалось, что слово «усталость» ему незнакомо.

Несколько раз переговоры с Сирией чуть не прекращались, и Киссинджер тут же набрасывал тексты заявлений для нас и для них, из которых следовало, что переговоры не прекращены, а отложены. В последний день он явился с новым требованием от Асада, и мы сказали:

— Нет. Только не это. Этого мы не примем.

— Хорошо. На этом кончаем. Сиско сегодня поедет в Дамаск с уведомлением, что «переговоров больше не будет», и мы предлагаем выпустить совместное коммюнике.

После обеда Киссинджер, который вечером должен был улетать, заглянул ко мне и повторил:

— Хорошо, значит, это конец? — Потом посмотрел на меня и сказал: — Может, вы думаете, что в Дамаск следовало бы поехать не Сиско, а мне?

— Я не смела вас об этом просить, — сказала я. — Вы сказали, что ни за что не станете встречаться с Громыко в Дамаске, а он как раз там.

На минуту Киссинджер задумался, потом сказал:

— Да. Я все-таки должен с ним увидеться, хотя бы нанести визит вежливости. Как вы думаете? Я сделаю как скажете.

— Послушайте, — сказала я, — я знаю одно. Если вы поедете сами — есть шансы, что на этот раз вам удастся. Иначе — шансов никаких.

Джозеф Сиско, находившийся тут же, кивнул:

— Я совершенно согласен.

— О'кей, — сказал Киссинджер. — Я поеду. Может, я что и сумею сделать.

Он вылетел немедленно.

Вернулся он в Израиль в половине второго ночи и с самолета прислал мне извещение, что хочет встретиться со мной этой же ночью, в половине третьего. Он явился такой свеженький, словно провел месяц на курорте; все остальные клевали носом. Он влетел в комнату и сказал:

— Все в порядке. Кончено. Мы добились.

Конечно, при всем своем блестящем уме и поразительной работоспособности, будь Киссинджер представителем Габона, он немногого бы добился от сирийцев, но у него было все: ум, работоспособность, выдержка — и! — то, что он представлял самую могущественную державу мира, а вместе это создавало очень эффективную комбинацию.

Думаю, то обстоятельство, что он еврей, ему во все эти месяцы не помогало и не мешало. Если даже эмоционально он нам сочувствовал, это сочувствие ни разу не отразилось на том, что он говорил и делал. Когда он впервые побывал в Саудовской Аравии, король Фейсал прочел ему целую лекцию на тему «Коммунисты, израильтяне и евреи». Теория Фейсала — которую он, ничуть не смущаясь, изложил Киссинджеру — заключалась в том, что евреи создали коммунистическое движение, чтобы завладеть всем миром. Часть мира им уже принадлежит; в той части, которой им завладеть еще не удалось, они поставили евреев на важные правительственные посты.

— Знаете ли вы, что Голда Меир родилась в Киеве? — спросил он.

— Да, — ответил Киссинджер.

— И вы не видите, что это значит?

— Как-то не слишком, — сказал Киссинджер.

— Киев, Россия, коммунизм — вот формула, — заявил Фейсал.

Потом Фейсал попытался вручить Киссинджеру «Протоколы сионских мудрецов», известную русскую фальшивку царского времени, но Киссинджер, разумеется, этого подарка не принял.

Я имела с Киссинджером несколько очень трудных разговоров по поводу советских и египетских обвинений, что мы нарушили прекращение огня. По-видимому, Киссинджер склонялся к тому, чтобы обвинению поверить, и однажды Диниц позвонил из Вашингтона, умоляя меня лично заверить Киссинджера, что этого не было. Всю неделю шли обмены посланиями между нами, в которых президент Никсон и Киссинджер просили нас уступить — по одному пункту, по другому, по третьему, — и хоть я очень хорошо понимала американскую позицию в отношении Советского Союза, этот непрерывный поток требований очень меня беспокоил. Я написала Киссинджеру, что мы просим сказать нам сразу все, чего он хочет, и тогда мы соберемся и примем собственное решение — а не посылать нам каждые несколько часов новые требования. Тут-то и позвонил Диниц, и я решила — лучше позвоню Киссинджеру, чем опять посылать письмо. Я сказала: «Можете говорить о нас, что хотите, и делать, что хотите, но мы не лжецы. Обвинения не справедливы».

31 октября я полетела в Вашингтон — попытаться наладить несколько напряженные отношения и лично объяснить, почему некоторые предъявленные нам требования не только несправедливы, но и неприемлемы. Накануне я лично, с Даяном и Дадо, ездила в «Африку», по ту сторону Суэцкого канала, встретила с командирами и солдатами, выслушала доклады о районе наступления. Мы сделали три остановки, объезжая фронт, солдаты несколько уди-



вились, увидев меня в сердце пустыни, да и сама я никогда не ожидала, что мне придется отвечать на вопросы, которыми израильские ребята будут засыпать меня на египетской территории. Я выступала перед солдатами: один раз глубоко под землей, другой раз в песках перед палаткой, в третий раз — в ветхой египетской таможне в Суэце. Вопросы в основном касались прекращения огня. Почему мы разрешили доставлять снабжение Третьей армии? Почему мы согласились на преждевременное прекращение огня? Где наши военнопленные? Я из кожи лезла, чтобы объяснить им факты политической жизни. Потом я полетела на Голаны, где повторились те же разговоры.

У меня и у самой осталась неудовлетворенность от некоторых ответов на мои собственные вопросы. Меня привел в ярость отказ моих товарищей-социалистов в Европе позволить «Фантомам» и «Скайхокам» приземляться для заправки горючим на их территории при осуществлении «воздушного моста». Однажды, через несколько недель после войны, я позвонила Вилли Брандту, которого очень уважаю в Социалистическом интернационале, и сказала: «У меня не может быть никаких требований ни к кому, но я хочу поговорить со своими друзьями. Ради себя самой я хочу понять, что же означает социализм, если ни одна социалистическая страна во всей Европе не захотела прийти на помощь единственной демократии на Ближнем Востоке? Или понятия «демократия и братство» к нам неприменимы? Как бы то ни было, я хочу услышать своими ушами, что именно удержало глав социалистических правительств от оказания нам помощи?»

В Лондоне был созван конгресс руководства Социалистического интернационала, и туда явились все. В этих конгрессах участвуют все главы всех

социалистических партий — и находящихся у власти, и оппозиционных.

Поскольку я попросила о созыве этой встречи, я ее и открыла. Я рассказала своим товарищам-социалистам, какова была ситуация, как нас захватили врасплох, как мы приняли желаемое за сущее, толкуя данные разведки, и как мы выиграли войну. Но в продолжение многих дней положение наше было очень опасным. «Я просто хочу понять, — сказала я, — в свете всего этого, что же такое сегодня социализм. Вот все вы тут. Вы не дали нам ни дюйма территории, чтобы мы могли заправить горючим самолеты, спасавшие нас от гибели. Теперь предположим, что Ричард Никсон сказал бы: «Простите, но поскольку нам в Европе негде заправиться, мы просто ничего не можем для вас сделать». Что бы вы все тогда сделали? Вы знаете нас, знаете, кто мы. Мы старые товарищи, старые друзья. Что вы себе думали? На каком основании вы приняли решение не позволять нашим самолетам заправляться горючим? Поверьте, я ничего не преуменьшаю: мы всего лишь крошечное еврейское государство, а существует более двадцати арабских государств с обширной территорией, неисчерпаемой нефтью и миллиардами долларов. Но я хочу узнать от вас сегодня, определяется ли всеми этими факторами современное социалистическое мышление?»

Когда я закончила, председатель спросил, не хочет ли кто-нибудь взять слово. Все молчали. И тут кто-то позади меня — я не хотела оглядываться, чтобы его не смущать, — сказал очень ясно: «Конечно, они не могут говорить. У них горло забито нефтью». Потом все-таки развернулась дискуссия, но фактически сказать уже было нечего. Все было сказано тем человеком, лица которого я так и не увидела.

В Вашингтоне я провела с президентом Никсо-

ном полтора часа. После этого пресса пожелала узнать, было ли оказано давление на Израиль, чтобы он сделал дальнейшие уступки арабам. Я заверила журналистов, что давления не было.

— Если так, мадам премьер-министр, — сказал один из репортеров, — то зачем же вы приехали в Вашингтон?

— Просто, чтобы убедиться, что давления нет, — сказала я. — Это само по себе стоило поездки.

Разговоры мои с Киссинджером были сосредоточены в основном на южной линии прекращения огня, и они не были ни легкими, ни приятными; правда, и предмет разговора был не из легких. Я привезла предложение из шести пунктов, и мы с Киссинджером просидели над ним в Блэр-хаузе, где я остановилась, фактически всю ночь. Однажды я ему сказала: «Знаете, все что у нас есть — это наш дух. Теперь вы хотите, чтобы я отправилась домой и помогла уничтожить этот наш дух. Но тогда уже не нужна будет никакая помощь».

Текст договора между Израилем и Египтом был подписан 11 ноября 1973 года на сто первом километре дороги Каир-Суэц израильским генералом Ахзароном Иаривом и египетским генералом Абдель Гамази. Вот он:

1. Египет и Израиль соглашаются тщательно соблюдать прекращение огня, которого потребовал Совет Безопасности ООН.

2. Обе стороны согласны немедленно начать переговоры, чтобы решить вопрос о возвращении на линию 22 октября в рамках соглашения о разъединении войск под эгидой Организации Объединенных Наций.

3. Город Суэц будет получать ежедневное снабжение продуктами, водой и лекарствами. Все раненые гражданские лица будут из Суэца эвакуированы.

4. Не должно быть никаких помех поступлению военных поставок на Восточный берег.

5. Израильские контрольные посты на дороге Каир-Суэц будут заменены контрольными постами ООН. У Суэцкого конца дороги израильские офицеры могут вместе с ооновцами наблюдать за невоенным характером грузов на берегу канала.

6. Как только будут установлены контрольные посты ООН на дороге Каир-Суэц, произойдет обмен военнопленными, в том числе ранеными».

Впервые за четверть века между израильянами и египтянами имел место прямой личный контакт. Они вместе сидели в палатках, вместе выработывали детали разъединения войск, пожимали друг другу руки. Из Египта прибыли наши военнопленные, те, кого захватили во время войны на истощение, и те, которых захватили в Войну Судного дня. Чудесным образом они вернулись, сохранив свой прежний дух, несмотря на все, что им пришлось пережить, правда, некоторые, когда встретились с нами, плакали как дети. Они даже принесли нам подарки — свои тюремные поделки, в том числе бело-голубую Звезду Давида, которую они сами соткали и которая служила им знаменем во время долгого заточения. «Теперь, когда наше «соединение» распущено, — сказали мне молодые офицеры, составлявшие группу военнопленных, — нам бы хотелось, чтобы она была у вас». Я ее обрамила, и теперь она висит на стене у меня в гостиной.

Но мы все еще ничего не знали о судьбе наших военнопленных в Сирии, и почти каждый день происходили военные похороны ребят, погибших в Синая, чьи обуглившиеся тела только теперь находили в песках, идентифицировали и предавали погребению. Хуже всего было то, что хотя и возникала надежда, что разъединение войск перерастет в настоящий мир, общее настроение в Израиле было крайне мрачное. Все слои населения требовали, чтобы правительство ушло в отставку, обвиняя его в плохом

руководстве, в результате которого армия оказалась плохо подготовленной, в благодушии, в отсутствии связи с народом.

Нарастало движение протеста. Группы были разные, с разными целями, разной программой — но все они хотели перемен. Среди них были и резервисты, которые часто высказывались необдуманно, порой причиняя мне боль. Многое из того, что они говорили о прошлом, вызывало мои возражения, но некоторые их замечания были справедливы. Как бы то ни было, я должна была их выслушать, и я встречалась со многими молодыми людьми из этих групп. Я старалась, чтобы им было легко разговаривать со мной, и мне кажется, что их удивляла разница между внимательно слушавшей женщиной и прежним их представлением обо мне. Думаю, что то, что я им говорила в этой атмосфере взаимных обвинений и подозрительности, удивляло их не меньше.

Протест, в основном, был неподдельный. Фактически это было естественное выражение возмущения, вызванного фатальным рядом неудач. Протестовавшие требовали не только моей отставки или отставки Даяна; они призывали убрать всех, кто так или иначе мог быть ответственен за происшедшее, и начать все с начала, с новыми людьми, молодыми, не запятнанными обвинением, что они повели нацию по неправильному пути. То была экстремальная реакция на экстремальную ситуацию, и как бы больно это не было, это во всяком случае было объяснимо, понятно. Но в иных случаях были и злобность, и чистейшая демагогия, и стремление оппозиции нажать политический капитал на национальной трагедии.

Когда в Кнессете происходили первые после войны политические дебаты, и я слушала речи представителей оппозиции, особенно Менахема Бегина и Шмуэля Тамира, меня буквально взорвало. Эти речи

были до того полны риторики и театральности, что я просто не могла утерпеть, и когда пришел мой черед закрывать прения, я сказала, что отвечать на их выступления не буду.

*«Только одно, — сказала я. — Я процитирую своего дорогого друга, американского сиониста-лейбориста, который был на каком-то очень серьезном обсуждении — хотя и менее серьезном, чем то, которое сейчас происходит здесь, — и там выступал один человек. Этот человек говорил так легко и непринужденно, что мой друг только и сказал: «Если бы он хоть раз запнулся, хоть на минуту заколебался!» Эти же чувства я испытывала, когда началась риторика в Кнессете; Бегин и Тамир говорили о едва не случившейся катастрофе, об убитых и искалеченных людях, о страшных вещах — но гладко, плавно, не останавливаясь, и мне это было противно».*

Эпицентром всей этой бури был Моше Даян. Помоему, первым, кто открыто потребовал его отставки, был другой министр моего кабинета, Яков Шимшон Шапиро, министр юстиции. Никогда не прощу ему, что для своего требования он выбрал самый разгар кризиса, предшествовавшего второму прекращению огня, и заявлял его на митинге, где как он знал, его немедленно поддержит пресса. Мало того, мне сказали, что в ресторане Кнессета он переходил от одной группы к другой, рассказывая о том, что сделал. Я попросила его зайти ко мне. Он вошел в мой кабинет со словами: «Поскольку я понимаю, что ты не попросишь Даяна уйти, я пришел предложить свою отставку». Я сказала, что у меня только два вопроса. Просить его остаться я не могу, потому что он сделал это для меня невозможным. Но прежде всего я хочу знать, почему он выбрал для своих действий именно этот день. Он ответил:

— Ну, потому что сегодня день прекращения огня.

— Так ли? — сказала я. — Могу сообщить тебе новость: бои продолжаются. Несколько наших солдат убито, несколько ранено. Неподходящий день для твоего требования касательно другого министра. И второе: почему ты не требуешь моей отставки? Я — премьер-министр.

Шапиро сказал:

— Ты за это не отвечаешь. Ты не министр обороны.

Потом в мой кабинет пришел Даян и снова спросил:

— Хочешь, чтобы я ушел в отставку? Я готов.

И снова я сказала: нет. Я знала, что вскоре будет создана официальная комиссия по расследованию — она была создана 18 ноября под председательством главы Верховного суда Шимона Аграната — и пока она не представит свои заключения, продолжает действовать принцип коллективной ответственности всего правительства, не менее важный, чем индивидуальная ответственность министра. Меньше всего нужен был Израилю в это время правительственный кризис. Как бы то ни было, мы перенесли выборы с 31 октября на 31 декабря, и народ тут получил возможность дать адекватный и эффективный выход своим чувствам. И хотя мне самой страшно хотелось уйти в отставку, я считала, что надо продержаться еще немного — и мне, и Даяну.

Из всех членов правительства Даян был, конечно, самой спорной и, вероятно, самой сложной фигурой. Это человек, вызывающий у людей очень сильные реакции. Конечно, у него есть недостатки, и немалые, так же, как и достоинства. Откровенно говоря, больше всего я горжусь тем, что в течение пяти лет держала без роспуска кабинет, включавший не только Даяна, но и людей, его не любивших,

им возмущавшихся. Но с самого начала я четко представляла себе возможные возникнуть проблемы. Я много лет знала Даяна, знала и то, что он был против того, чтобы я стала премьер-министром после смерти Эшкола. Поэтому я могла действовать, только доказывая всем — и Даяну в частности — при решении любого спорного вопроса, что не привыкла оценивать предложения в зависимости от личности предлагающего.

К чести Даяна надо сказать, что, когда я его не поддерживала, он всегда принимал это как должное, хотя вообще ему с людьми работать нелегко, и он привык все делать по-своему. Под конец мы стали добрыми друзьями, и не было случая, чтобы он повел себя по отношению ко мне нелояльно. Даже по военным вопросам он всегда прежде всего приходил, вместе с начальником штаба, поговорить со мной. Иногда я ему говорила: «Я за это голосовать не буду, однако ты можешь предложить это кабинету». Но если я не принимала его идею, он уже не старался продвинуть ее дальше. Учитывая, что, по общему мнению, Даян не способен работать в коллективе, а я не способна к компромиссам, можно считать, что в общем мы хорошо ладили.

И неправда, что он холодный человек. Я видела, как его трясло, когда он приходил с тех страшных послевоенных похорон, когда матери толкали к нему детей, крича: «Ты убил их отца!»; когда люди, шедшие за гробом, грозили ему кулаками и обзывали убийцей. Я знаю, что чувствовала я, — и знаю, что чувствовал Даян.

В первые дни Войны Судного дня он был настроен пессимистически и хотел подготовить народ к самому худшему. Он созвал редакторов газет и рассказал им о положении вещей, как он его видел, — что для него было очень даже нелегко. Я не позволяла ему подать в отставку во время войны, но



после первого предварительного доклада комиссии Аграната, 2 апреля 1974 года он, по-моему, должен был сделать это немедленно. Этот доклад очищал его (и меня от «прямой ответственности») за неподготовленность Израиля к Судному дню, но так жестоко охарактеризовал деятельность начальника штаба и начальника военной разведки, что Дадо тут же подал в отставку. Мне всегда казалось, что — поддержи Даян публично своих товарищей по оружию — он бы сохранил в глазах публики свое обаяние, хотя бы частично. Он прочел этот предварительный доклад (в котором было отражено далеко не все) у меня в кабинете и в третий раз спросил, надо ли ему уходить в отставку. «На этот раз, — сказала я, — решать должна партия». Но у него была своя логика, и мне казалось, что нельзя давать ему советы в таком трудном деле. Сегодня я об этом жалею, хотя он ведь мог бы и не послушаться.

По поводу меня комиссия сказала, что утром Судного дня «она приняла мудрое, благоразумное и быстрое решение провести всеобщую мобилизацию резервистов, рекомендованную начальником штаба, несмотря на веские политические соображения, чем и оказала важнейшую услугу обороне страны».

Зимой 1973-74 года положение Израиля в глазах иностранцев выглядело гораздо лучше, чем в глазах израильтян. В это время меня посетил покойный ныне Ричард Кроссмен, один из руководителей английской лейбористской партии, принимавший большое участие в основании нашего государства; он не мог понять, откуда такое всеобщее уныние и упадок духа.

— Вы все тут с ума посходили, — сказал он. — Что, собственно, с вами случилось?

— Скажите, — спросила я, — какова была бы реакция в Англии, если бы с англичанами случилось

что-то подобное? Он был так изумлен, что чуть не выронил свою чашку.

— Вы что же думаете, что с нами такого не случилось? — воскликнул он. — Что Черчилль во время войны никогда не ошибался? Что у нас не было ни Дюнкерка, ни других отступлений? Просто мы не так интенсивно реагируем.

Но мы не таковы, по-видимому, и слово «травма», всю зиму бывшее у всех на языке, лучше всего соответствует тому всенародному чувству обиды и утраты, которое Кроссмен нашел столь чрезмерным.



## КОНЕЦ ПУТИ

**Ш**ли недели. Резервисты все еще не вернулись с юга и с ледяного теперь севера. Даже перестрелка не прекратилась. Настроение в Израиле было по-прежнему мрачное, тревожное и беспокойное. Киссинджер старался добиться разъединения войск между Сирией и Израилем, показать сирийцам список израильян-военнопленных и устроить в Женеве переговоры между египтянами, иорданцами и нами (сирийцы еще в декабре заявили, что они в них участия не примут). И хотя все выглядело так, будто мы ближе к миру, чем когда-либо, по правде, говоря, ни я, ни большинство израильян не верили, что мы вернемся из Женевы с мирными договорами в руках, и мы отправлялись туда без особых иллюзий, далекие от эйфории. И все-таки, египтяне и иорданцы дали согласие сидеть с нами в одной комнате, на что никогда не соглашались прежде.

Переговоры в Женеве начались 21 декабря и, как я и опасалась, почти ни к чему не привели. Между нами и египтянами не было настоящего диалога. Напротив, с самого начала было ясно, что никаких особых перемен не произошло. Египетская делегация буквально запретила, чтобы ее стол ставили рядом с нашим, и атмосфера была далеко не дружелюбная. Военное соглашение было Египту необходимо, но мир, как мы снова убедились, вовсе не входил в их намерения. Тем не менее, хотя никаких политических решений на этой встрече принято не было,

через несколько дней на сто первом километре был подписан договор о разъединении войск, и мы продолжали надеяться, что как-нибудь удастся найти и политическое решение. Вряд ли Мессия явился на сто первый километр, и там так устал, что и не двинулся дальше.

31 декабря произошли выборы. Они показали, что страна не собирается менять лошадей в середине скачек, и хотя мы и потеряли часть голосов — как и Национальная религиозная партия, — Маарах остался лидирующим блоком. Но оппозиция стала сильнее, потому что все правое крыло объединилось в единый блок. Снова нужно было формировать коалицию, и ясно было, что работа предстоит нелегкая, потому что наш традиционный партнер по коалиции — религиозный блок — раскололся по вопросу о том, кто его возглавит и какой политики надо будет придерживаться в предстоящие трудные времена.

Я начинала испытывать физические и психологические результаты напряжения последних месяцев. Я смертельно устала и очень сомневалась, сумею ли сформировать правительство в этой ситуации, и даже — стоит ли мне пытаться это сделать. Не говоря уже о внешних проблемах, трудности возникли и внутри партии. В начале марта я почувствовала, что у меня больше нет сил продолжать, и уведомила партию, что с меня хватит. И тут ко мне потянулись делегации — уговаривать, чтобы я переменила решение. Похоже было, что война разразится снова, потому что с Сирией все еще не было разъединения войск и сирийцы постоянно нарушали договор о прекращении огня. И снова мне твердили, что Маарах рассыплется, если я не останусь.

Порой мне казалось, что все, случившееся после 6 октября, случилось в один нескончаемый день, и мне хотелось, чтобы этот день закончился. Меня очень угнетало, что в ядре партии нет солидарности.

Люди, которые были министрами в моем правительстве, коллеги, с которыми я проработала в тесном контакте все годы моего премьерства, которые вместе со мной определяли политику кабинета, теперь, видимо, не хотели противостоять потоку несправедливой критики и даже клеветы, обрушившемуся на меня, Даяна и Галили, на том основании, что мы якобы принимали втроем, но советуясь с остальными, важные решения, которые привели к войне. Меня возмущали и безответственные разговоры о моем так называемом «кухонном кабинете», якобы подменившем правительство, до известной степени, как выносящий решения орган. Это было совершенно необоснованное обвинение. Естественно, я спрашивала совета у людей, чье мнение я ценила. Однако никогда и никак эти неофициальные консультации не подменяли правительственных решений.

И все-таки весь март я боролась за то, чтобы сформировать правительство, хотя с каждым днем это становилось труднее, тем более, что все громче стали раздаваться требования создать правительство из коалиции всех партий, чего ни я, ни большинство партии не принимало. Время было неподходящее для политических экспериментов, и я никогда не верила, что оппозиция сумеет проявить рассудительность, здравый смысл и гибкость, необходимые для того, чтобы Израиль добился, наконец, какого-то взаимопонимания со своими соседями. Я не хотела отягощать кабинет «отказчиками», которые не захотят, когда придет время, пойти ни на какой территориальный компромисс, особенно если речь пойдет о Западном берегу Иордана. Я знала, что по историческим причинам народ относится по-разному к возможности территориальных уступок в Синае, например, — и на Западном берегу; но мне думалось, что большинство израильтян согласится и на разумный компромисс на Западном берегу. Как бы

то ни было, я считала необходимым включить в правительственную декларацию параграф о том, что хотя кабинет и уполномочен вести переговоры и решать вопрос территориальных уступок с Иорданией, окончательное решение в форме новых выборов будет предоставлено народу.

Тут Даян вышел в отставку, и хотя я уговаривала его вернуться, буря, не утихавшая вокруг его имени внутри партии, уже грозила настоящим расколом. Трудно было примирить требования партийцев, чтобы Даян ушел из министерства обороны, но вместе с тем не позволил фракции Рафи, которую он возглавлял, выйти из Маараха. Возникли и новые проблемы. Религиозный блок, много недель подряд нажимавший на нас, чтобы мы создали правительство национального единства, внезапно, в результате собственных партийных затруднений, решил, что в более узкую коалицию он не войдет и не будет нашим партнером ни в каком кабинете. Это означало, что правительство будет правительством меньшинства, что не слишком меня беспокоило, поскольку я была уверена в поддержке малых партий в Кнессете, не входящих в коалицию.

Главной опасностью, на мой взгляд, оставался возможный распад Маараха. Мне удалось сформировать кабинет с Даяном — министром обороны, но против него по-прежнему бушевала буря. Теперь критики взяли на прицел доклад комиссии Аграната, который, как я уже говорила, снимал с Даяна обвинение в прямой ответственности за ошибочные оценки военными властями положения накануне Войны Судного дня. Однако доклад не говорил ничего о парламентской или министерской ответственности, а именно по этому поводу общественное мнение — как извне, так и внутри партии — бушевало особенно сильно. Многие считали, что с начальником штаба обошлись несправедливо и что Даян как

министр обороны виноват в случившемся никак не меньше, чем Дадо. (Не желая никоим образом комментировать доклад комиссии Аграната, я все-таки хочу сказать здесь, что самую войну Дадо провел блистательно и безупречно.) Люди были страшно недовольны тем, как комиссия отнеслась к Даяну, и чувства были накалены донельзя.

Чем больше я разговаривала с коллегами о конфликте в партии, чем больше я сама его анализировала, тем больше убеждалась, что я уже не в состоянии продолжать. Я дошла до такого предела, где без поддержки всей партии (большинство все время было на моей стороне) я уже не могла ее возглавлять. И, наконец, я сказала себе: «Это все. Уйду в отставку и пусть коалицию стараются склотить другие. Есть и для меня предел, и теперь я его достигла».

В эти недели бесконечных разговоров, споров, огорчений я получала трогательнейшие письма с выражением сочувствия и поддержки от совершенно незнакомых израильтян, по-видимому, понимавших, что я переживаю. Письма были от раненых солдат из госпиталей, от родителей погибших... «Будь здорова. Будь сильна. Все будет в порядке», — писали они мне. Я не хотела обманывать их ожидания, но 10 апреля сказала партийному руководству, что с меня довольно.

— Пять лет — это достаточно, — сказала я. — У меня уже нет сил нести это бремя. Я не принадлежу ни к одной внутрипартийной фракции. Посоветоваться кроме себя самой мне не с кем. И на этот раз мое решение окончательно и бесповоротно. Пожалуйста, не старайтесь уговаривать меня, чтобы я его изменила, не ищите аргументов — они не помогут.

Конечно, попытки меня переубедить делались все равно, но они были тщетны. Я заканчивала пятьдесят лет своей службы и знала, что поступаю пра-

вильно. Я хотела сделать это гораздо раньше, но теперь уже ничто не могло мне помешать. Моя политическая карьера закончилась.

Мне пришлось еще оставаться главой правительства, пока не был сформирован новый кабинет. И 4 июня, слава Богу, мне удалось доложить Кнессету, что с помощью доктора Киссинджера договор о разьединении войск с Сирией был заключен. 5 июня он был подписан в Женеве, и наши военнопленные вернулись домой. Не могу передать, что это значило для меня — приветствовать их возвращение, — но из плена вернулось меньше людей, чем мы надеялись.

И после этого я тоже вернулась домой — и на этот раз окончательно. Новый премьер-министр Израиля Ицхак Рабин — сабра, родившийся в Иерусалиме в том самом году, когда мы с Моррисом поехали в Мерхавию. Его и мое поколение во многом отличаются друг от друга — и в стиле, и в подходе, и в опыте. И так и должно быть, ибо Израиль — растущая страна, где все движется вперед. Но различия между нами гораздо менее значимы, чем сходство.

Поколение этих сабр, как и мое, будет знать стремления, борьбу, ошибки и достижения. Как и мы, они всей душой преданы Израилю, его развитию и безопасности, как и мы, они мечтают о построении в Израиле справедливого общества. Как и мы, они знают, что для того, чтобы евреи остались народом, необходимо, чтобы было еврейское государство, где евреи могут жить как евреи, не потому, что их терпят, и не как меньшинство. Я убеждена, что так же, как и мы, они будут стараться сделать честь еврейскому народу.

И тут мне хотелось бы сказать о том, что, по моему, значит быть евреем. Думаю, что это не только означает соблюдать религиозные установления и



выполнять их. Для меня быть евреем означает и всегда означало — гордиться тем, что принадлежишь к народу, в течение двух тысяч лет сохранявшему свое своеобразие, несмотря на все мучения и страдания, которым он подвергался. Те, которые оказались неспособны выстоять и избрали отказ от еврейства, сделали это, думаю, в ущерб собственной личности. Они, к сожалению, обеднили себя.

Не знаю, какие формы иудаизм примет в будущем и как евреи, в Израиле и за его пределами, будут выражать свое еврейство через тысячу лет. Но я знаю, что Израиль теперь не только маленькая осажденная страна, в которой три миллиона жителей, изо всех сил стремящихся выжить. Израиль — еврейское государство, родившееся в результате стремлений, веры и решимости древнего народа. Мы в Израиле только часть еврейской нации, и даже не большая ее часть; но благодаря существованию Израиля еврейская история навсегда изменилась, и мое глубокое убеждение: мало сегодня найдется израильтян, которые бы не понимали и не принимали ответственность свою как евреев, которую история возложила на их плечи.

Что касается меня, то жизнь моя была очень счастливой. Я не только дожидая до рождения еврейского государства, но и видела, как оно приняло и абсорбировало массы евреев со всех концов земли. В 1921 году, когда я приехала в эту страну, еврейское население достигало 80 000 и въезд каждого еврея зависел от разрешения правительства мандата. Теперь население страны — больше 3 000 000, из которых более 1 600 000 — евреи, приехавшие после создания государства, по Закону о возвращении, который дает право поселиться здесь каждому еврею. Я благодарна судьбе и за то, что живу в стране, народ которой научился жить в море ненависти и не

возненавидел тех, кто хочет его уничтожить, и продолжает лелеять свое представление о мире. Научиться этому — большое искусство, и рецепта нет нигде. Это — часть нашего образа жизни в Израиле.

И, наконец, я хочу сказать, что с того времени, как я молодой женщиной приехала в Палестину, мы были вынуждены выбирать между более опасным и менее опасным для нас. Бывало, нам хотелось поддаться соблазну, уступить нажиму, принять предложения, которые дали бы нам покой на несколько месяцев — возможно, даже на несколько лет, — но привести это могло только к еще большей опасности. Перед нами всегда стоял вопрос: «Что более опасно?» И мы теперь все в том же положении, может, даже больше, чем когда-либо. Мир жесток, эгоистичен и груб. Страданий малых наций он не замечает. Даже самые просвещенные правительства, демократии, возглавляемые порядочными людьми, представляющими порядочных людей, не слишком склонны теперь думать о проблеме справедливости в международных отношениях. Теперь, когда великие народы способны склониться перед шантажистами, а решения принимаются в зависимости от политики великих держав, мы не всегда можем принимать их советы и потому должны иметь смелость смотреть на вещи реально и действовать так, как нам подсказывает инстинкт самосохранения. И тем, кто спрашивает: «А что будет потом?» — у меня только один ответ: я верю, что у нас будет мир с соседями, но я уверена, что никто не захочет заключить мир со слабым Израилем. Если Израиль не будет силен, мира не будет.

Как я представляю себе будущее? Еврейское государство, в котором будут селиться и строить евреи со всех концов света; Израиль, сотрудничающий со своими соседями на пользу всех людей реги-

она; Израиль, который останется процветающей демократией, а общество будет зиждиться на основах социальной справедливости и равенства.

Теперь у меня осталось только одно желание; никогда не утратить сознания, что я в долгу перед тем, что было мне дано с тех пор, когда я впервые услышала про сионизм в маленькой комнатке в царской России, и потом, за пятьдесят лет здесь, где пятеро моих внуков выросли свободными евреями в собственной стране. Пусть никто не сомневается: на меньшее наши дети и дети наших детей не согласятся никогда.



## СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ .....	5
ДЕТСТВО .....	15
ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОТРОЧЕСТВО .....	35
Я ВЫБИРАЮ ПАЛЕСТИНУ .....	63
НАЧАЛО НОВОЙ ЖИЗНИ .....	90
ПИОНЕРЫ И ПРОБЛЕМЫ .....	120
«МЫ БУДЕМ БОРОТЬСЯ ПРОТИВ ГИТЛЕРА» .....	156
БОРЬБА ПРОТИВ БРИТАНЦЕВ .....	196
У НАС ЕСТЬ СВОЕ ГОСУДАРСТВО .....	244
ПОСЛАННИК В МОСКВЕ .....	297
ПРАВО НА СУЩЕСТВОВАНИЕ .....	343
ДРУЖБА С АФРИКОЙ И ДРУГИМИ СТРАНАМИ .....	383
МЫ ОДИНОКИ .....	422
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР .....	458
ВОЙНА СУДНОГО ДНЯ .....	507
КОНЕЦ ПУТИ .....	548

Голда Меир

**МОЯ ЖИЗНЬ**

Автобиография

Подписано в печать с готовых диапозитивов 28.02.97.  
Формат 84×108<sup>1/32</sup>. Бумага типографская. Гарнитура Балтика.  
Печать офсетная. Объем 17,5 п. л. + вкл. 0,25 п. л.  
Тираж 11 000 экз. Заказ 382.

МП «Аурика». 486011, г. Чимкент, ул. Титова, 44.

Отпечатано с готовых диапозитивов заказчика  
в типографии издательства «Белорусский Дом печати».  
220013, Минск, пр. Ф. Скорины, 79.

OCR - Давид Титиевский, апрель 2017 г., Хайфа



## Ж Е Н Щ И Н А - М И Ф

### Голда Меир «Моя жизнь»

Она была дочерью плотника из Киева – и премьер-министром. Она была непримиримой, даже фанатичной и – при этом – очень человечной, по-старомодному доброй и внимательной. Она закупала оружие и хорошо разбиралась в нем – и сажала деревья в пустыне.

Создавая и защищая маленькое государство для своего народа, она многое изменила к лучшему во всем мире. Она стала легендой нашего века, а может, и не только нашего.

Ее звали Голда Меир. Голда – в переводе – золотая, Меир – озаряющая.

